

томская классика

*Мария  
Халфина*

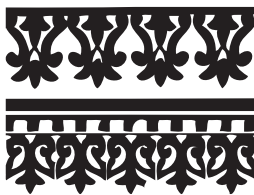
Мария Халфина

томская  
классика

VI



томская  
классика





Мария Халфина

# Избранное

Томск-2014

УДК 821.161.1-32 Автор  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
Х17

**Мария Халфина.** Избранное. Книжная серия «Томская классика» — Томск:, 2014. — 400 с. Составитель и автор послесловия В. Крюков.

Книжная серия «Томская классика»  
выходит при поддержке губернатора Томской области  
*Сергея Анатольевича Жвачкина*

Томская писательская организация благодарит  
руководителей ООО «Межениновская птицефабрика»  
*Андрея Андреевича Чуркина,*  
*Леонида Викторовича Ющенко,*  
*Владимира Николаевича Хорошилова,*  
*Фёдора Николаевича Халецкого*  
за финансирование издательского проекта  
«Томская классика»

ISBN 5-902350-01-8  
ISBN 5-902350-10-7

© В. Крюков: составление, 2014  
© Томская писательская организация: переиздание, 2014

# Повести

---

---

# Мачеха

Справлять новоселье Олеванцевы решили в субботу, чтобы назавтра, в воскресенье, гости могли не спеша прийти опохмелиться и до самого вечера, не оглядываясь на часы, свободно погулять. А потом успеть проспаться, отдохнуть и к утру рабочего понедельника вполне войти в норму. Готовились к новоселью капитально, расходов не жалели. Праздник получался не совсем обычный, вроде бы тройной. Как раз на субботу приходилось Шуркино рождение. Двадцать пять лет ей исполнилось в этот день. А две недели назад Павел за посевную получил почётную премию, и его показывали по телевидению.

Анфиса Васильевна, сидя перед телевизором, даже заплакала от горделивой радости. Стоит зять у трактора, степенно так руками разводит, объясняет что-то ребятам-трактористам. Хотя и худущий, а всё же солидный, серьёзный такой из себя мужчина... Олеванцев Павел Егорович, совхозный механик. Даже не верится, что это Паша...

Давно ли, кажется, сидели они с Шуркой за свадебным столом, молоденькие, глупые.

А теперь вот тысячи людей глядят на него, а дикторша, красивенькая, словно куколка, рассказывает, как он работает, как своим умом и старанием из простых трактористов вышел в механики, как сам всё время учится и других за собой тянет... И все его уважают и ценят, несмотря на молодые ещё годы...

А спецовка-то на нём её, тещиными руками сшитая... Зятя Анфиса Васильевна уважала за спокойный, серьёзный характер. Конечно, неплохо, если бы Паша был немножко бойчее, разговорчивее, податливее на ласку. Ну уж тут ничего не поделаешь: с каким, видно, характером Бог человека уродит... Зато, не в пример некоторым другим мужикам, зарплату получает — всё до копейки в дом несёт.

За семь лет не обидел семейных ни одним грубым словом, а тещу кличет мамашей и всегда по-культурному на «вы». Цену себе он, конечно, знает, спину ни перед кем не гнёт, начальники к нему всегда с уважением. Гляди, какую квартиру выделили в новом доме: отдельную, со всякими удобствами. Точно такую же, как главному агроному.

---

Один недостаток у зятя: нет у него настоящей приверженности к домашнему хозяйству. Дай ему волю — сидел бы с семьёй на одной зарплате. Шурка не работает — её дело ребят хороших рожать да об мужике заботиться, чтобы его из дома никуда на сторону не поманило... А на одну зарплату, какой ты ни будь ударник, не очень расшикуешься.

Что у Павла было, когда он на Шурке женился? А теперь дом — полная чаша. И обстановочка на цельную квартиру, и телевизор, и мотоцикл. А всё потому, что живут они с Шуркой за матерью, как за каменной стеной. Ребятишки около бабки здоровенькие, ухоженные... Соскучатся молодые дома сидеть — поднялись и пошли. Хоть в кино, или в клуб на танцы. А что ж? Только им и погулять, пока мать жива. Приоденутся, соберутся — поглядеть на них и то любо.

Паша в новом костюме — в городе в ателье шили, — что твой профессор! Брючки узкие, ботинки на резиновом ходу — модные, по шёлковой рубашке галстучек тёмный с искрой... Ну, а про Шурку и говорить нечего — цветёт, как та роза белорозовая, про которую в песне поётся. И во всём этом её, материна, забота. Её труд неустанный. Что ж тут удивительного? Шурка у неё одна-единственная. И радость, и горе, и свет в окошке. И хотя Шурка, как говорится, звёзд с неба не хватала и на учение была не очень способна, а вот сумела — увела из-под носа у всех девок самолучшего жениха, и ребятишек родит всем на зависть: из тысячи, может, один такой-то ребёнок родится, как Юрка или Леночка.

Первые три года молодые жили при тёще, в её старенькой крохотной пятистенке. Жили неплохо, только обстановку некуда было расставлять. Поставили в горнице двуспальную кровать-новокупку, а Юркину кроваточку хоть в сени выбрасывай. Про шифоньер или там про буфет говорить нечего, а шифоньер Шурке два года даже по ночам снился.

Три года назад, получив по соседству, в совхозном доме, комнату, молодые вроде как бы отделились от тёщи на самостоятельную жизнь.

Анфиса Васильевна сама способствовала этому «разделу». По существу в жизни семьи ничего не изменилось: в новой комнате расставили обстановку, а столовались по-прежнему с матерью; ребятишки дневали и ночевали у бабушки, да и молодые нередко уходили к себе только на ночь. Зато теперь в хлевушке у Анфисы Васильевны похрюкивала уже не одна, а две свиньи: одна «моя», другая «Пашина».

Картошку теперь садили на двадцати сотках в поле, а машин огород целиком отвели под овощи и ягодник. Базара

---

в совхозе не было, овощи и ягоду служащие разбирали нарасхват.

Возвратившись как-то из города с двухмесячных курсов, Павел обнаружил в полуразвалившейся, много лет пустовавшей стайке доброй породы нетель.

— Ничего, милый зятёк, косись не косись, а это тоже не дело — таскаться каждый вечер с бидончиком в совхозный ларёк за молоком.

Никаких забот о домашности Павел не знал. Насчёт земли, покоса или там пиломатериала на строительство стайки, на ремонт мамашинного дома в контору с заявлением ходила Шурка. Отказать ей было невозможно: маленькая, румяная, синеглазая, с синеглазым румяным младенцем на руках, она могла обезоружить любого, самого прижимистого хозяйственника.

Работой домашней Анфиса Васильевна зятя также не обременяла, и Шурке внушала строго:

— Мужик на производстве рук не покладает, учится на ходу, а мы с тобой, как барыни, дома сидим. Неужели вдвоём с таким хозяйством не управимся?

К тройному празднику Анфиса Васильевна начала готовиться загодя, основательно и не спеша: выкоптила полупудовый окорок, съездила к знакомому бакенцику за малосольной нельмой, потому что какой же праздник без рыбного пирога?

Тайком от зятя закатали за печь двухведёрный лагун бражки-медовухи. А кому какое дело? Мёд-то некупленный, от собственных пчёл.

Ничего, на празднике зятёк и сам запрещённой бражки выпьет, и гостям подносить будет, да ещё спасибо скажет теще за заботу. Шутка в деле, какая экономия получается на водке со своей-то бесплатной бражкой.

Разливая по блюдам душистый холодец, Анфиса Васильевна сердито поглядывает в окно, прислушиваясь, не стукнет ли калитка.

Шурка с самого утра возится в новой квартире, наводит перед новосельем окончательный лоск, даже Леночку покормить ни разу не прибежала; пришлось беляночку весь день на каше да на коровьем молоке держать.

Юрка-варначонок за эти дни совсем от рук отбился, носится с ребятами, не загонишь молочка парного напиться.

А Паша и обедать не приходил — на что это похоже? И так уж заработался — одни мослы остались.

---

Стукнула калитка, через двор, прикрывая лицо краем тёплого пухового платка и как-то по-чуждому сгорбившись, бежала Шурка.

У Анфисы Васильевны сразу, как перед большой бедой, оборвалось сердце.

Шурка тихонько выла, стучала зубами, дёргала, как припадочная, головой; пришлось разок стукнуть её по затылку, чтобы как-то привести в чувство. Бросив на стол измятый конверт, она отпихнула к стене сонную Леночку и повалилась ничком опухшим лицом на подушку.

У Анфисы Васильевны тряслись руки, строчки чужого измятого письма сливались в глазах.

«...Может быть, ты, Павел Егорович, считаешь, что моё дело сторона, но я всё же должен тебя известить, что Наташа неделю назад скоростижно умерла и осталась после неё дочь Светлана, семи лет. Когда мы приехали на место, Наташа моей жене призналась, что в тягости уже на пятом месяце.

Здесь у нас Светка и родилась; фамилия у неё Наташина, а отчество Павловна. Обличьем вылитый твой портрет, и не только обличьем, но, более того, характером: такая же серьёзная и башковитая; училась нынче в первом классе на одни пятёрки. Наташу сватал наш прораб, мужик одинокий, самостоятельный, только она не пошла. Жила со Светкой при нас такой же монашкой, как и до тебя жила. Я бы Светку взял, да не надеюсь на здоровье, и своих ребят навалом. А в детский дом отдать при живом отце руки не поднимаются. Да и перед Наташей грех.

Так что решай, Павел Егорович, как тебе совесть подскажет.

Ответ будем ждать две недели; коли не ответишь, придётся решать судьбу дочери твоей чужим людям».

Дальше шли поклоны покровским родичам и знакомым и подробный адрес места жительства.

— Господи! — облегчённо вздохнув, Анфиса Васильевна бросила письмо на стол.

— Ну, дура сумасшедшая! Испугала до полусмерти! Я думала: с Пашей что стряслось.

Письмо принесли утром. Шурка в это время была занята совершенно неотложным и очень ответственным делом: прикрепляла новые тюлевые шторы к золочёным багетным карнизам. Не до письма было. В обед заезжал Павел, взял с комода нераспечатанное письмо. И, только мельком оглянувшись и увидев, как медленно, тяжело отливает

---

кровь от его лица, Шурка поняла, что письмо принесло беду.

— Дура ты бестолковая! Разве это мысленно?! — всплеснула руками Анфиса Васильевна. — Мужику письма идут, а она их нечитаными на комод кидает. Что же ты его не прочитала, пока Паши дома не было? Прочитала, сунула в печку — и нет ничего!

— Я же думала оно от Вари, от золовки, она одна ему пишет. — Судорожно всхлипнув, Шурка оторвала лицо от мокрой подушки.

— Он, как прочитал, сразу с лица сменился. Подал мне письмо, а сам сидит, молчит, как каменный. Потом встал: «Пойду, — говорит, — телеграмму отобью, потом к директору, попрошу отпуск, дня за четыре обернусь туда и обратно». А я встала на порог в дверях: «Никуда ты, — говорю, — не поедешь, потому что я её всё равно не приму!».

Голос у Шурки сорвался. С тихим воем она опять повалилась в подушку.

— Никуда ты не поедешь, потому что я всё равно её не приму! — Шурка стояла перед Павлом, бледная, вскинув подбородок. Прищурившись, смотрела ему в лицо чужими глазами.

— Если ребёнок твой был, с чего бы она тогда уехала? Да она бы тебя, телка лопухого, враз бы как миленького окрутила. Значит, нельзя ей было на тебя свалить...

— Ничего ты не понимаешь, — тоскливо отмахнулся Павел. — Я ей не один раз предлагал расписаться, когда про ребёнка и помину не было... Она сама не соглашалась. Не хотела жизнь мне портить, потому что старше меня была и нездорова. А про ребёнка скрыла и уехала, чтобы руки мне развязать. Узнала, что я с тобой дружить начал, и пожалела.

— А если бы сказала, значит, на ней бы женился?! Променял бы меня на старую... на страхолюдину?! Такая, значит, твоя любовь ко мне была?!

— Я ж от тебя ничего не скрывал, ты всё знала...

— Врёшь! — яростно взвизгнула Шурка, с трудом сдерживая подкатившиеся к горлу слёзы. — Я думала, что ты с ней просто так... трепался, а ты... Посмотри в зеркало на себя, как тебя сразу перевернуло! Значит, любил, если так переживаешь! А теперь дочь её пригульную на шею мне хочешь посадить?! Не бывать этому никогда! И думать об этом не смей!

— Дура ты, Шурка! Если ты её не примешь, что же я тогда делать буду? — растерянно спросил Павел.

---

— Если, говорит, ты её не примешь, что же, говорит, я теперь делать буду? — всхлипывая и сморкаясь в Леночкину пелёнку, Шурка сквозь опухшие от слёз веки растерянно, умоляюще смотрела на мать. — Потом куртку рабочую снял, надел новый пиджак и ушёл. А письмо в куртке, в кармане, осталось... я и взяла...

— Ладно, хватит выть... — сурово оборвала мать. — Хорошо, что хоть ума хватило, не поддалась ему; сразу твёрдо на своём поставила. Так вот и будешь держаться. Домой не пойдёшь. Умойся и ложись с Леночкой, а я с Юркой в кладовке постелюсь. Не реви, обойдётся. Побегает, побегает, одумается и прибежит. Одного боюсь: не проболтался бы кому про письмо сгоряча! Да нет, не может такого быть. Парень он неглупый, не захочет своими руками и на тебя, и на себя петлю такую надеть. Спи, твоё дело маленькое. Теперь уж я сама с ним разбираться буду.

Павел пришёл, когда уже начали меркнуть в окнах поздние огни. Заглянул в тёмную горницу, молча постоял на пороге.

Шурка, облившись потом, замерла неподвижно, стиснула намертво зубы, зажмурилась, чтобы он даже дыхания её не услышал.

— Письмо у вас, мамаша? — вполголоса спросил Павел, устало присев к столу.

— Садись ужинать да спать ложись; ходишь голодный по целым дням.

Анфиса Васильевна не спеша, вразвалочку собрала на стол.

— А письма никакого не было и нету, и хватит тебе, Павел, мудрить-то над нами; уж если нас не жалко, Леночку хоть пожалей! Испортится у Шурки молоко — сгубите ребёнка! Ты посмотри, до чего бабу довёл!

— Я перед ней ни в чём не виноватый: она про меня всё знала, и вы... тоже знали, а что у меня где-то дочь растёт, я сам только сегодня узнал.

— Да какая она тебе дочь! — ахнула Анфиса Васильевна. — Кто это доказать может? И кто тебя за язык тянет дочерью её называть? Ну был бы ты партийный, тогда другое дело.

Анфиса Васильевна присела рядом с Павлом, тронула тихонько за плечо.

— Может, ты опасешься, что тебя из ударников уволят? Ну и бог с ними, сынок! Неужели тебе красная книжечка дороже жены и детей? А позору-то сколько! Что люди-то про тебя скажут?! Да нам с Шуркой от стыда глаза на улицу показать нельзя будет.

---

Анфиса Васильевна тихонько всхлипнула и торопливо высморкалась в уголок фартука.

— Ты объясни мне: с чего ты это задумал? Чем ты недовольный? Чего тебе не хватает? Были бы вы с Шуркой бездетные, я бы слова не сказала, а то ведь свои есть: сын и дочка — красные деточки, родные. Чего тебе ещё нужно?

— Эти свои, а та чужая? — скривился Павел.

— Стыдно тебе, Паша, и грех! — Анфиса Васильевна поднялась, оскорблённо поджав губы. — Какое же тут сравнение может быть? Александра тебе законная жена, а Юра и Леночка — законные дети. А там... Что ты людей-то смешишь? Таких-то детей у каждого мужика дюжина по белу свету раскидана. Если каждый начнёт пригульных своих подбирать да жёнам подбрасывать, это что ж тогда получится? Для того и закон особый про матерей-одиночек придуман: нагуляла — получай от государства сколько положено, а к женатому человеку не лезь, законную семью не нарушай!

Павел сидел, тязело навалившись на стол, сутулый, поникший. Надо же так! За один день свернуло парня, словно от тяжёлой болезни!

— Не расстраивайся ты, Паша, возьми себя в руки, успокойся, обумись.

У Анфисы Васильевны от жалости запершило в горле.

Павел похлопал себя по карману, достал помятую пачку папирос. Подумать только! Шесть лет не курил, это что ж с мужиком подеялось! Сглазил его кто, что ли?

— Обумись, сынок, одумайся! Разве такое дело сгоряча можно решать? Вот отгуляем новоселье, а потом и поговорим, посоветуем сообща, что делать. Ты и сам потом спасибо скажешь, что не дали тебе пустяков разных натворить. Ты рассуди только: девочка тебя не знает, ты же для неё дядька чужой. Девочка, по всему видать, избалованная, характерная; её надо сразу к строгости приучать, к порядку, к работе...

Павел, словно спросонок, вскинул голову и пристально уставился в разгорячённое лицо Анфисы Васильевны.

— Была бы Шурка постарше да характером потвёрже, — не замечая его внимательного, угрюмого взгляда, продолжала Анфиса Васильевна. — Ну разве она может? Ну подумай ты сам, какая из неё мачеха?!

— А моей дочери, мамаша, не мачеха нужна, а мать... — Павел размял в пальцах папиросу, закурил неумело. — У законных моих детей всё имеется: и отец, и мать, и бабушка, и дом родной! А у... той никого. Я один. Что же касается Александры, так ей не семнадцать лет, и не настолько она глупая, как не-

---

которые считают. Вы, мамаша, не обижайтесь, разве не из-за вас её до двадцати пяти лет все Шуркой кличут? Вся причина в том, что не своим умом она живёт, а вашим. Кто ей внушил, что учиться она неспособная? Почему она работать не идёт? «На ферме, в навозе копать или уборщицей чужую грязь выворачивать за гроши...» Чьи это слова? А кто ей в голову вбивал, что замужней в комсомоле состоять не пристало? Подушки дурацкие вышивать — хоть весь день сиди, а если она книжку в руки взяла, вы сейчас же ворчать начинаете. А не по вашей указке она тайком от меня Юрку в город крестить таскала? А теперь вы, кажется, к Ленке подбираетесь? Нет, мамаша, камнем тяжёлым вы у неё на ногах висите. И между нами камнем легли.

Павел поднялся из-за стола, незнакомый, чужой. Снял с гвоздя старую кепку.

— Дочь свою я к вам не привезу, вы не беспокойтесь. Поскольку жена дочери моей матерью стать не может, приходится мне другой выход искать. Приходится со своей бедой в люди идти. Дочку я к сестре, к Варе, увезу, у неё своих трое, среди них и моя лишней не будет. Из совхоза я увольняюсь. Буду в Варин колхоз переводиться, чтобы около дочери быть: квартиру получу — приеду за Александрой...

— Не пуцу! — сдавленно крикнула Анфиса Васильевна. — Никуда она от меня не поедет, идиёт ты бешеный.

— Ладно, мамаша, это дело нам с женой решать. — Павел хмуро взглянул в перекошенное злой гримасой, плачущее, старое и жалкое лицо тёщи. — Не навек расстаёмся. Поживём с Шуркой одни, научимся своим умом жить — и опять в одну семью соберёмся. И дочь моя тогда вам помехой не будет.

Затихли тяжёлые шаги под окном, стукнула калитка... Анфиса Васильевна, сгорбившись, привалилась плечом к печке. В левом боку колело, тошнотой подкатывало под сердце.

Вот тебе и новоселье!.. Преподрнес муженёк подарочек ко дню рождения милой жене!

Вот сейчас выскочит она из горницы, повиснет с рёвом у матери на шее.

В горнице захныкала Алёнка, и в ту же минуту в тёмном проёме двери возникла Шурка. Одетая, обутая, словно не лежала только что в одной рубашонке под одеялом.

Деловито закалывая на затылке растрёпанную тяжёлую косу, прошепелявила сквозь зажатые в зубах шпильки:

— Ленка проснулась, ты, мам, покорми её, а завтра каши да киселя ей навари. Да Юрку, смотри, одного на речку не пускай!

---

— Куда?! — ахнула Анфиса Васильевна. — Дура заполошенная, куда ты?

Накинув платок, Шурка, на ходу оглянувшись на мать, бросила с порога:

— Сама я с ним за Светкой поеду, вот.

Новоселье справить так и не пришлось. Всё как-то спуталось, перемешалось. Какое уж тут веселье-новоселье! Да и деньги ушли все до копейки. Назад со Светкой летели самолётом, чтобы сэкономить время. Для Павла дорог был каждый час.

Дома расходы тоже потребовались немалые. Просить денег у матери не хотелось, пришлось до Павловой полочки перехватить полсотни у Полинки Сотниковой.

Со Светкиным устройством Шура пришлось считать что в одиночку, самой всё обдумывать и решать, потому что Павел, как приехали, сразу на летучку и по полям, только его и видели.

В маленькой спальне повернуться и так было негде, пришлось кровать для Светки поставить в «зале» — так Анфиса Васильевна горделиво называла вторую, большую комнату.

И вот за какие-то полчаса прахом пошла вся красота, которую с такой радостью, с таким старанием наводила в «зале» Шура, готовясь к новоселью.

Чтобы выгородить для Светки отдельный удобный уголок, зеркальный шифоньер развернули и поставили боком к стене. Круглый, под бархатной скатертью стол, в окружении четырёх полумягких стульев, с середины комнаты был отнесён в угол, к тахте. Телевизор с самого видного места пришлось передвинуть в простенок, приёмник со столика перекочевал на подоконник, а столик ушёл за шифоньер, в Светкин угол. Стенную красного дуба полочку, на которой стояли золочёные вазы с великолепными бумажными георгинами, Шура сняла и повесила над Светкиным столиком: надо же девчонке куда-то ставить свои книжки. Пышный, уже набравший цвет тюльпан за неимением места пришлось подарить Полинке.

Деньги, и свои, и заёмные, растаяли за несколько дней. Купила голубенькую односпальную кровать, а к кровати — хочешь не хочешь — нужен коврик, хоть небольшой. И постель, за исключением подушки, пришлось заводить новую. Платишки, привезённые «оттуда», были какие-то старушечьи, серые и длинные. Шура просто видеть их не могла. Прежде всего из цветного штапеля она сшила два нарядных плати-

---

ца, два весёленьких ситцевых сарафана и несколько пар трусишек. Для постоянной носки купила красные сандалии, а для непогожих дней — ботинки и тёплую кофточку.

После всех этих хлопот Шура смогла наконец спокойно вздохнуть. Дело летнее, можно пока обойтись, а потом уж не спеша начинать готовить Светку к зиме, к школе.

Взглянуть со стороны — никаких особых изменений в семье не произошло: было раньше двое ребят, стало трое. Только и всего. Жили теперь оседло, в собственной квартире. Один Юрка по-прежнему кочевал из дома к бабушке и обратно; теперь он стал вроде связного между двумя хозяйствами.

Анфиса Васильевна к молодым навещалась нечасто. Не могла она забыть жестоких Павловых слов, не могла простить Шурке её неожиданного самовольства. Теперь она ни во что не желала вмешиваться.

Попробуйте, милые детки, поживите своим умом, если материн ум вам во вред пошёл... Если мать не помощью, не опорой вашей, а камнем тяжёлым стала для вас...

Один только раз не выдержала Анфиса Васильевна.

— Ну, Шурка, надела ты на себя петлю... — сказала она, глядя на дочь с суровой жалостью. — С таким дитём сладить — не твой характер и не твой умок требуется. Разве же это ребёнок? Ты погляди: она людям в глаза не смотрит, говорить с людьми не желает. А нарядами этими да баловством ты, милая моя, всё равно в добрые перед ней не войдёшь, только ещё себя перед ней унизишь. Потому что нету в ней никакой благодарности, не желает она осознать, что ты сиротство её пожалела, что содержишь её наравне с родными, законными детьми. А раз не желает она тебя признавать, так ты ей теперь хоть масло на голову лей — всё равно и перед ней, и перед людьми будешь ты мачеха... злодейка. Дура ты, дура! — Анфиса Васильевна горестно, громко вздохнула. — Нет чтобы мать-то послушать, если своего умишка небогато... Испугалась, овечка глупая! Как же! Обидится муженёк, разлюбит, бросит ещё, пожалуй! Выхвалиться перед ним захотела: вот, мол, какая я у тебя сознательная! Он теперь и сам, поди, видит, какое золото в семью привёл, какой беды натворил, да только обратно ходу нет, не просто вам теперь это ярмо с шеи скинуть. Не сунулась бы ты тогда раньше времени — и никуда бы он не девался! Побегал бы, пофыркал и прибежал бы, как миленький, обратно. Да ещё у тебя же и прощения попросил бы за обиду.

Шура матери не возражала, не оправдывалась перед ней. Не пыталась объяснить, какая сила подняла её тогда с poste-

---

ли, что заставило из материнского дома, от сонных ребятишек бежать глухой ночью вслед за Павлом...

Конечно, силком Пашу никто не мог заставить признать эту самую Светку. И про то письмо люди могли бы не знать... Ну ладно. Пусть бы он отрёкся, отказался бы от неё. А дальше как? Знать, что живёт где-то девчонка одна-одинёшенька, круглая сирота... при живом отце... безродная...

И не забыть никогда тех горьких Пашиных слов: «Приходится мне со своей бедой в люди идти». Семь лет жила она за широкой Пашиной спиной, ни горя, ни заботы настоящей не знала. Он, глупый, думал, что рядом с ним верный человек живёт, надёжный. Надеялся, что до конца жизни у него с женой и радости, и горе — всё пополам будет. А вот случилась у него первая трудность — жена за материн подол схоронилась и талдычит оттуда, как попугай: «Не пущу! Не приму! И знать ничего не хочу!».

И не забыть никогда, как бежала она к нему ночью, как испугалась, увидев тёмные слепые окна: и огня не зажёт, и дверь за собой не закинул... Только сапоги по привычке сбросил у порога. Лежал в потёмках, не раздевшись, один на один со своим переживанием... Вот тогда-то и озарило Шурку, что теперь всё зависит только от неё. Что не он, сильный и умный, а только она может отвести нежданную беду, нависшую над их гнездом.

Скинув на плечи платок, она присела на край тахты, пихнула Павла кулачком в бок, чтобы подвинулся, сказала ворчливо:

— Ну чего теперь психовать-то? Подумаешь! Люди вон всем чужих детей берут на воспитание, а эта нам всё ж таки не чужая...

Павел не удивился, не обрадовался. Он даже и глаз не открыл. Только засопел, словно на высокую гору вылез.

— А я ровно знала, что нам ехать, деньги утром с книжки сняла... — не успев договорить, Шура громко, протяжно зевнула.

Нет, к таким переживаниям надо, видно, привычку иметь. Привалившись враз отяжелевшей головой к плечу Павла, засыпая и борясь со сном, она озабоченно пробормотала:

— Светает уже... ой, не проспять бы... к поезду.

— Не бойся... спи! — Широкой ладонью Павел прикрыл наплаканные Шуркины глаза, чтобы не потревожила её до времени ранняя летняя заря. — Спи знай! Я разбуду.

Была бы Светка, как другие дети... Поскучала бы, поплакала, да и начала бы помаленьку привыкать. Всё бы и обошлось

---

и наладилось бы. На первых порах Шура только об одном думала: чтоб как можно меньше бросались людям в глаза Светкины странности, чтобы, пока не попривыкнет она хоть немножко, не пялились бы на неё люди, не замечали, насколько не похожа она на других ребят.

И никому, даже задушевной своей подруге Полинке Сотниковой, ни словечком не обмолвилась Шура о странных болезнях Светкиной матери, о ненормальном Светкином воспитании.

Очень уж боялась она за Павла. Не разберутся люди, станут говорить: «Дочь-то у Павла Егоровича недоразвитая... полудурок, в мать зародилась».

Жалеть начнут, сочувствовать. А другой ещё и посмеётся. Есть ведь и такие, что очень не любят Павла за прямой характер, за строгость в работе. Рады будут за его спиной зубы поскалить.

Подруга со школьной скамьи, а теперь соседка по дому Полина Сотникова, наглядевшись на Светку, шипела в сенцах, тараща на Шурку круглые любопытные глаза:

— Ой, Шурёна, я, ей-богу, и одного дня с ней не вытерпела бы! Ну чего её корёжит? Что она молчит? А может, они с матерью в секте состояли? Ты знаешь, какие они, эти сектанты, вредные?!

— Прямо-то! Ещё чего не придумай! — со смехом отмахивалась Шура. — Девчонка как девчонка! И чего она вам всем далась? Привыкнет. Тебя бы вот так-то: взять от родной матери, из своего угла, да завести бы на край света, в чужой дом, к незнакомым людям — легко бы тебе было? А что молчит, так в кого ей шибко разговорчивой-то быть? Вся она — папенька родимый: и лицом, и характером, и разговором. Капля в каплю Павел Егорович: в час по словечку — и то в воскресный день.

Все сочувственные вздохи, вопросы и советы Шура выслушивала, безмятежно посмеиваясь.

Будто бы не видела она ничего странного в том, что семилетняя девчонка не умеет улыбаться, что невозможно поймать косоного, ускользающего взгляда её всегда опущенных глаз.

Словно не тревожило Шуру и ничуть не тяготило Светкино молчание.

Разговаривать Светлана могла вполне нормально, не заикалась, не страдала косноязычием. Просто она могла в разговоре обходиться всего двумя словами: «да» и «нет». И ещё время от времени она говорила:

---

— Не надо, я сама...

Произносила она эти слова тихо и невыразительно, но с каким-то непреодолимым тупым упорством.

Когда с ней кто-нибудь заговаривал или просто ловила она на себе чужой пристальный взгляд, плечи у неё приподнимались вверх, а голова медленно и плавно начинала поворачиваться налево, пока подбородок не упрётся в плечо. Со стороны казалось, что кособочит её какая-то тайная сила, какой-то особый механизм, запрятанный в шейных позвонках. Причём косой взгляд её опущенных глаз в этот момент уходил куда-то совсем уж вкось, за спину, за левое плечо. Только благодаря неистощимому Шуркиному благодушию можно было не замечать этого нелепого кособочия и хоть в какой-то мере противостоять глухому упорству противных слов: «Не надо... я сама...».

— Давай я тебе коски заплету... — говорит утром Шура, притягивая к себе Светку за плечо.

— Не надо, я сама. — Светка вывёртывается из тёплых Шуркиных рук и, скособочившись, отходит в угол.

— Ну что ж, сама так сама... — покладисто соглашается Шура. — Пока дома сидишь, можно и самой. А вот как в школу пойдёшь, тогда уж смотри... — И начинает, посмеиваясь, рассказывать, как Екатерина Алексеевна один раз отправила её домой, когда она, ещё во втором классе, явилась в школу с плохо прибранной головкой.

— И причёсываться надо перед зеркалом, а то гляди, какую дорогу сзади оставила... — Шура подбирает длинную прядку волос и вплетает её в Светкину косичку, словно не замечая, что Светкина голова совсем ушла в плечи, что вся она сжалась, напряглась, как будто вот сейчас должно случиться что-то нехорошее.

— А вообще-то ты всё же молодец! Смотри, как гладенько заплелась, и проборчик пряменький... — она снимает с комода зеркало и ставит его на Светкин столик.

— Гляди-ко! Я этак-то и в десять лет ещё не умела.

А Светка действительно многое умела делать. Даже и не поверишь, что девчонке ещё восьми лет не исполнилось.

Шурка часто хвалилась перед бабами:

— У нас Светлана — до всего способная! Читает, как большая, первый класс на круглых пятёрках закончила. И в любой работе такая проворная, такая растёт помощница. И всё сама. Ни просить, ни заставлять не нужно. Сама дело видит. Уж эта не будет тунеядкой, как у некоторых доченьки-белоручки.

Довольно быстро Шура нашла хитроумный способ «разговаривать» со Светкой.

---

— Свет! Гляди, какие пуговочки, по-твоему, лучше подойдут? — спрашивает она, раскинув перед Светкой нарядное пёстрое платье. — Красненькие или зелёные? Красненькие вроде больше личат, верно? Ну что же, ладно. Давай тогда красненькие и пришьём.

— Свет! Ты когда за хлебом ходила, видела, какие в ларёк арбузы привезли? Как ты думаешь, спелые? Ну, коли спелые, давай, пока Ленка спит, сбегает. Вдвоём-то мы шутя сразу пять штук принесём: ты в сумке два маленьких, а я в мешке три больших. Папка придёт — вот удивится-то! Как это, скажет, вам пособило столько арбузов натаскать?

Они отправляются за арбузами. По дороге Шура рассказывает, как однажды она пожадничала и купила два большущих арбуза, а ни сумки, ни мешка с собой не было. Вот и пришлось ей один арбуз в руках нести, а другой ногами катить перед собой. Так вот через всю деревню на потеху ребятишкам и пинала она арбуз, как футбол, до самого дома...

Она рассказывает и звонко хохочет. И со стороны действительно может показаться, что вот идут по улице двое и о чём-то оживлённо и весело толкуют.

Но всё это могло только показаться со стороны, если не присматриваться. Шли недели, а Светка продолжала молчать. И была такой же чужой и немилой, как и в первые дни. Соседские девчонки норовили было с ней познакомиться, но скоро отступились. Кому она нужна, такая... кособокая?

Была она послушна. Молча, чем могла, помогала Шуре по хозяйству. Ходила за молоком, за хлебом в ларёк.

Всё свободное время проводила она за столиком в своём углу. Шура заметила, что девочка любит рисовать, шепнула Павлу, и он навёз из города карандашей цветных, красок разных, альбомчиков для рисования.

Как-то в большую уборку Шура обнаружила под Светкиным матрасом альбом, до конца заполненный рисунками. Интересно так срисовано, где из книжек, а где из головы, видно, придумано.

Но никогда не видела Шура, чтобы взяла Светка нож карандаши починить или налила бы воды в стакан кисточки мыть.

Всё тайно, всё крадучись. И никогда не застанешь её врасплох. Войдёшь в залу, заглянешь за шифоньер — перед ней на столе «Мойдодыр» развёрнут. Большущая такая книга с картинками. «Мойдодыром» она и закрывала своё рисование, прятала от чужих глаз. Значит, всегда она настороже, всегда в ожидании. А почему? Боится ли она кого, или сты-

---

дится? Шура не спрашивала. С первых дней ей как-то само собой стало ясно, что расспрашивать Светлану ни о чём не нужно. Нельзя.

Очень хотелось Шуре приучить Светку играть в куклы. В кукольном уголке на кукольном стуле одиноко сидела рядная белокурая красавица Катя. Подарок отца. На кукольной кровати, прикрытой лёгкой простышкой, сиротливо лежал смугленький голыш. Но ни разу не видела Шура, чтобы взяла Светка куклу на руки или понянчила малыша.

Только как-то однажды ранним утром, заглянув за шифоньер, Шура обнаружила, что голыш поверх простыни прикрыт тёплой Светкиной косынкой. Значит, всё же пожалела Светлана маленького, ночи-то были уже по-осеннему холодные. Больше всего обижало, что не хотела Светка носить нарядные, новые платья, которые с таким старанием шила для неё Шура. Сходит в магазин и, спрятавшись за шифоньер, сбросит новое, Шурино, и торопливо натягивает старенькое, «своё». А новое аккуратно повесит в шифоньер. И лицо у неё в этот момент такое, что Шура понимает: ни сердиться, ни уговаривать, ни убеждать нельзя. А «своего» у Светки только и было, что два серых застиранных платишка и старая, потёртая сумочка — «мамин редикуль».

Павел ещё там, на месте, хотел взять из «редикуля» и переложить в свой бумажник Светкину метрику и документы её матери, но Светка прижала «редикуль» к животу и, скособочившись, начала медленно пятиться к двери. Было ясно, что «редикуль» у неё можно было взять только силой.

Метрику она позднее отдала сама, когда Шура объяснила, что без метрики в школу могут не принять. Должны же учителя точно знать, сколько ей лет. А метрика-то была нужна для оформления Светки на фамилию отца. С «редикулем» Светка почти не расставалась. Ночью клала под подушку, а позднее даже идя в магазин, стала брать его с собой. Шуру томило любопытство: что в нём таится такое драгоценное, что нужно так бдительно охранять, прятать от чужих глаз? Она всё же не утерпела, выбрала удобный момент, когда Светка ушла на речку, и заглянула в «редикуль».

Какие-то старые конверты, картинки, квитанции. Паспорт. А в нём, в аккуратном конвертике из розовой промокашки, старая фотография. Длинное, плоское лицо, без выражения, без улыбки в тусклых глазах... Господи! И как только Паша мог?! И какое же это счастье, что Светка всем обличьем уродилась в отца! А иначе... не стерпеть бы, не вынести.

---

Шура тихонько всхлипнула и торопливо сунула «редиккуль» обратно под постель.

— Дурёха, дурёха, ну кому нужен твой «редиккуль»? Чего ты трясёшься над ним?

Шура тогда ещё не знала, что за «редиккулем» уже давно охотится Юрка, что совсем не так-то просто охранять от него Светлане свои сокровища. Многого тогда ещё Шура не знала. Вернее, просто не придавала значения, хотя бы потому, что Юрка окончательно отбился от дома и скоро, видимо, совсем переселится к бабушке. За последнее время он очень огрубел, стал какой-то дёрганный, противный. А что хуже всего, он, оказывается, люто возненавидел Светку.

Когда Шура хватилась, было уже поздно: ни лаской, ни строгостью не могла она убедить Юрку если не подружиться, то хотя бы просто оставить Светку в покое. Однажды она услышала Юркин выкрик: «Поганка черномазая! Приблуда! Немтырь толстогубый!». Как следует отхлестала его кухонным полотенцем и загнала в угол; правда, он тут же вывернулся и с рёвом убежал к бабке.

Теперь он эти слова и ещё многие другие не выкрикивал вслух, а шипел, кривляясь на пороге спальни или бегая назло взад-вперёд мимо шифоньера. Он изводил Светку методически, с ревнивой и хитрой выдумкой баловня семьи, любимчика, отстранённого с привычного места по вине этой черномазой приблуды... Действовал он смело: в случае поражения он всегда мог отступить на надёжные и хорошо укрепленные позиции — за бабкину спину.

Как-то прибежал он с улицы, весь в глине, потный, возбуждённый. Прибежал, чтобы поесть на ходу и скорее бежать обратно.

На берегу Каменки, за новыми сараями, строили они под руководством третьеклассника Игоря Истомина крепость трёхэтажную, с миномётами в окошках, а окошки, Игорь сказал, называются ам-бра-зуры.

Шура с интересом слушала сообщение о строительстве. Надо было поругать неслуха: опять, выходит, ни дома, ни у бабушки не обедал, — но очень уж не хотелось заводить грех.

— Ладно. Иди мой лапы да садись за стол, — сказала она миролюбиво, раскатывая на столе скалкой большую круглую лепёшку из теста.

Юрка убежал в сени и закричал оттуда, гремя умывальником:

— Мам, воды налей!

---

— У меня руки в тесте...— откликнулась Шура. — Попроси Свету, она нальёт...

— Да-а-а...— гнусаво завёл Юрка. — Ка-а-ак же! Нужна она мне... буду я её просить...

— Ну не хочешь, как хочешь. Сиди жди, пока я лапшу не сделаю.

— Да-а-а! — взвыл уже во весь голос Юрка. — Мне скорее надо!

Из зала вышла Светка, направилась бочком в сени.

— Света, поди-ка ко мне...— негромко окликнула её Шура. — Зачем ты ему потакаешь? Ему, свинёнку такому, четыре вежливых слова сестре сказать неохота, а ты потакаешь... Конечно, ты у нас большая, старшая, ты должна младшим помогать, учить их, но капризам ихним никогда не потакай! Орёт? Ну и пушай орёт! Сорвёт дурь, глядишь, хоть на копеечку поумнее станет.

Юрка, примолкший, чтобы послушать, о чём в кухне идёт разговор, при последних словах завопил от возмущения совсем уже по-дикому. Потом в сенях с грохотом покатилося поганое ведро, и тут же о порог хрястнулся кусок мыла.

Шура не спеша отёрла руки полотенцем и пошла в сени. Волоком тащила она Юрку через кухню. Когда он особенно крепко упирался, она наклонялась и маленькой жёсткой ладонью добавляла ещё к тому, что уже было всыпано для начала в сенях.

Она уволокла его в спальню: там, между комодом и Ленкиной качалкой, Юрка обычно всегда отбывал наказание за свои грехи.

— Посидишь до ужина. Потом в сенях приберёшь, потом прощения попросишь.

Вот какой был на этот раз приговор.

Шура плотно прикрыла за собой дверь в спальню. Подле шифоньера, съёжившись, втянув голову в плечи, стояла Светка.

Смуглое, большеротое, скуластое её лицо было искривлено жалкой, плаксивой гримасой.

Подумать только. Неужели она жалеет Юрку?!

Конечно, Шура прекрасно понимала, что не Юрка придумал все эти поганые слова: приблуда, немтырь...

Но как можно было его удержать дома, не пускать к бабушке? Мать и так даже похудела от всех этих переживаний. Леночку почти не видит. Если ещё и Юрку у неё отобрать, что же это будет?

---

Ругаться с ней, чтоб не настраивала она Юрку, просить, чтобы не говорила при нём чего не следует, — всё это ни к чему. Тем более теперь, когда начинают сбываться её пророчества: «Не твой характер... не твой умок требуется, чтобы с этим дитём сладить...». Ладно, пусть она дура. Пусть Светлана не желает её признавать. Ну а уж Юрку-то своего она хорошо знает. Никакой он не злыдень. Забили ребёнку голову. Один одно внушает, другой — другое. Вот разъяснить ему всё... как было, не такой уж он маленький — поймёт, тогда и бабкиного шипения слушать не станет.

Вечером, уложив Леночку спать, Шура притянула Юрку к себе, зажала между колен, чтобы не вертелся.

Юрка только что помыл перед сном ноги, стоял у неё в коленях в одних трусиках, смугленький, крепкий, как маленький гриб-боровичок, с любопытством выжидательно смотрел в лицо матери.

Шура вынула из косы гребень и стала полегоньку разбирать, расчёсывать густые Юркины волосы, выцветшие за лето на солнце и пахнущие солнцем, и ветром, и ещё какой-то полевой травкой.

— Ты вот всё зловедничаешь, обижаешь Светку, а того не понимаешь, что другая девчонка на её месте давно бы уже папе на тебя пожаловалась. А он бы тебя выдрал — и правильно. Она девчонка, а ты парень, ты должен за неё всегда заступаться, потому что она тебе сестра. Можешь ты это понять или нет? Родная, кровная сестра... А папа наш, как тебе и Алёнке, так и ей такой же папа...

— А ты? — прищурившись, с любопытством перебил Юрка.

— Ну, а я... мама...

— А бабаня говорит, что ты мачеха.

— А ты никого не слушай, — сердито оборвала его Шура. — И слова этого никогда не говори, оно нехорошее...

— Матерное?

— Ну хотя и не матерное, а всё равно нехорошее. Вот слушай, я тебе сейчас всё разъясню... Был наш папа совсем ещё молодой, — Шура заговорила медленно, негромко, словно новую интересную сказку придумывала. — Такой был папа молодой, ну вот как Саша Сотников, только Саша ещё учится, а папа уже был трактористом. А тебя и Алёнки ещё на свете не было.

— А мы где были? — удивился Юрка.

— Не вертись ты и слушай, не было вас, потому что вы ещё тогда не родились. А меня папа тоже не знал...

---

— Тоже ещё не родилась?

— О господи! — Шура на минуту задумалась, потом тряхнула головой и решительно повела дальше рассказ о том, «как это всё было». Всё — от начала до конца.

— А когда мы с папой приехали, Светину маму уже похоронили, а Света всё плакала... — голос у Шуры сорвался. От умиления и жалости она и сама чуть не расплакалась. — Папа говорит ей: «Не плачь, Света, я твой родной папа, а ещё у тебя теперь будет сестра Леночка и брат Юрик. Он тебя никому в обиду не даст».

Юрка слушал, хмуро насупившись, но вот и у него губы начали набухать... он поднял на мать налитые слезами глаза.

— Мам...— прогудел он, всхлипнув, — не надо её нам... скажи папе... пусть обратно увезёт...

С малых лет и до самого последнего времени среди своих семейных Шура славилась умением поспать. Мать называла её соней-засоней, а Павел смеялся, что Шурка — как котёнок на тёплой лежанке: свернётся клубочком, малость помурлычет и готова — засопела.

А теперь вот она впервые на себе узнала, что это такое — бессонница. И недаром люди говорят, что бессонница хуже болезни.

Лежать, тарашить глаза в темноту и думать всё об одном... Особенно плохо спалось, когда не посапывал рядом Павел, а он теперь нередко и на ночь оставался в поле. Уборка шла круглосуточно.

Лето задалось тяжёлое: сначала жгла засуха, а подошла уборка — начались дожди.

Ребят Павел почти и не видел: утром уезжал на заре, приезжал поздним вечером, когда они уже спали. К этому часу сил у него оставалось ровно столько, чтобы успеть помыться и уже через силу прожевать то, что торопливо ставит перед ним на стол Шура.

Поначалу, как привезли Светку, Павел с тревогой присматривался и к дочери, и к жене. Но вскоре успокоился. Полностью доверился Шуре, окончательно убедившись, что неспособна его Шурка обидеть ребёнка, тем более сироту.

Шурка не дулась, не попрекала его Светкой, не жаловалась на неё. Чего ещё можно было желать? Тем более, что не оставалось у него ни минуты свободной на семейные дела. Всё же он интересовался, каждый раз заглядывая мимоходом за шифоньер, спрашивал тихо:

— Ну, как она?

---

— Ничего... — неизменно отвечала Шура. — Привыкает помаленьку. Ложись давай.

Да, она не жаловалась. В том-то и была беда, что ей некому и не на кого было пожаловаться. Правильно мать-то говорила. Кого теперь винить, если сама она на себя эту петлю надела.

Была бы Светка, как другие дети... А может, правильно Полинка говорит, что всё-таки есть в ней какая-то ненормальность? Может, сказать Паше, свозить её в город к врачам по этим самым болезням. Может, забрали бы её куда-нибудь лечить. Есть же, наверное, где-нибудь больницы или дома специальные для таких.

Ой, нет!! Господи, что это, какая ей дикость в голову лезет?! К учению ребёнок способный, сноровка во всяком деле, как у большой. И не сгрубит никогда, не своевольничает. Просто требуется к ней особый подход, а какой он, этот самый подход?!

Может, с ней строгость нужна? Может, надо встать перед ней да и спросить напрямую: «Чего тебе не хватает? Чего ты хочешь?».

Шура садится в постели и, охватив колени руками, мерно покачиваясь, начинает ещё раз перебирать в памяти, как ездили они с Пашей за Светкой, как увидела она её в первый раз.

Мельниковы, те, с которыми Наташа уехала на Север, встречали их на пристани. Николай Михеевич, обняв Павла, сказал растроганно:

— Знал. И ни минуты не сомневался в тебе, Павел Егорович! — Потом он пристально посмотрел на Шуру. — Значит, и жинка с тобой пожелала... Ну, вот и добро! — И как-то очень серьёзно и уважительно пожал ей руку.

Потом его жена Марина Андреевна подвела к ним Светку. Светка прижимала к животу старую, потрёпанную сумочку. Не поднимая опущенных глаз, она молча подала руку, сначала Шуре, потом Павлу.

Павлу-то догадаться бы, обнять её, на руки взять, а он растерялся, топчется на месте, положил руку ей на плечо и молчит.

Марина Андреевна заплакала, а Николай Михеевич отвернулся, покашлял и говорит:

— Ну, ладно, пошли!

Квартира у Натальи была при почтовом отделении — небольшая комнатка, не то чтобы грязная, а какая-то запущен-

---

ная, серая. И всё в ней было серое, даже шторка на окне не белая, а из какого-то серенького ситчика. И наволочки на плоских подушках, и старенькое байковое одеяло на железной кровати.

У Шуры даже под ложечкой задавило, когда представила она себе, как привезёт всё это серое в свою новую светлую квартиру.

Она незаметно вызвала Павла на крылечко и, заглядывая снизу в его сумрачное лицо, умоляюще зашептала:

— Давай, Паша, не будем ничего отсюда брать. Я для неё всё свеженькое пошью, новенькое, ладно? И подушечка у меня для неё есть, чисто пуховая, а одеяло ватное, сатиновое я ей сама выстежу.

Павел смотрел ей в лицо пристально, хмуро.

— Ну что ж, — вздохнул он невесело, — правильно, пожалуй... А ей объясни, что обратно самолётом полетим, а в самолёт, мол, с вещами не берут.

Так вот и получилось, что на новое жительство увезла Светлана только несколько платьишек, связку книг и «редиккуль».

Больше всего удивило Шуру, что у Светки не оказалось никаких игрушек, ни единой, хотя бы дешёвенькой, хотя бы самодельной куклешки.

И ещё молчаливость. Конечно, каждому понятно, девочка всё же большая, только что схоронила мать... Но всё же ни разу не поднять глаз, не сказать ни словечка, кроме «да» и «нет»...

Марина Андреевна на все Шурины расспросы отвечала уклончиво, неохотно.

Едва-едва удалось Шуре её разговорить. Со вздохами, паузами, где и со слезами рассказывала Марина Андреевна историю невесёлого Светкиного детства.

— Болела Наталья много, сердце у неё было плохое, ну и головой очень она мучилась. Болезнь какая-то нервная у неё была, врачи признавали — неизлечимая. А если по-нашему, по-простому сказать, была в ней порча: накатывала на неё тоска вроде припадков.

А Светку она любила, это даже слов таких нету, чтобы вам рассказать, как она её любила. А растила строго, и очень уж была неласкова. Жили они бедно, на одну зарплату; ни огорода она не имела, ни курёнка, ни поросёнка... От людей отгораживалась, только нас с Николаем и признавала за знакомых. Свету от себя ни на шаг не отпускала и не любила, чтобы к ней дети ходили, даже моих и то не очень привечала. Читать

---

Светку она на пятом году обучила, книги ей покупала безотказно, а игрушек не признавала никаких. А к работе приучала прямо без всякой жалости.

Я как-то не стерпела и стала ей выговаривать: «Что же ты, — говорю, — с ребёнком такая суровая? Ни ласки она от тебя не видит, ни шуточки не слышит. И радости никакой не знает. Работа да книжки. Подружки — и той у неё нету...». А она говорит: «Я долго не протяну, ей в сиротстве жить. Пусть ко всему привыкает, а подружек ей никаких не надо, пока я с ней. Нам с ней никого не надо».

Николай Михеевич, тот совсем начистоту, ничего не скрывая, высказался:

— Трудно вам с ней, ребята, придётся. Девчонка она умненькая и не злая, только очень уж запугала её Наталья против людей. Как накатит на неё эта болезнь-то, так и начинает она Светланке внушать: «Вот помру я, узнаешь тогда, как без матери жить. Вот тогда вспомнишь, как останешься одна посреди чужих людей».

Иной раз, поверите, даже слушать жутко. «Лучше бы, — говорит, — я тебя с собой рядом в могилу уложила. Никому ты, кроме меня, не нужна, всем ты чужая, лишняя, обуза тяжёлая. Ребёнка только родная мать может любить. Чужого ребёнка люди из милости, из жалости терпят. И всё это — притворство».

Для неё, понимаешь, все люди чужие были. Больной человек, что с неё возьмёшь? А Светлану, я так понимаю, придётся вам исподволь, тихонько к людям приучать. И к себе тоже, чтобы забыла она материны внушения, перестала им верить. Ну, конечно, терпения вам много потребуется... Особенно вам, Александра Николаевна, как матери. Потому что обходиться с ней надо только лаской.

Лаской... Если бы она ласку-то принимала. Что она ни отцом, ни матерью их не называет, это ничего. Бывает ведь так: осиротеет ребёнок, а его старшая, взрослая сестра на воспитание примет.

Вот и Светка, пусть бы росла наместо младшей сестрёнки. Разве плохо, когда в семье большая девочка есть? Алёнку когда ещё дождёшься, а с этой и сейчас уже можно было бы и поговорить, и посоветоваться, и посмеяться.

Вполне возможно, что и полюбила бы её Шура в конце концов. Всё-таки Пашина кровь. А может быть, она такая потому, что чувствует Пашино к ней отношение? Паша-то ведь к ней совершенно бесчувственный. Не может он никак осознать, что она ему кровная дочь. Умом понимает, а сердцем

---

привязаться не может. А ребята, они ведь чуткие на этот счёт. Неужели она понимает, что взял он её только из-за совести... поневоле? Выходит, правильно ей мать-то внушала, чтобы не верила она никому?!

Неправда! Была бы она, как все дети. И Паша бы её любил. И не стала бы она для нас тяжёлой обузой. Из-за проклятого её характера вся наша семья может прахом пойти. Сколько же такое можно выносить, скрывать от людей, прикидываться. Закусив губу, чтобы не дать воли слезам, Шура плотно закрывает глаза. Лучше бы капризничала, не слушалась, орала бы. Ну, положим, если она заорёт, все соседи разом сбегутся. Полинка говорит, что и так в народе уже болтают: отчего это ребёнок такой забитый? Отец по неделе дома не бывает, а мачехе какая вера? Мачеха... Из школы два раза уже приходили... И председатель женского совета Ирина Антоновна, как встретит, всё только про неё выспрашивает. Ну, конечно, не у матери родной ребёнок живёт, у мачехи.

Вот скажут люди: «Несчастный ребёнок, и отец тоже несчастный. Принял сиротку, понадеялся на жену, а она для ребёнка обернулась не матерью, а мачехой. Разве можно такому поверить, люди скажут, чтобы к ребёнку подхода не найти?». Обычно, слушая бабьи пересуды, Шура только посмеивалась. На сплетни ей наплевать. А вот суда людского она боится. И не из-за себя, а из-за Павла.

А вдруг Пашу вызовут? С такими вот семейными делами в партком вызывают к Алексею Ивановичу! Вот позорище-то, вот обида для Паши будет! Он из-за этой своей дурацкой работы вроде слепой, не видит, что у него под носом в семье делается, что из-за милой его доченьки про нас люди говорят. Неужели же он не видит, каково мне с ней приходится, как трудно сдерживать-то себя?

Иной раз в глазах даже потемнеет, затрясёт всю, а ты всё шутишь, улыбаешься, всё подход этот самый к ней ищешь. Ну что ей нужно? Так вот схватила бы её за плечи, трясла бы, трясла: «Ну скажи мне, уродушка ты несчастная, чего тебе не хватает? Что ты от нас хочешь?!».

Обливаясь слезами, Шура стиснула в зубах угол простыни и уткнулась лицом в колени. Не хватало ещё только ребят своим рёвом перебудить.

В школу Шура снарядила Светку по всем правилам. Форма шерстяная, коричневая, с кружевным воротничком, фартучки с крылышками. Пальто осеннее новенькое, и шапочка к нему под цвет. Портфельчик коричневый, со всеми положен-

---

ными принадлежностями. Все последние дни Шура очень переживала: как Светлана поведёт себя в школе? Тем более, что накануне пришлось объяснить ей, что фамилия у неё теперь папина и ей нужно откликаться, когда учительница Людмила Яковлевна скажет: «Олеванцева Света, отвечай урок!».

Светка не возразила, не заплакала. Но до чего же худенькая, до чего сиротливо поникшая сидела она вечером в своём углу. И Шуре было очень не по себе. Словно это она осиротила, обездолила человека, а теперь вот ещё и последнее, фамилию мамину, отобрала... Это просто даже смешно, но под первое сентября Шура уснула только перед самым рассветом. Против ожидания Светлана в школе держалась совсем неплохо. И смотрела она не на свои ботинки, а на комсомольский значок, красиво алеющий на белой блузке Людмилы Яковлевны.

А когда Людмила Яковлевна сказала: «Олеванцева Света, подойди ко мне!» — она отошла от Шуры и спокойно встала в паре с Томкой Ушаковой.

У Шуры немножко отлегло от сердца. Такая серьёзная, смугленькая, с белыми капроновыми лентами в косах, стояла Светка на линейке. А когда их строем повели в класс, она оглянулась и впервые, хотя и через плечо, взглянула Шуре в лицо.

С первых же дней Светлана начала таскать из школы одни пятёрки. Уже полностью овладев умением разговаривать со Светкой, Шура без труда узнавала о её успехах.

— Пять? — спрашивала она весело, встречая Светку из школы.

— Да, — тихо отвечала Светка, чуточку скособоцась.

— По чтению?

— Не...

— По арифметике?

— Да...

— Устно?

— Не-е...

— Письменно?

Светка кивала и, молча раскрыв тетрадку, показывала толстую красную пятёрку.

Несмотря на частые дожди, с уборкой справились неплохо. И хлебосдачу закончили первыми в районе. Урожай на круг получился не таким плохим, как ожидали. Теперь даже самые отпетые маловеры на опыте убедились, что при хорошей агротехнике и засуха не такой уж страшный враг.

---

Под конец страды установились ясные, погожие дни, и держались они, пока народ полностью не управился в поле со всеми осенними работами. Даже капусту и ту успели снять по сухой погоде.

Настроение у механизаторов было приподнятое. Словно после трудного многомесячного сражения возвращались они на отдых, на зимние квартиры.

Павел тоже вроде с фронта домой пришёл. Приятно расслабленный после бани и сытного ужина — завалился на тахту и, дремотно щурясь на мерцающий в полумраке экран телевизора, блаженно пригрозил:

— Так вот и буду лежать, пока не отосплюсь. Встану, поем и опять на боковую...

Но благодушного настроения хватило ненадолго.

Ещё с летних дней, когда он привёз Светку в свой дом, Павел почувствовал, что товарищи присматриваются к нему с любопытством и уважением. Словно примеривают его поступок к себе: а смог бы и я так-то вот открыто признать свой грех — назвать себя отцом и принять в свою семью совершенно чужого мне до сих пор ребёнка?

Нередко даже малознакомые люди доброжелательно спрашивали его о новой дочке, и на все вопросы Павел неизменно отвечал Шуриными словами: «Ничего. Привыкает помаленьку».

Отвечал уверенно, с достоинством, он не сомневался, что Светка действительно помаленьку привыкает.

И вот теперь оказалось достаточным всего несколько дней побыть дома, чтобы понять: Светлана в его семье как была, так и осталась чужой. Шли дни, а она ни разу не подняла на него глаз, ни разу никак не назвала его. Так и жил он рядом с дочерью — ни папа, ни дядя, ни Павел Егорович...

И сам Павел чувствовал себя подле неё скованно и неловко. Он не знал, о чём с ней говорить. Не мог же он разговаривать с ней по-Шуркиному: лопотать, смеяться, не реагируя на её глухое молчание, спрашивать и тут же на свои вопросы сам отвечать. На первых порах он ещё пытался заставить её разговориться.

— Ну, как у тебя в школе дела? — спрашивал он, стараясь насколько возможно смягчить свой глуховатый, неласковый голос.

Светлана низко опускала голову и шептала себе подмышку:

— Ничего...

---

— А как это понимать — ничего? — Павел через силу улыбался, чтобы подавить закипающее раздражение. — Хорошо или так себе? Серединка на половинку?

— Хорошо... — ещё тише выдавливала Светлана.

На этом беседу, собственно говоря, можно было бы считать исчерпанной, но Павел не сдавался:

— Слушай, Света, почему ты себя так ведёшь? Ты же большая, должна бы, кажется, понимать, что если тебя спрашивают...

Он говорил, и ему самому было тошно и тоскливо слушать свой нудный, отечески-назидательный голос.

А Светка молчала и всё круче загибалась куда-то влево. В конце концов перед глазами Павла оказывалось её правое высоко вздёрнутое плечо, ухо и часть щеки.

Иногда он с трудом сдерживал желание взять её за это упрямое плечо, повернуть к себе лицом и сказать жёстко:

— А ну, довольно кривляться, стань прямо, подними голову!

Но всегда в эту минуту рядом оказывалась Шурка с каким-нибудь неотложным делом или кто-то там срочно вызывал его на улицу... Или ещё что-нибудь.

Особенно раздражала его Светлана за столом.

Сидела, упёршись подбородком в грудь, приткнув к губам ломоть хлеба, не то сосала тихонько край куска, не то по крошечкам незаметно откусывала от него.

Зачерпнув ложку щей, медленно тянула её к губам и, беззвучно схлебнув, так же беззвучно опускала ложку на стол.

— Светлана, почему ты суп не доедаешь? — спрашивает Павел, с трудом сдерживая раздражение. — Если не хочешь, так и скажи...

Светка ещё ниже опускает голову, но тут вклинивается Шура:

— Ну, не хочешь — и не надо. — Она ловко вытаскивает из-под носа Светки недоеденный суп и, раскладывая по тарелкам второе, с ходу начинает рассказывать очень смешную историю, как вчера у Варенцовых поросёнок в старую погребушку завалился.

Первым из-за стола, отдуваясь, начинает выбираться Юрка.

— А спасибо где, сынок? — перебив Шуркин рассказ, останавливает его Павел.

— Да-а-а... — обиженно гудит Юрка. — А почему Светка никогда спасибо не говорит?

---

— А ты за Свету не беспокойся, ты за себя беспокойся, — ласково советует Шура. — Света привыкнет и будет говорить всё, что нужно. Ладно, сынок, на здоровье, беги играй!

И она со смехом продолжает рассказывать, как толстая Варенцова сноха полезла за поросёнком в погребушку, а потом и самоё оттуда на верёвках мужики вытаскивали. Не вникая в смешной рассказ, Павел время от времени окидывал Шурку хмурым недоверчивым взглядом.

Откуда у неё это спокойствие, это терпение? Неужели её и вправду несколько не трогает идиотское Светкино кособочие, глухая её, упрямая немота? Всё ей нипочём. Крутится, похохатывает. Правильно, видно, мать-то определила: лёгонький умок.

Наступил день, когда, закончив работу, Павел задержался в мастерской просто так, без всякой надобности. Домой идти не хотелось. Перестало его тянуть домой. Уже несколько дней ни Шура, ни Светка не садились за стол, когда он приходил домой обедать.

— А мы уже покушали, — спокойно сообщала Шура, подавая ему тарелку аппетитных щей. — Света раньше приходит из школы, да и Юрка пробегается, есть просит.

Павел понял, что она Светку кормит отдельно от него, потому что при нём дочь не может есть, выходит из-за стола голодная.

И не стала больше Шура гнать его в воскресенье на дневной сеанс с ребятишками в кино. Не ворчала, что никак он не соберётся сделать ребятам катушку-ледянку в огороде.

Ссора получилась очень нехорошая. Слов было сказано немного, но все они были обидные и несправедливые.

— Не пойму я тебя, — раздеваясь поздним вечером в спальне, угрюмо сказал Павел, — чему ты радуешься? Чего ты перед ней зубы скалишь? «Привыкает... привыкает...» Где же она привыкает? Чего ты хвалилась? Она тебя признавать не желает, а ты знай похохатываешь. Вот уж истинно: ни бревном, ни пестом не прошибёшь.

Шура резко обернулась, губы у неё дрогнули, но плакать она не собиралась.

— Я, конечно, извиняюсь, Павел Егорович... — ядовито усмехаясь, сказала она, бросив за спину тяжёлую косу. — Не пойму я глупым своим умишком: на кого это вы рычать вздумали? — Она прищурилась язвительно, но вдруг, вся залившись гневным румянцем, шагнула к нему почти вплотную: — Может быть, это я её в девках нагуляла, а теперь вот привела

---

да тебе на шею посадила?! Получай подарочек, дорогой мужёк, расплачивайся за мои старые грехи. Воспитывай моего найдёныша, а я посмотрю, что у тебя получится, какой ты есть воспитатель, годишься ли в отцы моей доченьке? А сам ты кто? Дядя чужой или отец? Ты хоть раз спросил: каково мне с ней? Посоветовал мне, помог чем-нибудь? Ты, месяца не прошло, на стенку от неё полез; а я скоро полгода мучаюсь. Меня, видишь ли, она не признаёт, а тебя признаёт она за отца? И много ли сделал ты, чтоб она в тебе отца признала? Чем ты к ней заботу свою проявил? В кино с детьми сходить и то не допросишься. Сколько раз просила — сделай ребятам катушку! И неправда, что она несколько не привыкает. Это при тебе она не только есть, а даже шевелиться не может. Ничего ты не понимаешь! Ты уж хоть не лезь, не мешай мне, не ломай того, что сделано. Разве я виновата, что она такая?!

— И я не виноват. Внушила ей мать чёрт-те что. Неужели ты не понимаешь? Она же ненавидит нас, — угрюмо буркнул Павел, отвернувшись к стене.

Мысль эта, неотступная, неотвязная, не давала Павлу покоя. Что могла Наталья внушить ребёнку? Как такую маленькую научила ненавидеть отца? За что? Снова начинал Павел ворошить, перетряхивать прошлое. Нужно было в конце концов доказать, что нет его вины перед Натальей, что она самовольно повернула не только свою, но и Светкину, и его судьбу куда ей вздумалось.

...В Покровку Павла отправили трактористом сразу после окончания межрайонной школы механизации. Это теперь в Покровском и клуб новый с кинобудкой — картины через день показывают, и школа, и магазин как игрушечка. А тогда только и было, что старая колхозная контора да почтовое отделение в пятистенном домишке.

Завернув как-то на почту за конвертом, Павел очень обрадовался, увидев в углу, подле окна, небольшую витринку с книгами.

Когда случалось попутье, он брал книги в сельской библиотеке на центральной усадьбе, но такое попутье выпадало нечасто, и временами, бывало, хоть волком вой от тоски. И взвоешь, если читать нечего.

А тут, надо же, такое удобство: зайти на почту и купи себе книжку или журнал, какой на тебя глядит, а с полочки и на две, и на три книги можно раскошелиться.

На квартире Павел стоял у бригадира Исаева. Семья была небольшая, трезвая, но очень уж все любили поговорить.

---

А на почте было всегда тихо, никто не шумел, не вязался с пустяковыми вопросами или разговорами, слушать которые было совершенно неинтересно.

В выходной день Павел являлся на почту как на дежурство, иногда сразу после завтрака. Долго выбирал на витрине книгу, а выбрав, платил за неё почтальонше деньги и закладывал новопкупку за брючный карман на животе.

Потом снимал с витрины свежий журнал и усаживался бочком на подоконнике, чтобы не занимать единственного табурета, стоящего у стола для клиентов. И сидел, пока не начинало от голода бурчать в животе. Однажды он пришёл после обеда. Взял с витрины журнал «Огонёк» и позабыл обо всём на свете. Давно закончился у Наташи рабочий день, давно уже закрыла она входную дверь на крючок, а он всё сидел, согнувшись, на подоконнике. А когда она негромко окликнула его из-за своего барьера, он, словно спросонок, поднял голову. И встретил её взгляд, внимательный и дружелюбный. Оказалось, что она, эта худая и всегда неласковая почтальонша, умеет улыбаться.

— Очень уж ты много денег на книги тратишь. — Голос у неё был глуховатый, но доброжелательный и приятный. — Ты же молодой, тебе одеваться нужно хорошо. Ты можешь брать книги у меня. — Она открыла в барьере дверцу. — Иди выбери, какие нравятся. Прочитаешь — приходи сменяй. Тебе надолго хватит. У меня их больше ста.

Квартира у неё была казённая, тут же, при почте. Небольшая комната с сенцами и отдельным ходом во двор. Комната казалась полупустой: узенькая железная кровать, небольшой стол в простенке, два стула, кое-какая посуда на кухонной полке.

И книги.

Везде книги: на столе, на подоконнике, на стульях.

— Вот это все мои, — можешь брать их домой, а это казённые, для продажи, их можешь здесь читать.

В этом тихом углу Павел прижился на удивление быстро. Уютно потрескивают в печурке дрова, на плите, пофыркивая носиком, закипает чайник. С журналом в руках прикорнула на кровати Наташа, а Павел с книгой вольготно расположился на полушубке перед печкой.

В мирной тишине, в приятном молчании проводили они длиннейшие зимние вечера. Намолчавшись и начитавшись до отвала, усаживались пить чай.

Говорили больше о книгах, о прочитанном. Иногда Наташа читала на память стихи, знала она их великое множество.

---

Раньше Павел не то чтобы не любил стихов, а просто как-то не замечал их.

Мне грустно и легко, печаль моя светла...

Наташа произносит эти слова тихо и как-то очень просто, а у Павла больно холодеет в груди, и ему никак не верится, что это тот самый Пушкин, которого они «проходили» в школе и из которого ему не запомнилось ни одной строчки.

Наташу он называл на «вы», и ни разу ему не пришло в голову, что она хоть и некрасивая и не молоденькая, но всё же девушка. И одинокая. А он, холостой парень, ходит к ней, и частенько возвращается от неё в ночь-полночь.

О том, что Наташино имя треплет беспощадная деревенская сплетня, Павел узнал от того же Мельникова Николая Михеевича, работавшего в те времена в Покровской кузне.

Наташу Мельниковы знали ещё по детскому дому, жалели её и уважали за строгий характер и правильное поведение. После серьёзного мужского разговора с Николаем Михеевичем Павел решил, что надо раз и навсегда забыть на почту дорогу.

Но оказалось, что это совсем не так просто сделать. Четыре дня он всё же воздерживался, торчал по вечерам в старом, полутёмном клубе или сидел дома, играл со стариками в подкидного, пробовал побольше спать.

А в воскресенье, едва дождавшись сумерек, крадучись, задами, огородами, пробрался в почтовый двор и постучал в Наташино окно.

— Глупый ты человек, Павлик, — вздохнула Наташа, закрывая за ним дверь. — Ну какое мне до них дело? Замуж я за тебя не собираюсь, потому что старше я тебя на целых восемь лет и здоровье у меня слабое... какая я жена? А кто ко мне ходит и с кем я дружу, до этого никому никакого дела нет. Конечно, если ты боишься свою репутацию подорвать, тогда не ходи, а о моей репутации можешь не беспокоиться. И не вздумай заступаться за меня: я сама за себя сумею постоять. Об одном прошу: хочешь ко мне ходить — ходи открыто, не прячься, не крадись, как вор.

Вот как она тогда рассуждала.

А ему в ту пору только пошёл двадцать первый год.

И позднее, когда они сошлись, Наташа ни от кого не таилась, не стеснялась, что теперь вот действительно не зря к ней ходит Пашка-тракторист.

В деревне её, конечно, сильно не одобряли, потому что очень уж они были неровня, но в глаза осуждать Наташу ни-

---

кто не осмеливался, да и Павел был не той породы, чтобы можно было над ним безнаказанно зубоскалить или вязаться к нему с советами да уговорами.

А потом Павла перевели в мастерские на Центральную усадьбу.

Первое время он очень скучал, в выходной старался попасть в Покровское, не один раз даже пешком ходил.

Но подошла посевная, и до конца уборочной он мог заглядывать в Покровское от случая к случаю. И, видимо, за это время они начали друг от друга отвыкать, а может быть, Павел стал стесняться, потому что, хотя о женитьбе и думать ещё не думал, но Шурка к тому времени уже основательно его захорогодила.

И Наташа встречала его всё холоднее и отчуждённее.

В последний раз он только постоял с ней на почтовом крыльце... Она даже и зайти его не пригласила. Сказалась больной, и вид у неё, правда, был очень нехороший.

Теперь-то Павел знал, что она в это время была на пятом месяце и уже собиралась с Мельниковыми к отъезду.

Но тогда о беременности её никто не знал, даже Марине Андреевне Наташа призналась, когда они уже были на Севере.

Конечно, в Шурку он тогда здорово врезался, но скажи Наташа о беременности — и он женился бы без единого слова. И Шурку бы оставил, потому что с Шуркой он до женитьбы ничего себе не позволил...

Да разве не предлагал он Наташе расписаться, когда о ребёнке ещё и помину не было? А она усмехалась:

— Нет, уж лучше не надо. Чтобы ты возненавидел меня за то, что жизнь твою сгубила, молодость твою заела? Через десять лет мне под сорок будет, а ты ещё только-только в силу входить начнёшь...

Вот как она тогда рассуждала. Здравое, вообще-то говоря, рассуждала.

Так за что же через Светку казнит она его теперь? За то, что не могла унести дочь с собой в могилу? За то, что досталась её дочь... сопернице?

Так разве в Шурке или в нём дело? Светке жить надо. А как она будет жить среди людей с таким... кособоким характером?

Как-то Павла по дороге с работы остановил директор школы и долго, подробно, с пристрастием расспрашивал о Светке.

---

А вечером на огонёк зашёл председатель рабочкома, чего раньше никогда не случалось. Толкуя с Павлом о том о сём, он всё время искоса поглядывал на Светку, окаменевшую в своём углу над раскрытой книгой.

Уже два раза приходила Куличиха из женсовета — баба въедливая, бесцеремонная. Пытаясь втянуть Светку в разговор, смотрела то на неё — жалостливо и тревожно, то на Шурку — укоризненно, с подозрением. Осмотрела всё в Светкином уголке, мимоходом тронула рукой постель, проверила: достаточно ли мягкий матрас скрыт под голубым покрывалом, не кладёт ли мачеха сиротку на голые пружины?

Прибегала Поинка Сотникова, шипела в кухне на Шуру:

— Сама ты виновата, хвалишься, как дурочка, перед бабами: «Светка у меня такая трудолюбивая, такая старательная, такая помощница!». Вот теперь в народе и болтают, что она у тебя и за няньку, и за горничную...

Было ясно, что не случайно и не мимоходом появляются все эти люди в доме Павла. Что не одних учителей тревожит, почему его Светка не такая, как все дети.

Видимо, что-то неладно в семье Павла Егоровича. Неспроста же восьмилетний ребёнок за полгода не смог привыкнуть к семье. Забитого ребёнка сразу видно.

Отец дома находится мало, он и сам многое может не знать, что творится за его спиной. Главная причина, конечно, не в отце...

В воскресенье, после обеда, пришла Людмила Яковлевна, Светкина учительница, молоденькая, строгая — не улыба.

Светка была в кино. В этот день младшие классы под командой вожатых смотрели «Конька-Горбунка».

Лёжа после обеда в спальне, Павел слушал, как Шура демонстрирует учительнице Светкино хозяйство.

Видимо, учительница пришла не в первый раз. Рабочий Светкин столик, книжная полочка, кукольный уголок — всё это она уже видела.

Интересовало её явно совершенно другое. Но Шура ничего не понимала. Она оживлённо тараторила, сама себя перебивая смехом, рассказывала, как утром погасло электричество и Светка в потёмках надела фартук на левую сторону.

Показывала новые книжки, вытащила откуда-то из-под матраца альбом и начала хвалиться Светкиными рисунками.

Людмила Яковлевна сдержанно похвалила и книжки, и краски, и рисунки.

— Скажите, а как Света вас называет? — спросила она вскользь.

---

— А никак! — рассмеялась Шура. — Не привыкла ещё.

— Странно! — Голос учительницы звучал строго и осуждающе. — А как она называет отца?

— А тоже никак!

Павел стиснул зубы, он готов был и уши зажать, чтобы не слышать её смеха. Неужели эта дурища не понимает, что её подозревают чёрт-те в чём?

— А не очень она у вас перегружена домашней работой? У вас ведь ребёнок маленький?

— В моём ребёнке, если на старые фунты переводить, больше пуда живого веса... — фыркнула Шура. — Не то что Светка, я сама-то её едва поднимаю!

Павел соскочил с кровати, торопливо прошёл через залу, накинул телогрейку и вышел в сени.

Чуть не забыл со зла: Андрюха дрель новую просил принести. Павел вошёл в кладовую. Тут же послышались голоса, стукнула дверь. Это Шура вышла проводить учительницу.

— Хорошо... Хорошо, — повторяла она уже без смеха, видно, всё-таки допекла её Людмила Яковлевна своими вопросами.

Говорить с ней сейчас Павлу не хотелось. Прислонившись к стенке, он переждал, пока она, проведив гостью, не войдёт в дом.

Вбежав с крыльца в сени, Шура вдруг сдавленно охнула и, зажимая ладонью рот, закричала тихонько, сквозь рыдания:

— Не могу больше! О господи, не могу я больше!

Надо было выйти, обнять её, увести в дом: она ведь выскочила-то раздетая, в одной шалёнке, но у Павла ноги словно одеревенели.

Ах, дурак, дурак! Что же это такое творится?!

Шура ушла в дом. А вечером, когда Павел, прошатавшись более трёх часов за посёлком, пришёл домой, она уже опять как ни в чём не бывало, напевая, суетилась подле плиты, болтала с ребятами, и у него не хватило духу начать с ней большой разговор о Светке. Рассказать, как нехорошо думают о ней люди, что не доверяют ей люди, боятся за Светкину сиротскую судьбу.

Прошла ещё неделя. Обычная и вроде бы вполне благополучная. Наступила суббота — самый милый из всех дней недели. Закончена большая субботняя уборка. В квартире даже немного торжественно от особенной предпраздничной чистоты и порядка.

Бабушка Анфиса Васильевна после бани в благостном настроении, даже на Светку не косится. Сидит с ребятами за

---

столом. Алёнка на высоком стульчике рядом с бабушкой. Юрка напротив — такие они румяные, чистенькие, хорошие после бани.

Светлана помогала Шура лепить к ужину пельмени, потом они перемыли посуду, и Светка у кухонного стола перетира-ла ложки и вилки. На плите закипала в большой кастрюле вода.

Придёт сейчас из бани Павел, Шура бросит пельмени в кипяток — и через десять минут готово целое блюдо великолепного сибирского угощения.

Накрывая на стол к ужину, Шура рассказывала матери, как они со Светкой вчера потеряли котёнка Тузю, рыжего Тузю:

— Ну просто обыскались! Света и в подполье лазила, и за печку: «Тузя! Тузя!». Я и в кладовке всё обшарила... А вот и папка из бани идёт... Потом я говорю: «Давай, Света, я тебя подсажу, погляди на шифоньере...».

Дойдя до самого интересного места, Шура мельком взглянула на Светку и замолчала на полуслове.

Прижав полотенце к груди, Светка к чему-то напряжённо прислушивалась. На побледневшем лице её было столько тревоги и страха, что и Шура чего-то внезапно испугалась.

Швырнув на стол полотенце, Светка ринулась в залу. Через мгновение оттуда пулей вылетел Юрка, сжимая что-то в кулаке. Он швырнул под ноги Светки раскрытый «редиккуль». Светка налетела на него сзади, они ударились о кухонную дверь и вывалились в сени, под ноги входившему Павлу.

Когда Шура выскочила в сени, Юрка с рёвом валялся на полу, а Павел, стиснув Светку за плечо, пытался повернуть её к себе лицом.

— Не тронь её! — крикнула Шура, на бегу подняв с пола клочья порванной фотографии.

Она оттолкнула Павла и, подхватив Светку, как маленькую, на руки, побежала с ней в залу.

Впервые Светка плакала, как плачут в горе все восьмилетние девчонки: навзрыд, судорожно всхлипывая и захлёбываясь слезами.

— Гляди, Свет! Ну ты только взгляни, — уговаривала её Шура, складывая на своём колене половинки фотографии: — Погляди, только нижний угол оторванный. Мы с тобой завтра утром, как встанем, сразу пойдём к дяде Мише, к фотографу. Он всё подклеит, а потом переснимет, вот увидишь — ещё лучше будет. А одну карточку попросим его увеличить — и будет у тебя портрет, рамочку купим красивую...

---

Вскинув голову, она прислушивалась и, отстранив притихшую Светку, выскочила в кухню.

— Что ты над ним причитаешь?! — закричала она возмущённо. — Что ты стонешь: «Маленький!.. маленький!..». Да много ли он меньше-то её? Или ты сама не видишь, что он, змей зловредный, с первых дней проходу ей не даёт?!

— Да где же это видано? — ахнула Анфиса Васильевна. — Из-за каких-то картинок кидаются на ребёнка, как бешеные...

— Не картинка это... — Шура вдруг очень устала, она не могла больше сердиться и кричать. — У неё от матери только и осталось, что эта карточка. Она эту сумочку из рук боялась выпустить и вот не уберегла всё же...

— Ну и что? — строптиво поджала губы Анфиса Васильевна, обнимая надутого, заплаканного Юрку. — Значит, теперь из-за ихних карточек убить надо ребёнка? Ладно, не плачь, дитёнок мой, одевайся, пойдём к бабке. У бабки на тебя никто не набросится...

— Подождите, мамаша! — резко оборвал её причеты Павел. — Никуда он больше не пойдёт. И, пожалуйста, не травливайте вы детей друг на друга...

Когда оскорблённая Анфиса Васильевна удалилась, Павел не спеша снял с себя брючный ремень, положил его на край стола.

— Ну, а теперь объясни мне, зачем тебе эта сумочка понадобилась? — Он притянул Юрку к себе, сжал между колен. — Не молчи, плохо будет... — И протянул руку за ремнём.

— Паша, не надо! — Держа на одной руке Алёнку, Шура другой рукой перехватила ремень. — Не тронь его, хуже сделаешь, неужели и это тебе непонятно?

Выдернув Юрку из отцовских колен, она дала ему хорошего шлепка и подтолкнула к двери.

— Марш в спальню! И сиди, пока папа не позовёт.

В этот момент Алёнка, обидевшись, что семейная баталия протекает без её участия, спохватилась и закатила самый большой рёв. Она не хотела идти на руки к отцу, выгибалась, дрыгала ногами, визжала...

Пока Шура утихомирила её и уложила, ребята, наревевшись каждый в своём углу, уснули без ужина.

Павел молча и без всякого удовольствия глотал свои любимые пельмени. Шура тоже молчала. Молчание её казалось непривычным и странным. Круглое, миловидное лицо её не было сердитым. Просто о чём-то она очень серьёзно, трудно и невесело думала.

---

Заговорила она только поздним вечером, когда Павел уже лежал в постели. Заплетая перед зеркалом на ночь косы, Шура спросила, не оборачиваясь:

— Ты, когда брал её, думал о том, что теперь ты за неё в полном ответе? — Она помолчала, потому что Павел не ото-звался. Закинув руки за голову, он хмуро, прищурившись, смотрел в потолок. — Я, ей-богу, не знаю, что мне с вами со всеми делать. — Шура громко вздохнула. — То ли со Светкой возиться, то ли тебя к ней приучать? Куклу девчонке купить и то ты сам не догадаешься, всё тебе подсказать надо. А она должна чувствовать, что всё это от тебя идёт, от твоей заботы. Вот шёл ты как-то с ними из кино. Я гляжу: Юрка на правой руке у тебя висит, а Светка сбоку, сзади плетётся. А почему бы тебе другой-то рукой её за руку не взять? Не хочет. А ты этого не замечай. Её к ласке-то силком приучать приходится. Раньше ты хоть Юрке внимание уделял, а теперь из-за Светки и на него не глядишь, а сегодня ещё и ремнём замахнулся. А он злится и на неё всё вымещает. Сейчас, по-моему, главное всего, чтобы они между собой подружились. Я вот тебя сколько раз просила: возьми ребят, поди сделай с ними катушку. Надо, чтобы они больше вместе находились и чтобы ты с ними был. У Юрки лыжи без ремней валяются, а у Светки и совсем нет никаких. Я тебе сказала, ты покосился да промолчал. — Уложив косы, Шура присела на край постели, устало бросив руки на колени.

— Слышала я одну такую пословицу: «от немилой жены — постылые дети». Только я считаю, что это в корне несправедливо. Завели вы её, конечно, сдуру, ну, а она-то при чём? И напрасно ты себе в голову вбиваешь, что мать что-то Светке внушала против тебя. Ты мне поверь: Светка про тебя раньше ничего не знала. А несуразная она такая получилась, потому что характером-то выродилась вся в тебя, а мать ей досталась больная, ненавистница. Рядом с такой и взрослый человек смеяться бы разучился и разговаривать отвык. Если разобраться, так она и при живой матери вроде сироты была. А теперь при живом отце... немилая дочь. Ты думаешь, она не понимает, что ты её не любишь? Она, Паша, очень умненькая, она всё понимает.

Опершись на локоть, Павел изумлённо вглядывался в лицо Шуры. Вот вам и Шурка! Вот вам и лёгонький умок! Он не мог оторвать взгляда от кругленького, простоватого, милого Шуркиного лица, от невысокого чистого лба, на котором совсем, видимо, недавно, прорезалась незнакомая Павлу вертикальная морщинка.

---

— Ты понимаешь, Паша... — Шура говорила медленно, раздумчиво, словно сама удивлялась своим словам. — Её ко всему заново приучать надо. Есть она при людях не может. Я сначала тоже думала, что она характер свой показывает, назло делает, капризничает. Нет, Паша! Я потом, как научилась в ней немножко разбираться, вижу: она и сама себе не рада. Уж я чего не придумывала, пока приучила её при мне есть как следует быть; вот почему я с ней отдельно от тебя стала обедать. Не может она ещё при тебе пересилить себя. Ты уж подожди пока. Она ведь даже в куклы играть не умела, подружек у неё никогда не было. Как мы с Полинкой к девчонкам её приучали, смех один, ей-богу! Подговорили Полинкину Раиску и Зиночку Ильину, вот те после обеда и приходят к нам. Я Светке кричу: «Света, к тебе гости, иди встречай!». А сама Ленку в охалку. «Играйте, — говорю, — девочки, а я к тётке Поле платье кроить пойду. Света, ты девочек, — говорю, — чаем угощай, в буфете мёд, печенье, конфетки». Сидим мы с Полинкой, болтаем, а самим не терпится поглядеть, как наша Светлана с гостями обходится. Полина пошла будто за ножницами. Вернулась, хочет. «Кукол, — говорит, — за стол усадили. Светка вся разгорелась, суетится, хлопочет, на стол собирает...» Теперь девочки как в школу идут, заходят за ней, а после уроков к себе уводят играть. Раиска говорит, что с ними она разговаривает и даже смеётся иногда... Она, Паша, и к нам привыкнет, потерпеть надо только. И ещё я так думаю: хватит нам переживать и от людей таиться. Мне другой раз в голос бы реветь, а я выбадриваюсь перед людьми, только бы поменьше Светкины ненормальности в глаза людям кидались. Хорошие люди нас всегда поймут и помогут, а из-за дураков и переживать нечего. Верно, Паша? И ещё я думаю, Паша, всё-таки должен ты её полюбить. Ты только приглядишься — до чего же она на тебя и на Юрку походит. Ты даже не представляешь, какая она способная, какая у неё память острая! А как её учительница хвалит! И знаешь, Паша, она в шашки играть умеет, честное слово! Вот бы тебе с ней поиграть, а?

«Умница ты моя...» Вслух этих слов Павел, конечно, не сказал. Он и подумал-то это, возможно, какими-нибудь другими словами. Он молча привлёк её к себе и кончиками пальцев осторожно, благодарно разгладил морщинку над переносьем, такую лишнюю на её милом лице.

Шура не зря сказала Павлу, что, как-никак, а Светка по-маленьку всё же начинает привыкать. В этом вопросе надо было брать во внимание, что, кроме вредного змея Юрки, на

---

свете жила ещё Алёнка — годовушечка-лепетушечка, дочка Ленка-Ленушечка. При людях Светлана к Алёнке не подходила, словно той и на свете не было. Но по некоторым признакам Шура догадалась, что между сёстрами возникли какие-то тайные отношения. Выдавала тайну Алёнка.

При появлении Светланы она начинала трепыхаться от радости, гулила, тянула к ней руки, а потом редела, когда Светка проходила мимо, не взглянув на неё. А Алёнка начинала стоять дыбки. Она была толстая и лентяйка. Передвигаться предпочитала на четвереньках. Каждый понимает, насколько это значительный, насколько серьёзный этап в жизни человека, — научиться стоять дыбки.

— Свет, гляди, гляди! — восторженно зашептала Шура за Светкиной спиной. — Ленка стоит! Смотри, скорее!

Светка стремительно обернулась на стуле. Тёмные — Пашины — брови изумлённо и радостно вскинулись вверх, дрогнули губы, но улыбнуться она не успела — опомнилась и, словно померкнув, медленно отвернулась к столу и склонилась над своей тарелкой. Алёнка шлёпнулась на пол. Шура подхватила её на руки, потискала, помяла и снова поставила на ножки, но уже по другую сторону стола, чтобы Светка могла видеть её, не оборачиваясь. Алёнка стояла дыбки честно, ни за что не держалась.

— Дыбки-дыбошки, стоят наши ножки... — лучась и сияя пела Шура, присев перед ней на корточки. Крыльями раскинув руки, чтобы в любое мгновение подхватить, не дать упасть, испугаться, она ворковала, собирая всяческую милую чепуху:

А мы на эти ножки купим сапожки,  
Ножки в сапожках бегут по дорожке...

А через несколько дней у Шуры разболелся зуб. Днём, уложив Алёнку, она с грелкой прилегла на тахту. Она слышала, как осторожно ходит в кухне, вернувшись из школы, Светка. Потом захныкала Алёнка в спальне.

Нужно было встать, но зуб пригрелся, боль притихла, и не было сил оторвать голову от тёплой грелки. Через силу стряхнув сон, Шура приподнялась, но тут же снова приникла к подушке.

В спальне тоненький, нежный, незнакомый голосок напевал:

А мы на эти ножки купим сапожки,  
Ножки в сапожках бегут по дорожке...

---

И тот же голосок сказал внятно, с любовной строгостью:

— Тихо, Алёнка, тихо! У мамы зубик болит, — не шуми, дай маме поспать.

Через полчаса Шура, громко зевая, прошла, шаркая ногами, в кухню, а когда ровно через две минуты вошла обратно в залу, Светка уже сидела в своём углу над раскрытой книгой, а в спальне в одиночестве хныкала Алёнка.

Купая в кухне Алёнку, Шура не раз ловила внимательный, любопытный взгляд из-за дверного косяка.

Одной ребёнку купать, конечно, неудобно, и однажды Шура призвала на помощь Светлану:

— Будь добренькая, помоги! Никак теперь с ней, с толстухой, одной не управиться. Возьми кувшин и лей ей на голову, лей, не бойся! Теперь на спинку. Ну, вот мы и помылись. Вот какие мы голенькие, чистенькие, вкусенькие.

Шура положила завёрнутую в простыню Алёнку в кроватку и вдруг всплеснула руками:

— Батюшки, молоко-то?! — Она промчалась в кухню, где на плите стояло в кастрюле молоко на вечернюю лапшу. Помешивая ещё холодное молоко, она крикнула из кухни:

— Света, вытри, пожалуйста, Алёнку. Рубашку надень, а сверху кофточку. Только на руки не вздумай брать. Надо рвёшься!

В этот вечер Шура переделала в кухне кучу дел. Юрка был у бабушки, Павел задержался на работе.

Светка унесла в спальню несколько своих книжек — читала Алёнке сказки, что-то пела потихоньку... Но не успел Павел переступить порог кухни, как Светка, схватив в охапку книжки, метнулась из спальни, и через минуту сидела за своим столом над раскрытой книгой, а в спальне обиженно хныкала Алёнка.

С тех пор между Шурой и Светой установилось негласное соглашение, когда они были одни, Шура просила:

— Света, поиграй с Алёнкой. — И Светка, забрав книжки и куклы, шла в спальню.

А потом пришла такая минута, когда Светка сама, скосив глаза в угол, спросила:

— Я уроки сделала... Можно мне поиграть с Алёнкой?

На следующее после драки утро Шура со Светкой отправились к фотографу. Оставив Светку за воротами на скамеечке, Шура пошла узнать, дома ли дядя Миша, фотограф. Вскоре Светку позвали в дом.

---

Осмотрев порванную фотографию, дядя Миша внимательно и ласково взглянул на Светку и сказал, что беда вполне поправима, через пару дней будет готова новенькая карточка, и рамка для неё найдётся подходящая, бери и сразу ставь на стол.

От дяди Миши они пошли на рынок, походили по магазинам, купили двое санок на железных полозьях: синие — для Светки, красные — для Юрки.

А когда вернулись домой, оказалось, что Павел с самого утра стащил Алёнку к бабушке и успел сделать две небольшие деревянные лопаты.

Наскоро пообедав, всем семейством вышли в огород, потому что катушку решили делать в огороде. Получался очень хороший разгон с уклоном до самого плетня.

Помочь Павлу сколотить невысокую площадку и приладить к ней два наклонных бревна пришёл Семён Григорьевич, Раискин отец, потом подошли с лопатами соседи Саша и Сергей Иванович Бороздины. Конечно, сбежалась вся соседняя ребятня. Светлана и Юрка трудились до седьмого пота. Очень уж хороши были новые лопаты, да и отец, не давая зря болтаться, покрикивал:

— Света, Юра! Берите вон эту плашку, тащите сюда!

— Света, помоги Юрке ту глыбину вниз спихнуть... А ну-ка, дочка, помогай: держи доску за тот край, я прибивать стану, а ты, сынок, встань для груза посередине.

Уже под вечер Саша сбежал в гараж, притащил длинный резиновый шланг. Через форточку окна его протянули в кухню к водопроводному крану. На ночь катушку на первый раз залили водой. Три вечера Павел после работы трудился с ребятами в огороде. Совместными усилиями сделали широкие ступени, по которым можно было без труда взбираться с санками на площадку.

Нарастили снеговые борта на площадке и на самой катушке, чтобы никто не мог свалиться сверху в снег. На несколько рядов поливали и замораживали спуск и ледяную дорожку. Лёд становился всё толще, всё прочнее, и наконец на пятый день красавица катушка была готова. Только поздним вечером удалось загнать ребят по домам. Когда Светлана и Юра, полусонные, разомлевшие после горячего ужина, добрались до постелей, Павел негромко, сдерживая усмешку, сказал, покосившись на Шуру:

— Светка сегодня полезла в снег за жердиной, а Юрка как заорёт: «Светка, не лезь, там яма, провалишься!».

— Ой, Па-ша...— Шура глубоко, длинно вздохнула и, на мгновение прикинув к Павлу, умильно заглянула ему в по-

---

теплевшие глаза. — Пойдём, Пань, скатимся хоть по разочку, ладно? Ты одевайся, а я сбегаю Полинку с Семёном кликну и Сашку...

Обновили катушку на славу. Согнувшись вдвое, с разбойничьим посвистом пролетал по ледяному раскату Сашка. Упоённо визжали, барахтаясь в сугробе, Шура с Полинкой. Негромко гоготал, скользя мимо них на собственных салазках, Павел. Словно в бочку ухал Семён, падая животом на кусок старого линолеума.

— Что я тебе скажу, Паша... — собирая Павлу ужин, Шура мимоходом плотно прикрыла дверь в залу. — Я ещё на той неделе к Екатерине Алексеевне ходила. Она хоть и на пенсии, а в школе часто находится, всё молодым учителям помогает. А Светкина Людмила Яковлевна с ней в одной квартире живёт. Я, Паша, Екатерине Алексеевне всё как есть рассказала. Ты знаешь, как она переживала и за Светку, и за нас с тобой! А тебя она прямо ужасно хвалит. На лыжах-то ты с ребяташками мимо ихнего дома ходишь, и в кино она тебя с ними видела.

А что ты Светку в шахматы играть обучаешь, я ей сказала. А меня она похвалила, что догадалась я: пошила ребятам лыжные костюмчики одинаковые. «Их, — говорит, — даже не отличишь, как братишки-двойняшки». А ещё знаешь что она мне сказала? «Вот, — говорит, — как можно в человеке ошибаться. Росла ты на моих глазах, и учила я тебя четыре года, а какая ты есть на самом деле, не разглядела».

Подперев кулачками подбородок, Шура смотрела в спокойное, по привычке чуть прихмуренное лицо Павла.

— Вчера встретила Людмилу Яковлевну, хорошо она, ласково так со мной поговорила. «Знаете, — говорит, — Шура, я Свету в рисовальный кружок к Игорю Сергеевичу записала. Она хоть и мала ещё, но он посмотрел её рисунки и принял». А директор меня Александрой Николаевной взвеличал. — Шура фыркнула в ладошку. — Подёргал меня вот так за руку и говорит: «Ничего, Александра Николаевна, всё образуется. Мужу привет». Я глаза вытаращила, а он повернулся и пошёл.

К новогодней ёлке готовиться начали загодя, чтобы успеть побольше наделать игрушек. В лесу у Павла и ребят уже была облюбованная ёлочка — заглядение! Под самый потолок встанет она в зале, игрушек на неё пойдёт уйма. Если всё покупать, никаких денег не хватит, да к тому же свои-то игрушки намного интереснее.

---

Целые вечера у Олеванцевых толклись ребятишки: резали, клеили, красили, галдели, хохотали, ссорились и мирились. Часто забегала Людмила Яковлевна, приносила образцы новых игрушек. Хвалила и браковала готовую продукцию. Чаше других, нахмутив тонкие красивые брови, задерживала в руках Светланыны самоделки. Рассмотрев, говорила строго, словно в классе на уроке:

— Вот посмотрите, дети, как Светлана сделала эту корзиночку и какими красками её раскрасила. Это очень красиво, правда? Ты, Света, покажешь ребятам, как нужно разрезать бумагу, чтобы получилась такая красивая корзиночка?

— Хорошо... — тихо отвечала Светка, залившись жарким смуглым румянцем. За последнее время лексикон её обогатился ещё пятью-шестью словами.

— Пап! — радостно вопил Юрка, оглянувшись на стук входной двери. — Чего ты долго? Мы тебя ждали-ждали... Картон такой толстый, мама говорит: «Не трогайте, папа придёт и нарежет».

Павлу очень хотелось поваляться часок с книжкой или подремать до ужина перед телевизором, но Шура делала страшные глаза, и он, крикнув, покорно присаживался к столу и брал в руки ножницы и кусок картона.

Как-то мимоходом забежала Людмила Яковлевна. Ребята возились на катушке. Павел подшивал Шурины валенки: новые в этом году купить не пришлось. Он отложил валенок в сторону и поднялся, чтобы помочь учительнице раздеться.

— Нет, нет, Павел Егорович, я на минуточку. Новость вам принесла хорошую. — Людмила Яковлевна присела к столу, расстегнув меховую шубку. — Сегодня к моим детям приходила Екатерина Алексеевна. Она рассказала ребятам о нашем совхозе, о передовиках производства. Многие из них в детстве были её учениками, но более подробно она рассказала о вас, Павел Егорович. Как вы работаете, учитесь, что вам первому было присвоено звание ударника, и вообще, что вы очень хороший человек. Я смотрю на Светлану — она вся разругалась, слушает, не мигая, и глаз с Екатерины Алексеевны не сводит. А Екатерина Алексеевна обернулась к ней и спрашивает: «Олеванцева Света, скажи, пожалуйста, Олеванцев Павел Егорович не родственник тебе?..». И, вы представляете, Света встала, смотрит ей прямо в глаза и гордо отвечает: «Это мой папа!».

Следующую новость принёс Павел:

— Светка вчера из-за Юрки с Гошкой Щелкуновым подралась, — сообщил он, умываясь после работы.

---

— С Гошкой? — ужаснулась Шура. — Так он же вдвое больше её и годами, и ростом!

— То-то и оно, что больше и сильнее. Семён со своего двора видел. Светка крыльцо подметала, а Гошка погнался за Юркой, Юрка во двор, тот за ним, сбил Юрку с ног, Юрка заорал, а Светка, Семён говорит, как тигра, налетела на Гошку, да веником его молчком по морде. Гошка завыл и бежать, а Светка Юрку подняла, снег отряхнула, платочек из кармана достала и соплю ему вытирает.

Павел повесил полотенце и раскатисто захохотал:

— Нет, это надо же, молодчина какая! Этакого дылду веником по морде!

Возвращаясь с дальней фермы на мотоцикле, Павел на крещенском ветру застудился и получил какое-то нехорошее воспаление в правом ухе.

Неспешно вызревая, нарыв не давал покоя ни днём, ни ночью. За несколько дней Павел осунулся и почернел, словно месяц в тифу валялся. Болела вся правая сторона головы: ни порошки, ни уколы, ни добрая доза водки не могли ослабить неистовой боли.

Приехавший из города врач выписал новое лекарство, но его не оказалось в сельской аптеке, и Шура, утащив Алёнку к бабке, помчалась за лекарством в город. Павел отправил Юрку играть и, оставшись один, дал себе полную волю. Ходил по дому, стиснув голову руками, стонал и ругался сквозь зубы. Наконец, пьяный от боли и лекарств, задремал, плотно прижавшись к подушке больным ухом. Слышал сквозь сон, как хрипло стонет и скрипит зубами во сне.

Разбудила его не боль. Кто-то словно окликнул, позвал его издалека. У кровати стояла Светка, прижимая к груди закутанную в полотенце грелку.

Она смотрела ему в лицо, страдальчески морщась, в испуганных глазах стояли слёзы.

— Что ты, Света? — хрипло спросил Павел.

— Вот... — Светка положила на подушку грелку. — Горячая... Остынет — я ещё налью.

Может быть, от благодатного тепла, сразу приглушившего боль, или от нежданной радости у Павла вдруг горячо повлажнело под веками, он торопливо прикрыл глаза.

— Спасибо, дочка!.. Сразу легче стало. Не уходи... Посиди со мной.

Он хотел протянуть руку, привлечь её к себе, но она уже отошла. Присела у его ног на краешек постели, притихла, как

---

серый нахохлившийся воробьишко. И всё-таки она была рядом. Большая дочка... заботливая... умница. И горячая грелка, приглушившая боль, и благодатная дремота, и совсем рядом тихое Светкино дыхание.

Больше недели бесчинствовала дикая метель. Перемело все дороги; на окраине занесло целую улицу небольших домишек, их миром откапывали из-под трёхметровых сугробов. Мужики на работу ходили артелями, чтобы по дороге на ферму или в мастерские не сбиться с пути, не утяться в степь на верную гибель. Несколько дней не работала школа. Как всегда, начали возникать страшные слухи, что на восьмой ферме не вернулась с дойки пожилая доярка Варя Шитикова, что потерялись в степи три девятиклассника, ушедшие будто бы без спроса домой из школьного интерната. Точно никто ничего не знал. В степи повалило телеграфные столбы, связь с фермами нарушилась. От неизвестности на душе становилось ещё более тревожно и жутко.

Павел вернулся с работы, когда уже совсем стемнело. Долго выбивал снег из одежды, потом отогревался у горячей плиты. Был он в тот вечер угрюм и ещё более, чем всегда, молчалив.

Юрка рано завалился спать. А Светка всё сидела с книжкой в кухне, съевив худые плечи, прислушиваясь к завываниям и стонам вьюги, к жалобному скрипу ставней. Казалось, вот ещё один порыв — и ставни с грохотом сорвёт с окон, со звоном посыплется выдавленные ветром стёкла...

Потом где-то бурей перехлестнуло провода, и погас свет. Стало совсем тоскливо и жутко. Спать легли при свечке. Шура укрыла Светку поверх одеяла своей шубейкой, подоткнула со всех сторон, чтоб не поддувало, и, забрав свечку, ушла в спальню. Долго не спалось. Лезли в голову какие-то старые, забытые страхи и тревожные, беспокойные мысли. Как будто забыла она сделать что-то очень нужное, важное... Или сделала что-то совсем не так, как надо. Ей казалось, что уснули они все на какую-то одну короткую минуту.

Вскочив с постели и нашарив трясущейся рукой спичечный коробок, Шура торопливо зажгла свечку. В ушах всё ещё звучал крик — тоненький, острый, полный ужаса Светкин крик.

Господи, как могла она, дура окаянная, оставить ребёнка в такую ночь одного в тёмной комнате?!

Светка, босая, белея рубашонкой, стояла на пороге спальни. Она повалилась в протянутые к ней Шурины руки, вцепи-

---

лась судорожно в Шурины плечи — такая лёгонькая, маленькая, глупая.

— Ты моя, моя доченька... — заворковала Шура успокоительно. — Вот и всё... И нет ничего. Заберёмся мы сейчас к папке под крыло и будем себе спать, не страшен нам никакой буран.

— Что это ты, дочка? — загудел Павел, принимая Светку из Шуриных рук. — Ты же у меня молодчина, смелая. Ну, ну... ложись, будем спать... Вот так.

Великое это дело — после такого страха лежать на широком, тёплом отцовском плече.

Светка ещё раз тяжело, навзрыд всхлипнула и, закрыв глаза, робко, неуверенно положила руку на грудь отца.

---

---

# Простая история

## I

Недавно пришлось мне побывать в одном сибирском совхозе. Ехала я повидаться с очень хорошим и очень интересным человеком, но за день до моего приезда он был срочно вызван в Москву, и в совхозе я его уже не застала.

Расстроенная неудачей, пошла я в заезжий дом, чтобы следующим утром, с первым автобусом, двинуться в обратный путь.

После благодатно-знойного дня к вечеру вдруг нахмурилось, и из первой же, совсем пустяковой, тучки хлынул дождь.

Настроение у меня окончательно рухнуло. Сенокос был в самом разгаре, ненастье в такие дни — большая беда.

Всю ночь за окном в черёмуховом саду противно хлюпало, шлёпало, булькало. На рассвете дождь прекратился, но утро занималось по-осеннему тусклое, туманное.

Между вчерашним знойным, лучезарным небом и мокрой притихшей землёй висел тяжёлый серый войлок сплошных облаков. Видимо, вот это самое и называется — хляби небесные.

После бессонной ночи любоваться всей этой хлябью не было никакого желания, — я повернулась к стене и с горя крепко уснула.

Разбудил меня неистовый птичий гвалт за окном.

Пришлось подниматься, хотя время ещё было раннее. Нужно было выяснить, чему это птахи в саду радуются так громогласно.

Вышла я на крылечко и... ахнула. Какой-то весёлый хлопотун усердно приводил небо в порядок. Широкими граблями сдирал с небосвода серые лоскутья и энергично гнал их к горизонту. Согнал всё в одно место, потискал, утрамбовал, и над синей кромкой далёкого леса получилась небольшая, но очень тёмная и очень сердитая туча. На прибранное, чисто умытое небо победоносно выплывало солнце. Последние растрёпанные клочья облаков торопливо удирали под за-

---

щиту угрожающе ворчавшей тучи. А она ещё немножко поворчала, погромыхала вполсилы и уползла за синие леса, за высокие горы, что чуть маячили издалека, там, где кончалась просторная щедрая степь и начиналась милая страна под названием Горный Алтай.

Я спустилась с крылечка и окунула босые ноги в бархатную, матовую от дождя муравку, а потом забрела в прозрачную лужицу, которую не успела выпить за ночь широкая песчаная колея. При моём почтенном возрасте шлёпать босиком по дождевым лужам, конечно, не совсем прилично, но просто не было сил вылезти из прохладной лужицы. В заезжем ещё спали, кругом не было ни одной живой души, а впереди, в глухом переулочке, синело в траве целое озерко дождевой воды. Лежала передо мной этакая неглубокая, продолговатая чаша с зелёной каймой и золотистым песчаным доньшком. Не спеша, чтобы продлить удовольствие, вошла я в воду и, раздуваемая о всякой приятной всячине, побрела себе помаленьку, пока не услышала встречного шлёпанья.

Подняла голову и... ещё раз ахнула.

Навстречу мне по безлюдному переулку, в одной руке хозяйственная сумка, в другой — туфли, шлёпала по луже Вера Черномыйка. Остановившись посреди лужи, она, приоткрыв рот, смотрела на меня. Потом швырнула в траву сумку и туфли, всплеснула руками и, смеясь и причитая, побежала ко мне, поднимая фонтаны серебряных брызг.

Вера Черномыйка с шестнадцати лет ходила матросом на барже. Получилось это так. В сорок первом году детский дом, в котором она жила с семи до четырнадцати лет, эвакуировали с Полтавщины в Сибирь. Жилось в эвакуации трудно. Скучно и голодно. Да и стыдно было большой и здоровой девахе в такое время отсиживаться под детдомовской крышей.

Закончив с грехом пополам седьмой класс, Вера забрала в детдоме документы и пошла в затон наниматься на работу. В заводских цехах было шумно и бесприютно. Вера попросилась на реку, и её оформили матросом на баржу «Пинега» к старому шкиперу Разумовскому. Четыре навигации проплавала Вера на «Пинеге», безотказно заменяя Разумовского на шкиперском посту в периоды его тяжёлых запоев. Работу свою Вера очень уважала. Силой, выносливостью да и сноровкой она не уступала среднему мужику, зато не брала в рот водки, была скромна и послушна; поэтому никого не удивило, когда на пятую навигацию ей присвоили звание шкипера и доверили новую баржу.

---

Ранней весной, только закончится ледоход, Вера уходила в плавание. На зимовку глубокой осенью возвращалась в затон, к которому была приписана её баржа. Зимой, наравне со шкиперами-мужчинами, работала в цехе на судоремонте, стала заправским слесарем, как-то незаметно овладела премудростями сварки и газорезки.

Не один раз ей предлагали перейти из плавсостава в береговые, отдавали даже под её начало бригаду молодых слесарят, ежегодно приходивших на судоремонтный завод из ФЗО. Даже выделили ей комнатку в новом бараке. А в те времена одинокому получить отдельную, хотя бы и крохотную, комнатушку, означало, что человек этот стоящий и им очень дорожат.

Но уходить на берег Вера не захотела.

Каждую весну, словно праздника, ждала она начала навигации.

Могучая, добрая река, тихий шорох и плеск струи за бортом, по ночам дрожащие в чёрной воде огни бакенов и мерцающий свет одинокого чужого костра на туманном берегу... И запах смолистого дымка от негасимого дымокура.

И тишина... Тишина и милые книги... и мысли — просторные, спокойные, лёгкие. А главное — подальше от людей.

Странилась Вера людей совсем не от нелюдимого, мрачного характера, да, собственно, она и не странилась, а просто стеснялась подолгу мозолить людям глаза. Очень уж она была некрасива. Беспощадно некрасива: от самой макушки реденьких рыжевато-белёсых волос и до кончиков плоских, словно раздавленных пальцев на больших тощих ногах. И не было у неё ни «лучистых голубых глаз», ни «нежной улыбки», которыми положено скрашивать некрасивые лица некрасивых героинь многих художественных произведений. Ничто не скрашивало её длинного костистого лица и нескладной, мужской фигуры. Красивым у неё был только голос: не какой-нибудь певческий, а обычный разговорный голос, — глубокий, мягкий, по-украински певучий. По-русски Вера говорила почти без акцента, на украинский сбивалась только в минуты волнения. Очень выразительно у неё получалось, когда, узнав о чём-нибудь нехорошем, она говорила, страдальчески морщась:

— Ой! Дуже погано!

В цехе Веру уважали — за её непоколебимое бескорыстное трудолюбие; за молчаливую готовность в любую минуту прийти товарищу на помощь: отстоять за товарища лишнюю смену, поделиться дефицитным инструментом, деньжонок одолжить до полочки...

---

Но не было у неё ни задушевной подруги, ни просто хотя бы хороших знакомых, к которым можно забежать по-свойски вечерком на огонёк...

В гости она не ходила и у себя ни разу в жизни гостей не принимала...

Так вот и жила она — вроде бы и на людях, и в то же время на отшибе, в стороне от людей.

Перебравшись из общежития в «свою отдельную комнатушку», Вера хвалилась мне шепотком, сконфуженно посмеиваясь:

— Я теперь не хуже царицы какой живу, ей-богу! Приду с работы, печку затоплю, помоюсь, как мне надо, покушаю домашнего обеда и заваливаюсь, как фон-барон, с книжкой на кровать. А устану читать — квартиру на замочек и иду в кино или к вам в библиотеку...

А без библиотеки она, казалось, и трёх дней не могла бы прожить.

Собираясь в плавание, Вера забирала у нас целую книжную передвижку. С одинаковым удовольствием она читала популярные научные и технические брошюры, и «Основы политических знаний», несказанно радуя своей ненасытной любознательностью наши библиотечные сердца.

Очень любила я наблюдать за Верой, когда она подходила к книжной полке. Книгу в свои большие грубые руки она брала как-то особенно бережно, словно что-то живое, милое и хрупкое.

Она могла часами слушать рассказы о книгах, и сама, обычно молчаливая, о прочитанном говорила с нами всегда охотно, живо и интересно.

Вот она пришла сдавать томик «Тихого Дона».

Библиотека уже закрыта, мы сидим в коридоре, перед жаркой топкой сибирского камелька. На дворе мороз, приходится протапливать на ночь. Я помешиваю кочерёжкой рубиновую грудку углей, слушаю Веру, и мне кажется, что она только что приехала с тихого Дона, забежала передать мне привет от Аксиньи, от Мишки Кошевого, рассказать, какая беда приключилась у Мелеховых, — утопилась Дашка.

— Боже ж ты мой! Ну не дура ли?! Такая красивая, ну як же ж такое можно?!

Исчезла Вера из затона неожиданно и, как нам тогда казалось, беспричинно. Словно каким-то нелепым ветром сорвало её вдруг с обжитого гнезда. И никому она не сказала, не простилась ни с кем. Прислала с соседской девчонкой книги, без записки, без единого приветного слова.

---

Позднее узнала я, что, вернувшись из плавания, она тут же завербовалась в дальний-предальний северный леспромхоз. Удерживать её, как завербованную, на заводе не могли, и она, положительно за один день, собралась на новые места, в дальнюю дорогу.

И ещё был такой слух, что подобрала Черномыйка и увезла с собой пропойцу припадочного, инвалида — Матвея Третьякова.

Имя капитана-наставника Егора Игнатъевича Третьякова в те времена было известно всему речному бассейну. Хорошей славой пользовались и ребята Третьяковы — сыновья Егора Игнатъевича.

Старший, Матвей, перед войной уже ходил на большом пассажирском пароходе механиком.

На третьем году войны пришла на него с фронта похоронная. А он оказался в плену, и уже после победы вернулся домой. Не прошло и года, как от него ушла жена, а для знатной семьи Третьяковых стал он позорищем: «Мотькой-алкоголиком».

Так в посёлке его называли недруги капитана Третьякова.

Вскоре после Вериного исчезновения и я из затона уехала. И вот, через пятнадцать с лишним лет, стоим мы с ней в обнимку в дождевой луже под бездонным, степным алтайским небом.

— Тебя ли вижу я?! О ты — суровый шкипер! О волк речной! — трагически восклицаю я. — Могучий лесоруб! Откуда ты взялась в благословенных этих палестинах?!

— Який волк?! Який лесоруб?! Ой, таточку, смерть моя! — всхлипывая от смеха, Вера выводит меня под руку из лужи. — Я ж тринадцатый год курей развожу, цыплят высиживаю. Ой, мамочки, вы только послушайте: иду себе с фермы, ничего не думаю, глянула, а воны середь лужи стоять!

Отсмеявшись и немного передохнув, Вера надевает туфли и вытягивается передо мной по стойке «смирно».

— Разрешите представиться: птичница-куровод, и не простая, а передовая — двести яиц на каждую несущку — Вера Андреевна Третьякова!

Сразу до меня не доходит. Через полчаса я со своим дорожным чемоданчиком выхожу из заезжего дома, чинно иду под ручку с Верой по улице, и только тут, откуда-то с самого доньшка памяти, вдруг всплывает:

«Подобрала и увезла с собой Черномыйка... Третьякова, Мотьку-алкоголика...».

По дороге Вера рассказывает мне о совхозных делах. Нас поминутно обгоняют школьники, косятся на меня с любо-

---

пытством, здороваются с Верой, и Верин рассказ звучит примерно так:

— Прошлогоднюю засуху да бескормицу и сейчас вспомнить страшно — «Здорово, Ванюшка!» — нынче порешили, кровь из носа, сена поставить не меньше, чем полтора плана, — «Здравствуйте, девочки!» — чтобы в случае чего был запас кормов не меньше, чем на полгода вперёд. Травы нынче такие, старики не упомнят — весь покос без выходных, все живые и мёртвые в полях. А сегодня всем праздник, общий выходной. Взрослые-то отсыплются, отдыхают, а ребятам не спится. Младших решили сегодня в горы свозить, а старшие на соревнование в район собираются — «Вовка, ты куда это в рваных трусах наметился? У-у, бессовестный! Во второй класс, женишина, перешёл, а не доглядит бабка — он совсем нагишом на гулянье явится. Иди сейчас же, надень новые штанишки».

Мои-то мужики сегодня на дальние озёра рыбачить собирались — «Здравствуй, Любушка! А галстук-то у тебя почему в руке? Ну-ка, Нина, повяжи Любаше галстук, да научи её, как пионерский узел вяжут». — Вечером будем карасей в сметане жарить, а Виктория — дочка — пирогами грозит кормить, стряпню затеяла, она у нас домоводка, стряпуха. Ребятишки на гулянье собираются, а наши наскучались, и на гулянье их не манит. Славка от отца ни на шаг, а Викулька всё ко мне жмётся — мала ещё мамкина дочь, двенадцатый год недавно пошёл.

В переулке за школой нас перехватил маленький румяный старичок. Он, видимо, давно уже с пригорка нас высмотрел, и ждал посреди узкого переулка, опершись на батожок.

— Доброго утречка, Андреевна! С праздничком вас со христовым, с выходным днём! — Он степенно поклонился и общил с ядовито-кроткой улыбкой:

— За хлопоты за ваши спасибо, дай бог вам здоровья, а только крыша моя как текла, так и текёт, вы меня к бригадиру как депутат послали, а он и разговаривать не хочет, и записку вашу в стол пихнул. А мы со старухой сегодня наскрозь промокли, вот иди погляди, она от ревматизма криком кричит.

— Ладно, Иван Евстигнеевич, завтра я тебе сама плотника приведу, — терпеливо дослушав старичка до конца, сказала Вера и, уже простившись, добавила, смешливо прищурив левый глаз:

— А ноги-то у Петровны не от ревматизма болят, его у неё сроду не было, дай бог не сглазить. Ноги-то она у Сашки на свадьбе оттопала!

---

За углом дорогу нам пересекала красивая, средних лет женщина. Не здороваясь, с ходу закричала, горестно скривив тонкие губы:

— Что же это такое, Вера Андреевна, где же правду искать? Кого в новый дом, а я опять хуже всех? Кому, выходит, женсовет защита, а от меня и заявления даже принять не желают?!

— А вы на женсовет не надейтесь. Женсовет за вас хлопотать не будет, — спокойно оборвала её вопли Вера. — Вас на школьный воскресник приглашают, а вы говорите: у меня школьников нету, с чего это я пойду? Все — старики, инвалиды, ребятишки — на покосе, помогают, кто чем в силах, а вас до поля болезни не допускают. Зато по сограм за смородиной лазать да двухведерные корзины на себе таскать — это вашему здоровью не вредит.

Так вот — спокойно, негромко высказала, что полагалось, отстранила женщину с дороги жёстким взглядом, и мы пошли себе не спеша дальше.

У калитки Вериного дома со скамейки поднялась длинная сухопарая старуха. Привалившись плечом к столбу и перегордив вход, она затянула плаксивым басом:

— Андревнушка-матушка! Уж как хотишь, а опять я до вашей милости пришла, нету больше никакого моего терпенья.

— Что, опять со стариком делитесь? Опять людей смешите? Это который же раз?!

— Нет уж, нет уж, Андревнушка-матушка, теперь уж всё уж! Бери, говорит, овечек, а козу, говорит, я тебе не дам, потому что у меня в желудке язва, а у тебя, говорит, язвы нету. Ладно, пушай он моей козой подавится, но уж борова и курей я ему в таком случае не отдам...

Я опустилась на скамейку, а Вера стоит, сложивши на животе большие коричневые руки, и серьёзно, без улыбки, слушает старухино гуденье.

— Вот что, Варварушка-матушка, — говорит она, выждав, наконец, паузу. — Заявление я тебе напишу, но не сегодня и не завтра, видишь сама, гостя ко мне дорогая приехала. Даю тебе сроку три дня, если вы со стариком до среды не перебеситесь, я приду, так и быть, разведу вас, но учти и старику передай: одному из вас придётся село наше покинуть. Жить спокойно вы всё равно не будете, а народу надоело вашу склоку слушать и перед детьми за вас, за старых людей, стыдно...

Когда-то я очень любила Веру Черномыйку, но Вера Третьякова мне нравится определённо больше. Я смотрю и не могу отвести от неё глаз. Что могло так изменить её за эти го-

---

ды? И что, собственно, в ней изменилось? Похорошела? Нет, не то слово. Конечно, её очень скрашивает полнота... Здоровая полнота цветущей сорокалетней женщины. Развернулись когда-то сутулые, угловатые плечи... вокруг головы венцом уложена тугая пшеничная коса...

Смотрю, и на память мне приходят какие-то редкостные полузабытые слова: стан, осанка, поступь.

В неторопливой походке, плавном повороте головы, в строгом и улыбчивом взгляде — зрелая женственность, и уверенность в себе, и душевный покой.

И ни следа той внутренней напряжённости, что не давала ей раньше просто и легко жить среди людей.

Вот вам и прямой стан, и горделивая осанка, и даже, если хотите, величавая поступь. И ничуть не смешно. Вот она слегка откинула назад голову, плавным и свободным движением развела руки, засмеялась и, подхватив Варварушку-матушку под ручку, повлекла её от калитки за угол.

— Ну, слава тебе, добрались, наконец, до дому! — говорит она, весело распахивая передо мной калитку. — Я иной раз так-то вот от фермы до дома часа два иду. Иногда на ходу половину общественных дел переделаешь — и депутатских, и женсоветских, и по родительскому комитету. Девчонки, мои птичницы, вечно фыркают на меня, что я мало им внимания уделяю, ревнуют — вы, говорят, тётя Вера, прямо, ей-богу, ко всем бочкам затычка! Гоните вы их, ну что они все к вам лезут?

Мы входим не то во двор, не то в сад: уйма зелени и цветов, а над цветами гудят пчёлы; где-то поблизости, видимо, стоят ульи. От высоких молодых тополей на песчаной, золотой от солнца дорожке лежат косые плотные тени.

Улица, на которой живёт Вера, зовётся Новая. Шесть лет назад на окраине деревни, на ровном, как столешница, голлом куске выгона построили для новосёлов два ряда серых стандартных домиков. А сейчас Новая выглядит как тенистая тополевая аллея. В зелёных зарослях палисадников прячутся домишки, снаружи они оштукатурены и белятся, соответственно вкусу хозяйки, каждый особым колером.

Верин особняк золотисто-жёлтый, с небесно-голубыми резными наличниками, с просторной, застеклённой верандой. На задах прирублена аккуратная в два оконца пристройка и небольшой крытый навес.

— В избушке у нас кухня летняя, прачечная и мастерская. Отец-то у нас токарь-пекарь, на все руки мастер: механик первой руки, а больше всего столярничать любит, и Слав-

---

ку приохотил. Они всё это сами вдвоём здесь нагородили и других мужиков взбаламутили. Дома-то для нас понастроили голые, скучные. Вот мужики наши и давай самостоятельно достраиваться, а я, известно, — хохлуша, — намесила глины, обмазала свои хоромы, побелила с охрой, вот бабы-то, соседки, и всполошились, и забегали. Женсовета тогда у нас ещё не было. Собрала я баб со своей Новой улицы. «Давайте, — говорю, — бабы, сообща подряд все дома обмажем и побелим, кому в какой цвет поглянется. А то у Анны вон ребят полон двор. Надежда руку обварила. Нина Павловна день-деньской в школе занята. Когда же они в одиночку-то управятся?» Соберёмся вечером, артелью-то быстро, весело подаётся. Ребятишки с других улиц набегут помогать. Мужиков заставили палисадники городить, тоже артелью. Как пять домов сделаем, так в складчину обмывать. Песни, пляс до упаду, как на празднике! С тех пор и повелось — вся Новая соревнуется, чья хата наряднее, у кого в палисаднике цветы краше.

В доме у Веры чисто, свежо, просторно. Вещи только самые необходимые, и из них половина явно самодельного происхождения. Но всё очень удобное, лёгкое, своеобразно изящное. На окнах по-городскому тканевые, яркой расцветки шторы; в углу хороший приёмник, на нём, вынутый из футляра, баян.

Мы сидим на широкой, тоже самодельной, но очень удобной тахте, на веранде, которую Вера называет терраской.

Из огорода прибежала Виктория: худущая, смуглая, быстроглазая. Вихрем промчалась по двору, пробарабанила пятками по ступенькам крыльца, с каким-то гортанным, птичьим вскриком ворвалась на веранду и, вдруг увидев, что мать не одна, мгновенно превратилась в скромную, очень благовоспитанную девочку. Чинно поздоровавшись, присела на краешек тахты рядом с матерью.

Через мгновение вспорхнула, тут же вновь появилась, вывалила на тахту груды зелёных стручков гороха, снова исчезла и через несколько минут поставила мне на колени чашку восхитительной ранней малины.

Вера отдыхала, а Виктория носилась из летней кухни в погреб, из погреба в дом, носилась вприпрыжку, но передо мной на веранде ходила степенно, не спеша. Постреливая в меня быстрым любопытным глазом, умело и проворно, но без суетливости собирала на стол.

— Поди, доню, покричи мужиков завтракать. Рыбалить собирались, а солнышко-то вон уже где! — Вера проводила Викешу взглядом и, усмехаясь, покачала головой:

---

— Ох и артистка растёт! Она у нас меньшая, вторая после Славки. Ждали ещё одного хлопца — Виктора, а получилась Виктория. Большак-то наш, Славка, в восьмой перешёл, хоть и не отличник, а хорошо учится, ровно и с охотой, и характером в отца — спокойный. Ну, а Виктория иной раз такой фортель выкинет — руками разведёшь. А вообще-то жаловаться нельзя, стоящие получились ребята, удачные. Коли менять придётся, так, пожалуй, и придачу просить можно!

«Мужики» пришли к завтраку прибранные, в одинаковых светлых рубашках, видимо, Викеша успела им доложить, что мать привела городскую гостью.

Матвей Егорович удивил меня своей молоджавостью. Я знала, что он значительно старше Веры, а выглядел он лет на срок пять самое большое. Удивительная у него была улыбка: или он стеснялся своих искусственных передних зубов, или считал смешливость неприличной для пожилого мужчины, но улыбка на его лице пробивалась не сразу. Первыми начинали смеяться глаза, потом дрогнут и тут же ещё плотнее сожмутся губы, дрогнут и прихмурятся брови, но от глаз уже бегут десятки живых смешливых морщинок, и вот наконец всё лицо заполняет улыбка — широкая, открытая и очень разительная.

Большак Славка — создание на редкость симпатичное: лохматое и длинноногое. Пристальный, изучающий взгляд синих отцовских глаз. Строгие, чудесного рисунка брови, смуглый румянец во всю щёку. За такого действительно никакой придачи не жаль. В первые минуты — до немоты застенчивый, через час он, зайдя сбоку, говорит мне, по-отцовски с трудом сдерживая доброжелательную улыбку:

— А мы вашу книжку читали, мама её в городе купила, сразу пять штук.

— Ну и как? Понравилась тебе? — самонадеянно спросила я.

— Не всё! — быстро и твёрдо ответил Славка, мгновенно побагровел и сконфуженно нахмурился.

— У-у, бессовестный! — рассмеялась Вера, явно очень довольная сыном. — Подождите, он, как ознакомится, полную рецензию вам выложит. У нас по вашей книжке семейная читательская конференция получилась. Дело чуть до драки не дошло.

Завтракали на веранде. Свежую камчатую скатерть Викеша со стола не снимала. Судя по тому, как семейство Третьяковых держалось за столом, скатерть лежала не для парада,

---

не на случай гостей, и бумажные салфетки в пластмассовом бокальчике стояли на столе тоже не напоказ.

Ели все с отменным аппетитом. Главной хозяйкой за столом была Виктория. Всех интересовало, с какой начинкой намечается на вечер пирог, высказывались всяческие предположения, пожелания и рекомендации.

Виктория загадочно молчала, только изредка высокомерно усмехаясь, потом заявила, что кое-кто вообще может на пирог не рассчитывать, потому что пирог готовится специально для гостей.

— А ты, дочка, может, неудаку испечёшь? — вкрадчиво спросил Матвей Егорович.

Славка захлебнулся чаем, звонко расхохоталась Вера, не удержавшись, засмеялась и Викеша.

— Это у нас плотник Гаркуша по соседству живёт, — серьёзно, но смеясь глазами, стал объяснять мне Матвей Егорович. — Люди говорят, раньше он в дьяконах служил, голосище у него страшный, ребятишек навалом, полон двор, а хозяйка у него стряпать не охотница — печёт по большим праздникам, для гостей. Ребятишкам и самому стряпня только и перепадает, если у матери тесто не удаётся — или в печи пригорит, или не пропечётся. Вот выходит тогда Гаркуша на крыльцо и, словно дьякон с амвона, как рявкнет: «Ребятишки! Кричите ура, мать не-у-даку испекла-а-а!».

Да, что верно — то верно, посмеяться в семье Третьяковых умеют.

После завтрака ребята поставили для меня в тени под тополем Славкину раскладушку, а для матери рядом в траве раскинули одеяло, набросали подушек.

Мы сидели с Верой на одеяле и любовались Матвеем Егоровичем, как выводит он из-под навеса мотоцикл, как ходит вокруг него, оглаживает, словно добрый казак любимого боевого коня. Славка на верстаке под навесом укладывал в рюкзак харчи и разную рыболовную снасть. Викеша тоже крутилась под навесом. Подняла с полу какой-то брусочек, понесла его в угол, грустно напевая тоненьким голоском:

Нет повести печальнее на свете,  
Чем повесть о Ромео и Джульетте.

Ловко извернувшись, Славка вдруг звучно хлопнул её по затылку. Викеша клюнула носом в верстак, отскочила в кусты и через несколько минут вышла, как ни в чём не бывало, откуда-то из-за угла веранды. Независимо помахивая прутиком, молча пошла к калитке.

---

Я была уверена, что Вера ничего не заметила, но, покосившись, увидела, что она беззвучно смеётся.

— Ничего, — подмигнув, шепнула она мне. — Славка зря не стукнет, если не завыла, значит — сама виновата... А »Ромео и Джульетту» они в городе в театре смотрели...

Виктория молча прошла двором, но, дойдя до калитки, не выдержала, оглянулась и ехидно замяукала:

— Ромео! Ромео! бе-е-е! — высунула язык и как-то боком, по-стрекозиному, умчалась в переулок.

Проводив «мужиков», Вера прикрыла калитку и, опустившись на одеяло, прислонилась плечом к моей раскладушке.

— Влюбился хлопчик в хорошую дивчину. Ой и кохана дивчина, ой и гарнесенька! Да одна беда: дивчине той семнадцатый годок, а хлопчику и пятнадцать ещё не наступило. Дивчина не только за кавалера, а и за человека-то его ещё не считает. А Викаська, глупое дитя, и ревнует, и в то же время за брата в кровной обиде. Как же? Какая-то паршивая девчонка, пусть и большая, и вдруг на нашего Славика ноль внимания. Любит Виктория братку без ума... Вообще все они у меня друг другу очень преданные.

Я смотрела в глубокое-глубокое блёкло-синее степное небо, и мне казалось, что я плыву, чуть покачиваясь, в лодке-раскладушке под зелёным парусом тополевой листвы.

Вера немного помолчала, потом тихонько тронула меня за руку:

— Не спите вы? Погодите трошки. Я же ещё перед вами не извинилась, что тогда уехала из затона, вам не сказавшись. Вы думаете, почему я оттуда сбежала? Я ж влюбилась, как дура, в женатого, в семейного, в красивого. В кого — я вам не скажу, чтобы вы не удивлялись. Мне теперь и самой дико, как можно было из-за такого чуть жизни не лишиться. Начиталась, полудурок несчастный, романов про любовь и вообразила на свою голову разные страсти-мордасти.

Бабник он был страшный, а я на него лишний раз взглянуть боялась, чтоб себя не выдать. Два года об нём сохла. В ту осень пришли мы в затон на зимовку, я его с весны не видела, вроде бы отвыкать начала. Иду по слесарному цеху, а он из-за верстака вывернулся навстречу мне... я и обмерла... Стою, руки к груди прижала, гляжу на него... Он и догадался. Дико так на меня посмотрел, оглядывается кругом, как вор, а сам шипит сквозь зубы: «Ты что, Верка, сдурела? Иди ты...» — и боком-боком в сторону от меня за верстак.

Зашла я в магазин и взяла пол-литра водки, пришла домой, и в одиночку, первый раз в жизни, напилась, до потери

---

сознания. Утром проснулась, тошно мне, страшно, и опять тянет выпить. Ну, думаю, Верка, пришла твоя погибель. Два у тебя пути: или сейчас же в петлю головой, или бежать куда глаза глядят.

Вот я и побежала. За два дня всё порушила, — выезжать надо было срочно. К тому же леспромхозу — путь только рекой, а дело в начале октября было, последний пароход на низ шёл, завербованные все должны были на нём плыть.

В последний вечер отнесла я одной знакомой аспарагус, цветок свой любимый, иду обратно, свернула на Лесную, чтобы клуб миновать; мне тогда на людей даже глядеть вроде стыдно было. Подхожу к Третьяковым. Вы дом капитана Третьякова Егора Игнатьевича помните? Железом крытый, парадное крыльцо в улицу. Слышу в избе шум, не то гуляют, не то драка. Распахнулась дверь, Егор Игнатьевич выволоч на крыльцо Матвея, одной рукой за грудки держит, а другой размахнулся и кулаком по лицу. Матвей упал, он его пинком сшиб по ступенькам на землю. И всё молчком, и Матвей тоже ни разу не застонал. Повернулся отец и ушёл. Кто-то в дверь шапчонку и рюкзак старенький выбросил. Я прижалась к стене, стою, ноги от земли отодрать не могу. А он лежит. Слякоть, грязь, холод, а он лежит перед ихним крыльцом, перед закрытой дверью. Долго лежал, потом сел и сплюнул в ладонь: три зуба передних отец ему выбил. Вот он выплюнул их на ладонь и смотрит. Потом поднялся, рюкзак взял, дошёл до угла, опять вернулся, положил обратно рюкзак на ступеньку и пошёл переулком к реке, и зубы выбитые в кулаке зажаты. Ну что мне тогда оставалось делать? Догнала я его, остановила, шапку на него натянула, взяла за рукав и повела, а куда веду — сама не знаю. Милиции в посёлке не было, в больницу его всё равно не взяли бы. В родной дом дорога заказана...

А родной его дом стоит перед нами — большой, тёплый, на каменном фундаменте, под железной крышей... Окошки светятся, очень, видать, там за ними тепло... и спокойно. Подняла я с крыльца рюкзак, плюнула на ступеньку, и мы пошли... Привела я его в пустую свою комнатку, у меня всё уже было в дорогу упаковано, зажгла свет — мать божия! Весьто он в крови, в грязи, мокрый весь, трясётся, глаза белые, беспамятные. Распаковала я аптечку свою, всыпала в стакан три сонных порошка, дала ему выпить. Обмыла, obtёрла, насколько возможно, стащила с него всё мокрое, постелила ему на полу. Потом растопила плиту пожарче, сушу его одежонку мокрую. Ладно, думаю, свезу его завтра в город попутно, сдам в психолечебницу. Должны принять, хоть и алкоголик, а

---

всё же не в себе человек. Стала документы его искать, а документы в кармашке в рюкзаке, целая пачка в грязной тряпке завёрнута: и паспорт, и военный билет, и трудовая книжка — всё как положено. А кроме того, три орденских удостоверения на имя фронтовика, лейтенанта Третьякова Матвея Егоровича. А орденов нету, я весь рюкзак перерыла, в карманах посмотрела — нету.

Утром растолкала его, кое-как подняла, смотреть на него совсем страшно стало. Весь опух, почернел, по разбитому лицу какая-то щетина серая проросла. Что скажу ему, он понимает, слушается, а сам ничего не соображает, сидит, смотрит в угол, не мигая, словно прислушивается к чему-то.

Ну, приехали мы на катере в город, мне говорят: пароход ваш через час отходит, — я заметалась: то ли на пароход бежать, то ли Матвея в больницу везти? А он вдруг спрашивает: «Куда ты меня?».

Взглянула я на него, и так мне стало страшно. Господи, думаю, не жилец он на свете. Сдам я его в больницу — он там себя враз порешит. Не больница ему нужна, а мать... Только мать ему тогда нужна была, а мать у него, я слышала, незадолго перед тем померла. Берите, говорю, свой рюкзак, поедете со мной в леспромхоз работать. Взяла чемодан и узел с постелью, иду к пристани, не оглядываюсь. Может, думаю, он и не захочет ехать, может, он уже свернул за угол и не пойдёт за мной? Глянула через плечо — бредёт, торопится, боится, видать, отстать от меня, словно собака бездомная, приبلудная...

Пять дней мы пароходом на низ шли. И всю дорогу он лежал, сильно истощённый был, то ли от водки, а может быть, от побоев. Лежит — молчит и всё нет-нет пальцами губу потрогает, где дыра на месте выбитых зубов прощупывается. Дашь ему поесть — ест, не дашь — не просит. Молчит и курит страшно; махорки у меня с собой большой запас был. Я ведь тогда тоже курить приучилась, помните, как вы меня ругали? Сижу я около него, как пёс цепной, и отойти боюсь. Компания на пароход подобралась — оторви да брось. Подъёмные получили хорошие, водкой в городе запаслись, пьют беспросыпно... Ну а пьяный человек — он ведь добрый, ему угощать надо. Я всех уговариваю, прошу, вру бог знает что. Брат это, говорю, мой сродный, контуженный он, припадки его бьют, видите, как весь побился, от вина, говорю, он может совсем ума лишиться. Ну, люди и верят, хоть пьяные, а понимают, пожалеют и отойдут.

В леспромхозе пошла я в кадры. Документы у меня хорошие — оставляют меня в центральных мастерских, бригаду

---

предложили, комнату отдельную в бараке дают. И посёлок очень мне понравился. На берегу кругом лес, а в посёлке улицы прямые, тротуары везде, кино звуковое, а главное, библиотека хорошая, и библиотекаря даже немножко на вас похожа. Очень мне хотелось там остановиться, но как глянула на Матвея, — сразу все планы мои насмарку. Пропадёт он здесь. Если не задавится да начнёт помаленьку в себя приходиться — сразу у него здесь «дружки» найдутся, — всё снова начнётся. Пошла я к парторгу и рассказала ему всю правду про Матвея. Человек попал добрый: подумали они, посоветовались и отправили нас зимовать на новый участок, его так и называли «Дальний». Дорога к нему была только летняя — рекой. От Центрального больше восьмидесяти километров. До ближнего участка — до Половинки — километров тридцать бездорожья, таёжной глухоманью. Летом срубили на Дальнем избу, баню, сарай, на зиму там оставался один старший лесоруб — Стойлов Иван Назарович. Вот меня к нему в помощь и послали. Должны мы были заготовить лес на постройку посёлка, ну и план заготовок дали подходящий. Матвей неформенный был, но продуктов и на него выделили, посулили зачислить, если сможет работать. Это уж как Иван Назарович скажет. Вот так-то и сплыли мы последним катером, реку уже льдом схватывало. Везли мы продукты на всю зиму, оборудование кое-какое.

Перед отъездом попросила я одного славного парня — он Матвея в баню сводил и в парикмахерскую. Деньги у меня были. Купила я ему одежду тёплую, сапоги, валенки, брюки простые с гимнастёркой, бельё. Стал он немножко на человека походивший, но вёл себя всё так же: лежит, молчит, курит. Таким и привезла я его на Дальний к Ивану Назаровичу.

Скоро сказка сказывается.

За неполных три часа рассказала мне Вера историю своей первой любви, от которой пришлось ей бежать на край света, и как эта горе-любовь помогла ей найти настоящую свою судьбу.

## II

Иван Назарович встретил новосёлов неприветливо. Ждал он в помощь себе двух мужиков-лесорубов, а прислали худую бабу с тёмным, словно окаменевшим лицом и какого-то ти-

---

хого, вроде глухонемого психа. Было непонятно, кем они друг другу приходятся — это Ивану Назаровичу тоже не понравилось. Женщина ходила за больным, как за мужем, но называла его на «вы» и по имени-отчеству, а он всё молчал и молчал, а потом вдруг ни с того ни с сего, глядя, не моргая куда-то в угол, сказал шепеляво, словно у него рот кашей набит: «Ты на одежду сколько денег извела? Запиши... забудешь...».

Иван Назарович по-стариковски — ему было уже за шестьдесят — спал на приземистой русской печи. Матвея Вера устроила в углу на деревянном топчане, для себя на ночь сдвигала две скамейки.

Через несколько дней, насмотревшись на безмолвно лежавшего в углу Матвея, Иван Назарович хмуро сказал Вере: «Ты, девка, клюквы побольше запаси на зиму да, пока снег не пал, походи по гривам, брусники набери и шиповника. В подполье — черемши солёной кадушка... Он тебя, как дитё, слушает, вели ему каждое утро черемшу есть и ягоды разной, сколько осилит, иначе цинга его задавит. Тайга таких не уважает».

К Вере Иван Назарович вскоре проникся симпатией и уважением. В избушке она навела порядок, какого здесь никогда не бывало; перестирала, перештопала Назарычево бельишко; баню топила по два раза в неделю. Она не спросила Ивана Назаровича, не хочет ли он столоваться вместе с ними, а просто стала сразу готовить на троих, и из тех же немудрёных харчишек еда у неё получалась вкусная и сытная.

На просеке она орудовала как природный лесоруб, удивляя Ивана Назаровича силой и не бабьей сноровкой в обращении с механизмами и инструментами. Сам Иван Назарович в механизации разбирался туговато, ручная механическая пила казалась ему чудом науки и техники.

А Вера однажды у него на глазах буквально за несколько минут разобрала вышедшую из строя пилу, поковырялась в её потрохах, поколдовала, и пила вновь заработала, заголосила, брызжа смолистыми опилками, ещё злее прежнего.

В лесу Вера оживала: становилась проще и разговорчивей. Мало-помалу начали они с Иваном Назаровичем говорить между собой не только о хлыстах, кубометрах и высоте пней.

Книг Иван Назарович читал мало, но интересовался наукой и ещё более политикой. У Веры же была редкостная память. Всё, что она когда-то читала, слышала, видела в кино, свежо и нетленно пластовалось в бездонных хранилищах её памяти. Радио не было, газет не получали, а Вера по памяти могла показать, черкая прутиком по снегу, где — Америка, а

---

где — крохотная героическая Корея, судьба которой в те дни очень волновала и тревожила Ивана Назаровича.

Заглядевшись на бледные утренние звёзды, она могла почти дословно пересказать содержание популярной брошюры «Звёздное небо», прочитанной год назад. Как-то разговор зашёл о неграх, и Вера в лесу за неделю рассказала Ивану Назаровичу сначала «Хижину дяди Тома», а потом «Белого раба». Но, возвратившись вечером из леса в избушку, она сразу наглухо замолкала. На все расспросы Ивана Назаровича отвечала она вяло и неохотно.

Воли Вера себе не давала, работала в лесу за двоих, хозяйничала, ходила за Матвеем, но выпадали дни, когда ей казалось, что жить дальше невозможно.

Теперь она уже раскаивалась, что убежала из затона.

Оказалось, что убежать от любви, от самой себя не так-то просто. Когда становилось совсем невыносимо, она уходила на берег, садилась на брёвна и, раскачиваясь из стороны в сторону, тихонько выла от тоски, от нестерпимого желания хотя бы ещё один-единственный разок увидеть его, послушать, как он, похохатывая и беззлобно матюгаясь, зубоскалит с бабами-конопатчицами. В такие дни ходила она, туго сжав зубы, с опущенными глазами, сутулая и неуклюжая.

Матвей целыми днями лежал один в полутёмной избушке, оброс серой клочковатой бородой, верхняя губа у него постарчески запала, руки дрожали.

Вялый, тупой, нечистоплотный, он вызывал в Вере чувство нудной, брезгливой жалости, и чем дальше, тем труднее становилось ей ходить за ним.

Слушал он Веру беспрекословно. Она никогда не объясняла ему, почему нужно делать то или другое и именно так, а не иначе. Он послушно вставал, умывался, хлебал щи, тихо сидел на «свежем воздухе», когда Вера выводила его на крыльцо из душной прокуренной избушки. Но достаточно было Вере уйти — и он немедленно брёл к своему топчану, ложился и закуривал. На ночь он заготавливал себе по два-три десятка самокруток. Спал он совсем мало, но и ночью лежал тихо, почти без движения, не вздохнёт, не застонет.

Вера старалась в избушке не курить, но, когда наваливалась бессонница, и она палила одну самокрутку за другой.

К утру в избушке нечем было дышать. Некурящий Иван Назарович стал нехорошо кашлять, утром поднимался хмурым, жёлтый, тяжело косился на Матвея.

Прислушавшись как-то ранним утром к хриплому с присвистом кашлю Ивана Назаровича, Вера тихонько поднялась,

---

переложила из чемодана в мешок весь свой немалый ещё запас махорки и ушла к реке. Сунула в карман одну-единственную, последнюю — для Матвея — пачку, а остальные, — пахучие, драгоценные, — вывалила в прорубь. Утром, уходя в лес, она подала Матвею последнюю пачку и сказала, не глядя ему в лицо:

— Курить надо бросать, табак кончился.

Матвей поднял на неё тусклые синие глаза и ответил послушно:

— Ну, что же, ладно, я брошу.

Вера сморщилась и, отвернувшись, сказала насколько могла мягко:

— Я, Матвей Егорович, тоже брошу: вдвоём-то легче бросать.

Вечером Иван Назарович вызвал Веру в сени:

— Ты, девка, видать, сдурела? Ты чего над больным человеком мудришь? А если он учудит чего над собой, кто в ответе будет? Я, брат, сам сорок лет курил, знаю, каково оно, бросать-то. Ты выдавай ему понемногу, чтобы он себя не травил, и сама помаленьку отвыкай. Разве это мысленно этак, сразу-то?

— А нечего больше выдавать-то, — усмехнулась Вера. — Вся махорка в океан уплыла. И ничего с ним не случится. Если жить суждено, так и без табаку живы останемся, а что тяжело, так... — Она помолчала, потом, прищурившись, тихо закончила: — Для обоих для нас чем хуже — тем лучше. Всё равно уж заодно мучиться.

А назавтра, когда они закончили работу и присели на поваленную сосну отдохнуть перед обратной дорогой, Вера рассказала Ивану Назаровичу о Матвее и о себе всю правду. Видимо, тащить дальше непомерную тяжесть одиночества и молчания стало ей уже не под силу, только рассказала она этому старому, чужому мужику всё до последней капельки, ничего не стыдясь и не скрывая.

Когда она сказала, что не знает даже, сколько Матвею лет, что вообще ничего о нём не знает, кроме фамилии и имени-отчества, что очень он ей противен и не знает она, как ей с ним дальше быть, Иван Назарович посмотрел ей в лицо пристально и удивлённо:

— Ну, девка, и чудная же ты!

Они шли домой молча, и только подойдя к избе, Иван Назарович приостановился:

— Я ведь думал — он, правда, больной. Разве же можно ему лежать одному в пустой избе, да ещё без табаку? При его

---

случае одно спасенье — работа, воздух лесной. Ты вот что, мила дочь, ты завтра приболеи, не вставай утром, лежи и болей. Потом, как я уведу его с собой, может, постираешься или пошьёшь чего, но только к нашему приходу ты опять обратно болей. Ну, а дальше видно будет.

Декабрь был на исходе. Матвея каждый день водили в лес, и, хотя на первых порах толку от его работы было немного, в избушке вроде бы посветлело.

Без курева в длинные зимние вечера было особенно тошно. Свет гасили сразу после ужина: приходилось экономить керосин. Теперь Вера уже сама, как только все расходились по своим углам и укладывались в постель, начинала рассказывать. Первая неделя ушла на «Великого Моурави», вторая — на «Мушкетёров». Иван Назарович любил историческое. Вера рассказывала для него, думая, что Матвей и не слушает, и не понимает.

Верин пересказ иногда грешил неточностями, и однажды из темноты раздался шепелявый, но звучный, словно бы совсем не Матвеев голос:

— Нет, тут не так. Он с ним как посол ехал, а маркиза от него в это время уже отказалась.

Вера обмерла от неожиданности, она сбросила одеяло, села и горячо заспорила, хотя и сама уже вспомнила, что маркизато, точно, в это время уже готовилась к свадьбе с другим.

Очень уж хотелось Вере, чтобы Матвей ещё поговорил таким вот молодым и свежим голосом, но он опять надолго умолк.

Иван Назарович поил Матвея густым, как мёд, наваром шиповника и жёлтым барсучьим салом; заставлял ежедневно съесть положенную порцию солёной черемши, парил его в бане жгучим веником, потом обливал холодной водой.

Баню Вера, как ни уставала, топила теперь ещё чаще — очень уж заметно шёл банный пар Матвею на пользу. Как-то Иван Назарович повёл Матвея с собой на охоту, оказалось, что Матвей заядлый рыбак и охотник. Ружьишко было на двоих одно — стреляли по очереди. Нередко среди рабочего дня Вера оставалась на просеке одна, зато к столу у них теперь всегда была свежатина, а главное — Матвей день ото дня укреплялся, начинал набирать силы. Говорил он мало, улыбался редко — мешала отцова памятка — огромная дыра вместо передних зубов. Разговаривая, ему приходилось прижимать верхнюю губу пальцами, иначе речь получалась совсем нехорошая.

В начале февраля он уже неплохо справлялся с пилой. Втроём они дожимали зимний план до нормы, получалось,

---

что к окончательному расчёту можно было ожидать неплохой заработок.

И вдруг — всё пошатнулось: Матвей затосковал. Он не находил себе места и за несколько дней совершенно одичал: работал как одержимый, отказывался ходить на обед, а после работы уходил за реку, в лес, разжигал костёр и, понурившись, неподвижно сидел один у огня. Иногда в избушку возвращался только на рассвете.

Вера сначала не понимала, что происходит. Объяснил ей всё Иван Назарович. Пришла беда, начинался запой. Веру сообщение это не очень встревожило. Какой запой? Пить нечего, и взять-то негде. Не помер без табаку, авось и без водки жив будет.

Иван Назарович только рукой от неё досадливо отмахнулся. Было бы так просто, давно бы все алкоголики на земле перевелись. Свезли бы их, мучеников, в тайгу, продержали б зиму с медведями на лоне природы — и дело в шляпе: все от пьянки излечены и могут обратно на правильный путь выходить.

— Теперь, девка, за ним глаза да глаза нужны. Теперь, как говорится, кто кого: или человек одолеет, или враг его лютый над ним верх возьмёт. Он сейчас вполне может и голову в петлю сунуть или, скорее всего, встанет на лыжи да и отправится на Половинку, ему ведь сейчас жизнь недорога и море по колено.

— Как на Половинку? — холодея, спросила Вера. — Дороги же туда нет, надо же дорогу знать... Он же не дойдёт!

— То-то же, что не дойдёт, а и дойдёт — хорошего мало. Держать его надо. Надо, чтобы перетерпел он один раз, переломил себя. Один раз устоит, — уверится сам в себе, дальше уже легче пойдёт. Может, и совсем укрепитесь и опять в люди выйдете — это я по себе знаю. Никак не похож он на коренного, природного алкоголика. Что-то у него в жизни не поладилось, вот и сорвался с пути. А жалко, если пропадёт, больно хорош мужик-то! Надо нам с тобой, девка, как-то выручить его из беды.

В борьбе за Матвея Иван Назарович и Вера выставили на кон все средства, которые, по их разумению, могли удержать его на Дальнем. Ни на минуту не оставляли одного, не давали в одиночку уходить в лес.

Откуда-то из недр своего сундучка Иван Назарович извлёк колоду замусоленных карт. Три вечера подряд играли в подкидного и в акульку. У Веры в чемодане тоже открылся клад: несколько книг, которые она хранила до весны, когда можно

---

станет после работы читать без огня. Книг было всего четыре, но каждая примерно по два кило весом. Это были романы Мельникова-Печерского «В лесах» и «На горах».

Несколько вечеров Матвей лежал, слушал, закинув руки за голову. Вера читала, пока он не засыпал. Потом лежать ему стало, видимо, невмоготу, он кружил по избе, подсаживался к столу, один раз даже полежал с Иваном Назаровичем на печи.

На другой день Иван Назарович напил мелких чурбашек, наточил два ножа. Он заявил, что давно уже интересовался поучиться играть в шахматы. Нехай Матвей теперь обучает их с Веркой, сам же как-то проговорился, что в армии даже на каких-то турнирах играл. Шахматы резали в два ножа шесть вечеров подряд. Играть этими забавными неуклюжими фигурками Иван Назарович оказался совершенно неспособным. Зато Веру шахматная отравка сразила наповал. Матвей удивлялся её успехам.

Вера забросила домашность, часами замороженно сидела над доской. Восхитительные слова — «ферзь», «гамбит», «рокировка» — она произносила, благоговейно хмурясь.

Ещё днём в лесу она начинала подхалимски заглядывать Матвею в лицо, всячески ему угождала, чтобы вечером он не отказывался сыграть с ней две-три партии. Вечером же, сразу после ужина, начинала канючить:

— Ну Матвей Егорович, миленький, только одну маленькую-малюсенькую партию...

И у Матвея не было сил отказать ей. Он нехотя присаживался к столу, и они порой засиживались над доской до полуночи.

В один из вечеров, когда Матвей особенно тяжело томился, Вера, перебивая после ужина посуду, потихоньку запела «Катюшу». Песен она знала великое множество, но никогда не пела при людях. «Катюшу» слабым тенорком поддержал с печки Иван Назарович. Они спели дуэтом «По Муромской дорожке стояли три сосны» и «Скакал казак через долину»... Потом Вера запела «Любимый город», и ей тихонько, без слов, стал подпевать Матвей. Он стоял у окна и, глубоко задумавшись, сам не заметил, как последний куплет запел уже почти на полный голос. А голос у него был глубокий, бархатистый и удивительно хорошо сливался с мягким певучим голосом Веры.

Они пропели ещё несколько песен, но когда Вера бодро затянула «Трёх танкистов», Матвей ушёл в свой угол и молча лёг, уткнувшись лицом в подушку. Не докончив «Танкистов»,

---

Вера начала оживлённо пересказывать Ивану Назаровичу содержание «Русалки».

Оказалось, что она знала десятки оперных арий, причём почему-то ей больше нравились мужские партии. С большим чувством Вера пропела басом арию Мельника, потом навзрыд, по-лемешевски, — «Невольно к этим грустным берегам...» и переключилась на «Фауста».

Матвей, наконец, поднял лицо от подушки, посмотрел на неё с любопытством, потом сел и, уже улыбаясь, стал слушать арию Мефистофеля.

Вере стало так весело, что она решила в заключение, на бис, исполнить «Блоху» Мусоргского. Матвей тихо смеялся, прижав ладонью верхнюю губу.

Иван Назарович, свесив с печи босые ноги, хлопал себя ладонями по коленам:

— Ну и артистка, язви ты в душу! Вот тебе и Верка, ты гляди, чего она выкаблучивает!

Матвей прекрасно понимал, чем вызвана вся эта наивная самостоятельность. Ни разу Вера и Иван Назарович не заговорили с ним о его беде. Не корили за слабость, не уговаривали взять себя в руки... Просто старались они от всей души помочь ему выстоять. А у него не хватало мужества сказать им правду: как ему всё здесь опостылело вместе с их бабьей жалостью и дурацкой опекой.

Идти было некуда и незачем. И здесь оставаться больше не было сил. Сидеть, ждать ещё верных четыре месяца, пока очистится ото льда река и придёт с Центрального первый катер... А чего ждать, когда идти всё равно некуда и незачем... Что сейчас, что через четыре месяца.

Пришёл день, когда Иван Назарович понял: Матвей собрался в поход. День был субботний. После обеда Вера осталась топить баню. Иван Назарович с утра угрюмо молчал, как будто Матвея не было рядом, и только возвращаясь вечером с просеки, у самого крыльца придержал его за рукав:

— Вот что, Матвей Егорович, хватит нам с тобой в прятки играть, — сказал, словно отсёк всё то доброе, что сроднило их за трудные зимние месяцы. — Собрался уходить — иди. Я тебя силком держать не могу, но учти, что следом за тобой я в тайгу не кинусь. Ни тебе, ни мне живым до Половинки не пробиться. Я своё отходил, а ты, я тебе скажу, на лыжах ты ходок никудышный. Ты что же думаешь, в незнакомой тайге лыжню мять — простое дело?! Вот-вот бураны февральские ударят, тогда в тёплой избе сидеть — и то жуть берёт.

---

И не про нас с тобой разговор. Ты бы хоть чуток о Вере подумал. Другая жена, али даже мать, такого бы не смогла, что она для тебя сделала. Был бы у неё на тебя расчёт, метила бы она, скажем, женить тебя, ну тогда другое дело, а она же ведь просто по-человечески, сдуру, прямо сказать, взвалила тебя на загорбок и волокёт. А у неё своя беда, потяжельше твоей. Сохнет она об одном идиёте из этого вашего затона. Сколько раз я на берегу за брёвнами сидел, караулил, чтобы она в дурную минуту в прорубь башкой не сунулась. Теперь бы тебе о ней самое время позаботиться, об её жизни подумать, а ты что творишь? Ведь она, как хватится, что ты ушёл, кинется в тайгу тебя выручать. И сам пропадёшь, и её сгубишь. А девчонке этой цены нет. Мы с тобой обои ногтя её не стоим. И ещё скажу: ружьё ты мне отдай! Тебе всё равно пропадать, коли меня не слушаешь, а мне неинтересно через твою дурость за казённое имущество отвечать...

Когда мужики в тот вечер вошли в избу, Вера сразу поняла, что произошло что-то неладное.

Матвей молча, не раздеваясь, прошёл в свой угол. Как был в шапке и ватнике, сидел на топчане, угрюмо сгорбившись. Иван Назарович, сбросив у порога валенки и одежку, тоже молчком полез на печь. Ноги у него дрожали, он никак не мог нащупать пальцами приступок и два раза тяжело сорвался.

Со страхом и жалостью смотрела Вера на его худую, сутулую спину, на седой затылок... Вот оно. Не зря, выходит, все эти дни так тревожно поднывало у неё сердце. Конечно, не может Иван Назарович отпустить этого психа разнесчастного одного, в чужую тайгу, на верную погибель.

А раз так — выходит, надо и ей собираться в дорогу. Куда же они без неё — старый да малый?

На мгновенье представилось, как бредут они, заплутавшись в холодной, бездорожной тайге. От тоски и злобы, а ещё больше от лютой жалости к ним обоим горло у неё перехватило, и она чужим осипшим голосом спросила первое, что пришло в голову:

— Что же вы, Матвей Егорович, документы свои у меня не спрашиваете, если уходить собрались?

Матвей молчал. Не шелохнулся, не поднял на Веру угрюмых глаз, и тогда она, задохнувшись от гжучей, бессильной ярости, рывком выдернув из угла чемодан, впервые грубо и зло закричала на него:

— Бессовестный вы человек, о себе только и заботитесь, ничего вокруг себя замечать не желаете! Неужели вы думали, что я Ивана Назаровича с вами одного пушу! Неужели вы

---

не видите, что он совсем больной? Собрался вас через тайгу вести, а сам только из-за вас и на ногах-то держится. Он здешнюю тайгу и сам плохо знает... без дороги, да ещё буран ударит — ну далеко ли мы уйдём?!

Она кинула узелок с документами на стол и торопливо ушла в угол за печку.

Матвей распрямылся и, словно разбуженный яростным окриком, сморщившись, потёр ладонями лицо. Потом не спеша разделся, аккуратно повесил на гвоздь ватник и шапку. Прошёл к столу, покачал на ладони, словно взвешивая, свёрток с документами и, бросив его на чемодан, сказал негромко:

— Убери обратно, где были... И не реви... не маленькая... Ревёшь сама не зная о чём...

Иван Назарович как залёг на печь, так и лежал недвижимо, лицом к стенке. Рубаха на спине вздёрнулась, заголив тёмную, костлявую поясницу.

Матвей подошёл к печке, оперся локтями о деревянную опалубку. Ему — длинному — печь была всего по плечи.

— Давай, дядя Иван, слазь. В баню пора, сегодня я тебя парить буду...

Он оправил на спине Ивана Назаровича рубаху, пригладил ладонью складки между сутулых лопаток.

— А ружьё в сараюшке, за верхним брусом; чистое, смазанное, в полном порядке. Завтра с утра можно на охоту сбегать. Заодно ловушки поглядим.

Пока мужики были в бане, Вера напекла румяных пресных блинцов, нажарила полную сковородку рыбы. Киселя красного из клюквы сварила.

Ужинали долго, не торопясь, беседовали о том, о сём, обо всем понемножку, лишь бы не задеть того, о чём каждый про себя неотступно думал.

А вечером, когда уже была потушена лампа и все лежали по своим углам, Вера вдруг, словно её за язык потянули, спросила Матвея, где у него ордена. Удостоверения орденские хранятся в её чемодане, вместе с остальными документами, а орден-то ведь нету...

И Матвей не отмолчался, не потаил горькой и стыдной правды:

— Сняли с меня ордена какие-то гады, когда я пьяный под забором валялся. Выходит, что пропил я свои боевые награды. Когда проспался — в петлю было полез, да кишка тонка оказалась — струсил. Документы орденские от стыда хотел в печке сжечь, — тоже руки не поднялись. Вот и остались од-

---

ни книжки без орденов от лейтенанта Третьякова... Мотыке-алкоголику на память... — назвать себя Мотыкой-алкоголиком перед Иваном Назаровичем и Верой оказалось не так-то просто. Нужно было во что бы то ни стало объяснить им, как же могло такое получиться, чтобы старший удачливый сын знатного капитана Третьякова, фронтовик-орденоносец, за каких-то три года превратился в бездомного, в безродного Мотыку-алкоголика. А рассказать про такое оказалось ещё труднее.

Каждая семья живёт по своему уставу, по своим неписанным семейным законам. В семье Егора Игнатьевича Третьякова законы эти были строги и непреложны.

Первая и наиглавнейшая заповедь — это уважение к начальству. Рассуждать — зачем да почему — не твоего ума дело. На то поставлены начальники. Твоё дело — выполнять, потому что у нас всё делается для твоего блага.

Трудиться надо так, чтобы Третьяковы всегда были хоть не намного, но впереди других, чтобы фамилию твою люди произносили с почтением и завистью.

В семейных же вопросах главное — это согласие и дисциплина.

Каждый, конечно, понимает, что у женщины умок лёгонький и в серьёзные мужские дела допускать её не следует, но дом хозяйкой держится. Достаток в доме не от того зависит, сколько рублей муж в дом принесёт, а как жена этими рублями в хозяйстве обернуться сумеет. Поэтому хорошую жену муж без особого, конечно, баловства обязан ценить и беречь. И детей приучать к послушанию, чтобы дети понимали: без отца — заглавное лицо в доме — мать. Ну, а что касается выпивки, так выпить мужчине не возбранительно, нужно только знать — где и с кем, и не ради того, чтобы напиться, а исключительно ради поддержания достойной, приличной компании.

Семью свою Матвей всегда считал примерной. Здоровые, сытые, послушные дети. Домовитая, молчаливая хлопотунья мать. И отец — строгий и справедливый. Самый умный, самый сильный. Лучший человек на свете.

Матвею было девять лет, когда отец впервые взял его с собой в плавание, и с тех пор ежегодно все летние каникулы Матвей проводил на реке. Наиболее притягательным местом на пароходе для него был не капитанский мостик, а машинное отделение. Около машин он мог пропадать часами. Семи-

---

летку Матвей закончил, как полагалось сыну Третьякова, с похвальной грамотой. Спустя три года, окончив речной техникум, привёз отцу диплом с отличием. Через пять лет он уже ходил старшим механиком на большом пассажирском пароходе, и портреты его стали появляться на Доске почёта, рядом с портретами отца.

Перед самой войной Матвей женился. Девчонок у Третьяковых не было, может быть, поэтому ласковая, миловидная Лидия в семью вошла не невесткой, а долгожданной дочкой.

Воевал Матвей по-хорошему, как сотни тысяч других советских парней. Три раза побывал в госпитале, был награждён тремя боевыми орденами. А потом, уже в звании лейтенанта, угодил в плен. После неудачного изнурительного боя отходили небольшой группой под миномётным огнём. Контуженного Матвея тащил на себе дружок — боевой сержант Саша Орлов. Уже теряя сознание, Матвей заставил Сашу надеть через плечо свой планшет, в котором в тот момент находилось всё Матвеево личное достояние. Через несколько минут их накрыло ещё раз. Тяжело раненного Сашу вместе с Матвеевым планшетом вынесли уцелевшие бойцы, а Матвей, по их убеждениям, добитый взрывом, остался на поле боя, по которому ползли немецкие танки.

Так и описал обстоятельства гибели своего командира лейтенанта Третьякова его боевой друг, старший сержант, а позднее Герой Советского Союза Александр Орлов, пересылая семье планшет с документами и орденами погибшего.

В плену Матвей не совершил никаких подвигов. Просто два раза убегал из лагеря, его ловили, и оба раза каким-то чудом он оставался живым. Хотя после второго побега живым в полном смысле слова назвать его уже было нельзя. Освобождён он был нашими в конце сорок четвёртого года. На родину его доставили на носилках, и только через полгода, уже после Победы, выбрался он из госпиталя домой. И все эти месяцы шла проверка. Очень помогли делу заступничество Орлова и показания уцелевших солдат его подразделения.

Он вернулся домой. Всё для него здесь было по-прежнему бесценно милым. Нет, не по-прежнему — в сто крат милее, в сто крат драгоценнее и дороже. Он вернулся домой. Это было чудом. Были минуты, когда Матвею казалось, что его ещё не долеченное, большое рыхлое сердце не выдержит и вот-вот сейчас разорвётся от лютой и сладкой боли.

На его подурневшем, всё ещё лагерно-сером лице часто возникала изумлённо-счастливая, глуповатая улыбка. Волнуясь, он ещё сильнее заикался, левую щёку время от времени

---

сводила уродливая судорога, а на глаза порой, ни с того ни с сего, вдруг набегали слёзы.

Всё здесь было чудом. То, что все они — его любимые — остались живы и здоровы, и он сам всё же не поддался смерти, выжил и вот, видишь, вернулся домой. Чудом было проснуться ранним утром в комнатке, которая уже много лет называется «Матюшина боковушка». Лежать и, притаив дыхание, слушать тихие утренние домашние шорохи-звуки. Чудом была вся эта здоровая, чистая, простая жизнь.

По вечерам, после ужина, как бывало и прежде, до войны, семья собиралась в столовой повечеровать. Каждый занимался своим делом, но разговор шёл общий. Говорил больше отец, и Матвей мог часами слушать его неторопливые степенные рассказы о том, какие трудности им, речникам-судоводителям, довелось хлебнуть в годы войны. Как оба они с Семёном не один раз писали в военкомат заявления и лично ходили — просились на фронт, но там даже и слов таких не допускали. Бронировало их госпароходство, как незаменимых, до последнего дня войны.

Несмотря на пережитые трудности и лишения, выглядел Егор Игнатьевич великолепно. Огромный, грузный, ни морщины на сытом румянном лице.

Налюбовавшись отцом, Матвей переводил влюблённый взгляд на братьев. По-отцовски рано начал грузнеть красавец Семён. Долговязый Валерка выровнялся в статного широкоплечего парня. Оба настоящие, чистой воды Третьяки.

Теперь Матвей уже не завидовал, как в детстве, младшим братьям, что вот они — младшие — пошли в отцову породу, а он, первенец-большак, и обличьем, да, пожалуй, и характером уродился в мать.

Он любовался братьями, радуясь, что не коснулась их война, не покалечила, не изуродовала их юношеской красоты и богатырского, как у отца, здоровья. Сильнее всех за эти годы сдала мать. Не то чтобы постарела или похудела, а как-то вся словно бы истаяла. Двигалась вяло, голос стал тусклый, бесцветный, казалось, и живёт она нехотя, через силу.

Раньше Матвей не задумывался, почему мать год от года всё реже улыбается, становится всё молчаливее. Видимо, уже давно между ней и отцом не всё ладилось, похоже, что мать была очень несчастлива, но в семье Третьяковых детям не полагалось совать нос в родительские дела, тем более, что при детях родители никогда не ссорились, а мать при детях никогда не плакала и никому ни на что не жаловалась. Она и сейчас не жаловалась. Управлялась с помощью Лидии по хозяйству,

---

отпаивала Матвея парным молоком, молча подкладывала за столом на его тарелку лучший кусок. Она ни разу не спросила его о пережитом, о годах войны и плена. И ему не рассказала, как жила эти годы, как ежечасно, ежеминутно ждала... ждала сначала его писем, а потом — хоть какой-нибудь весточки о нём... Стукнет калитка, письмоносец идёт через двор... Сердце ударится смаху о рёбра, трепыхнётся раз-другой, и обомрёт, затихнет. На какой-то срок и ослепнешь и оглохнешь... И всё в тебе уже мёртвое, только страх один живой.

Сначала принесли похоронную, а потом, через военкомат, — Сашино письмо и Матвееву сумку с орденами, с документами. И всё, что было в сумке: фотографии, письма, перчатки, вязанные матерью, и портсигар — отцов подарок, и платочек Лидии шёлковый, — все эти сокровища и сумку кожаную потёртую забрала и молча унесла к себе мать. И никто, даже отец, не решался ей перечитать. Ничего этого Матвею она не рассказала. Оба они и раньше разговорчивостью не отличались, но теперь молчание матери тревожило. Матвею казалось, что она словно бы присматривается к нему, словно бы ждёт от него чего-то...

Временами хотелось спросить: что с ней такое? Почему она живёт в родном доме, словно чужая?

Подсесть бы к ней, взять за руку, сказать какие-то хорошие ласковые слова, да не приучены были Третьяковы к нежности...

— Мам, ты чего такая? — спросил всё же как-то, когда утром остались они в доме одни. — В больницу бы легла, а может, в санаторий путёвку надо похлопотать?.. Я поговорю с батей...

— Вот-вот... — вяло усмехнулась мать. — Дурачок ты, Матюша! Мой санаторий ещё не открыт... Ты пей молоко-то да ложись, полежи ещё, я тебе сейчас блинков испеку...

Надо бы поговорить с матерью о Лидии, посоветоваться, да тоже никак язык не поворачивается.

Лидия из простоватой влюблённой девчонки превратилась в солидную взрослую женщину. Ходила по дому — статная, пышная, белотелая. Красивая и совершенно чужая. Приходилось им заново привыкать друг к другу. Лидия жила прошлым. С жестокой назойливостью пыталась она его без конца: а помнишь?.. — и плакала. Не стесняясь, не скрывая отчаяния, горько оплакивала того, прежнего Матвея — здорового, красивого, удачливого.

И Матвей понимал, что такой вот — теперешний — он ей не мил... И вряд ли она сможет привыкнуть к нему когда-нибудь.

---

В первый же вечер после ужина, когда женщины, подчиняясь выразительному взгляду Егора Игнатьевича, ушли спать, Матвей рассказал отцу и братьям обо всём пережитом на фронте и в плену. И как пришлось кстати во время проверки письмо Сашки Орлова и показания его и ребят-однополчан.

Не дослушав и половины, Валерка, скрипнув зубами и всхлипнув, ушёл на кухню. Семён лежал на диване навзничь, прикрыв локтем глаза. Отец, грузный, с окаменевшим лицом, сидел, тяжело навалившись грудью на стол.

Когда Матвей, измученный рассказом до изнеможения, умолк, отец поднялся, достал из буфета поллитровку, разлил водку по стаканам и, тронув Матвея за худое, поникшее плечо, сказал негромко:

— Ничего, сын, — плохое надо забывать. Теперь твоё дело, как говорится, телячье, ешь, спи, отдыхай, нагуливай тело. Ничего, наша третьяковская порода кремнёвая: были бы кости целы, а мясо нарастёт!

Наращивать на кости мясо оказалось занятием до одури муторным. Дело шло к весне. Речные суда ещё стояли, скованные льдом, но в кадрах уже комплектовались команды, полным ходом шла подготовка к навигации. Сильно стало тянуть к людям, начали сниться пароходные сны. Просыпаясь, он даже ощущал дивный запах машинного отделения: запах перегретого металла, горячего масла, краски.

Чувствовал он себя уже вполне окрепшим. После госпиталя он был откомиссован с инвалидностью третьей группы, а это и инвалидностью можно было не считать. Правда, в самую неподходящую минуту настигало его проклятое заикание да пугал людей нервный тик, искажавший лицо в минуты волнения. Но всё это, по заверениям врачей, должно было со временем пройти бесследно, да и не сидеть же из-за такой чепуховины на печи?

Матвей знал, что квалифицированные механики сейчас наперечёт. Он начал расспрашивать отца и Семёна о вакансиях, советовался, куда лучше просить назначения. Принёс из библиотеки стопу журналов и технической литературы. Озачинно рылся в старых учебниках.

Он не замечал, как хмурится отец, как тревожно косится Семён, когда он заводит разговор о работе.

В отделе кадров его встретили приветливо, заявление приняли, но сразу предложить ничего не смогли, сказали, что известят. Из старых сотрудников там никого не осталось, начальство тоже все сменилось.

---

Матвей терпеливо ждал. Бежали дни, а назначение на пароход ему всё не выходило. И он ещё раз пошёл в кадры. Начальник был в отпуске. Заместитель, человек совсем ещё молодой и какой-то до странности конфузливый, скосив глаза в угол, бормотал что-то совершенно несообразное. По его словам получалось, что все команды уже укомплектованы, вакансий свободных нет... Послушать его, так безработные механики целыми косяками по улице ходят. Матвей махнул на него рукой и ещё около двух недель отдыхал, терпеливо ожидая начальника.

Начальник принял его сердечно. С уважением поглядывал на ордена, справился о здоровье Егора Игнатъевича. Потом извинился за своего заместителя — человек молодой, на работе новый, во многих вопросах не в курсе дела.

Свободные вакансии, конечно, имеются, но в качестве механика направить Матвея Егоровича не представляется возможным ввиду его состояния здоровья.

В этот момент в кабинет вошёл капитан Тайданов, бывший Матвеев сокурсник по речному училищу. Поздоровавшись с ним, Матвей спокойно и сдержанно стал объяснять, что со здоровьем у него всё в порядке: срок инвалидности подходит к концу, да инвалидность-то чепуховая — третья группа. В документах так и записано — может работать по специальности. Чтобы не оставалось сомнений, Матвей положил документы перед начальником на стол.

Начальник вежливо передвинул документы обратно и очень терпеливо и вразумительно стал втолковывать, что он рад бы всей душой, каждый стоящий механик на вес золота, но не имеет он права поставить к машинам инвалида с тяжёлыми последствиями контузии, с травмированной нервной системой. Да с него эта самая охрана труда и техника безопасности голову снимут, под статью подведут...

Напряжённо улыбаясь, Матвей приоткрыл рот, чтобы, выждав паузу, в свою очередь попытаться объяснить начальнику его ошибку. Он хотел для начала пошутить: что же это вы, друзья, за психа меня принимаете, что ли?

Но тут его перекосило, он лязгнул зубами и, выкатив глаза, зашипел на начальника, как гусак, — ш-ш-ш!

Преувеличенно расстроенный, начальник совал сконфуженному Матвею стакан с водой, соболезнующе поглаживая его по плечу, рассказал коротенько историю приятеля-фронтовика, — больше года лежал мужик в госпитале, парализованный после контузии, а теперь — как огурчик, здоровёхонек, и следа не осталось.

---

В коридоре Матвея догнал капитан Тайданов, увёл в конец коридора к окну, морщась, словно от зубной боли, сказал напрямик:

— Слушай, ну куда ты лезешь? Ты что, маленький? Проверку прошёл — и говори спасибо!.. Механик — это же состав, вторая фигура на судне за капитаном, неужели ты не понимаешь, что нельзя им теперь тебя допустить... И не суйся ты сейчас на глаза... В пенсии тебе не отказывают... Ну, маленькая, ну, я понимаю. Ах, чёрт! обидно, конечно, но что делать! Я за тебя всё начальство облазил, просил, чтобы тебя к нам послали... Не век же, поди, такое будет...

Покосился на Матвея, хмуро, с опаской:

— И послушай моего совета, очень-то не распускайся, теперь тебе каждое лыко в строку будет...

И, помолчав, сказал слова, смысл которых дошёл до Матвея значительно позднее:

— Вот и капитана Третьякова бог нашёл. Отливаются, видно, коту мышкены слёзы.

От конторы до дома Матвей шёл больше трёх часов. Опомнился на окраине посёлка, на берегу, откуда весь затон как на ладони. Сотни впаянных в лёд пароходов, буксиров, барж, пазухов... Милый диковинный городок с улицами, переулками... Ох, но ведь была же проверка, пересмотрели всё от начала и до конца... Люди доказали, что ни в чём он не виновен... За что же теперь-то такое?

Забрёл в тихий, безмолвный парк. Посидел, смахнув снег со старой промёрзшей скамьи. Здесь, на этой скамье, пять лет назад в первый раз поцеловал Лидию. Как же ей-то он теперь расскажет про такую беду? А отец? Матвей замычал и, растирая сведённую судорогой щёку, побрёл по заснеженной тропинке к выходу из парка. Выходит, не только здоровья, а кое-чего и подороже лишила его война.

Только теперь Матвею стало понятно, почему так переменялся за последнее время отец, почему так подавлены братья.

Наверное, отец и Семён хлопотали за него, а им объяснили, что не ходить больше Матвею в механиках. И — почему не ходить...

Нелегко отцу такое пережить: он и братья знают, что не заслужил Матвей такой обиды. Переживают, мучаются за него...

Ничего, батя! Ничего, братишки, за меня вы не бойтесь! Я выстою, лишь бы вы рядом были.

---

Пока отец молчит — и Матвей решил разговора не заводить, а тем временем разведать насчёт работёнки. Пока можно в цехе на ремонте послесарить, а дальше видно будет. Мотористом или маслёнщиком на буксир, поди, возьмут, маслёнку-то не побоятся доверить? Совпало так, что в эти же трудные дни Матвея два раза повестками вызывали как свидетеля. Понадобился он для дачи показаний по делу своего однополчанина, возвратившегося из плена. Несколько месяцев находился он с Матвеем в одном лагере, и бежали они тоже вместе.

А по посёлку пошёл слухок, что Матвей-то Третьяков, оказывается, «под комендатурой». Вот таскают его в органы на допросы и на работу брать не разрешают. И папашенька знатный помочь не может ничем.

Все эти слухи приносила Лидия: ходила она теперь с опухшим от слёз лицом. Несчастливая, подурневшая. Утешать её Матвей не пытался: она слов его слушать не хотела.

Однажды вечером, проходя через прихожую, Матвей случайно услышал, как Семён, умываясь в кухне, тихо, сквозь зубы рассказывал отцу:

— ...а он, сука такая, ухмыляется: «Настоящие-то, — говорит, — патриоты стрелялись, чтобы в руки врага не попасть, а уж если по ранению попадали в плен, так бежали с лагерей в партизаны, а не сидели, не ждали, когда наши придут да освободят!».

Матвея долго трясло, он не решился выйти к ужину, чтобы не увидеть подавленных, хмурых лиц отца и братьев. Одичав от одиночества и тоски, он тихонько пробрался через прихожую и пошёл со двора. Настоящего друга, к которому можно было бы пойти с такой бедой, у Матвея не было. Побродив по улицам и окончательно продрогнув, он зашёл в пристанскую забегаловку, носящую тройное название: «Голубой Дунай», «Кафе-крапивница» и «Бабьи слёзы».

Там его, пьяненького и ослабевшего, подобрал и увёл к себе капитан с буксира «Иртыш» Прошунин Василий Иванович.

На другой день оживший и повеселевший Матвей за ужином порадовал семейных, что Василий Иванович оформил его на «Иртыш» мотористом. Механиком на «Иртыш» идёт парнишка, салага, первой навигации, так что Матвей только числиться будет мотористом, а фактически... Матвей оживлённо взглянул на отца и осекся... Он не учёл того, что Третьякову не пристало ишачить в цеху наравне с какими-то слесарями, тем более не положено Третьякову плавать на энтот... «Иртыше», под командой Васьки Прошунина. Васька-гад и берёт-

---

то Матвея ради того только, чтобы унизить его отца — Егора Игнатьевича Третьякова.

Всё это Егор Игнатьевич, поигрывая желваками на скулах, но не повышая голоса, разъяснил Матвею. И потом, после тяжёлой, нехорошей паузы, сказал, что придётся, видимо, Матвею побыстрее из посёлка уехать. Другого выхода нет. Матвей растерянно смотрел на отца, на братьев.

Почему же ребята-то молчат? Неужели такое можно всерьёз?

— Куда же я из дома поеду?

— Да придётся, видно, подале куда. Туда, где нашу фамилию не знают. Где людям всё равно: Третьяков ты али, скажем, какой-нибудь Сидоров. Лучше всего, конечно, тебе податься на низ. Там не разбираются, кого хошь берут. Опять же платят там хорошо. Надбавки разные, и подъёмные дают... — спокойно пояснил отец. — Лидия пушай пока у нас поживёт, пока ты на новом месте не устроишься. Деньжонками на дорогу и на первое прожитьё мы с Семёном тебя снабдим. Ну опять же и пенсия у тебя... А здесь оставаться тебе никак невозможно. Конечно, у нас отец за сына или брат за брата не отвечают, но тем не менее нам из-за тебя любой паразит чуть ли в глаза не плюёт. И ведь, между прочим, сам ты виноват. Никто тебя на работу не гнал, вот весна скоро, копался бы с матерью в огороде, сено, дрова — хватило бы в хозяйстве работы, и никому дела нет — инвалид Отечественной войны... А ты лезешь людям на глаза... механик!

Тут уже Матвей понял, что отъезд его — дело решённое, обговоренное и с братьями, и с Лидией. Понял и испугался до дрожи, до холодного пота.

— Ты что же, не веришь мне? — спросил он, дёргая щекой.

— Не мне тебя судить! — строго оборвал отец. — Военный суд тебя оправдал, значит, вины твоей перед партией и правительством нет. Но на чужой роток не накинешь платок. Я не могу допускать, чтобы фамилию мою всякий марал, а также и ребята не обязаны через тебя страдать. Со временем, может, забудется, встанешь на ноги, утвердишься и вернёшься...

Впервые в жизни Матвей послушался отца. Он не уехал, не мог он представить себе жизни где-то в другом месте, с чужими людьми. Он так натосковался о доме, о семье... Он просто не успел ещё отогреться у родной печки... И почему он должен бежать из родного дома? За что?

Матвей не уехал и, стараясь не замечать холодного молчания отца, работал на «Иртыше», готовя машины к навигации.

---

По счастью, до выхода флота из затона оставались считанные дни.

Матвею казалось, что за лето, пока они все будут в плавании, отец и Семён в чём-то обязательно разберутся, что-то такое поймут, и когда осенью семья соберётся под родной крышей, всё будет забыто и вернётся прежняя добрая жизнь.

И, может быть, Лидия родит ему сына.

Но ничего за лето не изменилось, не забылось. Отец ходил туча тучей, братья молчали. Лидия к осени ещё сильнее расплнела, и Матвею почудилось, что сбудется его заветная думка о сыне. И всё остальное рядом с этой радостью показалось ему мелочным и незначительным.

Вот родится ещё один Третьяков... и всё встанет на свои места, и всё, что произошло в семье, минет, как дурной сон.

— Сын... Егорушка... Егор Матвеевич Третьяков!

— Ты с ума сошёл?! — прошептала Лидия, и столько в её свистящем шёпоте было неподдельного изумления и брезгливого испуга, что Матвей понял: никогда ему — Матвееву сыну — Лидия не позволит родиться.

И в эти трудные дни, когда в доме Третьяковых с каждым часом становилось всё темнее, тише и холоднее, Матвей начал выпивать. Не часто и не много, но вполне достаточно, чтобы положить на фамилию Третьяковых ещё одно тёмное пятно.

А потом получилось такое. Экспедитор орса, четыре года провоевавший в интендантских тылах, как-то в забегаловке, чокнувшись с Матвеем, сказал, доброжелательно ослабившись:

— Я бы на твоём месте, товарищ Третьяков, спрятал бы эти самые ордена подальше, в мамашин комод. Вот если бы ты их после плена заслужил — другая бы им цена была...

За всю жизнь, даже в мальчишеских драках, Матвей ни одного человека не ударил в лицо. И тут, закрыв глаза, чтобы не видеть жирной подлой ухмылки, он схватил обидчика за грудки и с неожиданно воскресшей третьяковской силой повёл его перед собой, затылком вперёд, к дверям.

С трудом вырвали из Матвеевых рук синего от удушья и испуга экспедитора, а Матвея увели составлять протокол.

Выручать его пришлось Егору Игнатьевичу, чтобы не допустить дело до позорного суда.

А Валерка ждал вызова в военное училище. Пройдены все комиссии, давно отправлены документы, а вызова всё не было.

---

— Сём! А могут меня из-за Матвея не принять?

Говорил Валерка, не понижая голоса, не думая о том, что дверь в Матвееву боковушку открыта, что он может услышать.

И Матвей услышал. Вот тогда он и понял окончательно, что для Третьяковых куда было бы лучше иметь хорошую похоронную, чем живого, но побывавшего в плену сына.

А вечером к нему пришла мать. Плотно прикрыв дверь, присела на край постели и, склонившись к Матвею, лихорадочно зашептала:

— Уезжай, Матюша, ради Христа, уезжай! Что ты за них цепляешься?! Или ты слепой, или глупый? Это ж волчья порода... разве можно им поперёк дороги становиться? И на людей ты, Матвей, не сердись. Это ведь не по тебе, а по отцу бьют. Много он людям зла наделал, вот теперь через тебя с ним люди и рассчитываются. Ты уезжай, а как устроишься — забери меня к себе... Мне бы хоть немножечко на воле пожить... около тебя...

На другой день она сама собрала его в дорогу.

Полгода работал он на низовом лесоучастке. Там хорошо платили, а ему тогда одно только и нужно было: хорошо заработать, приехать в отпуск «домой» прилично одетым, с доброй копеечкой, с дорогими подарками... Работал до одури, до отупения, чтобы не думать, заглушить тоску по дому, по семье. Водки и в рот не брал, экономил на питании, на табаке. На первые его письма скупно отвечал Семён. Сообщал семейные новости: Валерку в училище приняли, учится отлично. Вообще о Валерке Семён писал подробно, но адреса его Матвею не сообщал. Из Семёнова же письма Матвей узнал, что Лидия переехала к своему отцу. Известие это его не очень огорчило, он примирился с мыслью, что теперь он Лидии в мужья не годится.

Матери он в письмах аккуратно слал поклоны, спрашивал о здоровье. Семён писал: «Пока жива-здорова, но прихварывает, кланяется тебе».

Потом письма из дома прекратились, и тогда всё чаще и тревожнее стала Матвею вспоминаться мать. И однажды ночью, когда особенно тяжело не спалось, его вдруг словно осенило: не надо было тогда оставлять её с ними одну. Сразу нужно было уезжать вместе, вдвоём. Плохо ли, хорошо ли, а вместе... Ведь одна же она у него осталась, кроме неё, роднее, милее её нет у него никого на свете.

Уже давно предлагают ему на соседнем рыбоконсервном заводе место механика, и комнатку дают. Жили бы они те-

---

перь вдвоём — тихо, чисто. И это был бы настоящий его дом, и никуда бы его больше не стало тянуть.

За две недели Матвей уволился, послал на консервный завод заявление, сообщил, что он едет за матерью, попросил приготовить комнату и на первом же попутном пароходе выехал домой.

В дороге от чужого человека, в случайном разговоре узнал, что мать умерла два месяца назад. Его не известили о болезни матери, не позвали проститься, проводить в могилу.

В последний раз Матвей вошёл в дом отца трезвым; одет он был неплохо, выглядел окрепшим и спокойным. Думая, что Матвей приехал в отпуск, встретил его отец приветливо.

После второй стопки, узнав, что Матвей уволился и не намерен возвращаться «на низ», присмотревшись к слишком уж спокойному лицу сына, Егор Игнатьевич насупился и спросил напрямую, не собирается ли дорогой сынок начать всё сначала.

— А ты, батя, отрекись от меня через газету, — посоветовал Матвей. — Мне теперь всё равно. Дотерпела бы маманя, дождалась бы меня, увёз бы я её. Я же за ней приехал, — да опоздал.

Отец поднялся над столом, огромный, разгневанный.

— Вон из моего дома... иуда... подлец! — он указал на дверь. — И не смей материно имя порочить! Это ты её в могилу свёл!

Матвей, пьяный, бродил по посёлку. Денег и новой одежды хватило на две недели. Пропив всё, что было возможно, вернулся к отцу и залёг в кухне, за печью, на раскладушке.

«Матюшину боковушку» занимал теперь Семён с молодой женой.

Лежал, пока отец и Семён не откупились — придели в кой-какое старьё, дали денег на дорогу.

Проплавав до осени матросом на барже, Матвей опять явился «домой» пьяный и «гостил» больше месяца.

И так повторялось много раз. Как-то исчез на полгода. Третьяковы вздохнули свободнее, — думали, кончилось их позорище, но осенью Матвей появился в посёлке больной, опухший, тихий.

И случилось так, что в этот же вечер, когда Матвей пришёл к отцу, из Семёнова бумажника пропали деньги — сто двадцать рублей. По тем временам деньги небольшие.

Матвей плакал и клялся. Он даже на колени пытался встать, только бы ему поверили. Он молил Семёна вспомнить, где тот мог обронить или потратить эти проклятые деньги. Но ему

---

не поверили. Тогда на следующее утро он взял из отцовского кармана пятьдесят рублей, пропил их и, вернувшись вечером домой, сказал, пьяно ухмыляясь:

— Ну, вот теперь я действительно вор. Теперь, батя, будешь в полном праве вызвать милицию и препроводить меня, варнака такого... вора — Мотьку Третьякова... алкоголика... в тюрьму.

Вот тогда-то отец и избил его и выбросил в промозглый октябрьский вечер на улицу.

— Он меня, понимаешь, в жизни пальцем не тронул, он меня никогда даже словом грубым не обидел...

Матвей хрипло откашлялся и надолго замолчал. Стало слышно, как на печке вздыхает и побряхтывает Иван Назарович.

Вера беззвучно, шёпотом ревела, широко открыв рот, чтобы не слышно было. От беззвучного плача заболело горло, стало трудно дышать, надсадно заломило в ушах.

— И ведь бил-то он меня не за деньги. И Сенька, и он знали, что я тех денег не брал... А может, их и вообще не было, тех денег-то. Просто надо было ему избавиться от меня наконец... любой ценой, лишь бы избавиться.

Тут Иван Назарович скатился с печки, бодро погромел кружкой о ведро и, напившись, сказал торжествующе так, словно они с Верой были в избе одни:

— Ну, Верка, что я тебе говорил? Помнишь? Не поладилось что-то в жизни, пошло кружить на перекосах, ну и сшибло человека с ног... А ты — алкоголик! Да разве алкоголики-то такие бывают? Алкоголик — это если по природе идёт от деда к отцу, от отца к сыну. Пары водочные в крови, тут уж, конечно, — дело табак. И то не всегда. Всё от человека зависит. Это уж вы мне поверьте, я в этих делах мало-мало разбираюсь. Сам алкоголик был. И дед покойный, и отец, и сам, почитай, до пятидесяти годов пил. Ну-ка, подвинься...

Он прошлёпал босыми ногами к Матвею в угол и, потеснив его, плотно уселся на край топчана:

— Вот ты в отместку отцу пить начал, а стоит ли он того, чтобы через него жизнь свою молодую рушить? Это ж куркуль, продажная шкура. Матери твоей он жизнь укоротил, тебе душу изувечил, видать, не одному соседу напакостил, и ничего — живёт себе, перед людьми чванится. До совести, до души его не доберёшься, потому что жиром они у него заросли. Чего же ты до сей поры его отцом кличешь? Какой он отец? В такое время от сына откачнуться — это ж... Любая

---

животная своё дитя от беды грудью прикрывает... Забудь про него раз и навсегда. И про бабу свою тоже забудь. Разве это тебе жена? Ты ищи себе бабу верную, на которую в любой беде положиться можно, чтобы всё у тебя с ней было неразделимо вместе. Дом для неё поставь, а она тебе сыновей народит, вот тогда станешь ты настоящий житель на земле. А что касается водки, ты крепись, потому что срок тебе уже остался теперь не долгий. Выдюжишь примерно так до двадцать седьмого мая, не сорвёшься — значит, говори, что стал ты опять сам себе хозяином. Ходи тогда посвистывай и хвост держи пистолетом. Это я всё по себе знаю. Только та разница, что ты сдуру пил, и пил ты всего три года, а я был запойный тридцать пять лет. Так-то вот, милый сын!

Про отца забудь, а что зубы он тебе вышиб — скажи спасибо. Это он, сам того не зная, всю дурь из тебя вместе с зубами выбил. И не вздумай ты зубы вставлять раньше времени. Вот когда уверишься сам в себе до конца, уверишься, что можешь безвредно в хорошей, скажем, компании выпить рюмку-другую и не потянет тебя за стакан схватиться, вот тогда иди к самолучшему врачу и вставь самые что ни на есть распрекрасные зубы.

И живи.

Уже спустя несколько лет как-то Вера уважительно спросила Ивана Назаровича, что означало это число — двадцать седьмое мая и наказ не вставлять зубы раньше срока. Не гипнозом ли тогда лечил Иван Назарович Матвея от запойной тоски?

Ивана Назаровича Верины предположения тогда очень рассмешили.

О гипнозе представление у него было совсем смутное. Всех гипнотизёров он считал шарлатанами, которые за деньги представляют в клубе разные фокусы.

Но Верино предположение, что именно он, Иван Назарович, помог Матвею излечиться от запоя, очень ему польстило. А чего ж? Что ни говори, а неизвестно, как бы оно, дело-то, обернулось, если бы не взял тогда Матвей Егорович во внимание его советов.

Ну а что касемо сроков, так в любом трудном деле надо, чтобы человек точно знал срок этому делу, чтобы он конец того срока видел, силы свои рассчитал, уверился сам в себе. Вот тогда он и будет твёрдо своё дело выполнять и ждать с верой, когда выйдет тому сроку конец. А вы говорите — гипноз.

---

Так-то оно всё и сошлось: и по срокам, и по всему прочему, что наказывал тогда Матвею Иван Назарович.

О том, как практически оно сошлось, Иван Назарович узнавал только по Вериным письмам, потому что самого его к этому времени на Дальнем уже не было.

Заболел Иван Назарович ещё на исходе зимы, но всё крепился, перемогался, и только к ледоходу окончательно слёг. Жаловаться и стонать он не умел. Покряхтывал да натужно отдувался, когда становилось совсем уже невоготу. Лечили его всеми доступными домашними средствами: парили в бане, натирали грудь и бока скипидаром, пробовали, за неимением банок, накидывать на спину стаканы... Вера скормила ему все порошки и капли из своей небогатой аптечки... А Ивану Назаровичу становилось день ото дня хуже и хуже.

Всё тревожнее хмурился Матвей, всё чаще стоял по вечерам на берегу... Дотянет ли старик, пока вскроются реки и прибежит с Центрального катер? Вера тоже нетерпеливо ждала ледохода. И ждала, и страшилась. Не шли с ума где-то, когда-то запавшие в память слова: «Как бы и он не ушёл вместе со льдом?».

Весна была ранняя, дружная, и Иван Назарович всё же дождался катера. Только на катер его Матвей снёс уже на руках.

Уложили его в капитанской каюте. Немного отдышавшись, он послал Веру на берег, велел сломить ему на дорогу веточку ещё не распутившейся черёмухи. Конечно, это была явная придумка, просто Иван Назарович хотел отослать Веру от себя, но она не обиделась, поняла, что надо ему на прощанье поговорить с Матвеем Егоровичем о каких-то своих мужских делах.

Тем более, что Вера сама везла Ивана Назаровича в больницу и у неё впереди был ещё целый день.

Она вышла на берег, постояла недолго на высоком яру, посмотрела хмуро, как прямо у неё на глазах рушится к чёрту с таким трудом налаженная, тихая и ровная жизнь... С катера на берег выгружалась артель лесорубов. Строители и жители будущего рабочего посёлка Дальнего...

С гоготом, гвалтом, руганью мужики сновали взад-вперёд с катера на берег, бежали, пританцовывая под грузом на узеньких, хлипких сходнях... На берегу росли штабеля кирпича, ящиков, бочек с горючим, кулей с мукой и картофелем.

Наломав за избушкой пучок черёмухи, Вера спустилась в ложок, сломила несколько веток цветущей вербы. Она при-

---

жала к щеке бархатно-нежные комочки, облепившие веточку вербы. Жёлтенькие, пушистые, словно крохотные цыплята, — они едва уловимо пахли мёдом.

Вера закрыла глаза и заплакала... Вот и опять она одна... На катер она пробралась, пряча от чужих взглядов опухшие, наплаканные глаза. Артель, выгрузившись, расположилась в тени сарая обедать. На катере готовились сниматься с причала. Матвей стоял с капитаном подле рубки, а в каюте около Ивана Назаровича сидел чужой мужик, тот, что руководил разгрузкой, судя по всему — бригадир артели. Он пожал Ивану Назаровичу руку и, покосившись на Веру, сказал ласково и серьёзно:

— Будь спокоен, лечись себе и ни о чём не думай, не беспокой сам себя понапрасну...

К вечеру, пока дотянулись до Центрального, Иван Назарович совсем ослабел. Не то дремал, не то был в забытьи. Только в конце пути, когда катер уже подваливал к пристани, Иван Назарович открыл глаза и поманил к себе Веру. С трудом стащив с узловатого пальца старенькое серебряное кольцо, он притянул Веру за руку и надел кольцо на безымянный палец её левой руки.

— Тебе оно большое... ты его не носи... спрячь до времени... — превозмогая одышку, наказал он. — Как замуж пойдёшь, сама ему на палец надень... скажи, что отцова память... отцовское вам обручение...

На Дальний Иван Назарович уже не вернулся. Помереть ему в больнице не дали, но и для работы в лесу он больше не годился.

Немного оклемавшись, прямо из больницы уехал на Алтай, где в деревне, ещё в отцовском домишке, в одиночку доживала свой век его старшая сестра-бобылка.

Из его чужой рукой писанных, невразумительных писем ничего толкового невозможно было вычитать, хотя и перечитывала их Вера не по одному разу. То ли умирать он поехал под родную крышу, то ли после болезни сил набираться под родным алтайским небом.

А на Дальнем всё неузнаваемо изменилось. Восемнадцать чужих мужиков. За зиму, подле Матвея и Ивана Назаровича, Вера отвыкла от шума, грубости и сквернословия. Бросить бы всё и бежать куда глаза глядят. Её и сейчас охотно бы взяли на Центральный, в мастерские, да не велел Иван Назарович пока что трогаться с Дальнего. Строго-настрога наказывал, чтобы «не спущала она с Матвея глаз», пока не обживётся он

---

среди артели, не начнёт помаленьку снова привыкать к людям.

— Главное дело, — следи, чтобы не закурил он с мужиками. Ежели закурит, тогда, боюсь, трудно ему будет в артели выдерживать. Может и запить обратно...

Теперь Вера холодела каждый раз, когда мужики, подсевши к Матвею, доставали из карманов кисеты. Знала по себе, как мучительно временами тянуло закурить, как трудно было удержаться, особенно когда пахнёт на тебя дивным махорочным дымком сразу из дюжины самокруток... А он ведь мужчина, и курил-то он не один и не два года, а пятнадцать с лишним лет. Легко ли? Ну и что могла сделать она одна, без Ивана Назаровича? Тем более, что, проводив Ивана Назаровича, Матвей перебрался из избушки на житьё в сарай, «присматривать» за ним Вере стало совсем несподручно.

Пока что Матвей держался стойко. Утром уходил с артелью в лес или работал на постройке, а вечером, после ужина, собирал своё нехитрое рыбацкое снаряжение и шёл на реку, на нижнюю заводь. С питанием становилось всё труднее, и мужики сами, нередко даже и днём, гнали его рыбачить. А Веру сговорили кашеварить. Конечно, накормить три раза в день девятнадцать здоровых мужиков, когда все продукты по скудной норме, — дело тоже не простое, но ей было всё равно, лишь бы поменьше быть среди мужиков.

Кроме того, сверх жалованья бригадной поварихи артель и от себя положила ей хорошую плату. А ей денег сейчас надо было много. Очень уж хотелось поскорее собрать для Ивана Назаровича хорошую посылочку: справить ему бельишко тёпленькое из бумазейки, жилет меховой заказать, чтобы грудь у него всегда в тепле была... и ещё одеяло бы стёганое, ватное...

У этого бродяжки, у цыгана старого, под конец жизни и постели-то доброй не было...

Работали артельные от темна до темна. После ужина, не отдохнув, шли расчищать поляну под огород, надо было не упустить время, насадить картошки и всякой огородины, чтобы осенью, когда приедут семьи — бабы с ребятишками, — встретить их по-хозяйски, с запасом.

Через неделю неподалёку от избушки, на весёлом солнечном пригорке, из заготовленного зимой леса вырос вместительный добротный барак.

Потом пониже старой банёшки, поближе к воде, срубили новую баню, топилась баня «по-белому», вода в большом деревянном чане грелась змеевиком.

---

Рядом с баракom, под нешироким навесом, — Верины владения: летняя кухня и «столовая» — длинный тесовый стол, окружённый аккуратными скамейками.

Бригадиром артели был тот самый Вихорев Ефим Степанович, мужчина неопределённого возраста и характера. Немногословный, вроде бы медлительный, а дисциплину в артели держал строго.

К Вере и Матвею он относился дружелюбно. Иногда Вере казалось, что Вихорев ищет случая поговорить с ней о чём-то, но, видимо, случая такого на первых порах не выходило. Работала артель слаженно и дружно. Шесть дней работали, седьмой — гуляли. Собственно, выпивка начиналась в субботу, когда после бани садились ужинать. В воскресенье опохмеляться начинали с утра и гуляли уже напролёт до вечера, пока Вихорев не бил отбоя.

Кончали гулянку спокойно, аккуратно допивали остатки и брели в барак, чтобы успеть отоспаться перед новой трудовой неделей.

В первую субботу «обмывали» новый барак. Приглашать Матвея в компанию пришли старик Лазарев и весёлый, хулиганистый Аркаша Баженов. Приглашали уважительно и вроде бы не очень настойчиво. Для приличия пригласили Веру.

Через час пришли снова, уже крепко пьяные. Начали хватать Матвея за руки, обнимали, оттирая помаленьку к двери.

Матвей стеснительно отнекивался, улыбался жалкой, какой-то виноватой, сконфуженной улыбкой.

Вера сидела у окна, спиной к мужикам. Молчала, посапывая сквозь стиснутые зубы, чтобы не разреветься.

Но тут на пороге встал Вихорев. Окинув компанию беглым взглядом, что-то негромко скомандовал Лазареву, несильно пихнул Аркашку кулаком в плечо, и они враз утихомирились, замолкли и послушно потянулись из избы.

Вихорев — пьяный, благодушный — долго жал Матвею руку, гладил его по спине, по плечам, убеждая не сердиться на ребят.

— Ты, Матвей Егорович, не думай, оне... робяты-те, от всей души... Они тебе плохого не хочут... Конечно, ежели ты не употребляешь... ежели не положено тебе... — значит, всё! Разве мы не понимаем? Нельзя — значит нельзя. И правильно! Ну её в пим, отраву собачью!

Потом он подсел к Вере, стал восхвалять её поварское умение, от лица всей бригады трогательно благодарил за согласие потрудиться на пользу обществу.

---

А когда Матвей вышел из избы, Ефим Степанович, обдавая Веру винным духом и вода перед её лицом кривым, жёлтым от махорки пальцем, убедительно зашептал:

— Ты, деваха, нас не опасайся. Я ребятам скажу, они к нему не станут вязаться. Конечно, тебе переживанье, хоть и сродный, всё же брат... Опять же фронтовик, контуженный... Ты в случае чего прямо ко мне. Не опасайся, если чего не так, ты прямо ко мне, безо всякого...

Так Вера узнала, что Матвей снова стал её сродным братом. По пьяной сочувственной болтовне Вихорева и ещё по кое-каким знакам она догадалась, что милая заботушка — Иван Назарович — уезжая, успел всё же перекинуться с Вихоревым нужным словом.

В следующую субботу обмывали кухню и столовую. Матвей сразу после бани, прихватив кое-каких харчишек, ушёл на реку, и вернулся с доброй добычей только в воскресенье поздним вечером, когда уже артель полегла в бараке мёртвым сном.

И когда пришла очередь обмывать баню, он опять на целые сутки укрывался в тайге.

На сердце у Веры становилось вроде бы повеселее, но тревога всё же не отпускала. Очень уж ненадёжный вид был у Матвея Егоровича, и вёл он себя всё же не так, чтобы можно было ожидать хорошего.

Худой и чёрный от весеннего таёжного загара, до глаз заросший серой, дремучей бородой, жил он какой-то до невозможности тихий и посторонний среди людей. И о чём-то он всё время напряжённо и неотступно думал.

Иногда Вере казалось, что Матвей мучительно и, может быть, уже из последних сил борется с тем самым проклятым врагом, что, по выражению Ивана Назаровича, «сидит, сволочь, в нутре и точит, и сушит человека, не даёт ему ни покоя, ни радости...». Может быть, именно сегодня, вот сейчас, махнёт он на всё рукой, поднимется: «Да пропади оно всё пропадом... Сколько же можно?!». — И закурит... А потом в обнимку с Аркашей Баженовым подойдёт к столу... возьмёт в руки полный до краёв гранёный стакан.

И никакая сила не сможет его удержать... И ни к чему тогда окажутся все его зимние страдания: как отобрали они от него махорку, как заставляли через силу есть солёную черемшу и сырую тёртую картошку — от цинги, как чуть не волоком тащили они его в лес, на чистый воздух... Работать заставляли, а у него ноги-то опухшие были... Словно кандалы какие висели на нём, а она и Иван Назарович не давали ему покоя. Неужели же всё это напрасно?! Неужели всё ни к чему?!

---

А потом ко всем этим переживаниям прибавилась ещё одна непрошенная забота. Олежка Фунтик.

На первых порах Вера к мужчинам не присматривалась, и были они все на одно лицо. Грубые, грязные, горластые... Сразу видать — народ бывалый.

Семнадцать человек. А восемнадцатым оказался длинный тощий пацан с чудной фамилией — Фунтарев. Худой и злоущий, как необученная полугодовалая овчарка.

Огрызался он и рычал на любого, кто интересовался узнать, как это его, такого чудика никудышного, загнали в тайгу.

А тут и дознаваться было нечего. Любому дураку ясно, что не от добра забился парнишка в тёмный лес, на край света.

Работать он не умел. Не было у него ни силы, ни выносливости, ни мужской сноровки в работе. И шуток он не понимал. И комары его заедали...

Нередко вечером, после работы, он уже не мог есть. Сидел за ужином тупой, равнодушный, опустошённый усталостью.

Вера подсовывала ему лишний кусок за столом... Ругаясь, заставляла отпаривать на ночь ободранные руки, перевязанные грязными, заскорузлыми от засохшей крови тряпками. Смазывала бесчисленные ссадины и болячки йодом из своей походной аптечки... А он косился на неё исподлобья, грубил и огрызался.

Работать он старался изо всех сил. Не работал, а надрывался, только бы не вызвать лишний раз новых насмешек и гогота Аркашки Баженова.

А Баженова Аркадия, видимо, таким уж зародил бог. Не мог он, чтобы над кем-нибудь не потешаться.

С лёгкой его руки Олег в первые же дни из Фунтарева превратился в Фунтикова.

Причём кличку эту Аркашка произносил, вытянув губы трубочкой, с присвистом — Фьюньтиков! В этом и заключался самый смех. А для Олега жгучая обида.

Потешался Аркадий не над одним Олежкой. Он зубоскалил и награждал прозвищами всех подряд, невзирая на лица. Так, к приземистому усатому хохлу Гордиенко сразу же накрепко прилипла кличка Бульба. Тощий, унылый вдовец Останкин превратился в Могилкина, здоровенному Андрюхе Малкину, когда таборили хлысты, уже всей артелью орали:

— Давай, Лебёдка, давай-давай! Вира, вира помалу!

Кое-кому такие достались клички, что употреблять их можно было только в лесу. При Вере выражаться и похабничать было почему-то неловко.

---

И никто, кроме Олега, на Аркашку не обижался. Без его зубоскальства на Дальнем совсем было бы тошно.

В одно из пьяных воскресений Вера подобрала Олега в кустах за бараком. Лицо и руки его облепили комары. В одиночку, с трудом волоча вялое бесчувственное тело, гадливо отплёвываясь, Вера перетащила его в избушку.

Потом, ругаясь сквозь зубы, стирала единственные его брючишки и тесную спортивную куртку.

А утром, не поднимая мутных опухших глаз, бледный до зелени Олег молча натянул ещё не просохшую одежонку и ушёл... Ни спасибо не сказал, ни до свиданья...

В следующую субботу, как только Олежка вышел из бани, Вера окликнула его и приказала натаскать ключевой воды в кадушку на питьё. Вера приказала, и Олег молча взял вёдра и пошёл на ключ.

Вечер был ветреный и холодный, собирался дождь. Мужики после бани ужинать расположились в бараке. Наполнив кадушку, Олег, покосившись на Веру, взял топор и принялся рубить смольё на растопку. Но тут на крыльцо вышел пьяный Аркашка и, обняв за плечи, увёл Олега в барак.

Вера собрала для себя и для Матвея ужин, но есть не хотелось. С полчаса она потолкалась ещё у плиты, из рук у неё всё валилось, а в бараке уже орали песню, неумело пиликал на баяне Андрюша Лебёдка. Дальше ждать было нечего. Не замечая подошедшего Матвея, — сейчас ей было уже не до него, — Вера схватила с плиты огромный жестяной чайник и решительно направилась в барак.

Может быть, алкоголики проклятые чаю захотят.

Олежка, уже совсем пьяный, стоял, прислонившись спиной к тесовой перегородке. А перед ним с полным стаканом водки в руке куражился Аркашка.

Видимо, должен был Олежка этот стакан водки выпить, а он не хотел, не мог... отворачивался бессильно, бледный, жалкий.

В бараке стоял тот пьяный гвалт, когда уже трудно понять: то ли веселятся люди от души, то ли вот-вот вспыхнет свирепая драка.

В полумгле, в табачном дыму, Вере почудилось, что все семнадцать сообща потешаются над несчастным Фунтиком. И всем для чего-то требуется, чтобы выпил он этот страшный стакан водки.

Смаху стукнув чайником о стол, Вера шагнула к Аркадию и, отведя рукой от лица Олежки стакан, сказала грубым, совершенно не своим голосом:

---

— Отойди от пацана! Что он тебе сделал? Чего ты к нему пристал?

Всё это было настолько неожиданно, что Аркадий, тупо приоткрыв рот, на какое-то мгновение отступил, и, воспользовавшись этим мгновением, Вера обернулась к Олежке и схватила его за плечо:

— Чего губы-то распустил?! А ну, марш отсюда! Балда!

Она оторвала его от стены, толкнула к выходу, но Аркадий уже опаматовался:

— Пардон, мадам, вы что это себе позволяете? — Нагло прищурясь, он выплеснул водку в лицо Веры, швырнул под ноги ей стакан и, повернувшись к Олежке, ткнул его кулаком в подбородок. Олежка лязгнул зубами и, заваливаясь вбок, гулко ударился затылком о стену.

Вера охнула и, заслонив собой Олежку, встала между ним и Аркадием.

— Гад... бандюга... паразит! — зашипела она сквозь стиснутые зубы и вдруг, вскинув подбородок, пошла грудью на Аркадия, на пьяную его ухмылку, на литые, чугунные кулаки.

— Ты! Рожа! — Аркашка бросил на грудь Веры хищно растопыренную пятерню и, медленно сводя пальцы, скомкал в кулаке ветхое её платишко. — Стереги своего полоумного братца, а в наши дела не суйся, поняла... рожа?

Он рванул Веру на себя, но тут над его плечом возникло бледное лицо Матвея. Аркадий взмахнул руками и, запрокидываясь навзничь, поехал куда-то в сторону от Веры.

Было похоже, что сейчас начнётся всеобщая свалка. Мужики, сгрудившись в кучу, ревели, пихались кулаками куда-то в середину, где были Матвей и Аркашка.

Неужели все на одного!

— Матвей Егорович! — не своим голосом завопила Вера и ринулась в свалку. Но тут всё вдруг как-то словно прояснилось, разобралось, распуталось.

Огромный Андрюха Лебёдка, выдернув за шиворот из кучи Аркашку, проволоком его мимо Веры и выкинул за дверь, на крылечко, на свежий воздух.

Старик Лазарев и тощий, с плачущим лицом Останкин-Могилкин держали за руки бледного Матвея. Ефим Вихорев, толстый, усатый Бульба, кудрявые братья Олейниковы окружили Веру. Оказалось — никто не понимал, что произошло. Как в бараке очутилась Вера и за что обидел её Аркашка?

У Веры тряслись и подламывались ноги, но, взглядевшись в расстроенные, протрезвевшие лица мужиков, она всплеснула руками, горько и певуче закричала:

---

— Да як же так, господи?! Вот вы, дядька Юхим, али вы, Мыкола Исаич, неужели вы не видите, что этот паразит над ним вытворяет? Это ж пацан ещё, ребёнок... Какая ему водка?! Я в прошлую субботу думала — не отвожусь с ним... И так мальчишка пропадает, а вы ещё позволяете этому гаду издеваться над ним. Или у вас своих детей сроду не бывало?

Вера голосила на весь барак, отводила душеньку после только что пережитого страха.

Мужики сконфуженно гудели.

На том субботнее гулянье и закончилось.

Сомлевшего Олега Матвей взвалил на плечо и унёс к Вере в избушку; отваживались они с ним вдвоём. Вере казалось, что никогда не кончится эта дикая ночь, что ещё немножко — и она начнёт помирать заодно с Олегом, так страшно было смотреть на его мучения.

Утром явился с повинной Аркашка. Пришёл как ни в чем не бывало, стал извиняться и за старое, и за новое, и за три года вперёд. Клялся не касаться больше Олега ни словом, ни делом. Он так и сказал: «...ни словом, ни делом, ни помышлением», а у самого глаза, как у беса лесного, так и играют.

Потом в знак искреннего своего раскаяния и смирения отправился на кухню чистить картошку к ужину.

Чтобы накормить девятнадцать здоровых мужиков, прежде всего нужна картошка, много картошки. Особенно, если и хлеба маловато, и приварок никудышный.

Согласившись кашеварить, Вера на первых порах до глубокой ночи засиживалась у костра-дымокура. Ведь это сколько же нужно времени, чтобы в одиночку начистить два ведра мелкой, дряблой, проросшей картошки! Да ещё с каждой картошки срезать верхушку с ростками на посадку.

Как-то, в такой вот одинокий весенний вечер, к костру подошёл Матвей. Присел на чурбан, вынул из кармана нож-складень, подарок Ивана Назаровича, и, потянувшись к ящичку с картошкой, хмуро прошепелявил:

— Чего же ты Вихореву не скажешь, чтоб наряжал в помощь тебе ребят по очереди? И воду сама носишь, и с дровами возишься...

Говорить с Вихоревым Вера так и не собралась. Очень уж трудно мужикам приходилось, особенно поначалу, когда и строиться надо было спешно, и план выгонять, и целину таёжную вскапывать под картошку.

Просто язык не поворачивался требовать от них помощи. А работы и у неё всё прибывало, и уже не стало хватать дня.

---

Приходилось подниматься с зарёй, чтобы к ночи управиться со всеми делами.

Конечно, в артель она рядилась только поварихой, но не сидеть же в стороне, сложа руки, если на глазах чистенький новый барак превращается в свинюшник.

Это ведь сказать только просто: «А мне-то какое до них дело?». Видеть, как усталые, грязные мужики спят вповалку на затоптанном полу пустого барака, как идут они в субботу в баню без узелков с чистым бельём под мышкой, — ну какая же хозяйка на такое безобразие согласится?

А семейка-то у этой хозяйки получилась добрая — с Матвеем Егоровичем девятнадцать душ.

Два раза в неделю выскоблить с песком в бараке пол, да чтобы к бане у каждого была сменка чистого белья — нештучное это дело. А сколько нужно было терпения, пока эти неряхи не привыкли оставлять на крыльце грязные сапоги, не бросать одежду где попало.

Вера не ворчала, не ругалась. Поднимет с пола окурки и молча несёт его к консервной банке. А банок этих, вместо пельниц, наставила она под нос мужикам по всему бараку.

Или наклонится, возьмёт сброшенную у порога одежду, встряхнёт и повесит аккуратно на гвоздик у двери. Скажет негромко:

— Ой, Степан Андреевич, ну вот же он, гвоздик-то, под рукой у вас.

Сказал бы кто Вере год назад, что она себя приговорит к такому вот полудикому существованию, — не поверила бы никогда.

Самой лишить себя всех радостей жизни, отказаться от такого чуда, как радио и кино, жить без библиотеки... Не читать...

Только работа... И какая работа? Самая распроклятая, какую Вера всегда презирала, — бесконечная, постылая — бабья работа.

И заботы... Хорошо ему, старому, было наказывать: «Глаз с него не спускай... следи... приглядывай, чтоб побольше на людях был, а с кем не надо, чтоб не связывался».

Прямо смешно, ей-богу, словно Матвею Егоровичу три-четыре годика...

Разве узнаешь, что у него на уме? Не подойдёшь ведь, не спросишь: «Ну как, мол, вы, Матвей Егорович, чувствуете себя... в смысле алкоголизма?».

Иногда посмотришь — ничем он от других не отличается, и разговаривает с мужиками, иной раз и улыбнётся, а иногда

---

взглянешь невзначай — а у него глаза такие, словно живёт он на свете... стиснув зубы.

Как-то Вера завернула за баню, щепы сухой набрать на растопку, а он сидит на берегу, над самым обрывом, уставился глазами куда-то в одну точку, не мигая, а сам губами шевелит. Видно, уже и разговаривать сам с собой начинает по-стариковски...

И какие у него могут быть разговоры с Аркашкой Баженовым? И чего этот змей, спрашивается, около него стал крутиться?

В прошлое воскресенье на охоту увязался... что ему от Матвея Егоровича нужно?

А тут ещё от Ивана Назаровича письма нет и нет. Написал, что схоронил свою сестру старенькую, — и замолк. Получил ли посылку? Живой ли? Лежит, поди, один в своей старой хатёнке, и некому за ним походить, и некому на него поворчать...

И с Олешкой что-то неладное творится. Совсем вроде парнишка наладился, повеселел, а вчера вдруг словно с цепи сорвался, из-за какой-то ерундовой шутки бросился на Андрюху Лебёдку с кулаками...

Работа да заботы, невесёлая вроде бы жизнь, а дни катятся один за другим, успевай оглядывайся.

С работой, правда, стало полегче, помаленьку отпадала надобность просить у мужиков помощи. Сами стали проявлять заботу: Андрюха Лебёдка или братья Олейниковы выберут вечер посвободнее и наворочают целую поленицу сухих смолистых дров и для кухни, и для бани.

Один натаскает кадушку ключевой воды на питьё и еду, другой — наполнит банные бочки...

Дед Лазарев и вдовец Останкин «прикомандировались к котлу» — чистили картошку и прочий овощ, потрошили рыбу в засол — к середине лета Матвеев улов артель уже не проедала, и Вера приспособилась рыбу солить и вялить.

Дед Лазарев и длинный Останкин вообще стали безотказными помощниками и соратниками Веры во всех её хозяйственных начинаниях.

Это они ещё весной выкопали довольно вместительную погребушку и набили её льдом. С их помощью Вера натаскала из тайги и засолила две большие кадушки сочной духовитой колбы-черемши. Для сушки ягод дед Лазарев смастерил потешные, но на редкость удобные берестяные лотки. Черники и малины рядом в лесу было — хоть лопатой гребь.

На водку дед Лазарев и Останкин были не жадные, тем более что оба они с похмелья очень страдали. Под этим пред-

---

логом они от компанейских попок помаленьку стали отбиваться, а за длинный летний воскресный день мало ли можно по домашности разных дел переделать?

Без большого труда Вере удалось убедить их, что в бараке, как в любом рабочем общежитии, должны быть для жильцов кровати или, в крайнем случае, деревянные топчаны.

Это же только подумать, срамотища какая — этикие мастера, плотники-столяры — золотые руки, и валяются хуже собак, вповалку на грязном полу.

Пока дед Лазарев с Останкиным мастерили топчаны, Вера вытрясла из замызганных матрацев свалявшиеся комковатые потроха, матрасовки перестирала, а вечером пьяненькие мужики, погогатывая и негромко матерясь, набили их сухой душистой мягкой осокой и развалились, как князья, на новеньких удобных топчанах.

В бараке не в пример стало культурнее. Теперь уже никто не полезет в грязных сапогах на чисто выскобленный пол, и вообще мужики начали себя вести куда аккуратнее, чем на первых порах.

С лёгкой руки бригадира Вихорева уже многие всерьёз стали величать Веру — Андреевной и, что самое дорогое, всё меньше становилось в их разговорах привычного мужицкого похабства.

Как-то Аркадий обнаружил неподалёку от зимовья весёлый, открытый всем ветрам мысок на берегу. С общего согласия облюбовали его для воскресных гулянок и нарекли соответственно — «Аркашин точок».

И правильно придумали. На ветерке гнуса таёжного меньше, а главное — не маячит где-то поблизости хмурое, надутое лицо Веры.

Больше двух месяцев не было дождей. Где-то совсем неподалёку, в заречье горела тайга. В знойном дымном мареве, низко над истомлённой землёй висело солнце — маленькое, зловеще багровое.

От дымной жаркой духоты, от запаха гари — томила тревога, по ночам плохо спалось...

В то памятное знойное воскресное утро мужики ещё за завтраком изрядно выпили и сразу из-за стола, захватив, что положено, не спеша, один за другим вперевалку, словно сытые гуси, потянулись в лес.

Последним вяло, с грехом пополам выжимая из старенького баяна изувеченную до неузнаваемости «Катюшу», брёл полусонный Андрюха Лебёдка.

---

Только Аркадий опять чего-то присоседился к Матвею. Сидел с ним на ступеньках барачного крыльца, рассказывал что-то, видимо, очень уж занятное. Хохотал. Заглядывал искательно Матвею в лицо. Вот, откинувшись к перилам, вытянув правую ногу, достал из кармана кисет, положил его Матвею на колено.

Матвей не закурил, он даже и кисета в руки не взял, но как-то очень уж компанейски тронул он Аркашку за плечо, покивал головой согласно.

Похоже... договорились они о чём-то. Потом Аркадий ушёл. Вера, прищурившись, проводила его взглядом... чтоб тебе там обожраться проклятой вашей водкой!

Матвей сидел на крыльчке один. Не то засмотрелся вслед уходящему Аркашке, не то спал с открытыми глазами, словно лунатик какой...

Вера прополоскала в ведре деревянную поварёшку и, обернувшись к Матвею, собралась окликнуть его, спросить, куда это Олежка в одиночку рыбачить ушёл. Не попал бы змею Аркашке на глаза. Пьяный-то Аркадий не очень свои обещания и клятвы помнит. Но она не успела. Рывком поднявшись с крыльца, Матвей уходил в лес.

Да пропадай всё пропадом! Сколько можно мучиться! Вот какое было у Матвея Егоровича выражение на лице, когда шёл он мимо Веры.

Вера шёпотом охнула, оглянулась потерянно, как была — в правой руке поварёшка, за поясом тряпка-прихватка, — метнулась за барак...

Если напрямик через ложок, через бурелом, через чащобу — можно успеть выскочить к Матвеевой тропе, как раз там, где вправо уходит свёрток на «Аркашкин точок». Если наперерез — вполне можно успеть.

И она успела. Слизывая с пересохших губ солёный пот, зашла за стволем огромной сосны. Матвей прошёл совсем рядом и, даже не замедлив твёрдого, размеренного шага, свернул со своей тропы вправо.

Тогда Вера выскочила на тропу и закричала. А что ещё она могла сделать в эту минуту?

Матвей стремительно обернулся. Вера стояла на тропе, прижав к груди поварёшку, смотрела на Матвея дикими глазами — багровая, растрёпанная, словно только-только из медвежьих лап вырвалась.

— Что ты?! Кто тебя?! — закричал испуганно Матвей, перемахнув через колдобину. — Да говори же, кто тебя?

— Да-а-а... — плаксиво прошипела Вера, отвернувшись, она никак не могла проглотить застрявший в пересохшем горле

---

шершавый комок. — А вы зачем туда потащились? Чего вам там нужно?

— Где? — изумился Матвей. — Тальник у меня здесь вот, в ложке, нарезан на корчажки.

Но тут глаза у него округлились, губы повело недоверчивой улыбкой:

— Подожди... так ты это за мной гналась? А чего ты орала-то?

Главное сейчас было — не заплакать. Очень болели обожжённые крапивой руки, колело в боку, от злости и стыда огнём горело потное лицо.

Вера опустила на сухую валежину, загородившись от Матвея худым плечом.

— Вам, конечно, смешно... чего ж не посмеяться над такой идиоткой... Не взял бы Иван Назарович с меня слова, чтобы я за вами приглядывала... стала бы я по лесу гоняться, караулить вас, как маленького... очень мне нужно... так бы я и побежала...

Согнув свои длинные ноги, Матвей присел перед ней на корточки, пытаясь заглянуть в её лицо:

— Ну чего ты? Вер! Ну ты извини меня, я ведь не знал, что тебе надо за мной приглядывать. Видишь, вот как получается: я про это уже и думать забыл, а ты, выходит, беспокоишься, переживаешь, чтобы я опять с праведного пути не сбился. Я уже зубы вставлять думал, помнишь, дядя Иван срок мне назначил? Двадцать седьмое мая, а сейчас август начинается...

— Да-а-а... — недоверчиво протянула Вера, искоса из-за плеча заглянув в его синие, незнакомо-ласковые глаза. — А чего ж тогда этот... змей всё утро вокруг вас вился, смущал вас?

Матвей приоткрыл рот, икнул и закатился вдруг таким смехом с охами, с подвыванием, что Вера в первое мгновение даже испугалась.

Сгибаясь вдвое, он то ложился грудью на согнутые колени, то откидывался назад.

— Нет, ты только послушай! — стонал он, смахивая пальцем слёзы. — Змей меня смущает! Как Еву в раю!

Вера опять обиделась и начала было надуться, но, глядя, как, запрокинув голову, он колотит себя ладонями по коленям, — не удержалась и хихикнула.

— Ты не обижайся. Вишь, как меня прорвало... — извинился Матвей, отсмеявшись, и неожиданно предложил:

— Давай устроим сегодня тебе полный выходной день. Ты ведь не знаешь, какое мне дядя Ваня в лесу наследство оста-

---

вил. Ты такого сроду не видала, ей-богу. Обед у тебя сварен, авось наши гуляки один-то день без тебя обойдутся...

— Что вы, Матвей Егорович, — удивилась Вера. — Как же я уйду, не сказавшись? Причудится им с пьяных глаз, что меня в малиннике медведь задрал или ещё чего... Да и поварёшка вот... искать ринутся.

— Кого? Поварёшку?

Теперь прорвало Веру. Это же представить себе только такую картину: шестнадцать пьяных мужиков ползают в лесу... по просеке... головами о пни стучаются... поварёшку ищут!!!

— А что вы думаете? Это и трезвому не сразу такую загадку разгадать: среди белого дня пропала стряпуха вместе с поварёшкой...

— Ничего! — серьёзно успокоил её Матвей. — Мы им сейчас телеграмму отобьём!

Минутное дело — срезать три тонких осинки, гибким берёзовым прутиком связать их за вершины и поставить треногой поперёк тропы.

— Стоп! Внимание! Семафор закрыт! — строго командует Матвей, вынимая из кармана затрёпанный блокнот и огрызок химического карандаша.

Телеграмма, надетая на ручку поварёшки, повисла на «семафоре». Она гласила: «Я сегодня выходная. Каша в духовке. Ешьте сами. Вера».

— Подъём! — Матвей протянул руку и, словно маленькой, помог Вере подняться.

Он вёл Веру нехоженой тайгой, но минут через двадцать вывел, куда было нужно. На пологом склоне косогора, полускрытый зарослями жимолости, в неглубокой мшистой колдобинке бил родник.

Родничок дышал. Вода на дне ямки то вздымалась, вскипая живыми бугорками, то опадала. А пониже рукой человека была расчищена неглубокая круглая чаша. Вода из родника струилась в неё по небольшому деревянному жёлобу.

Матвей снял с колышка берестяной ковш-черпачок, поставил его под струю и, как положено доброму хозяину, поднёс его гостю.

Потом, скинув пропотелую гимнастёрку, ушёл в кусты: там у него, по течению родничка, ещё одна копанушка была вырыта.

— Смотри не застудись... — предупредил он Веру из-за кустов. — С поту этой живой водой купаться надо с оглядкой.

Колючие, ледяные струйки обжигали разгорячённое тело. Не то от холода, не то от радости перехватывало дыхание.

---

Большую надо было иметь выдержку, чтобы не визжать и не охать дурным голосом... И не было сил оторваться... Только услышав, как покашливает, пробираясь через кусты, Матвей, Вера торопливо натянула кофтёнку.

Матвей поднимался по косогору, отжимал на ходу мокрую стариковскую бороду.

Борода стариковская, а на ходу лёгкий, и глаза синие-синие... такие синие и ясные на загорелом лице.

Господи! Неужели всё это правда? А она, дура, психовала, сомневалась, выходит, в Иван-Назарычевых предсказаниях...

Матвей прилёг в траву на косогор, закинув руки за голову, стал не спеша рассказывать:

— Привёл меня сюда дядя Иван ещё зимой. «Вот, — говорит, — как дурь накатит, приходи сюда. Умойся, попей, сядь и гляди, как вода дышит». Он ведь, родник-то, и зимой не замерзает. Красотища такая — я тебе словами не сумею рассказать. Жёлоб и ямку — это всё я потом сделал, в память дяди Ивана, когда его в больницу увезли... А зимой вода просто шла вниз по косогору, и образовалась наледь такая, вроде веера. Струя по льду растекается, застывает. Чем наледь выше, тем струе ходу меньше, вот она и идёт вширь. И получается изо льда узор... Вроде кружево ледяное струя плетёт. Один-два слоя прозрачные, как хрусталь, а потом вдруг матовый, вроде сбела, то ли от мороза, а может, наоборот, от потепления такое происходит. И кусты, и деревья вокруг в куржаке, в инее стоят, лохматые, белые...

Родничок завораживал... Сидеть бы вот так, охватив колени руками, и, мерно покачиваясь, смотреть и смотреть, как дышит дно родничка живыми бугорками, слушать неумолчный лепет падающей с жёлоба ледяной струйки...

— Была бы сейчас мама ваша живая... — медленно, словно в полусне, сказала Вера, не отводя глаз от родника. — Съездила бы я за ней... Избушку всю умазала бы, побелила бы на два раза. Цветов бы везде понаставила... Я бы в сарай перешла, а вы с ней вдвоём стали бы жить. Промяли бы вы сюда тропу хорошую, чтобы ей не трудно было ходить... Умылась бы она, попила бы... Лежала бы на воле, на чистом воздухе. И начала бы она поправляться...

Вера не замечала, как, приподнявшись на локоть, пристально всматривается в её лицо Матвей.

Не заметила она и перемены, за какие-то полчаса происшедшей в лесу.

— Вер! — негромко окликнул её Матвей. — Гляди-ка, туча какая поднимается, гроза идёт, и с хорошим, однако, дождём...

---

Туча тяжело поднималась над лесом — грузная, тёмная, угрожающе безмолвная. Медленно, но неотвратимо настигла она солнце... И всё живое замерло, затаилось, в ожидании благодатного поединка. В тревожной предгрозовой тишине смолкли голоса птиц... Даже шмели попрятались, перестали гудеть над лиловыми шапками отцветающего кипрея.

— А ну, давай по-быстрому! — скомандовал Матвей, торопливо натягивая гимнастёрку. — Надо нам успеть до дома добраться...

— До дома?! — огорчённо протянула Вера.

— Мой дом, особый! — засмеялся Матвей. — То не дом, то дача со всеми лесными удобствами... Айда скорее, тут недалеко, рукой подать...

От родничка до Матвеевой «дачи» тропка вилась хоть и не торная, но довольно приметная...

— Основная моя штаб-квартира на реке, а дачу эту мне дядя Иван тоже ещё зимой показал... — оглядываясь на ходу на Веру, рассказывал Матвей, торопливо шагая по узкой тропке.

В тайге резко темнело, словно солнечное затмение началось. Туча всё же догнала солнце и накрыла его плотной иссиня-чёрной полой. Торжествуя победу, швырнула в оробевшую землю великолепную слепящую молнию и победоносно загрохотала.

Вера карабкалась за Матвеем на невысокий, но крутой пригорок. Взбежав наверх, Матвей оглянулся, махнул рукой: «Пришли!» — и вдруг, опустившись на четвереньки, уполз куда-то в нутро огромной сосны. Все окружающие деревья рядом с этой громадиной казались подлеском.

Вере не нужно было вставать на четвереньки. Она только пригнулась пониже и вошла в душистую прохладу огромного сухого дупла.

Вдвоём в Матвеевой даче всё же было тесновато. Вера, на правах гостя, растянулась на мягкой из еловых лап постели. Матвей, отдуваясь, сидел, прислонившись к стенке дупла. Длинные ноги, чтобы не мешали, выставил наружу.

Туча словно того только и ждала, чтобы люди успели укрыться в надёжном сухом гнезде.

На вершины мачтовых сосен налетел ветер, попробовал их раскачать и отступился, пошептался в молодом осиннике, скользнул вниз, прошелестел в зарослях малины и, окончательно обессилев, приник к мшистому подножию старой сосны... Туча разрешающе громыхнула, и на оцепеневшую в ожидании землю обрушился наконец весёлый, яростный ливень.

---

И расколдованный лес вдруг ожил: каждый листок на дереве, каждая травинка на земле благодарным шёпотом переговаривались с летучими струйками дождя. Только, как ни старался, не смог ливень пробиться сквозь могучую крону богатырской сосны. Подножие её там, где торчали из дупла Матвеевы ноги, оставалось сухим.

Ливень скоро отбуйствовал, ушёл отвесной, плотной стеной дальше в тайгу, а на смену ему из посветлевшего края тучи опустился дождик — тихий, ровный, тот самый, который называют грибным.

Сама туча, всё ещё чёрная, полная нерастраченных молний и ещё не излившихся дождей, громяхая, свалилась в сторону заречья, туда, где горела тайга.

Сложившись вдвое, как нож-складень, Матвей выглянул наружу.

— Смотри-ка, туча-то своё дело знает... — похвалил он. — Пожар заливать отправилась... — И глубоко, шумно вздохнул. — Воздух-то какой, мать честная, не надышишься.

Разогнувшись, он втянул ноги в дупло и, охватив колени руками, сказал вдруг, без всякого перехода:

— Ты вот говоришь — водка, водка! А мне, если хочешь знать, от табаку куда труднее было отвыкнуть. Не пообещал бы дяде Ивану воздерживаться — ни за что бы не вытерпел... И перед тобой совестно было. Думаю: закурю я, а она тогда тоже снова запалит.

Вера вздохнула и, покосившись на Матвея, смешливо прищурилась:

— А что, Матвей Егорович, хорошо бы сейчас хоть по маленькой бы... по одной... завернуть?

— Да-а-а... — неопределённо хмыкнул Матвей. — Кое-кому, конечно, не плохо бы, только не тебе.

— Прямо-то! Почему это не мне?

— Потому что очень уж погано видеть, когда хорошая девчонка сигарку сосёт...

— Так то девчонка! А я — лесоруб... полумужичьё... Мне можно.

— Дурак ты набитый, а не лесоруб, вот что я тебе скажу... — нахмурившись, оборвал Матвей, но тут же, словно пересилив себя, спросил шутливо: — Какие ваши соображения будут, гражданочка, насчёт ущицы горяченькой похлевать?

— А потом ещё чайшку с малинкой пошвыркать... — подхватила Вера, радуясь, что уже разгладилась на его лбу сердитая морщинка.

---

Очень не хотелось расставаться с уютным логовом. Если бы не голод — лежать бы так до утра.

Туча ещё ворчала где-то за таёжными увалами, а солнце уже выглядывало осторожно из-за поредевшего её крыла — праздничное, ясное, умытое, доброе.

На Матвееву заводь Вера уже раза три прибежала за рыбой. Но она не представляла, насколько домовито всё было налажено в Матвеевом хозяйстве.

Внутри просторного балагана чисто, сухо, прохладно. В изголовье постели недоплетённая корчажка и связка прутьев. На перекладине развешано всякое рыбацье снаряжение.

Против входа в балаган кострище, колья-рогульки с перекладиной для котелка и чайника.

На крутом берегу к реке прорублены удобные ступени. На воду спущен небольшой сплоток; такое удобство: помыться, воды зачерпнуть или просто на зорьке с удочкой посидеть.

Уха получилась самая настоящая «Демьянова».

Вера уже отвалилась от чашки, — надо же было и для чая сколько-то местечка оставить, — а Матвей всё подкладывал ей в чашку самые лакомые кусочки:

— Ты только погляди, какая вкуснятина, самый же смак... Ну?! Вер!

— Матвей Егорович, миленький! — стонала Вера. — Я ж и так, как тот Антипкин щенок, наглоталась, дышать нечем...

Потом они пили чай со сладкой, зрелой-перезрелой малиной.

Уже смеркалось. А у костра совсем по ночному было темно и уютно.

— Слушай, Вера, давно я тебя хочу спросить... — после затянувшегося доброго молчания негромко сказал Матвей. — Объясни ты мне — зачем ты меня тогда подобрала?

— Здравствуйте вам! — вскинув реденькие белёсые брови, засмеялась Вера. — Чего это вам вздумалось про такое? Подобрала! А что мне тогда оставалось делать? Вы же совершенно не в себе были. Разве вы не помните? Вы же могли тогда над собой такое натворить...

— Ну, хорошо... Пусть так... — неуверенно протянул Матвей, потом, покусав губы, спросил, пристально глядя в безмятежно спокойное лицо Веры:

— А ты знала тогда, кто я? Знала, что я... ну, пропойца конченный, как говорится, отпетый?

— Ой, Матвей Егорович! Какой вы, ей-богу, странный человек, — рассердилась Вера. — Ну до того ли мне тогда было? И слова какие-то пакостные придумали: конченный, отпетый.

---

Вам же Иван Назарович ясно разъяснил, что алкоголики не такие бывают...

— Это точно. Старый колдун правильно тогда определил. Слабость, конечно, малодушество было с моей стороны. Только всё это ведь потом определилось. Ты вот сама до сегодняшнего дня сомневалась, переживала из-за меня. А тогда — чего ж теперь отрицать-то — тогда я для всех действительно отпетый был, конченный... И ты это знала... И не испугалась, не побрезговала... подобрала.

— Матвей Егорович, — засмотревшись в огонь, тихо спросила Вера. — А вы... разве не подобрали бы?

— Не знаю... — качнул головой Матвей. — Возможно, и подобрал бы... Свёл бы в теплушку к батьке Афанасию, деньжонок сунул бы... Но чтобы к себе домой такого вести... Подожди, не фыркай. Ладно, я понимаю: там, в затоне, некуда было тебе меня девать. Ну, а когда в город мы приплыли, ты ведь могла первому же постовому меня сунуть или на пристани оставить: вот, мол, человек не в себе, примите меры. И всё. Постой, помолчи. Мне дядя Иван говорил, что тебе и здесь, на Центральном, хорошие условия предлагали, а ты на Дальний забилась. Почему?

— А что я с вами стала бы на Центральном делать? Я же вам объясняю: были вы тогда не в себе, и надо было вас подалее прибрать, пока вы в себя не придёте. А про условия что говорить? Разве мне тогда до того было?

— Я знаю. У тебя своя большая была беда...

— Выболтал всё-таки старый болтун! — ахнула Вера и отвернулась, залившись тяжёлым сердитым румянцем. — Беда... Беда... То не беда, а дурь была дураковская! — Она украдкой, через плечо, взглянула в хмурое лицо Матвея, смущённо рассмеялась.

— Есть, Матвей Егорович, поговорка такая старая: «Куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй!» Так-то вот и я! Романов начиталась, в кино картин разных про любовь насмотрелась... Ну, как же! Все люди влюбляются, переживают, вот и я туда же...

— Так он... что же? Обманул тебя? — отвернувшись, спросил Матвей.

— Обманул?! Да что вы? Откуда вы взяли? Он и не знал ничего. Я на него и смотреть-то боялась, чтобы он не догадался да не рассердился...

— За что же он мог рассердиться?

— Ну как за что? Люди же над ним посмеяться могли. Подумайте сами: какому мужчине понравится, если за ним этакая страхолюдина бегать начнёт...

---

Вера поднялась, потянулась, хрустко и вкусно зевнула:

— Пошли, Матвей Егорович, вставать мне завтра рано, стирка у меня большая...

Хорошие это были дни. Никогда раньше не знала Вера состояния такого полного душевного покоя, такой простоты и лада с окружающим миром.

Словно у того родничка свалила она с плеч тяжёлый неловкий груз и вот ходит теперь по земле — легко, споро, бездумно.

Работы по-прежнему было много, но теперь она научилась выкраивать для себя свободный часок-другой. Побывать на милom родничке или просто повечеровать на нижней заводи, у Матвеева костра.

А Матвей тоже заметно повеселел, чаще засиживался по вечерам с мужиками. Меньше, видимо, стал стесняться своей шепелявости и уже не всегда прикрывал губы пальцами, когда говорил или смеялся.

В один из вечеров он вынес из барака Андрюхин баян, сел на ступеньке крыльца и, склонившись над баяном, стал осторожно перебирать лады. Перебирал, пока баян не запел, нежно и чисто, «Одинокую гармонь».

С тех пор мужики каждый вечер, когда Матвей не уходил на реку, уважительно просили его поиграть. Весёлых песен Матвей не играл, но мужики и не гнались за весёлыми. Устали все за тяжёлое знойное лето, истосковались по семьям, по ребятишкам. Слушая знакомые, за душу берущие песни, хмурились, вздыхали растроганно.

Как-то моторист с катера сказал Вере мимоходом, что на Центральном в мастерские нужен механик и что был в кадрах разговор про Матвея Егоровича. Интересовались, как у него со здоровьем, как он работает... выпивает или нет?

Вера обрадовалась, бросила все дела, побежала на делянку к Матвею. Катер к тому времени приходил на Дальний два раза в неделю: в среду и в воскресенье. И нечего было Матвею Егоровичу терять целых три дня, если вполне можно успеть уехать с сегодняшним катером.

Матвей, выключив ручную мотопилу, слушал взволнованную Верину скороговорку с какой-то вроде усмешкой в глазах. Несерьёзно слушал и, не дослушав до половины, перебил на полуслове:

— А ты?

— Чего — я? — не поняла Вера.

— Для тебя-то есть на Центральном подходящая работа?

---

— Да не обо мне разговор! Что это вы, ей-богу! Нашли время шутить! — возмутилась Вера. — Вы свободный человек, а у меня договор!

— Ну и у меня договор... — спокойно и уже без улыбки ответил Матвей. — С дядей Иваном у меня договор. Он с меня тоже слово взял, что я тебя одну здесь не оставлю...

— О господи! Матвей Егорович! — взмолилась Вера. — Ну что вы ещё выдумываете?! Что я, маленькая или слабенькая какая, что не смогу за себя постоять? И кому я нужна?! Кто на меня позарится?! Иван Назарович от старости из ума выжил, а вы его слушаете. Здоровье у вас теперь хорошее. Ну разве мыслимо сидеть вам здесь? Ради чего? А я тоже потом на Центральный попрошусь, меня переведут, я знаю. А сейчас разве я могу сорваться, бросить их? Вот приедут бабы, тогда другое дело... я тогда сама с радостью...

— Ну вот и я тогда с радостью... — Матвей повернулся к Вере спиной и запустил пилу.

Пила затряслась, взвыла, брызнула сырыми опилками... На том разговор и закончился.

Вскоре Матвей опять вроде бы поскучнел, стал отдаляться. И не вообще от людей, а от Веры он стал отдаляться, и она это сразу же остро почувствовала.

Настал выходной, когда он ушёл в лес, не пригласив её на воскресную уху. Не позвал посидеть у их родничка...

Весь день Вера возилась с хозяйством, дулась на весь белый свет, рычала на мужиков — всё стало не мило, всё было не по ней. А когда начало смеркаться, схватила рыбную корзину и, не звана, не прошена, отправилась на нижнюю заводь.

Матвей Егорович встретил её приветливо. Угостил варёной стерлядью, потом они пили чай, на этот раз уже с брусничкой; горьковато, кисленько, а пьёшь — не напьёшься.

Матвей помалкивал, а Вере, как на грех, не терпелось поговорить. Посоветоваться бы, обсудить сообща очень важный для неё вопрос. Но если человек молчит, как пень, не будешь же из него каждое слово силком вытягивать.

Веру начало клонить в сон. Пора, видимо, и честь знать. Нагостилась. Как говорится, «Дорогие гости, не надоели ли вам хозяева?».

Она поднялась от костра, потянулась за корзиной, но тут и Матвей вроде очнулся от дремоты.

— Подожди, Вера, сядь... — попросил он и, когда Вера опустилась на своё место, спросил, не поднимая на неё глаз:

---

— Чего этот Останкин около тебя крутится? О чём вы с ним всё говорите?

— Сватает он меня... — помолчав, отозвалась Вера. — Я сама уже давно хотела с вами посоветоваться. Вдовый он. Жена у него была очень хорошая, — он рассказывает о ней и плачет. Двух девочек она ему оставила: Ниночке шесть лет, а Танюшке ещё и трех нету. Он мне фото показывал: хорошие такие девчущки, худенькие, большеглазенькие. Живут у тётки из милости.

Вера вздохнула и помолчала.

— Я бы, Матвей Егорович, пошла... Так мне этих девочек жалко! Но очень уж я мечтала, как договор кончится, к Ивану Назаровичу поехать. Плохо ему, он хоть и не зовёт меня, а ждёт, знаю. И потом так думаю: Останкин для своих девочек найдёт добрую женщину, а Иван Назарович... ну кому он нужен — старый, больной?

Матвей молчал.

— А ведь это он жениха-то мне наворожил... — фыркнула Вера. — Помните? Заведёт бывало: «Эх, Верка, Верка! Не знаешь ты себе цены. Я, может, через то и алкоголиком был, что не нашёл себе доброй бабы. Чего ж ты мне лет тридцать назад не встретишься?». Я засмеюсь: «Это вам, Иван Назарович, теперь так кажется, когда вам шестьдесят. А в тридцать-то лет вы бы мимо прошли и не заметили, что я женщина».

Матвей молчал.

— Эх, Верка, Верка! — вздохнула Вера. — Наворожили жениха, а Верка теперь и ломай голову, на что решиться...

— Не пойму я... — хмуро сказал Матвей и, надломив пруттик, швырнул обломки в огонь. — Зачем тебе чужие дети понадобились? Ты что, своих народить не способна, что ли?

— Ребёнка родить — больших способностей не требуется... — невесело усмехнулась Вера. — А вот как перед ним потом оправдываться?.. Разве такой, как я, можно детей иметь? А вдруг он в меня зародится? Ещё не так страшно — если мальчонка, а если девочка? Чтобы потом мучилась весь век да кляла меня.

Матвей смотрел на Веру дикими глазами, но она ничего не замечала. Вслух она об этом говорила впервые. Странно было, и как-то удивительно легко. Есть же, оказывается, на свете человек, которому можно это всё рассказать.

— Вы знаете, я с семи лет и до четырнадцати в детском доме воспитывалась, под Полтавой. Заведующая наша Лариса Леонидовна красавица была и очень во всех красоту ценила, особенно в детях. Наш детдом был передовой. Всег-

---

да у нас гости любили бывать. Шефы разные, комиссии, а в праздники обязательно начальство разное приезжало... Самодетельность у нас была просто замечательная. Построят детей в зале — дети поют, танцуют, стихи разные рассказывают, нарядные все, красивые, как цветы. У гостей даже слёзы на глазах... так всё красиво. Ну, а которые дети очень уж невидные, те в это время дежурят: по кухне, по прачечной или на скотном дворе. Я сначала никак понять не могла, — маленькая была, глупая — почему меня уводят? А потом поняла. И ничего, привыкла... Увижу, что гостей ждут, и уже сама мигом на кухню или в прачечную. А летом меня всегда на подсобном держали: хозяйство было богатое — скота, птицы много. Я к двенадцати годам заправской птичницей стала... Если бы не школа, я бы круглый год на подсобном жила... Школу я не любила, книги читать с первого класса втянулась, а школу очень не любила... Всё время на людях... а ни кухни, ни прачечной нету, — укрыться негде... Маленькая я на ласку страшно жадная была: приласкает кто меня мимоходом, я, как собачонка, следом бежать готова. А потом отшатнуло меня от людей. Я тогда всё в зеркало гляделась. Встану перед зеркалом: почему же я не такая, как другие девочки? В кого я такая противная получилась? Я же ничего о себе не знаю. Я ведь подкидыш... Ничего я не знаю. Может быть, она и не виновата передо мной... мама-то моя. Может быть, она умерла, когда я родилась... и совсем не она меня подкидывать-то носила... А может быть, сама она ещё совсем девчонкой была и тоже некрасивая... Не такая, конечно, как я, но всё же не очень хорошенькая, — а он красивый, и она его любила больше жизни, как Катюша Маслова. Вот он ей сказал: избавишься от ребёнка, тогда я, возможно, ещё и женюсь на тебе... Лично я всё равно этого не понимаю. Я бы от своего ребёнка никогда бы не отказалась. Даже не знаю, как бы я им дорожила!.. И нисколько я за позор не считаю, если у дивчины ребёнок родится. Я бы ни на минуточку даже не задумалась, родила бы себе маленького и воспитала. Вы знаете, сколько я таких книг перечитала, чтобы правильно ребёнка воспитать... Если бы не боялась, что родится такой, как я... Подрастёт, начнёт понимать, и скажет: какое же ты имела право...

— Слушай, ну что ты мелешь?! — сердито перебил её Матвей. — Зачем ты выдумываешь чепуху всякую? Внушила себе чёрт-те что... слушать тошно!

— Ой, Матвей Егорович. Что вы головой трясёте? Чего вы смотрите на меня, как на дурочку какую? Вы красивый — вам

---

такое даже не понять... И чего вы сердитесь? Это же сто лет назад было, когда я ещё девчонкой была. Очень мне тогда плохо было. Нет ничего хуже, когда никого не любишь и ничему хорошему верить не хочешь. Люди к тебе с добром, а ты от них за угол. Никогда я не забуду, как в эвакуации люди с нами последним куском делились. И потом, когда я из детдома «в люди» вышла... Рудакова тётя Лиза, уборщицей работала, — бедность, трое детей, от мужа похоронка... узнала, что я в коридоре в мужском общежитии перебиваюсь... пришла, увела к себе. Я у неё полгода жила, пока в женском общежитии место хорошее дали. Или Антонина Воропаева — конопатчица, грубиянка, матерщинница... Как-то я при ней уронила на ногу себе болванку... и сматерилась. Она подошла и ладошкой по губам мне: «Не смей, говорит, чтоб никто и никогда больше этого от тебя не слышал». А сама даже побледнела, и губы у неё трясутся... Да разве перескажешь всё... Очень много я тогда думала. Просто как псих какой. Стала к жизни присматриваться, к людям. Меньше стала романам верить. Ну, пусть и некрасивая, но ведь не урод же я, не калека, не дура. Здоровье у меня хорошее, силой бог не обидел, а если некрасивая... так не давиться же теперь из-за этого? И люди не виноваты, что я такая уродилась. И ещё тогда меня одна мысль мучила: почему так получается? Другому человеку, например, всё дано: и здоровье, и ум, и образование, и красота, а жить ему плохо. Очень мне хотелось докопаться — чего людям нужно, чтобы быть... это, ну как его? Счастливым, что ли?

— Ну, и докопалась? — Матвей отвернулся, чтобы спрятать невольную улыбку.

— И докопалась! — вызывающе ответила Вера. — Первое — это должны люди сделать так, чтобы никогда больше не было войны. Люди должны жить спокойно, а какая же это жизнь, если человек знает, что сейчас всё хорошо, а через минуту вдруг начнётся какая-нибудь заваруха, и все его труды, все старанья — всё к черту, в яму, в огонь.

— Так, так... — поддакнул Матвей. — Может быть, ещё чего-нибудь этому человеку не хватает?

— А ещё, я так считаю, очень озлобляются люди от бедности, особенно молодые, а также многосемейные, когда приходится каждую копейку высчитывать, чтобы как-то до полочки дотянуть. А хуже всего для человека — это обида, несправедливое отношение вообще, когда что-нибудь не по правде делается...

— Да-а-а... — протянул Матвей, и нехорошо, криво усмехнулся. — Губа-то у тебя, оказывается, не дура. Немало за-

---

хотела. Войны отменить, нужду человеческую изничтожить... да чтоб люди друг друга не боялись, верили бы один другому. Этак-то, конечно, каждому можно хорошим быть...

— А как, по-вашему, Матвей Егорович, — помолчав, кротко спросила Вера, бросив беглый взгляд на его потемневшее лицо. — Как вы думаете, Аркашка Баженов плохой человек или хороший?.. Пьяница, матерщинник... в заключении был за хулиганство.

Вера собиралась перечислить ещё несколько Аркашкиных грехов, но увидела, как недоуменно поползли вверх у Матвея брови, не выдержала и фыркнула:

— В прошлое воскресенье, когда орсовские с товарами приезжали с продажей... Привезли они пальто зимнее женское. Хорошее такое пальтишко: сукно коричневое и воротничок такой славненький — настоящий «под котик»... Я покупать и не собиралась. Просто, стою, смотрю... очень уж миленькое пальтишко. И вот подходит Аркадий, встал за моей спиной и говорит мне прямо в ухо: «Может, у тебя денег не хватает? Возьми у меня. Всё равно зря лежат. Бери, а то назло пропью...». Я говорю: ты матери пошли лишнюю сотню, — а он вынул из бумажника квитанцию на перевод на пятьсот рублей. «Об этом, — говорит, — не беспокойся, сделано!» У него мать неродная, мачеха, отец умер, она с двоими ребятишками осталась. Аркашка жалеет её... а пацаны ему тоже неродные, сводные они, мачехины.

Вера помолчала, подбрехала в костёр сухих сучьев:

— У Гребнева Семёна жена острым ревматизмом заболела... Надо было её прямо из больницы на курорт отправлять, грязями лечить, а семья у него большая, подбилась он деньгами на путёвку... Надо не меньше тысячи. Получил он письмо, ходит сам не свой, переживает... А вечером Аркадий приносит ему семьсот рублей... Сам принёс... Семён Григорьевич у него даже и не просил...

— И откуда ты всё это знаешь? — усмехнулся Матвей. — Что у кого стряслось, кто чем страдает... Деньги-то у Аркадия ты тогда взяла?

— Да нет, зачем же? Я ему соврала, что пальто у меня есть хорошее, у подружки будто оставлено. А деньги у меня и свои есть, только я их коплю на случай если к Ивану Назаровичу соберусь. А вы, Матвей Егорович, почему себе ничего не покупаете, у вас ведь заработки неплохие?

— А может быть, я тоже к Ивану Назаровичу собираюсь. Вот... вставлю себе зубы железные, дождусь, когда ты свой срок отбудешь...

---

— Ой, Матвей Егорович... — Вера недоверчиво снизу вверх смотрела в невозмутимо-спокойное лицо Матвея — и вдруг всплеснула руками, поверила, поняла, что не шутит. — Господи! Вот бы хорошо-то! А Иван-то Назарович, да он просто обмер бы от радости!.. Вы знаете, Матвей Егорович, у них там село большое, МТС хорошая, механиков же везде не хватает. Вас там просто на руках будут носить; квартиру дадут приличную, может, совсем неподалёку от Ивана-Назарычевой хаты. Женитесь вы на хорошей женщине...

— Спасибо за план, Вера Андреевна, только, может быть, мне эти... ваши хорошие женщины не требуются?.. Может быть, я свою руку и сердце тебе предложить хочу... Так ведь, кажется, в романах героини изъясняются?

— Да ну вас, Матвей Егорович! — досадливо отмахнулась Вера. — Я вам серьёзно говорю, а вы... ну какие могут быть шутки?..

— Почему ты думаешь, что шутки?

— А потому, что Иван Назарович вам глупости всякие в уши надул, вы и повторяете, как маленький!..

— Это какие же глупости он мне в уши надул?

— А такие, что вы передо мной вроде в долгу... что обязаны вы теперь со мной как-то расплачиваться... А вы собой нисколько не дорожите... вам всё равно... Я знаю, вы человек добрый, жалостливый. Вы и вправду можете жениться из благодарности... из жалости...

— Какая жалость?! С ума ты сошла... дай же мне сказать!

— Ничего не нужно говорить! Матвей Егорович, у меня во всём белом свете только и родни, что Иван Назарович... да вы. Неужели я, по-вашему, такая уж глупая или настолько уж эгоистка, чтобы могла я жизнь вам испортить... воспользоваться вашей глупой простотой?

Она встала, схватила корзину с рыбой, выпрямилась перед ним — худая, нескладная, сердитая...

— Очень я вас прошу, если вы меня хоть чуточку как человека уважаете, никогда больше мне про это не говорите... И не ходите сейчас за мной, — я одна дойду.

Так вот и ходили бы они, возможно, ещё долгое время вокруг да около своей нескладной любви, если бы не помогло им несчастье.

К сентябрю бригада отошла от зимовья уже на порядочное расстояние. Чтобы не тратить лесорубам времени на ходьбу, Вера надумала носить им обед в лес, на деляну.

---

По её заказу дед Лазарев — мастер на все руки — соорудил удобное коромысло и к двум вёдрам подогнал из оцинкованного железа плотные крышки. Сколько раз, зацепившись ногой за какую-нибудь колдобину-неудобину, Вера летела в одну сторону, вёдра — в другую, и хоть бы тебе капелька щей пролилась.

Чашки, ложки, хлеб, всякую солонину к обеду мужики утром уносили в лес сами, а Верино дело было доставить ведро свежих щей и полведра каши или рыбы жареной на второе. Чай кипятили на месте.

Во вторник, шестнадцатого сентября — дата эта навек стала заветной для неё — Вера, доташившись с обедом до деляны, покричала мужиков обедать и присела у костра передохнуть. Очень уж она в этот день чувствовала себя почему-то усталой и разбитой.

Мужики долго не шли, не слышали, видимо, Вериного сигнала. Везде в лесу завывали пилы, вот где-то невдалеке грохнулась оземь поваленная лесорубом сосна.

Забравшись на пень, Вера увидела, что человек пять-шесть мужиков с кольями толпятся под огромной сосной. Спрыгнув с пня, Вера не спеша пошла взглянуть, что там у них с этой сосной не поладилось, и заодно покликать на обед остальных.

Подойдя ближе, Вера увидела, что трое — Аркадий, Андрюха Лебёдка и Григорий Степанович — упёрлись в ствол капризной сосны толстенными кольями... Вера опасливо покосилась на вершину сосны... Леший её знает, — другой раз и подсечёт её лесоруб по всем правилам, и гнили в середине вроде нет, а её вдруг поведёт не туда, куда лесоруб правит.

Сосна стояла неподвижно. За колья взялись ещё трое: они не видели Веру, а когда увидели — было уже поздно.

— Берегись! — дико заорал Аркашка.

Вера шарахнулась в сторону. Она ещё успела услышать треск могучих сучьев и шум веток, со свистом рассекших за её спиной воздух, и, падая, почувствовала, как ударилась о её грудь вздыбленная грохотом земля.

Её положили на спину. Лицо у неё было серое, из уголка тёмных, неплотно сомкнутых губ сочилась струйка крови.

Ей казалось, что сознание не покидало её ни на минуту. Боли не было. Она всё слышала и всё понимала.

— Дядь Ефи-и-им! Беда-а! Верку лесиной уби-ло-о-о! — орал Андрюха, а тайга откликалась стонущим эхом: «У-и-о!».

Она слышала по-бабьи тонкий плачущий голос Григория Степановича, слышала, как страшно, поскрипывая зубами,

---

навзрыд матерился Аркадий, подкладывая ей под голову чью-то телогрейку.

Потом она услышала чей-то тихий, испуганный возглас:

— Бежит!

И почему-то сразу поняла, что это он бежит, Матвей Егорович. Он стоял подле неё на коленях, и она увидела его лицо... Казалось, сейчас он запрокинет голову и, хрустнув зубами, завоет страшно, по-волчьи...

— Вера, ты меня слышишь? Вер, ты слышишь меня?! — Он суетливо хватал её за плечи, за холодные, серые руки и всё вытирал и вытирал ладонью сочившуюся из её рта кровь.

Она всё слышала и понимала, но тело было мёртвое и уже не подвластное ей: и ноги, и руки, и лицо... Но вдруг она почувствовала, ощутила свои веки, живые, горячие веки... Глаза жили... И когда он склонился к её мёртвому лицу, он увидел живые глаза. Она медленно опустила веки и плотно сжала их, словно кивнула. Потом так же медленно подняла и сквозь пелену слёз сказала ему взглядом: «Слышу. Я живая, не бойся...».

И тогда он сжал в ладонях её голову и, стоя на коленях, стал целовать эту неподвижную маску и живые плачущие глаза.

### III

— В больнице я почти три месяца пролежала: паралич у меня был, не столько от ушиба, сколько от испуга. Полностью без движения и без языка я была около недели, а потом начала помаленьку оживать.

Вера поднялась на локте и осторожно заглянула мне в лицо.

— Не усыпила я вас? Не надоела? Хотя и нет в моей истории ничего тайного, а не думала я, что смогу когда-нибудь её рассказать.

Ну, дальше-то уже и рассказывать почти что нечего.

Матвей, как привёз меня на Центральный в больницу, — на Дальний уже не возвратился. И мне тоже больше там побывать не пришлось: начался рекостав, и опять отрезало наш Дальний от мира на всю зиму.

Пока катер ходил, ребята наши почти все у меня в больнице перебивали с передачами; такие передачи носили, что мы всей палатой съесть не успевали.

Ну, а к этому времени я о них уже могла не заботиться: ко многим жёны приехали, и без меня было теперь кому их накормить и обстирать.

---

Зубоскал Аркашка письма мне писал; одно до сих пор сохранилось...

Вера засмеялась и медленно по памяти прочитала: «Раз-любезная ты наша мамашенька! Поилица-кормилица Вера Андреевна! Женского полку у нас теперь целых шесть штук: заимели себе в штат повариху с поварёнкой, уборщицу и ещё специальную прачку.

Весь штат робит, не покладая рук, но без тебя мы всё равно как сироты горькие: голодные-холодные, не мыты, не бриты, не чёсаны, не обтёсаны... А без отца Матвея уже забыли, как рыбьим духом пахнет...».

Пока я без движения лежала, на Матвея смотреть было жутко. А как начала поправляться — и он ожил.

Приходит как-то в больницу ко мне, я тогда уже ходить начинала. Взглянула я на него — и чуть меня обратно паралич не хватил.

Зубы он в тот день вставил и бороду свою дремучую сбрил. Я его и не узнала, до того показался он мне молодым да красивым...

Очень я тогда всё же переживала... Не то что переживала, а очень я стеснялась, особенно женщин. Всё мне чудилось, что смотрят на нас люди и удивляются: как эта страхолюдина исхитрилась такого короля заарканить?

К Ивану Назаровичу приехали мы уже по зимнему пути. Домишко у него старенький — комнатка и кухня. Окошки махонькие, потолки низкие, полы старые, не крашены, а в кухне полати и печка русская, чуть не пол-избы занимает.

О том, что меня лесиной убивало, я Ивану Назаровичу не стала писать, а как подошло время к выписке из больницы, отписала, что приболела и по состоянию здоровья отпускают меня из леспромхоза и скоро я к нему приеду на жительство.

И о том, что с Матвеем у нас сладилось, тоже не стали мы ему писать. Просто в каждом письме в конце приписывала я: «Матвей Егорович шлёт вам свой привет и пожелания здоровья и долгих лет жизни», другой раз покороче: «Матвей Егорович жив-здоров, чего и вам от всей души желает».

Я тогда, знаете, жила вроде как во сне. Вот, кажется, про-снусь сейчас, и опять — нет у меня ничего...

Приехали мы к Ивану Назаровичу поздним вечером, под самый-то Новый год.

Добирались от города на попутных машинах. Это теперь сюда шоссе проложили, и автобус из города по два раза в день ходит, а тогда мы целый день на выезде проторчали. Я на вещах как барыня сидела, а Матвей метался. Машины перехва-

---

тывал, просился, чтобы нас до колхоза «Красный борец», до МТС добросили.

Иван Назарович мне в письмах всё до подробности расписал, как его хату найти. Нам никого и спрашивать не пришлось. Хотя и темно уже было, а как мост переехали, я сразу нашу хатынку узнала и велела шофёру подворачивать.

Матвей мне говорит: «Смотри-ка, не спится нашему деду»... А у Ивана Назаровича свет в окошке теплится, и дым из трубы валит столбом.

Ночь была морозная, промёрзли мы жутко.

Выгрузили мы свои пожитки, поднимаемся на крылечко, двери ни в сенках, ни в избе не заложены...

Иван Назарович сидит перед топкой на низенькой скамеечке, в руках у него полешко берёзовое.

Пол, видать, помыт недавно, стол скатёркой домотканой старенькой покрыт, а над столом лампёшка керосиновая горит, семилинейная.

Увидел он меня, всплеснулся весь от радости, поднялся, полешко в руке держит. Я чемоданы бросила, шагнула, а он ни с места, стоит и смотрит позадь меня. Свету от той лампёшки чуть, у порога-то совсем потёмки. Матвей засмеялся, я отступила в сторону, они и схватились.

Хлопают друг друга по спинам, откачнутся — поглядят друг дружке в глаза и опять схватятся.

Пока они тискались, я разделась, чемоданы и постель в горенку занесла.

Иван Назарович говорит: «Полсажня дров спалил, шестой день баню топлю, жду...».

Поздоровался со мной по ручке, оглядел со всех сторон, видать, ничего, доволен остался.

«Давай, говорит, мила дочь, разбирайся наскоро и вали в баню. Потом мы с Матвеем Егоровичем пойдём, а тебе пельмени варить. Пельменей у меня в кладовке полмешка заморожено, на все святки хватит...»

Пришла я из бани, у Ивана Назаровича уже всё готово. На столе пельменей мороженых полное решето; на плите в чугунке вода закипает; самовар под трубой посвистывает, голос подаёт.

Проводила я мужиков в баню, встала посреди избы, закрыла глаза и стою, как дурочка какая, честное слово.

Вот даже и не знаю, как вам свои тогдашние чувства объяснить. Была я всю жизнь — вроде как в дороге. То в вагоне, то на вокзале, то в чужой квартире, сбоку припёка среди чужих людей. И всё это не моё, всё временное, не настоящее.

---

А тут открываю я глаза и сама себе не верю: я же домой приехала! Мой это дом, и всё здесь моё, и плохое, и хорошее. Всё моё — настоящее, на всю жизнь... навсегда.

Пришли мои из бани, я пельмени горячие подаю, а Матвей достаёт из чемодана бутылку вишнёвой настойки, а сам на Ивана Назаровича косится. Иван Назарович прихмурился, то на меня посмотрит, то на Матвея, то на поллитровку; Матвей засмеялся, стукнул бутылкой о стол.

И хватило нам этой поллитры и прибытие наше обмыть, и Новый год с честью встретить, да ещё и по рюмочке на утро осталось. Дед наш такой радостный, такой довольный сидит за столом, и словно он подслушал мысли мои: «...Ну, говорит, ребята, вот вы и к своему дому прибились!».

А после второй рюмки совсем он весёленький стал, обнял меня за плечо и песню запел, любимую свою «По Муромской дорожке», я подхватила подголоском, а тут и Матвей вступил. Так-то вот втроём и отпраздновали мы начало нашей семейной жизни.

Попервости мы оба поступили в МТС слесарями.

Матвея сразу в механики сватали, но он не пошёл, пока не обучился в сельхозмашинах разбираться.

А я, как Славку понесла, ушла в колхоз птичницей. Совхоз-то у нас позднее образовался, а до того были здесь везде колхозы.

Птицеферма наша плохенькая была, самая в районе заху-далая. Много нам пришлось горя хватить и труда приложить, пока вывели мы её в доходные. Это теперь мы в почёте, а тогда, как я на ферму пришла, на людях нам даже и назваться было стыдно.

Матвею тоже не легче было. МТС наша шестнадцать колхозов обслуживала. Техника в те годы была вся изношенная, побитая, новые машины давали скупно, запчастей не хватало. Старых опытных механизаторов война унесла, надо было кадры готовить на ходу. Года не минуло, — попал наш Матвей Егорович в преподаватели. Так и пошло. Днём машины латает, ремонтирует, вечером с ребятами с трактористами занимается, а ночью сидит, к завтрашнему уроку готовится.

А у меня свои заботы: то крыша в старом курятнике окончательно заваливаться начинает, то на цыплят хвороба нападёт, — слезами изойдёшь, как начнут они головки откидывать, а то несущки на голодном пайке забастовку объявят. Корма-то для них с боем в правлении выдирать приходилось.

Ну всё же, хоть и трудно на первых порах было, а работа у нас у обоих хорошо шла.

---

Ребятишки нас не очень связывали. Дед на них надыхаться не мог. Пока маленькие были, он и в ясли сам снесёт, и на ферму ко мне притащит — грудью покормить.

Вообще пока дедушка живой был, мы с детьми и горя не знали.

А как уж гордился он, когда кому-нибудь из нас премия выходила или какая другая награда!

Каждый раз, бывало, заявится с внуками в клуб, усядется на первом ряду. Славку рядом на скамейку посадит. Викулька на коленях у него. Важный такой сидит, нарядный, гордый. И в газетах ни одной самой малой заметочки про нас не пропустит или портрета нашего, вырежет и приберёт. И ребят приучил. У Славки и сейчас альбом особый ведётся, там и дедушкины вырезки старые наклеены, пригодились для семейной нашей истории.

А нам с Матвеем батя наш Иван Назарович строго внушал: «Дети, — говорит, — должны видеть, как их отца и мать люди уважают, как их за полезный труд народ чествует. Дети, — говорит, — должны родительскими достижениями гордиться, тогда будут они во всём родителям подражать и никакого труда сроду бояться не будут».

Много мы всё же от нашего деда полезного почерпнули. И не помри он раньше времени, наверное, и по сей день жили бы в старой хате. Как схоронили мы его, словно живую душу из милой нашей хаты вынесли. Больше всех Славка убивался. Девять лет ему было, а он словно взрослый тосковал.

Дети до самой дедовой смерти не знали, что он нам не родной. Когда Матвей привёз меня с сыном из родильного, дед вышел на крыльцо, принял Славика из Матвеевых рук и сам внёс в дом. Тогда Матвей и назвал его в первый раз — батей.

А людям в диковину было. Очень люди нашим семейством интересовались. На Матвея глаза пялили, ахали, вздыхали над ним. А мне не за себя было обидно, а за него, что жалеют его люди... и не верит никто, что он со мной долго жить будет.

Сначала, как мы сюда приехали, ему сколько раз, прямо чуть не при мне, разных невест сватали, особенно пока мы не расписались. Потом присмотрелись к нашей жизни и отступились.

Зато бабёнки некоторые стали ко мне подсыпаться. Очень уж надо было им у меня выведать: чем я и как Матвея Егоровича присушила. Какие такие есть средства, чтобы мог мужчина так жену полюбить... да ещё некрасивую.

Первый год жили мы с ним нерасписанные. Не хотела я его связывать... и развода у него не было. Он справки навёл,

---

узнал, что жена его Лидия замуж вышла и уехала с мужем в неизвестном направлении. Выходит — это она сама жизнь свою с Матвеем порушила и как жена между мной и им уже никогда не встанет. А мне больше ничего и не нужно было. Не хотела я, чтобы этим проклятым разводом напоминать ему старое, что уже начало заживать, забываться.

И какой же это всё-таки неладный закон. Ну вот не пожилось людям, разъехались они, тем более что детьми не связаны. Завели люди новые семьи, детей народили. И кому это нужно — двум семьям жизнь отравлять? Разве это справедливо, чтобы отец не мог собственное дитя на свою фамилию записать? Чтобы дети при живом отце, который их и признаёт, и любит, считались незаконными? И слово-то какое подлое: незаконный!

Понесла я Славика. Тут уж Матвей никаких больше моих резонов слушать не стал. В паспорте у него отметок о браке не было. Взял он меня под ручку, повёл в сельсовет, и так вот, неразведённым двоеженцем, и зарегистрировался со мной.

Хуже всего я переживала, когда Славку носила, места я себе не находила. Сна лишилась. Дед другой раз прямо криком на меня закричит: «Сгубишь, — кричит, — ребёнка, дура! Разве это мыслимо себя так истязать, когда дитя носишь!».

А я до того дошла — молиться стала, честное слово вам даю. Ни в какого бога никогда не верила, а тут иду полем на ферму и убеждаю его, уговариваю:

— Господи, сделай так, чтобы дитя в отца родилось, не допусти, чтобы оно несчастное через меня было.

В родильном принесли мне его в первый раз кормить. Акушерка Елена Капитоновна, добрая душа, догадалась, что со мной творится, сама Славика принесла и говорит:

— Ну, мать, не сына ты родила, а с Матвея Егоровича копию сняла! Надо же так суметь в отца уродить!

А я всё ещё не верю: боюсь в личико его посмотреть. Потом всё же набралась духу... Господи! Не поверите, думала, сердце у меня от радости на кусочки разорвётся. Красненький он ещё, смешной, а личико у него такое аккуратненькое, такое гарнесенькое! Глазочки мутные ещё, а уже, видать, синие — отцовы... И реснички тёмненькие, и волосики на голове тёмненькие...

Вера со всхлипом вздохнула:

— Вот сами судите, до чего я тогда псих была, если и сейчас, через пятнадцать лет, не могу вспомнить спокойно.

Она помолчала, стёрла косынкой пот со лба.

— Ну, второй раз носила я уже намного спокойнее. Почему-то ждали мы ещё одного парнишку. Дед Иван имя ему заранее

---

нарёк — Виктор. И Славку научил. Славе тогда третий годок доходил. Бродит он за дедом, как утёнок, переваливается и канючит: «Деда, пойдём Витю покупать!». А дед ему: «Некого ещё покупать-то: был я вчера в сельпо, спрашивал. Не завезли ещё их, но скоро обещают. Не бойся, нашего не продадут. Он с меточкой».

Ну вот, ждали Виктора, а досталась нам Виктория.

Наши все радовались очень, что девчонка получилась. А я присмотрелась к девочке и вижу — не совсем оно ладно.

Первый — чистая папина копия. Второй — уже середина на половину, а третий вполне может маминой копией получиться.

Вот я сама себе и сказала: всё, Вера Андреевна! На этом точка. Два раза пронесло — твоё счастье! А ещё раз нечего судьбу искушать.

А переживать я ещё всё-таки долго переживала.

Как-то, под старый Новый год, дед говорит: «Давайте загадывайте каждый своё заветное желание. Как спать ложиться, подушку три раза переверни, ляжь на брюхо, лицом в подушку, и тоже до трёх раз желание своё скажи».

Посмеялись мы, а ночью Матвей спрашивает:

— Какое же ты заветное желание загадала?

Я говорю: «А чтобы чудо случилось: встала бы я утром стройная, красивая... Ну, пусть не очень красивая... но всё же».

А он засмеялся тихонько и говорит:

— Вот дурёха, я же разлюбил бы тебя тогда...

— Почему? — спрашиваю.

— Так ведь это уже не ты была бы. А мне, кроме тебя, никого не надо...

Вера прислушалась и вдруг просияла, засмеялась:

— Победа наша мчится! — И, увидев моё недоумение, пояснила:

— Виктория — это, если по-русски, означает — Победа. Вот Славка её и дразнит: «Наша, говорит, Победа в одну соотую лошадиной силы...».

Стукнула калитка, Виктория смаху шлёпнулась на одеяло рядом с матерью, но тут же села и озабоченно спросила:

— А вы так и лежите, не евши? Ну я так и знала. Я у девочек поела, а сейчас опять как собачонка голодная.

— Мы, донюшка, пирогов обещанных ждали, не хотели уж аппетита портить... — кротко сообщила Вера.

— Пока пирогов дождётесь, — помрёте с голоду...

Она умчалась в дом, и через пять минут перед нами раскинулась скатерть-самобранка. Малосольные огурцы, источаю-

---

щие дивный аромат чеснока и смородинового листа; великолепные рубиновые помидоры; молодая, отваренная с солью картошка, лучок зелёный — и вся эта роскошь запивалась холодным, колючим домашним квасом.

— Народ здесь у нас хороший, работающий, дружный... — рассказывала Вера, с хрустом надкусывая огурец. — Совхоз богатый, самый рентабельный в крае. Труд у нас ценить умеют; работай только от души — обижен не будешь... Ну, а посплетничать, косточки друг другу помыть, от этого мы, конечно, не откажемся. А уж наши с Матюшей косточки самые, наверное, чистенькие, мытые-перемытые... Люди телевизор покупают, а мы холодильник да пылесос... Одежды приличной не имеем, а Славке баян купили самый дорогой, концертный... Ну как нас не судить?.. Другой алкоголик столько денег не пропьёт, сколько мы на книги да на подписку тратим... И ещё многим кажется дико, что четвёртый год уже каждое лето ездим мы в отпуск отдыхать. На курортах ни Матвей, ни я сроду не бывали. Здоровье ещё пока, дай бог не сглазить, доброе, лечиться не надо, а берём мы каждое лето туристические путёвки. Первый год по Крыму лазили, в море купались; на второе лето в Ленинград ездили, с остановкой в Москве. В прошлом году захотелось нам побывать на Братской ГЭС. По Енисею на пароходе до самого Ледовитого океана доходили. А нынче купили путёвки в Молдавию — на виноград. Деньжонок пока маловато, а всё же мечтаем мы с Матвеем в Чехословакии побывать.

— С ребятами ездите? — спросила я.

— Нет, что вы! Какой же отдых с детьми? Да и рано им ещё. У них вся жизнь впереди. Они не то что на море или в Ленинград, — они в своё время и на Луну запросто летать будут... А наша жизнь на закат идёт... И должны мы наверстать хотя частичку того, в чём нам в молодости отказано было...

Викулька унесла скатерть-самобранку в дом и, прибежав, юркнула к матери под бочок. Потёрлась лбом о её подбородок, повозилась ещё немножко, удобнее примащиваясь на материнском плече, дремотно помурлыкала и засопела.

— Готова моя Победа... горячее кончилось... — уже сама в полусне пробормотала Вера.

Я собралась было посмеяться над ней, но в этот момент ветер надул надо мной зелёные паруса, и ладья моя, плавно покачиваясь, отчалила вслед за Верой и Викулькой.

---

---

# Одиночество

На пятиминутке ночная сестра доложила, что больная Ильина из восьмой палаты ночью опять поднималась, стояла у окна, и легла в постель только после того, как сестра пригрозила ей вызвать дежурного врача.

Когда была названа фамилия больной, все посмотрели на меня. Славка даже подмигнул мне соболезнующе. Нонночка сделала испуганные глаза, а Римма Константиновна нахмурила свои великолепные брови.

Зав. отделением Леонид Иванович взглянул на меня укоризненно, словно это я сама полуголой разгуливала ночью по палате.

Только шеф не поднял своих тяжёлых век. Заканчивая пятиминутку, он предложил мне ещё раз показать Ильину невропатологу, а потом, почесав мизинцем переносицу, добавил: «А лучше всего, Мария Владимировна, пригласите-ка психиатра».

Обычно я всегда успеваю до пятиминутки заглянуть в свою палату или хотя бы коротенько узнать у ночной смены, как мои провели ночь. А сегодня я, как назло, немножко проспала, потом поругалась с мамой.

Ещё накануне я засунула на верхнюю полку шифоньера тёплый шарф — мамин подарок, собственноручно связанный ею ко дню моего двадцатипятилетия.

Утром сделала вид, что не могу его найти, а потом оказалось, что я и в самом деле забыла, куда его сунула.

Мама же пустила слезу, потому что термометр показывал 28° мороза, а у меня недавно болело горло.

Пришлось под мамино нытьё и настырную воркотню найти всё же это шерстяное сокровище и закутать своё драгоценное горлышко.

В клинику я прибежала вся в мыле, только-только успела сходу заскочить в халат и натянуть на голову свою «шапо-кляку».

И, как на грех, в это утро пятиминутку вёл сам шеф. Конечно, я давно уже перестала его бояться, но нет для меня ничего тошнее — садиться в галошу именно в его присутствии.

---

Не потому, что все мы, особенно молодые врачи, зависим от его отношения, от его оценки нашей работы... Просто он очень стоящий человек. Нагрузка у него нечеловеческая, но не ради денег. Мы это точно знаем. Проверено.

С больными шеф — воплощение какого-то особенного удивительного такта и душевной деликатности.

Ну а с нами он не очень церемонится. Нас, молодых врачей, в кардиологическом отделении четверо: Славка, Нонночка, Игорь и я.

Все мы очень разные, и ругает нас шеф по-разному. Лексикон у него обширный и вполне современный: снобы, битники, полупотерянное поколение, хлюпики и ещё почему-то самоеды.

Всё это, конечно, несерьёзно. В случае настоящей провинности, даже со стороны «средняков» вроде Риммы Константиновны, которые по возрасту ненамного моложе шефа, он становится холодно-сдержанным и немногословным.

По имени-отчеству мы называем его только в личном разговоре. За глаза почти весь персонал, с нашей лёгкой руки, величает его шефом.

А иногда он превращается в мэтра, патрона, хозяина и даже босса. Это когда Славка или Игорь обижены и пытаются хоть чуточку отыграться сарказмом.

С пятиминутки я шла злая, как чёрт. В коридоре Славка, тиснув на ходу мой локоть, сказал:

— Будь бдительна, Машук. Что-то мне в этой твоей старушенции не очень нравится...

Слава — мой однокурсник, но в институте мы с ним никогда не дружили. Одно время я даже считала, что в медицине он вообще человек случайный. Слишком самонадеянный. Прямолинейный, как оглобля.

А врач из него всё-таки получился. С больными он держится просто, но очень уверенно, и больным это импонирует. Его любят.

И шеф явно выделяет его из нашей четвёрки. Видимо, заслуженно. Не знаю. Возможно, я просто немного ему завидовала. Но недавно произошёл случай, который нас очень сблизил.

У Славки был больной, поступивший к нам из хирургии после операции на печени. Славка с ним очень много возился, смело пичкая новыми препаратами, дело шло к выздоровлению, и вдруг вечером, как раз в моё дежурство, больному стало плохо, и в 12.20 он умер. Инфаркт.

Оказалось, что родственники через какого-то услужливого идиота, ходячего больного, передали ему письмо. Его же-

---

на где-то на Урале в командировке попала в автомобильную катастрофу. Позднее мы узнали, что она осталась жива... А он умер.

Больному стало плохо в десять часов, и, хотя я знала, что и как нужно делать, велела сестре позвонить Славке домой. Он прибежал.

Когда всё было кончено, я пошла искать Славку. Есть у нас в процедурной, за будкой электрокардиографии, такой уютный, тихий уголок. Славка сидел в этом полутёмном закутке и раскачивался, обхватив голову руками.

Я очень испугалась, мне почудилось, что он плачет, я начала пятиться, чтобы уйти, пока он меня не заметил, но он поднял голову и окликнул меня.

Глаза у него были сухие, но лучше бы уж он плакал. Он сказал: «Посиди со мной...».

Я втиснулась к нему в закуток, и мы впервые поговорили с ним по-людски, о многом и очень нужном.

И сегодня брошенная мимоходом Славкина фраза об Ильиной встревожила меня больше всех пятиминуточных разговоров.

В палату с утренним обходом я вошла в препаршивом настроении и, конечно, прежде всего увидела, что моя Ильина сидит, прикрыв опущенные с кровати босые ноги одеялом.

Ни халата, ни тапок постельным больным не положено, а ей предписан постельный режим. И даже не просто постельный, а строго постельный.

Всего пять дней назад её доставила к нам «скорая» с тяжелейшим приступом стенокардии.

— Прошу вас, Нина Алексеевна, ложитесь... — говорю я насколько могу мягко и спокойно. И убедительно. — Вот сделаем ещё одну электрокардиограмму, посоветуемся с профессором, и, возможно, через несколько дней он разрешит вам сидеть...

— Мне так лучше... — говорит она тихо, не глядя на меня. Голос у неё тусклый, почти без интонаций.

Разумеется, она знает, что я «второгодок», и ни в грош не ставит мои предписания. Я уверена, если она сейчас поднимет на меня глаза, я в них прочту: «Откуда ты можешь знать, маленькое ничтожество в белом халате, что для меня лучше или хуже?».

— И всё-таки мы должны лежать... — говорю я твёрдо и помогаю ей лечь.

Она покорно ложится и лежит, как полагается: на спине, руки вытянуты поверх одеяла... Лежит неподвижно, сом-

---

кнущие бескровные веки... а я опять не могу оторвать глаз от её лица.

Это — как открытие, что у человека в семьдесят лет может быть такое прекрасное лицо. Волосы у неё совершенно седые, но густые и пышные...

Я отхожу от постели Ильиной... Нет, честное слово, многие наши девчонки охотно променяли бы свои жиденькие патлы на такое богатство. И седина не испугала бы, покрасить можно в любой цвет — было бы что красить.

Я начинаю обход. К Ильиной я зайду позднее ещё раз, пусть отдохнёт, а может быть, и подремлет после бессонной ночи.

А с психиатром я всё же повременю. Я должна разобраться сама. Тут что-то другое... Но что?

Родные ежедневно справляются по телефону о её самочувствии, аккуратно навещают, приносят передачи.

Сын Ильиной Виктор Андреевич сейчас в Ленинграде, в командировке. Навещает её невестка, жена сына. Очень симпатичная, приветливая женщина средних лет. Ильюну она называет мамой, иногда мамулей, целует её в щёку, и, мне кажется, все эти нежности непритворны.

Это чувствуется по выражению лица Ильиной. Оно теплеет и несколько оживает, когда Марина Борисовна входит в палату.

И называет её Ильина Маринкой или Маришей, а ведь это тоже чего-то стоит. Но по-настоящему она оживает, когда приходит Валерий, её единственный внук, студент-дипломник, длинный, ещё по-мальчишески тощий, но уже жених. Его Ирочка — очень хорошенькая девчонка. Вообще это на редкость симпатичная пара. Он высокий, белобрысый, с синими глазами, она едва ему по плечо, тоненькая, чёрненькая. Карие глаза в пушистых ресницах.

Валерий приносит бабушке цветы. Зимой у нас в Сибири достать их не так-то просто.

Он похож на бабушку, и, видимо, они очень привязаны друг к другу. Он говорит: «Помнишь, как ты меня пичкала рыбьим жиром? Я же терпел? Имею я право на реванш? Это же в конце концов не рыбий жир, а всего-навсего сливки с фруктовым соком. И всего полстакана...».

И она послушно пьёт из его рук какую-то не очень аппетитную на вид смесь, а он уже достаёт из сумки виноград и лимоны.

Главное — он не стыдится проявлять свои чувства к ней.

Они не целуются при встрече, но он, пока сидит подле неё, всё время не выпускает из своих больших лап её руку, и как-

---

то очень хорошо перебирает её тонкие, прозрачные пальцы, и, прощаясь, не целует, а просто на мгновение приникает щекой к её бескровной, совсем невесомой ладони.

Два раза Ильину навещала мать Ирины, Варвара Семёновна, толстененькая, румяная, громогласная и удивительно молодая. Просто не верится, что у неё дочь — невеста.

Ильину она называет сватьюшкой, приносит ей разные домашние постряпеньки и рецепты «самого последнего, надёжного лекарства от сердца».

При появлении сватьи на лице Ильиной возникает какая-то виноватая, вымученная улыбка.

После свидания я пригласила Марину Борисовну в ординаторскую. Мне нужно было узнать: всегда ли её свекровь Нина Алексеевна отличалась таким замкнутым характером или черты эти обострились в результате болезни?

Марина Борисовна искренне изумилась:

— Да что вы, Мария Владимировна! У мамы золотой характер. Конечно, она не болтлива, но очень общительна — и посмеяться любит, и поговорить. Просто её травмировал этот неожиданный сердечный приступ. Вы обратили внимание, как она лежит? Ведь она даже руку поднять боится...

Обратила ли я внимание?! В том-то и загадка. При них лежит почти неподвижно — образцовая больная, — а ночью разгуливает босиком по палате и лекарства втихомолку выбрасывает в плевашку.

Я знаю, что сердечный приступ у неё начался неожиданно, безо всяких якобы предвестников.

Никаких потрясений, никаких травм. Ходила в кино, смотрела чепуховую комедию, шла домой не спеша, вечер был чудесный, присела во дворе в скверике отдохнуть, подышать перед сном, и вдруг началось...

— Скажите, Марина Борисовна, а сейчас... — спрашиваю я не очень уверенно. — Нет ли чего-нибудь, что могло бы Нину Алексеевну угнетать, тревожить?

Марина Борисовна недоуменно пожимает плечами.

— Может быть, она скучает о Викторе? Я хотела телеграфировать, и Валерик настаивал, но мама сама категорически запретила. Это же было при вас и в присутствии Леонида Ивановича. Вы меня простите, Мария Владимировна, но я по этому вопросу ещё раз проконсультировалась у Леонида Ивановича, и он меня заверил, что вызывать Виктора Андреевича нет необходимости.

Так-то вот. Значит, на балансе имеется: общительный, даже, можно сказать, жизнерадостный характер, никаких ду-

---

шевных травм, в семье полная гармония... всё хорошо, прекрасная маркиза... А желания жить у человека нет.

Опять поссорилась с мамой. Она становится невыносимой. Я положительно её не узнаю, настолько у неё испортился характер. Вечная смена настроений. Или ворчит, или хнычет, сама не зная, о чём.

И эта навязчивость, совершенно ей несвойственная... Приходишь домой — обязательно рассказывай ей о всех своих делах.

А я иногда просто не знаю, о чём с ней говорить. Неприятности свои я от неё скрываю, потому что она обладает способностью делать из мухи слона и любую мою ерундовую неудачу превращать в трагедию.

Я понимаю, что она скучает. На пенсию она ушла два года назад и, видимо, до сих пор не может привыкнуть к безделью. Я ей говорю: «Ну, что тебе нужно? Мне бы такую жизнь. Ничем не связана, времени свободного хоть отбавляй. Заведи приятельниц хороших, в кино ходи, читай, рукодельничай. Возьми, наконец, какую-нибудь общественную нагрузку, есть же у вас какие-то пенсионерские советы, вот ты и сходи, узнай — найдётся и для тебя какое-нибудь дело. Теперь ведь модно — общественные начала...».

А она смотрит на меня такими глазами, словно я её обидеть хочу. Теперь ещё новенькое появилось. Раньше, когда я была девчонкой, она никогда меня не опекала: видимо, была уверена во мне. Я всегда дружила с мальчишками, и никогда это её не тревожило... А теперь, как бы поздно я ни пришла домой, она не спит. Ждёт. И в глазах тревога. И вопрос: почему задержалась? Где была? А главное, конечно, — с кем была?

На Юрку косится. Когда он приходит, я чувствую, как она следит за каждым нашим словом, за каждым взглядом.

Умора. Она боится, что Юрка меня «совратит»!

Смешно и противно, потому что приходится врать. Да ещё Юрка, балда, не может удержаться, чтобы её не поддразнивать...

Не понимаю, как можно так измениться. Не настолько уж она стара, чтобы с этих пор начать выживать из ума...

В клинике я провожу много «лишнего» времени. У меня несколько интересных больных, но, если уж говорить правду, меня всё время тянет в восьмую палату, к Ильиной.

Знаю теперь абсолютно точно: она всё время чего-то ждёт. Вернее, кого-то ждёт. И нервы, несмотря на внешние признаки депрессии, натянуты до предела.

---

Иногда, неудобно вывернув шею, она напряжённо, не мигая, смотрит на закрытую дверь палаты.

И уже несколько раз я засекала такой момент: глаза закрыты, лицо неподвижно и, казалось бы, спокойно, но голова чуть-чуть приподнята, чуть-чуть отделилась от подушки: она вслушивается в звуки коридора. Она жадно ловит звуки, но не все, а только звуки мужских шагов, мужских голосов.

Она ждёт сына. Того самого Виктора Андреевича, который сейчас находится в командировке.

Она сама запретила его вызывать... Запретила и всё-таки ждёт. Может быть, она надеется, что родные, не посчитавшись с её запретом, всё же сообщили ему о её болезни...

И он не приехал до сих пор, возможно, потому, что временно уезжал из Ленинграда на какой-нибудь отдалённый объект, а телеграмма, возможно, лежит нераскрытая в номере ленинградской гостиницы... И ещё погода... Ведь может же быть нелётная погода, и он сидит где-нибудь на Свердловском аэродроме...

А может быть, сейчас, именно в эту минуту, самолёт приземлился в нашем аэропорту... вот Виктор бежит к остановке такси... а может быть, это его шаги в коридоре, торопливые, тяжёлые... и голос... от волнения голос может очень измениться...

Вот примерно какие мысли могут заставить человека так иступлённо ждать.

Ещё в детстве у меня была дурная привычка — задумываться, по маминому определению, «уходить в себя».

Идиотское состояние. Вдруг выключаешься, перестаёшь видеть и слышать, что происходит вокруг тебя. Не замечаешь любопытных, а порой и насмешливых взглядов.

Позднее я научилась следить за собой. Во всяком случае, больным я ни разу не предоставила возможности наслаждаться любопытным зрелищем, когда их лечащий врач вдруг «уходит», а потом «выходит» из себя.

А теперь у меня явный рецидив.

К концу обхода я почему-то очень устаю, а когда в заключение осмотрю Ильину, вытяну из неё хотя бы самые необходимые ответы — скупые, вялые, неохотные, — от меня остаётся одна шкурка, как от выжатого лимона.

И вот картина: больная с закрытыми глазами не то дремлет, не то притворяется спящей, а врач сидит у её постели и смотрит не мигая, упершись глазами в одну точку. Вчера из такого конфузного состояния меня вывела Ильина.

---

Видимо, она долго наблюдала за мной из-под опущенных век и, наконец, коснувшись кончиками пальцев моей руки, тихо сказала: «Идите отдыхайте, милая вы моя...».

Наконец-то мне удалось перевести Ильину в одиннадцатую палату. Это маленькая, одноместная комнатка, очень уютная и тихая. Окно выходит в институтский сад, сюда совершенно не достигают городские шумы.

И оборудована она не по-больничному, а как в хорошем санатории. Вполне приличные шторы, на полу коврик, в нише за шифоньером «персональный» умывальник. В своём кругу мы называем эту палату-люкс «блатной». Обычно по распоряжению Леонида Ивановича её заселяют жёны или тёщи больших начальников.

На этот раз, когда очередную номенклатурную жену готовили к выписке, Леонид Иванович дал указание перевести в неё из мужской, очень хорошей, небольшой и спокойной палаты какого-то весьма сановитого дядю.

Уже несколько дней он прогуливался по коридору, благосклонно улыбаясь молоденьким сёстрам и врачам, в том числе и мне.

Такой представительный, солидный — выше средней упитанности.

Славка заблаговременно снабдил меня необходимыми «агентурными» сведениями. Больной лёг на обследование; его драгоценному здоровью в данный момент ничто не угрожает: сон и аппетит — дай бог любому из нас; в часы, свободные от сна, процедур и приёма пищи, разгуливает по всей клинике, по вечерам уходит в терапию смотреть телевизор или режется в шашки с выздоравливающими больными.

Вооружённая этими данными, при активной поддержке не только «полупотерянного поколения», но и всех «средняков», я возвала к авторитету шефа и вырвала палату прямо из пасти Леонида Ивановича. «Лелик» остался с носом...

Теперь, когда Нина Алексеевна в отдельной палате, я имею возможность уделять ей значительно больше и времени и внимания.

Два раза её смотрел шеф. С сердцем по-прежнему очень нехорошо. Режим без изменения — неподвижность, покой. Но её душевное состояние меня уже тревожит меньше. По-немногу спадает напряжённость. Видимо, она убедилась, что родные не уведомили сына о её болезни, — и перестала ждать его внезапного появления.

---

Я принесла ей наушники, она кладёт их под подушку, слушает музыку. Встречает меня улыбкой. Улыбка у неё хорошая, чуточку ироническая, но добрая.

И говорим мы теперь не только о её самочувствии. О музыке говорим, о новых кинофильмах, о литературе. С ней очень интересно. Какая-то энциклопедическая начитанность. И ясность мысли. И ещё удивительное для её возраста чувство нового. Понимание нового.

А что я, собственно, знаю о людях её возраста? Старики, даже самые высокообразованные и мудрые, всегда казались мне неинтересными и скучными. Никогда меня к ним не тянуло.

Говорит Нина Алексеевна мало, но получается, что всегда разговор направляет она. Я уверена, она понимает, что мной руководит не какое-то бабье любопытство, и всё же очень деликатно, но твёрдо пресекает любую мою попытку «заглянуть ей в душу».

С разрешения шефа я выписала для её родных постоянный пропуск.

Теперь Валерий и Марина Борисовна, и даже сватья Варвара Семёновна могут навещать её в любое удобное для них время.

Странное дело, но у меня такое ощущение, что этот мой подарок Нину Алексеевну не обрадовал. Иногда мне кажется, что она терпит присутствие родных только из деликатности.

Спит она очень мало. О чём она думает? Чем заняты её мозг, её память, если ей мешает даже Валерий, которого она, несомненно, очень любит?

Отдельная палата, постоянный пропуск — всё это чрезвычайно расположило ко мне родственников Нины Алексеевны. Даже сблизило нас. Сватья, например, относится ко мне, можно сказать, по-родственному. На днях рассказала, как мирила Валерия с Иринкой, когда они серьёзно поссорились.

Виновницей ссоры, по мнению сватьи, была Ирина, а Валера «только показал свой мужской характер», и поэтому мать «заставила Ирку покориться» и сделала ей серьёзное внушение, что «ежели всякая соплюха будет перед таким самостоятельным парнем нос задирать, то этак недолго и на бобах остаться» и т. д.

О Нине Алексеевне она отзывается с большим уважением: «Старая сватья у нас, прямо сказать, всех мер женщина. С образованием, а никакой чёрной работы не боится. К любому человеку уважительная и характером уживчивая, не то что другие

---

старухи». В свою очередь Нина Алексеевна отвечает богоданной сватье полной взаимностью: «Варвара Семёновна пленяет своей искренностью и неистощимым оптимизмом... — говорит она серьёзно, без тени улыбки. — Несколько категорична в суждениях и для меня, к сожалению, слишком громогласна. Мариша и Валерий люди молодые, выносливые, а я по старости лет через полчаса выхожу из строя, тупею и лишаюсь дара речи... Ну а в целом — это очень славный человек, и к тому же прекрасный воспитатель. Ирочка — обаятельная девочка. Рада за Валерия. Думаю, что он не ошибся в выборе».

Я, конечно, при каждом удобном случае стараюсь перекинуться словом с Валерием, и особенно с Мариной Борисовной. В результате всех этих случайных, непродолжительных разговоров у меня складывается уже более или менее ясное представление об этой семье.

Муж Нины Алексеевны погиб в первые дни войны. И старший сын, первенец, двадцатилетний Володя, тоже погиб на фронте вскоре после отца.

Младшая из детей, любимица всей семьи Маруся, умерла от менингита... Они уходили от немцев пешком. Попеременно с Виктором несли заболевшую Марусю на руках. Потом похоронили её у дороги.

Она не смогла бы уйти от Марусиной могилки, но рядом был Виктор — последняя зацепка в жизни... Единственный, любящий, всё понимающий. Лучший из всех сыновей земли.

Таким он остался для неё навсегда. Самым близким на земле человеком. Другом, который понимает без слов.

За годы эвакуации Сибирь околдовала Виктора. Они решили не возвращаться на запад, на разорённое войной, осиротевшее своё семейное пепелище. Во втором послевоенном году Виктор окончил сибирский институт и вскоре привёл в дом Марину. «Вы знаете, мама не была для меня свекровью... Она никогда не ревновала Виктора ко мне, не вмешивалась в наши отношения. Сначала нам очень трудно жилось, особенно когда родился Валерик. Без маминой помощи я, разумеется, не смогла бы учиться и закончить университет» (из разговора с Мариной Борисовной).

С Ириной Валерий дружит около двух лет. Марина Борисовна в неё влюблена, кажется, не меньше Валерия. И его будущую тещу, Варвару Семёновну, она уже считает как бы членом своей семьи. Часто можно от неё услышать: «Мы с Варварой Семёновной думаем... мы с Варварой Семёновной решили...».

Даже со стороны приятно наблюдать, как идут они рядышком — две совсем ещё не старые мамы, говорят увлечённо о

---

своих милых чадах, говорят и не могут наговориться. «Конечно, Варвара Семёновна женщина простая, без претензий... — говорит Марина Борисовна. Она словно убедить меня хочет в чём-то, в чём я ещё не до конца убеждена. — А какая труженица! Положительно на все руки мастер. Ирусю обожает, ради неё на любую жертву пойдёт, и в то же время держит её в ежовых рукавицах. Ируся не только отличница пединститута, она прекрасная хозяйка, трудолюбива, чистоплотна, знает цену копейке...»

Сама Нина Алексеевна о семейных говорит скупно, но неизменно доброжелательно. Только когда разговор коснётся Валерия, она становится несколько многословнее: «В бабьем сердце есть такой особый заповедничек для внучат. Появляется в семье, в самый неподходящий момент, не зван, не прошен — этакий владыка весом три килограмма. Деспот. Центр вселенной... всё летит кувыркком: налаженный семейный уклад, привычки, покой. Обрушивается целая лавина новых забот, волнений, страхов, ночи бессонные... Но вам уже кажется невероятным: как это раньше мы могли обходиться без него...»

О Валерии она говорит всегда очень тихо, с паузами. И улыбка, та милая — ироническая и нежная — улыбка, от которой так теплеет её бескровное, малоподвижное лицо.

«Он у нас часто болел. Я работала в издательстве и брала работу на дом, чтобы быть с ним, когда он не мог посещать садик... У меня была старенькая шаль... большая, тёплая. Возьму его на руки, закутаюсь вместе с ним шалью — у него только головёнка торчит наружу — и ношу от окна к окну... Называлось это у нас „походим-побродим“.

Я говорю: „Смотри, вон это завод, там делают машины. Видишь, какая большая труба, а из трубы идёт дым“. Он смотрит... серьёзно, вдумчиво, кивает мне головой и повторяет: „Ту-ба... тым“...».

Нина Алексеевна закрывает глаза, но мне кажется, что изпод неплотно сомкнутых век она всматривается во что-то невидимое мне: силой памяти вызывает из прошлого милые ей картины раннего Валеркиного детства...

— Приходит время поорать — сидит, орёт... десять, пятнадцать минут, убедится, что взрослые преспокойно занимаются своими делами и никак на его вой не реагируют, замолчит, подумает и идёт мириться. Бывало, скажешь ему: «Ну, вот и всё. И орать было нечего»...

Свинкой переболел. Температура нормальная... ничего не болит, но настроение скверное... Сидит в кроватке хмурый,

---

сердитый. Говорит отцу басом: «Дай пить!». Отец спокойно спрашивает: «А как нужно сказать, сынок?». В ответ рёв: «Пить хочу!!!». Отец продолжает невозмутимо делать своё дело. Поорал всласть минут десять... замолчал... Сидит зарёванный, надутый, сопит... Потом говорит хмуро: «Папа, дай, пожалуйста, водички», — и тут же сердитой скороговоркой добавляет: «Вот и всё, и орать было нечего!».

Тринадцать лет Ильины жили в двухкомнатной квартире. В большой комнате молодые, в маленькой — бабушка с Валериком. Потом получили трёхкомнатную.

В столовой поставили ширму. Образовался светлый, уютный угол. В нём хотя и впритык, но очень удобно вместились тахта и письменный стол. Валерий получил отдельную жилплощадь.

В этой квартире живут они и сейчас.

Итак, — если суммировать краткие характеристики и данные, почерпнутые из всех этих разговоров, — передо мной наиболее полное семейство.

Полная семейная гармония.

Почему я так устаю? Здорова, как берёзовый пенёк. Нонночка против меня задохлик, а в любое время дня и ночи она в форме, свеженькая, словно парниковый огурчик.

Вчера Римма Константиновна — она с нами говорит всегда в таком покровительственно-материнском тоне — потрепала меня по щёчке: «Ничего, девочка, скоро придёт второе дыхание. Ко всему нужна привычка». Не знаю, можно ли привыкнуть к человеческой боли... И ещё к сознанию своего бессилия, беспомощности перед смертью и страданием.

Я не сентиментальна. Боже упаси! Не выношу всяких там разных нежностей и сюсюканья с больными, но меня всегда корёжит от цинизма некоторых старшекурсников и молодых врачей, когда они говорят о больных. За это я и Славку раньше не любила.

Ему ничего не стоит сказать: «Этот мой старый хрен из четвёртой палаты ночью чуть-чуть концы не отдал. Валандался с ним до рассвета...». Или: «Опять мне Лелик старушечку подсудобил. Предынфарктное состояние, вместо печёнки футбольный мяч, ей бы заблаговременно об оркестре похлопотать, а она так ультимативно вякает, что через две недели должна лететь в Свердловск на какой-то там семинар».

Теперь-то я знаю, что всё это идиотская бравада, а вернее, форма защиты против жалости, страха за больного, против сознания своего бессилия.

---

И к своим больным он привязывается так же по-дурацки, как я... Как-то я его спросила, чего это он с утра пришёл в таком собачьем настроении. Он говорит: «Встретил сейчас Сальникова. Помнишь? Рыжий такой, в пятой у меня лежал больше месяца. Я обрадовался: прёт, понимаешь, навстречу, морда такая здоровенная... Я чувствую, рот у меня до ушей, а он прошёл мимо... не поздоровался. Не узнал... Забыл. А я помню, под каким ребром у него скрипело, под каким булькало... все анализы его помню».

Гуманность... Вот с чего начался этот странный разговор. Она сказала: «Гуманность — понятие растяжимое... Вы не читали роман „Семья Тибо“? Французский писатель Мартен дю Гар. Советую прочесть. Я попрошу Валерия, он принесёт... Человека съел рак... чудовищные страдания... но человек ещё не стар... сильный организм... здоровое сердце... Умирает и никак не может умереть. Помочь ему... сократить чудовищно затянувшуюся агонию может один-единственный человек, который безотлучно находится подле него, его старший сын... врач».

Я не была подготовлена к такому разговору. Я сказала:

— Это было бы убийством...

— А может быть, наоборот: актом наивысшего, подлинного гуманизма... актом милосердия?

— Как же этот... сын поступил? Он сделал... это?

— Да, он сделал это... Мужественный человек. Честный... он любил отца.

— Но ведь он был не только сыном... он был врачом?

Нина Алексеевна закрыла глаза. Она не собиралась спорить. Но я уже не могла уйти от этого разговора. Зачем она его затеяла? Что она хотела сказать?

Она мне напомнила. Был такой учёный, который утверждал, что старики, достигнув определённого возраста, примерно шестидесяти лет, неизбежно становятся обузой не только для семьи, для своих детей, но и для общества. Мешают общественному развитию, тормозят прогресс.

Спасением от этого социального зла и должно служить гуманное, безболезненное умерщвление стариков.

Если меня по-настоящему разозлить, я могу стать даже красноречивой. Я прочла ей краткую, но вполне квалифицированную лекцию по геронтологии. Биология старости... клинико-морфологические аспекты старения... активное, творческое долголетие... Привела почти дословно длинную цитату из недавно прочитанной умной книжки о том, что

---

«старость не должна быть прозябанием, что старость — это подведение итогов труда целого поколения, передача трудовой эстафеты новому поколению в порядке активного с ним сотрудничества».

Нина Алексеевна слушала терпеливо и очень серьёзно. Перебила она меня, только когда я начала перечислять имена великих старцев. Они сыпались из меня, как из мешка: Гёте, Толстой, Верди, Павлов, Тимирязев...

— Эти люди — исключение... Активное, творческое долголетие — удел избранных, — сказала она тихо. — Вы говорите: старость не должна быть прозябанием. Но в том-то и беда, что для подавляющего большинства стариков долголетие — несчастье. Передача трудовой эстафеты новому поколению... всё это звучит убедительно и... красиво, но физическое угасание, угасание интеллекта — процесс неизбежный и естественный... Старик не живёт уже, а доживает. Не только близким, но сам-то себе становится в тягость... Он начинает заедать жизнь молодым...

Она так и сказала: заедать жизнь молодым. Фраза звучала каким-то диссонансом на фоне всех интеллигентных слов, какие мы с ней друг другу наговорили.

— А я вам не верю, — сказала я твёрдо. — Не верю, что вы могли говорить всё это серьёзно...

— Не сердитесь... — Она тихонько коснулась моей руки кончиками сухих, прохладных пальцев. — Я понимаю вас. Существует такое понятие — врачебная этика. И всё же задам вам один вопрос — именно как врачу... В клиниках и больницах не хватает мест. На квартирах лежат «очередники» — молодые, полноценные люди. Их на дому кое-как лечат участковые врачи в ожидании, когда в вашем стационаре освободится место. А «неотложка» подваливает вам стариков: хроников с инфарктами, параличами, астмами... Месяцами они занимают эти драгоценные, дефицитные больничные койки... Не может вас, как врача, не волновать нелепость такого положения... И в то же время — как вы думаете? — очень уютно чувствует себя старик, захвативший место, по праву и по логике вещей принадлежащее молодому?

— Вы забываете, Нина Алексеевна, что, кроме врачебной этики, существует обычная, общечеловеческая этика, — сказала я, вставая. — Право на заботу и лечение в первую очередь имеют пожилые люди... Давайте выпейте свой порошок — и спать! А больничных коек у нас пока действительно не хватает. Все мы это знаем. Но мы знаем и другое. Утверждено строительство областной лечебницы, капитально ре-

---

монтируется и расширяется заречная городская больница... Стоит вопрос о создании стационара санаторного типа для лечения престарелых (каюсь, эту утопию я сочинила на ходу, по вдохновению, в порядке самообороны. Никто и нигде вопроса о таком стационаре для стариков пока ещё, конечно, не ставил). Ну, закрывайте глаза, тушу свет!

Я шла полутёмным коридором и в смятении думала: «Господи, неужели она права? Неужели мы настолько неосторожны? Нужно поговорить со Славкой».

Проснулась, словно вынырнула из чистой, прохладной реки, вышла на песчаный солнечный берег — свежая, отдохнувшая.

Ужасно люблю просыпаться без желания хотя бы ещё минутку полежать в постели. Только откроешь глаза, и уже хочется побыстрее начать что-нибудь делать. И завтрак кажется вкусным, и кислая мамина физиономия не раздражает.

Между прочим, последние две недели мы с мамой совсем не ссоримся. Она очень изменилась к лучшему. Не ворчит, не пристаёт с расспросами, часто по вечерам уходит к соседям или копошится в кухне, так что я могу спокойно почитать или покрутить любимые пластинки, которые ей очень не по душе.

Вчера шеф консультировал больную Приходько. Две недели назад она была ещё очень плоха. Несколько ночей подле неё дежурили родные.

А вчера шеф разрешил ей садиться в постели.

Шеф никого не хвалил, но если его довольно сложное заключение перевести в трёх словах на простой русский язык — это будет звучать примерно так: человека вытащили из могилы.

Приходько — моя больная. После консультации Славка сказал, галантно расшаркавшись передо мной: «Мария Владимировна, примите мои поздравления!».

Домой мы шли вместе, и я рассказала ему о своём последнем странном разговоре с Ниной Алексеевной.

Славка стал очень серьёзным.

— Зри в корень, Машук. Или твоя старушенция — психопатка, или у неё дома обстановочка, располагающая к петле.

Со Славкой я теперь часто советуюсь, и его советы мне всегда помогают, но с Ильиной всё значительно сложнее.

Во-первых, никакая она не психопатка, во-вторых, дай бог всем старикам иметь такую семью! Её любят, о ней заботятся, и она любит. А что ещё старику нужно?

---

Я сказала Славке, что у меня такое ощущение, как будто она беззлобно, с этакой мудрой иронической усмешечкой подшучивает надо мной.

А я как слепец: звук слышу, хожу вокруг да около, а вплотную подойти не могу.

Встретила Надежду. Она педиатр, специализируется в детской у профессора Нечаева. Мы когда-то дружили. Я часто у них бывала. Семья как семья. Отец погиб. Жили втроём. Мать, Надежда и старший брат Костя. Всё было в порядке, не хуже, чем в других семьях. А сейчас Надежда говорит: «Опротивело всё. Домой хоть не приходи. Костю она выжила из дома: женился, видишь ли, не по её вкусу. Ушёл с женой, с ребёнком на частную квартиру. Приходишь домой — начинаются стоны, истерики, упреки в неблагодарности, в эгоизме: „Я вам жизнь отдала, я ради вас молодостью пожертвовала!“ А какому чёрту её жертвы были нужны?! Хоть бы женишишка какой подвернулся, ушла бы за любого, только бы от этого ада избавиться».

А Светка Ярошевская на днях мельком сказала, что ушла от матери в аспирантское общежитие. Говорит о матери, поджав губы в ниточку, и глаза холодные, злые.

Светкина мать мне всегда казалась очень интересной, умной. Во всяком случае, такой она была, когда мы со Светкой ещё учились в школе.

Спрашиваю Светку, из-за чего она ушла от матери, а она говорит: из-за магнитофона.

Оказывается, Светка вместе с матерью копила на зимнее пальто, а затем пошла и на эти деньги купила магнитофон. Конечно, каждый из нас мечтает обзавестись собственным «магом», потому что интересных грамзаписей, особенно зарубежной джазовой музыки, в наших магазинах днём с огнём не найдёшь.

А Светка к тому же влюблена в Эдит Пиаф. Она говорит: «Не знаю ничего более трагического, более выразительного и искреннего, чем голос Эдит».

А мамашу тот же самый голос может довести до судорог. Она заявила Светке: «Не верю, что тебе с твоим музыкальным вкусом, с твоим чутьём могут нравиться эти истеричные гнусавые вопли. Ты просто кривляешься, потому что это модно... Нельзя одновременно любить Зыкину и Пиаф... Это противоестественно, патологично».

— Посмотрела бы ты, какое у неё при этом лицо! Скорбная, трагическая маска, пальцы судорожно сжаты. Потрясаю-

---

щая сцена из старинной мелодрамы: мать пытается спасти падшую дочь от окончательной гибели. Потом она заявила, что я слушаю эту «растленную» музыку только назло ей, что вечерами ей необходим покой... Целыми днями ничего не делает, живёт в собственное удовольствие, а у меня выпадет в неделю какой-то один несчастный вечер, и то я не имею права послушать любимые мелодии... А что она творила, когда я в первый раз покрасила свои соломенные патлы! Ты думаешь, она ругалась? Нет. Холодное, презрительное молчание... Я говорю: «Ты ханжа. Что ты понимаешь? Какое тебе дело?». А она со скорбью во взоре декламирует: «Мне больно и стыдно за тебя... Докатиться до такого мещанства... до такого духовного оскудения, убожества... Вы тупое стадо обезьян... Ничего личного, искреннего, индивидуального... Рабы уродливой, безвкусной, бесстыдной моды...».

У неё очень красивые ноги, до сих пор красивые... А у меня, сама знаешь, не очень. Надела я новое платье — полгода на него копейки свои откладывала, — она осмотрела меня молча с ног до головы, покачала головой и этак соболезнующе цедит: «Ну, знаешь, с такими ногами я бы не отважилась...».

Понимаешь? Бьёт по больному, со вкусом бьёт, со вкусом...

Я спросила Светку, как это всё у них началось. Ведь не сразу же: вчера всё было хорошо, а сегодня дело доходит до разрыва.

Светка говорит:

— Не знаю. Нет, конечно, не сразу. Сначала какие-то мелочи, недовольства, потом хуже и хуже...

Я шла домой и всё думала: видимо, это подкрадывается постепенно, незаметно. Возникает сначала непонимание, отчуждённость какая-то, а потом она перерастает в ожесточение, даже в ненависть, как у Светки.

Никак не могу вспомнить, когда я впервые обнаружила, что мне с мамой скучно.

Раньше я могла говорить с ней часами. Она жила в посёлке. Приедешь на каникулы или просто вырвешься домой на дёнок — и не можешь наговориться.

Или случится что-нибудь, места себе не находишь: нужно обязательно рассказать маме.

В нашей семье никогда не были в ходу нежности. И при жизни папы, и после его смерти, когда мы остались с мамой одни.

Жили очень дружно, но обходились без всяких там лобзаний и прочей ерунды.

---

Но ведь ещё совсем недавно в воскресное утро, когда и ей, и мне можно было лишний часок поваляться в постели, я забиралась к ней под одеяло, и мы говорили, говорили обо всём на свете. А теперь скучно. Или она поглупела за эти несколько последних лет, или я стала такой уж чрезмерно умной?

Принято утверждать, что у нас проблемы отцов и детей нет. Не положено. Нет социальной основы.

Основы нет, а проблемы-то всё же налицо.

Придётся как-то на досуге все эти дела основательно обдумать, чтобы не получилось так же, как у Светки.

Шеф спросил, показала ли я Ильину психиатру.

Я ответила: нет.

— Что её угнетает? Вам удалось выяснить?

— Нет. Но мне кажется, что она очень ждёт сына...

— Вам кажется?

— Я уверена... его нужно вызвать. Она боится умереть без него.

— Если бы она боялась умереть, вела бы себя иначе... А вам не кажется, что она боится жить?

Он повернулся и пошёл из ординаторской. Вот так-то вот, Мария Владимировна. В таком, значит, разрезе... И не кажется ли вам, Мария Владимировна, что вы со своим психоанализом окончательно в трёх соснах заблудились...

А может быть, всё же пригласить психиатра Бориса Петровича, или хотя бы просто посоветоваться с ним... О чём? Я же уверена, что все мы, включая самого шефа, в большей мере психи, чем она.

Но она слабеет. Со стороны это не очень заметно. Она улыбается, разговаривает, послушно пьёт лекарства, ест, понемногу и явно через силу, но всё же ест, особенно когда её кормит Валерий.

Уже несколько раз я заставляла её в каком-то полузабытьи. Один раз я услышала: «Мой маленький...». Как она это произнесла! Наверное, ей пригрезился маленький Валерка...

Ещё было так. Я на цыпочках, бесшумно вошла к ней в палату, и она в это мгновение сказала негромко, медленно, но очень твёрдо: «Не надо, Виктор, не надо!».

А однажды, когда я наклонилась над ней — она лежала так неподвижно, так тихо, что мне стало жутко, — она сказала чуть слышно: «Марусенька...».

Её покойную дочь звали Марусей... Я распрямилась, хотела отойти, но она подняла веки и улыбнулась. Я поняла, что она не спала, слышала, как я над ней склонилась. Это меня она назвала Марусенькой...

---

Идите отдыхать... и скажите там, пусть не караулят... я буду вести себя хорошо... — Значит, она всё замечает, всё видит.

Приняла ночное дежурство, обошла палаты. Полчаса посидела у Мити Янышевского. На днях ему предстоит операция. Очень тяжёлая, и он это знает.

Готовят его к операции второй месяц. За это время все наши к нему привязались. Ему семнадцать лет. Длинненький и очень хрупкий. Обаятельная улыбка — нежная и немного лукавая. Он не вызывает чувства жалости, какое обычно вызывает в людях тяжелобольной, вернее, почти безнадежно больной, милый ребёнок.

Покоряет в нём сочетание хрупкости и мужества. Настоящего, осмысленного человеческого мужества, каким не всегда обладают зрелые мужчины.

Я принесла ему книжку стихов Пастернака и шоколадку с орехами. Он любит с орехами.

Потом, когда в палатах погасли огни и установилась тишина — особая, наша больничная, ночная, насторожённая тишина, — я пошла к Нине Алексеевне.

Подле её постели сидела нянечка Полина Дмитриевна, добрая душа, самая человечная из всех наших нянь и санитарок.

Разговор шёл о детях. Вела его не спеша няня Поля, а Нина Алексеевна молча слушала. Очень серьёзно и внимательно слушала.

— Это уж какой матери как повезёт. Одной в детях счастье, другой горе одно... Он ещё и народиться не успеет, а ты за него уже болеешь... У него уже свои народились, а ты всё равно болеешь, переживаешь... И клянёшь его другой раз, ругаешь, — а всё равно, обратно переживаешь. И так до гроба, до последних твоих дней...

Увидев меня в двери, Полина Дмитриевна пожелала больной покойной ночи и ушла.

Я присела на краешек постели Нины Алексеевны, взяла её руку, чтобы проверить пульс.

— Итак, беседа шла о материнском чувстве? — спросила я с улыбкою невинной на устах.

— О да! — негромко откликнулась Нина Алексеевна. — Бессмертная, в веках воспетая, святая материнская любовь!

Она помолчала, прикрыв глаза, пока я подсчитывала пульс, затем, после небольшой паузы, спросила:

— Вы сказали: материнское чувство... а вы уверены, что это действительно чувство?

---

— Простите, я не поняла вопроса...

— Иногда говорят: материнское чувство, а иногда — инстинкт материнства, что же это такое: чувство или инстинкт? — пояснила она.

— Нина Алексеевна, дорогая, вы прекрасно знаете, что это понятия совершенно различные... — сказала я спокойно. — Вам нужно уснуть.

— А вы прекрасно знаете, что я не усну, и снотворного настоящего вы мне не дадите, и сами спать не ляжете. Будете, как лунатик, бродить по коридорам, нарушая безмятежный сон нянечек и сестёр. Вы видите, какая я послушная больная. Я убеждена, что мне необходимо движение, воздух, книги, но вы приказали мне лежать, и я лежу, потому что иначе шеф снимет с вас голову... Не сердитесь, Марусенька, я шучу. Ваш подопытный кролик в полном вашем распоряжении. Но если и вам не спится, не уходите...

— Почему вы не можете спать? Что вам мешает? — спросила я прямо. Я хотела убрать руку с её запястья, но она прикрыла её своей ладонью.

— Старость... обычная старческая бессонница... И повторила: — Не сердитесь на меня... — Потом добавила, заглянув мне в глаза, со своей ласково-иронической усмешкой: — Только не ищите драмы там, где её нет.

Я начала по-идиотски краснеть, но сделала вид, что не поняла, и спросила первое, что подвернулось на ум:

— Так что же это такое — материнская любовь? Чувство или инстинкт?

— Прежде всего материнская любовь — это рабство... — спокойно и не задумавшись ответила Нина Алексеевна. — Пожизненное, бессрочное... без надежды на амнистию. Вы слышали, как выразилась нянечка: до гроба, до последних твоих дней.

Она помолчала, ожидая, видимо, не начну ли я сразу возражать.

— Вообще фактура материнского чувства, если брать его во времени, неоднородна...

Она так и сказала «фактура материнского чувства...»

Сейчас я не могу восстановить дословно этот наш второй ночной разговор. В её толковании эта самая фактура делится на три основных периода.

Живёт девушка или молодая женщина. Живёт полноценной, интересной жизнью. Свободна, независима. Живи и радуйся. Но проходит определённый срок, в ней просыпается инстинкт продолжения рода, инстинкт материнства.

---

«Ловушка природы» — против неё бессильны доводы рас­судка, разума, расчёта.

Тут она оговори­лась, что речь идёт не о тех, кто становится матерью случайно, поневоле, по несчастному стечению обстоятельств.

И вот женщина носит ребёнка. Её организм физиологиче­ски перестраивается, всё подчинено интересам его развития, его формирования.

Она и эта зреющая в ней жизнь — одно целое. На него ра­ботает и тело, и сознание матери.

Потом оно родится — такое крохотное, такое беспомощное и самое драгоценное из всего, что её в этом мире окружает.

Пуповина перерезана. Он существует уже самостоятель­но — человек, личность, индивидуум. Он умеет дышать, он питается уже не кровью матери, не соками её тела, а только её молоком.

А она ещё не осознала свершившегося разобщения с ним. Продолжает работать инстинкт — могучая, страстная живот­ная связь.

Взаимозависимость. Ребёнку необходима только мать. Связь эту может прервать только смерть. И матери кажется, что связь эта — навсегда.

Ребёнок растёт. Понемногу начинает изменяться и отно­шение матери к нему. Это уже чувство — разумное, требова­тельное, осмысленное (да, она так и сказала — осмысленное). Но по-прежнему с ним связаны все её планы, надежды, мечты о будущем.

Так или иначе, в той или иной мере, её личная жизнь под­чинена его интересам. Связь продолжается. Не физиологиче­ская — связь сознания. Взаимосвязь. Потому что и на этом этапе мать продолжает оставаться для него существом са­мым близким и необходимым.

Человек взрослеет. Начинается естественный и законо­мерный процесс. У него появляется свой мир, свои интересы, возникают свои, новые личные связи. Он заботлив и внима­телен. Но взаимосвязь нарушена.

Мать по-прежнему радуется его радостям, болеет его бо­лью. Нет, не по-прежнему, а в значительно большей мере.

Раньше, когда он приходил к ней с обидой или шишкой на лбу, она могла ему помочь: что-то объяснить, посоветовать, подсказать или просто подуть на шишку, поцеловать, и это помогало.

Она была в силах его защитить, а порой принять на себя всю силу удара, предназначенного ему.

---

А теперь в её силах одно — не мешать ему, не быть навязчивой, не раздражать попытками проникнуть в его мир. Он искренне убеждён, что она уже не способна его понимать, что, устраняя её из своего личного мира, он просто щадит мать, оберегает её душевный покой.

Понемногу у него вырабатывается особый тон по отношению к ней — покровительственный, снисходительно-ласковый.

Это в лучшем случае, когда у матери хватает ума не цепляться за своё привычное и, казалось, такое незыблемо прочное место в его жизни.

Но не всякая мать без боя сдаёт позиции. Вскипает нелепая материнская ревность, борьба за право вмешательства в дела взрослых детей, за своё влияние в семье — короче говоря, всё то, что способно отравить жизнь молодых, испортить им отношения, полностью нарушить лад в семье.

В таких случаях обычно говорят — окончательно выжила из ума. Ну а в лучшем случае мать деликатно отходит в сторону... На обочину. Казалось бы, что старику нужно? Кончилось рабство. Она может наконец свободно вздохнуть... «Ныне отпускаешь раба твоего...» Пожить наконец для себя. Она суетится, пытается, насколько возможно, уютно оборудовать эту свою... обочину. Но ничего не получается...

Каменная пустыня одиночества.

Она выразилась как-то иначе, вообще она говорит очень просто, без всяких там вычурных, драматических слов, но смысл именно такой: каменная пустыня... в ней даже эха нет. Закричи, а эхо не отзовется...

И всё это она говорит очень спокойно, без ожесточения, даже без горечи. И только в третьем лице: они, она... Как сторонний наблюдатель, оценивающий какое-то явление, лично к нему никак не относящееся.

А меня этот разговор вымотал. Я не имею права забывать, что я врач, а она — моя больная. Я не могу с ней спорить.

Я знаю, что ей вредно много говорить, но, может быть, молчать ещё вреднее?

Да и говорила-то она совсем недолго. Это в моём переложении получилась такая тягомотина.

Она, видимо, почувствовала моё состояние. Погладила кончиками своих лёгких, прозрачных пальцев мою руку и сказала:

— Хватит философских отвлечённостей... Расскажите мне лучше о себе. Как поживает ваша мама? Вы с ней помирились?

---

Я как-то мимоходом сказала ей, что у меня не очень ладится с мамой, тогда она не проявила никакого интереса к моим семейным делам, а, вот видишь, оказывается, всё помнит.

Я бодро похвалилась, что теперь у меня всё в порядке. Мама очень изменилась, стала сдержаннее, спокойнее.

Тогда она спросила:

— А вы ничем не обидели её?

Я ещё раз заверила, что всё наладилось.

Потом я принесла Нине Алексеевне таблетку «настоящего» снотворного и ещё посидела, но уже молча, пока она не начала дремать.

Почему она спросила, не обидела ли я маму? Дома у меня — тишь и благодать. Прекратилась воркотня, недовольство, настырные расспросы о моих больных, о том, что сказал шеф, что я ему ответила, что я кушала и как кушала...

В общем, полный мир... А может быть, только сосуществование? Если присмотреться внимательно, можно обнаружить некоторые странности. Начинаю я ей что-нибудь рассказывать, она послушает-послушает и вдруг прервёт: «Ладно, Машенька, ты отдыхай... Софья Ивановна просила Вовку уложить, она сегодня в ночную...». И уходит. На весь вечер.

Она ладит со всеми соседями, но дружбы особой у неё ни с кем нет. Это со мной она любила поболтать, а с чужими она очень сдержанна и сближается с людьми туго. Где она проводит вечера? Обе соседки — бабы несимпатичные, привлечь её ничем не могут... Кухня у нас общая. Холодная, неудобная. И вообще она стала какая-то вроде пришибленная. Почему? А вот почему. Недели две с половиной назад я пришла усталая и злая, как собачонка. Свои настроения я от неё всегда стараюсь скрывать, но она каким-то особым чутьём сразу определяет, когда у меня что-нибудь не поладилось.

Не могу же я ей каждый раз докладывать, что вот у выходящей из больницы вдруг ни с того ни с сего поднялась температура, что «Лелик» опять ни за что облаял меня и Игоря.

Потом она привязалась с ужином, а я так устала, что мне кусок в горло не лез. И я сорвалась. Я не орала на неё, не грубила. Я сказала: «Мама, господи, как ты мне надоела! Отстань от меня, ради бога, дай ты мне отдохнуть». Она сразу замолчала. И ушла, видимо, в кухню, потому что больше ей уйти некуда.

Дулась потом несколько дней. Вообще-то она для своих лет очень хорошо сохранилась, никогда не жаловалась на

---

здоровье, а тут, я вижу, по утрам вид у неё больной. Пришлось срочно восстанавливать дипломатические отношения.

По правде говоря, вины я за собой не чувствовала, но всё же переломила себя, подошла к ней, обняла: «Не дуйся, ма, я, конечно, скотина, но неужели ты не понимаешь, что я очень устаю, что иногда мне не до болтовни?». А она вдруг засуетилась, растерялась: «Что ты, — говорит, — что ты, Маша?! С чего ты взяла! Просто мне немного нездоровится...».

Вот как всё это было. После этого у нас и установился мир. Тишь и гладь. И божья благодать.

А что, если она тоже думает... об этом? Что она мне не нужна, что теперь я могу без неё... В одиночку можно додуматься бог знает до чего.

Да нет, чепуха какая. С этой Ильиной я и сама скоро, видимо, стану психопаткой. Мерещатся всюду разные психологические страсти-мордасти.

А всё же почему я уже больше года, например, не была с мамой в кино? Пока Юрка не уехал в экспедицию, мы урывали каждый свободный вечер, чтобы побыть вместе, это понятно. Но ведь его нет уже четыре месяца, я за это время несколько раз побывала в театре и филармонии, десяток раз ходила в кино. Но без мамы...

Почему я не могу, в конце концов, поговорить с ней о Юрке? Я же знаю, как тревожит её неопределённость наших отношений. Ведь это же так просто — объяснить ей, что мы не можем пожениться, потому что нам негде жить. Юрка до сих пор в общежитии, у нас с мамой на двоих одна комната.

Пусть она его не любит. Я знаю, такой зять ей не по душе, но тут уж ничем не могу ей помочь. Её зятем может стать только Юрка...

Эта каменная пустыня не идёт с ума. Не может быть, чтобы она говорила о себе. Как может быть одиноким человек, если его окружают близкие, любящие, очень чуткие люди?

Она обобщает. И получается, что удел старости — каменная пустыня. Что в конце жизни человек неизбежно, неотвратимо приходит к одиночеству... И не потому только, что слабеют его связи с взрослеющими детьми, она же сама говорит, что это естественный и закономерный процесс. Чего-то она не договаривает.

Возможно, дело в том, что мы, молодые, вообще не способны понять трагедии старения... Может быть, это действительно очень страшно? Откуда мы знаем. Сознание обречённости... близости конца. И отсюда одиночество. Но я действительно этого не понимаю. Существуют определён-

---

ные биологические законы жизни человека. Естественное чередование возрастных категорий. Мне недавно стукнуло двадцать шесть. Ах, какая трагедия! Уходит молодость! Одна треть жизни, причём лучшая часть, уже прожита! Нет, не понимаю.

А если говорить об одиночестве, так самое ужасное, по моему, это одиночество человека молодого. Когда он ищет и не находит связей с окружающим, с людьми. А я знаю таких. И знаю стариков, которым можно позавидовать. Это жизнелюбы, не боящиеся смерти.

Например, Славкины родители. Отец у него старый, но ещё работает, а мать на пенсии. Занятная семейка. Славка — циник, грубиян, а со стариками прекрасно ладит. Конечно, они и спорят, и ругаются, но нет у них никаких трагедий, никаких рвущихся связей, никаких пустынь.

Мать очень похожа на Славку. Она говорит: «Придумали какую-то ахиною, что как вышел человек на пенсию, так и жизни конец. Бред зелёный! Для женщины пенсия — дар божий! Детей рожать не надо — время вышло. Ребята повырастали, слезли с горба. Хлеб ты жуёшь свой — ни от кого не зависишь. Теперь только и пожить для себя, теперь только радости-то жизни доступны стали. Раньше — почитал бы чашок, а нельзя, минуточки свободной нет. В кино бы сбегал — денег жалко, ребятишки на детский сеанс на эти деньги двое сходят; в выходной день за город бы съездить, отдохнуть — опять же нельзя, стирки скопилось, дай бог силы за выходной управиться. А внучат я себе на шею посадить не даю. Припрёт нужда: заболит кто или на курорт съездить надо — придут, попросят, помогу, выручу, а в няньки к ним идти на старости лет — что-то не поманивает».

И дети на неё не обижаются. У Славки два малыша, ему с женой очень туго приходится, но он говорит: «Они своё дело сделали, пусть божьи одуванчики хоть напоследок по-человечески поживут».

Или бабка Хворостинина. Ей за семьдесят. Ходячее отрицание тезиса, что «в здоровом теле здоровый дух». От тела почти ничего не осталось — косточки и кожа.

Ревматизм, стенокардия, а бодрости духа на пятерых молодых хватит.

Всю жизнь работала на ткацкой фабрике, родила и вырастила пятерых, потом растила внуков, а теперь хвалится, что скоро внучка Валька принесёт ей правнука: «Мне, — говорит, — о смерти ещё рано думать, вот последнего внука женю да правнука вынянчу, тогда другое дело, может, и подумаю».

---

Вот как просто открываются некоторые ларчики.

Стояла на автобусной остановке, сбоку на меня налетела сватья Варвара Семёновна, свекольно-румяная от мороза, заорала весело — вся очередь разом на нас оглянулась: «Марушенька вы моя, да чего же вы здесь торчите, да в такую погоду только и пробежаться, кислородом подышать!».

Подхватила меня под ручку и поволокла в переулок.

На ходу она стала расспрашивать о состоянии Нины Алексеевны и вдруг сокрушённо поведала, что болезнь сватьги спутала все их семейные планы.

Дело касалось Валерия и Иринки. Их нужно было поженить. Она говорила со мной с потрясающе благодушным бесстыдством:

— Два года гуляют. Ируська — девчонка, ей, конечно, не так, а от Валерика одна арматура осталась. Вы сами молоденькие, к тому же медик, — представляете, каково молодому парню два года около этакой-то кошечки облизываться? Конечно, Валера — мальчик порядочный, ничего такого до свадьбы не позволит, да и Ирка моя не из таковских, но всё же живое об живом думает, природа своего требует...

Я сказала, что Нина Алексеевна может пролежать долго, и я уверена, что не обидится, если свадьбу справят без неё.

— Господи! Да я разве про это? — изумилась сватья. — А жить-то им где? Что же, он мою Ирину в проходную комнату, за ширмочку за свою приведёт? Им отдельная площадь полагается. Где это видано, чтобы старуха одну комнату занимала, а молодожёны в проходной ютились?

В общем, у двух сватьюшек всё, оказывается, было решено и спланировано. Нина Алексеевна уступает комнату молодым, а сама переселяется на жительство к Варваре Семёновне.

— У неё комнатка махонькая, об одно окно, а у меня двадцать четыре метра. Я бы ей тот же Иркин угол отвела, и походила бы за ней, как за родной матерью. Она бы у меня ни работы, ни заботы не знала — сиди копайся в своих книжках хоть с утра до ночи. Захотела в кино или к своим на старую квартиру сходить — иди, никто слова не скажет. И вещей никаких перевозить не требуется. Спала бы на Иркиной кровати, пушай бы даже и коврик Ируськин оставался, и столик бы у неё свой отдельный был, как дома. Книжки все, конечно, перетаскивать ни к чему. У неё их целых три шкафа набито. Ну, один пушай бы взяла, я ничего против не имею. Трельяз зеркальный я за Ирккой в приданое благословила, вот на его место шкаф и поставила бы под книжки. Пушай бы

---

забрала с собой, какие ей самые нужные. Правда, чего уж я не люблю — это цветы в комнате. Сырость от них одна и запах земляной, ну уж раз ей так мило, пускай бы две-три баночки перевезла. Ну чего же ещё старушке надо? Доживай себе на спокойе, тихо, тепло, в уходе, никому не мешаешь. Да она и сама уже осознала, насколько это некрасиво — молодым век заедать. Она же Валерика сама до смерти любит. Если бы не болезнь эта проклятая, мы со сватьей Мариной Борисовной живенько бы её перевезли, пока Виктор Андреевич в отъезде. Уж больно он у них характером поперёшный. Сам без Валерика дня прожить не может. Только через порог — сейчас: «Валерий пришёл?». Всё у них заодно. В книжке или в газете чего вычитают — идут друг другу рассказывают, и на лыжах или купаться летом — всё вместе. Мы так с Мариной Борисовной рассудили: всё же он отец, Валера у него один, неужели ему старухин каприз дороже сынава счастья? Тем более, если мамаша сама так порешила и переедет по-доброму. Сам, небось, в душе-то рад бы был, ежели б всё так по-хорошему устроилось.

— А Валерий? — спросила я. — Как ко всему этому относится Валерий?

— Валерику Марина Борисовна до времени тоже не велели говорить. Ну, да с ним разговор другой, тут уж не наша, а Ируськина забота. Разве он против неё сможет? Тем более, если бабка сама ему комнату к свадьбе в подарок дарит. Я её вчера спрашивала, она от своего согласия не отрекается.

«Вот, значит, откуда у моей дорогой Нины Алексеевны это выражение — заедать жизнь молодым».

Она не хочет заедать им жизнь. Нужно немедленно поговорить с шефом. Вызвать Виктора Андреевича... А может быть, есть смысл потолковать с Валерием? Нет, без отца этот желторотый жених может наломать дров.

Самое важное сейчас — душевное состояние Нины Алексеевны. Только сын может вернуть ей душевный покой. Она его ждёт и день ото дня слабеет. До приезда Виктора Андреевича я больше не допущу к ней Варвару Семёновну, и визиты Марины Борисовны тоже, пожалуй, лучше ограничить. Скажу, что это распоряжение шефа...

Я вернулась в клинику, но ни шефа, ни Леонида Ивановича уже не было. У Нины Алексеевны сидел Валерий. Он с сияющей рожей, рот до ушей, сообщил, что «папа на днях будет дома, не сегодня-завтра».

А Нина Алексеевна лежала такая тихая, безучастная, словно всё это её совершенно не касается.

---

Я сказала Валерию, чтобы он шёл домой. Больная должна уснуть. Подождала его в коридоре, передала «распоряжение шефа», отобрала пропуск. Он очень встревожился, мне пришлось его успокаивать.

Хотя меня так и подмывало сделать обратное — нарушить покой этого влюблённого мальчишки. Я на ходу соврала, что все пропуска отменяются, так как в городе грипп, возможно, вообще будет введён карантин... Попросила передать всю эту ерунду обеим его мамочкам, но предупредила, что для Виктора Андреевича пропуск будет заготовлен с завтрашнего числа.

Он доверчиво меня выслушал, поблагодарил за подробную информацию и удалился.

Я наказала сестре первого поста, чтобы она почаще заглядывала к Нине Алексеевне, и решила посидеть часок в ординаторской, подтянуть кое-какие хвосты в историях болезни своих подопечных.

Разложила свою бухгалтерию, и тут меня словно палкой по голове стукнуло. А вдруг мама вообразила, что это из-за неё мы с Юркой не можем пожениться, что если бы я, когда получила комнату, не забрала её из посёлка к себе, Юрка давно мог бы ко мне перебраться?.. Что она тоже — «заедает нам век»...

Нет, честное слово, я становлюсь психопаткой. Чего ради придёт ей в голову такая чушь?

Ни на кого я её не променяю. Придёт время — рожу себе сына. Не знаю, инстинкт это или «осмысленное» чувство, но мне кажется, что я его и сейчас уже люблю. И Юрку люблю.

И всё же знаю, что никогда у меня не будет человека ближе мамы. Есть такое, что можно сказать только себе самой и маме. Больше никому. Даже Юрке.

Существует в мире один человек, для которого нет на свете ничего дороже, ничего интереснее, чем мои дела, моя жизнь. И этот человек — мама.

Она может слушать меня хоть пять часов подряд, будет ходить за мной по пятам, переспрашивать, требовать самых мельчайших подробностей... Переживать.

Юрка, конечно, тоже переживает, но у него уйма и своих не менее интересных дел... А мама... Когда у меня случится какая-нибудь радость или удача, на неё просто смотреть смешно. Она хорошеет, как девчонка, глаза сияют, даже походка становится какая-то молодая, летучая.

Нужно набраться духу и всё ей сказать, чтобы она не сочиняла себе никакой ерунды.

Я сгребла всю свою канцелярию и помчалась домой.

---

А дома на столе лежала записка: «Маша, звонили от Кротовых. Софья Ивановна больна и просит меня приехать. Ужин в духовке. Костюм я погладила. Ты отдыхай, я у них заночую. Мама».

Я легла на диван и чуть не заревела от злости. Ну с чего её понесло к этим Кротовым? Кому она там нужна? Ведь выдумала же она всю эту галиматью со звоном, с болезнью Софьи Ивановны... Не хватало мне, чтобы она начала уходить из дома, скитаться по чужим дворам...

Оперировали Митю Янышевского. Операция на сердце. Операция прошла успешно... Как всё это звучит буднично и просто!

Уже третий год я врач, а привыкнуть не могу.

Такие операции приводят меня в состояние какого-то тихого восторга. Живое Митино сердце в руке хирурга!

На этом таинстве мы присутствовали в качестве пассивных наблюдателей, но, когда я вышла из операционной, во мне местечка живого не было от напряжения и усталости. Словно это на моей ладони лежало пульсирующее, кровоточащее Митино сердце.

Славка, конечно, не удержался, чтобы не поскалить зубы:

— У тебя сейчас физиономия старушки, которая сподобилась приобщиться святых тайн.

А у самого глаза диковатые и румянец с лица смыло.

Митя-то — его больной. Он готовил его к операции.

Немного отдышавшись, пошла посмотреть своих болящих. Потом вызвал Леонид Иванович, обрадовал, что мне предстоит внеочередное ночное дежурство. Римма Константиновна ухитрилась шлёпнуться на ровном месте — растяжение сухожилия, бюллетень. У Павла Степановича — грипп. Нонночка выходит замуж, ей предоставлен положенный трёхдневный отпуск.

В общем, весёленькая ситуация...

Сбегала домой. Мама ещё не возвратилась из своего благотворительного вояжа. Оставила ей записку: «Внеочередное дежурство. Завтра задержусь до вечера. Отдыхай. Мария».

Ночь предстояла нелёгкая. В течение дня по «скорой» поступило трое тяжелобольных. Митя молодец, но очень слаб. Хочется всё время быть подле него. И Нина Алексеевна мне очень не нравится...

Спасибо Славке. Пришёл после ужина и до часу ночи сидел с Митей.

Только к четырём часам всё более или менее утряслось.

Митя уснул. Пульс ровный, приличного наполнения.

---

С ним осталась сестра.

У тяжёлых дежурили няни. Оставалось заглянуть к Нине Алексеевне, и можно было на часок прилечь.

Самые противные предутренние часы, даже поташнивает от усталости.

Я осторожно подошла к палате Нины Алексеевны, чуть-чуть раздвинула дверные портьеры. Постель была пуста. На тёмном фоне окна смутно маячил белый силуэт. Она стояла, держась за подоконник, босая, в короткой больничной сорочке.

Пока её укладывала, немного пришла в себя.

Села на край постели и стала полегоньку массировать ей ледяные руки. И всё это молчком. Молчали, как два заговорщика, до тех пор, пока она не начала понемногу оттаивать.

— Не могла больше лежать... очень устала...

Она не сказала: «Не сердитесь, Мария Владимировна...» — чувствовала, что я не могу сердиться, не могу её упрекать.

— Почему вы запретили им ко мне приходиться? — спросила она, не открывая глаз, после длительной паузы.

— Чтобы дать вам отдохнуть. Прекратить до приезда Виктора Андреевича разговоры об этом обмене... мамочки на Ирочку.

— Откуда вам стало известно об этом товарообмене?

— Разумеется, от вашей дорогой сватьяшки. Она ищет союзников и, видимо, надеется, что я тоже буду вас убеждать, насколько это удачный вариант...

— А меня и не нужно убеждать, — устало перебила меня Нина Алексеевна. — Она права. В данный момент для неё и Мариши существует одно — любовь Валерия и Иринки. Их счастья ничто не должно омрачать... На алтарь этой любви обе мамы готовы возложить не только головы, но и животы свои. И не только свои. Не осуждайте их, деточка. Вам нужно родить сына и ждать ещё двадцать—двадцать пять лет, когда он впервые по-настоящему полюбит женщину...

Она говорила со мной неохотно, назидательно, как с душой, как с тупой девчонкой. Но раздражаться и спорить я не имела права.

Я сказала:

— Да, на мой взгляд, всё это слишком возвышенно и трагично. Почему этим вопросом не занимаются ваши мужчины? Им нужно хлопотать о предоставлении большей квартиры — Валерий оставлен при институте, женится... Можно было давно вступить в жилищный кооператив, можно, наконец, временно снять частную комнату, а лучше всего пусть на алтарь этой великой любви положит голову и даже живот свой любящая

---

Ирочкина мама — подарит свою комнату молодым, а сама поживёт в частной, временно, пока им не дадут квартиру.

— Им не нужна никакая другая квартира... — вяло отозвалась Нина Алексеевна. — Валерий не должен уходить из семьи... если уйдёт — семьи не станет. Семья — это Виктор с Мариной, ребята и их будущий малыш...

Она вдруг негромко рассмеялась:

— Видимо, он не заставит себя долго ждать... Боюсь, что наивные мамы напрасно так уверены в их благоразумии. Дальше тянуть нельзя.

— Почему ж в таком случае вы не осуществили этот... товарообмен до болезни?

— Вы не знаете Виктора. Возвратившись из командировки, он может прийти, взвалить меня на плечо и притащить... домой. Я не могла уйти из дома, воспользовавшись его отсутствием. Мариша и Варвара Семёновна не в силах понять, что вопрос этот могут решать только два человека: Виктор и я. Их безумно волнует, что Виктор Андреевич придерживается модного сейчас мнения, согласно которому детей, достигших восемнадцати-двадцати лет, необходимо отнимать от груди и выталкивать в жизнь. Что молодая семья должна создаваться самостоятельно, без какого-либо влияния со стороны близких...

Ну и так далее... Разумеется, есть семьи, где совместная жизнь родителей и взрослых детей, особенно когда появляются внуки, становится адом. В таком случае выход один: молодые должны уходить из семьи. А у нас... Виктор и Валерка... Если бы вы знали, как они привязаны друг к другу... Приходит Виктор с работы, ещё пальто не снял: «Валерий дома?». И Валерка: «Папа пришёл?». Все эти рассуждения о самостоятельной молодой семье — слова... слова... только слова... Валерий не должен уходить из семьи... Он нужен Виктору...

— Вы устали, Нина Алексеевна, но я задам ещё один вопрос: как вы заболели? Это был первый сердечный приступ, как он начался? Как протекал до приезда врача?

— Днём, когда я была в квартире одна, пришла Варвара Семёновна. Около часа она рисовала мне картины райской жизни, которую я обрету, согласившись на проживание с ней в одной комнате. Мощная была атака... я выкинула флаг капитуляции... сказала, что не возражаю, подумаю. Прощаться она не стала, пообещала «забежать попозже», чтобы уже совместно с Мариной «семейно всё обсудить». Когда осада была снята, я ушла из дому. Я решила как-то протянуть до вечера, дожидаться Валерия, посоветоваться с ним. Посидела в библи-

---

отеке, потом немного подремала в кино и пошла домой. Квартира наша на первом этаже, шторы ещё не были задёрнуты, я убедилась, что Валерий ещё не пришёл, и решила подождать его в нашем скверике. Есть у нас там такая уединённая скамеечка за кустами. Я очень удобно там устроилась. Чувствовала я себя очень усталой, и в груди начало побаливать. Но я не придавала значения... Из-за угла вышли наши девочки: Ирина и её подруга Таня. Очень милая, искренняя девушка. Они шли за кустами и разговаривали. Таня сказала: «Не понимаю, почему она не согласна? Твоя мама такая добрая, весёлая. И комната у вас хорошая, тёплая, с удобствами. Ну не всё ли ей равно, где жить?». А Ирина прошла несколько шагов молча, а потом говорит тихо так — понимаете? — без обиды, без злобы, с каким-то грустным недоумением: «Понимаешь, Танька, я была уверена, что она действительно очень любит Валеру... Как можно быть такой бездушной эгоисткой?».

Вот так. Старая, бездушная эгоистка оказалась слишком чувствительной. Её доконал детский лепет этих милых, искренних девочек.

А для неё только — Виктор. Везде и во всём Виктор...

Разве дело в ней? Боже мой, разве в ней дело?! Виктор, бедный Виктор поставлен перед выбором...

Ну, ничего, завтра он приедет. Уж он-то сумеет распутать эту идиотскую паутину, которой она по старости, по безмерной любви к сыну позволила себя опутать.

И тогда будет возможность её лечить.

— Ничего, Нина Алексеевна... — сказала я бодро. — Завтра приедет Виктор Андреевич, и вы сами убедитесь, что никакой трагедии нет, для него главное — чтобы вы побыстрее справились с болезнью.

А эта эгоистка погладила мою руку и сказала с какой-то новой, виноватой улыбкой:

— Скоро утро. Идите прилягте хоть на полчаса. Даю вам слово, что больше ничем вас не огорчу... Буду вести себя примерно. Отдохните.

Сын Нины Алексеевны опоздал. Она умерла следующей ночью, перед утром. Умирала одна, а он был рядом, в десяти минутах ходьбы.

Он приехал домой в одиннадцать вечера, и, когда позвонил в клинику, дежурная сестра сказала, что больная спит, тревожить её нельзя. Если товарищ Ильин придёт завтра часам к одиннадцати, он сможет поговорить не только с лечащим врачом, но и с самим профессором, так как завтра профессорский обход.

---

И он лёг спать.

Утром, когда мне позвонил Славка и я пришла в клинику, я не стала вызывать квартиру Ильиных.

Я рассчитала: если он не пришёл в клинику к девяти часам, значит, он уехал на работу. Не будет же он сидеть дома до одиннадцати часов!

Я не стала звонить на квартиру. Я хотела, чтобы они ещё раз, последний раз, могли побыть вместе, один на один...

Пусть потом у её постели будет сдержанно рыдать невестка, по-мальчишески горько заплачет ясноглазый бабушкин внук, навзрыд по-бабьи запричитает сватья Варвара Семёновна. Искренне запричитает, потому что ничего плохого покойнице она не хотела, от всего доброго сердца предлагала ей тёплый угол в своём доме...

Пусть всё это будет потом, а сейчас они должны побыть наедине, вдвоём...

Было ли мне его жаль? Пожалуй, нет.

Если бы это она приехала и узнала, что сын после тяжёлого сердечного приступа лежит в больнице, если бы она не смогла прорваться к нему через ночные больничные заставы, она сидела бы в пустом санпропускнике и ждала. Она бы нашла возможным переслать ему записку, чтобы, проснувшись, он мог прочитать: «Я здесь. Скоро утро, и меня пропустят к тебе. Спи спокойно».

А ему сказали: приходите завтра; и он лёг спать. И утром смог поехать на работу, потому что ему сказали: приходите к одиннадцати.

Формально на мне нет вины. Вчера утром на пятиминутке я доложила об ухудшении в состоянии больной. Её осмотрел Леонид Иванович. По его глазам я поняла, что больная ему очень не понравилась.

Ночью должен был дежурить Славка, и я ушла домой отсыпаться. Я уже едва ползала от усталости.

И всё же никогда я себе не прощу этой смерти. Я одна знала, как она его ждёт. Я могла вызвать его телеграммой, не считаясь ни с какими запретами. Я должна была это сделать — и не сделала. От меня зависело, чтобы в последние минуты сознания она видела его лицо, чувствовала тепло его рук. И пусть бы её сердце ещё раз, в последний раз, облилось кровью от жалости к нему.

Я сняла трубку, набрала номер его служебного телефона и сказала ему: «Я лечащий врач Нины Алексеевны. Приезжайте немедленно».

Он был встревожен, но сказал очень сдержанно:

---

— Что случилось? Ей плохо? — Он сказал — «ей». Видимо, такие взрослые, зрелые люди уже стесняются произносить это детское слово — «мама».

И я сказала с какой-то мстительной жестокостью:

— Она умерла сегодня ночью.

Он пришёл минут через двадцать. Я придвинула к её постели стул. Он сел и наклонился к её лицу. Он взял её голову в ладони и стал тихонько трясти, чтобы разбудить её. Он не верил... Он повторял одно слово, тихо, требовательно, умоляюще: «Мама... ну ма-ма».

Может быть, завтра, или через год, или через пять лет я буду вот так же сидеть над моей мамой и никак разумом своим не смогу понять, что это уже не она, что её нет, навсегда нет.

И буду так же звать её: «Мама... ну ма-ма!».

А она будет лежать, чужая, холодная, равнодушная. Не моя. И только тогда я по-настоящему пойму, какое это было счастье, когда она ещё топталась рядом со мной, ворчала, беспомощно пытаюсь опекать меня...

Неужто лишь такой страшной ценой способны мы понять, как дорог каждый уходящий день, пока матери ещё с нами?..

---

---

# Виктория

Самойлиху — Глафиру Матвеевну — в деревне не то чтобы не любили, а, точнее сказать, побаивались. Ей ничего не стоило оборвать человека на полуслове, высмеять за какую-нибудь промашку, приклеить человеку смешное, а иногда и ззорное прозвище.

Нередко Матвеевну осуждали за резкий характер, за излишне острый язык, но связываться с ней лицом к лицу или просто по-соседски поругаться опасались.

И всё же, когда из района пришла ещё одна подвода с эвакуированными, председатель сельсовета Иван Максимович пошёл не к кому-нибудь, а именно к Самойлихе с просьбой принять временно на квартиру вновь прибывшую семью.

Изба у Самойлихи была не очень просторная, но делилась тесовой перегородкой на две части. Получалось как бы две комнаты — горница и кухня.

Больше двух лет горенку занимали две молодые учительницы, потом они получили комнатку при школе, уже более месяца Матвеевна жила одна.

Иван Максимович не убеждал её, не агитировал. Мужик он был немолодой и немногословный. Он сказал: «Выручай, Глафира Матвеевна... Направление у них до Иштанова, да куда же людей в такую непогодь гнать... с ребятишками... Они от самой границы от немца вакуируются... Мужик у ней пограничник, с первых дней без вести... Чуть не полгода в пути... ребята, видать, простуженные, старуха на ладан дышит...».

И замолчал, чтобы дать Самойлихе прокричаться.

Она в то утро встала с левой ноги. Кормов в колхозе не хватало, коровы с наступлением холодов резко сбавили надой.

Накануне Матвеевна уходила в район получать пенсию за погибшего сына, а без неё первотёлка Красавка из Веркиной группы с полудня никак не могла растелиться, бабы на ферме обрелись, глядя на её мучения.

До ветеринара из колхоза дозвониться не могли, на линии повреждение было. На ферме за Матвеевну оставалась племянница её Онька, зоотехник доморощенный, чего она в этих

---

делах понимает? Прибежала вечером, воеет: «Тётъ Глаша, иди, ради христа, помирает Красавка!».

Телка Матвеевна, конечно, приняла, но, вернувшись с фермы под утро домой, уснуть не смогла: так руки ломило, хоть криком кричи. С теми глазами и встала, когда Иван Максимович постучал к ней в окошко.

— Совесть надо иметь, Иван Максимович, человек ты или нет? Я старуха, мне бы давно на печи сидеть, а я на ферме за двух молодых ворочаю. Там за день умотаешься, нагавкаешься, хоть ночью дома отдохнёшь, а ты мне пихаешь с детьми да с больной старухой...

Иван Матвеевич молча вздыхал, слушал, побряхтывал, пока Матвеевна не отвела душеньку, не выложила всего, что нагорело на сердце.

Потом, уже надевая у порога шапку, сказал негромко, мирно, словно после доброй беседы: «Так ты зайди, погляди сама... шибко они промёрзли, одежка-то никудышная... Баню бы протопить... Ребят прогреть...».

И ушёл не попрощавшись, словно в гости звать приходил.

\* \* \*

В сельсовет Матвеевна пришла уже за полдень. Эвакуированные сидели в комнатухе Маруськи-счетоводки. Там было потеплее. Молодая, облокотившись на подоконник, не то дремала с устатка, не то слишком уж задумалась о чём-то своём: и глаз не подняла, и на здравствуйте не ответила.

Крохотная старушка, примостившись у её ног на двух серых узлах, штопала ребячью варежку. Слева, прислонившись к её плечу, сидел худенький, совсем прозрачный мальчишечка лет восьми с забинтованным горлом. Справа стоял второй, постарше, поплотнее, смуглый и черноглазый.

Так вот и сидели они в уголке, плотной, тесной кучкой, чтобы не мешать, не занимать лишнего места в этой маленькой комнатке, где люди заняты делом.

Матвеевна не спеша потолковала с Маруськой о делах на ферме, о кормах, о том, что Красавка, слава богу, опять принесла тёлочку.

Маруська, невпопад поддакивая, поглядывала на неё нетерпеливо и вопросительно. И старушка, опустив на колени варежку, с робким и тревожным ожиданием смотрела в непроницаемо-равнодушное лицо Матвеевны.

И мальчишки смотрели. Старший — хмуро насупившись, маленький, шмургая простуженным носом, ждал, приоткрыв рот.

---

Столкнувшись с его светлым, доверчиво-ожидающим взглядом, Матвеевна, отвернувшись, буркнула сварливо: «Чего же здесь расслаживаться-то? Давайте подымайтесь... Баня выстоялась, да и обедать время...».

Маруська выскочила из-за стола, засуетилась обрадованно: «Тётъ Глаша, ты сегодня на дойку не ходи, я вечером сбегаю, помогу... Может, дома надо чего сделать, ты скажи...».

И старушка засуетилась. Тошно было смотреть, как она то кидалась застёгивать маленькому пальтишко, то хваталась за узлы и всё лепетала, лепетала взволнованной скороговоркой: «Вставай, Зиночка... Ну что же ты, Зиночка?! Ты слышишь: за нами пришли... Вот Глафира Матвеевна пришла, приглашает нас к себе... Познакомься, Зиночка, это Глафира Матвеевна, она нас к себе приглашает...».

Зиночка нехотя отодралась от подоконника, протянула Матвеевне вялую руку: «Полонская... Зинаида Павловна...». И голос у неё был вялый, тусклый, точно спросонья.

Потом подошёл старший, солидно, по-мужски, тоже пожал Матвеевне руку, представился: «Меня зовут Саша, а это Павлик, а это наша бабушка Нина Семёновна».

Маруська не стерпела, фыркнула за спиной, Матвеевна, покосившись на неё, сурово распорядилась: «Манька, бери этот узел, а ты, Нина Семёновна, не тормозишь, без тебя обойдётся. Сумку Зинаида донесёт, авось не надорвётся. Ты, большак, малого веди, на улице ветрище, склизко, не приведи Господь...».

И, вскинув на плечо второй узел, пошла передом. За ней чинно, гуськом двинулось семейство Полонских. Шествие замыкала сияющая Маруська.

Очень уж всё хорошо, культурно получилось. Рассказать вечером, как эвакуированные с Самойлихой знакомились, — девчонки обхохочутся.

Дома, свалив поклажу на крыльцо, Матвеевна сказала постояльцам: «Айдате прямо в баню. Одежонку скиньте в предбаннике, завтра пропарим. Я вам там собрала кое-чего чистого с дороги переодеться...».

Нина Семёновна охнула, прижала к груди крохотные ладошки: «Ради бога, Глафира Матвеевна, вы не беспокойтесь, мы вчера в вашем райцентре полную санобработку прошли. В баньке помыться, прогреться по-настоящему — это замечательно, это для нас — вы даже не представляете...».

Баня у Матвеевны топилась по-чёрному, но была просторная и с тёплым предбанником. Пока городские раздевались, Матвеевна растолковала Нине Семёновне, что к чему:

---

— Тут вот в бутылке самогонка напополам с редечным соком... Мало-го-то, Семёновна, натри на сухое тело, да и пропарь на полке веником, чёрная редька с вином — первое средство от простуды. И сама руки-ноги прогрей, ишь как их у тебя ревматизмом покорёжило. Мыло у меня серое, не обессудьте, в кадушке щёлок — голову мыть, веник в шайке запарен. Воду не жалейте, мойтесь, а я на ферму схожу, молока ребятишкам принесу.

Позднее, присмотревшись к постояльцам, Матвеевна рассказывала сгоравшим от любопытства бабам:

— Всё старухой держится. Там и поглядеть не на кого: махонькая, как гриб сушёный, кожа да кости, а проворная и, видать, ко всякой работе привычная. Я думала, молодая-то — дочь, а она ей снохой доводится. Старуха-то к ней всё — Зиночка да Зиночка... а энта Зиночка и не поймёшь: то ли порченая, то ли уж природа у ей такая никудышная. Ходит — нога за ногу заплетается. А то замотает голову бабкиной шалёнкой и лежит день-деньской, ровно неживая.

Интеллигенция, а ни к какому делу не способная. Ни ребят обучать, ни лекарство выписать, ни роды принять... На машинке и то не умеет. Директор школы с Иваном Максимовичем хотели её в машинистки приспособить, машинка-то в конторе ни к чему стоит, так она, Зиночка-то, не могу, говорит, не умею.

И ремеслу никакому не обучена. Ни шить, ни скроить, ни кружева связать... Старуха говорит, об мужике она шибко тоскует. Очень уж они дружно промеж себя жили... Без вести он с первых дней. Начальником у них был на самой границе, их с детьми вывезли, а он остался... Она все пишет, ищет его, а письма и назад не идут, и ответа ниоткуда нету... А их, когда вывозили, бомбили страшно, старуха говорит: это ещё чудо, что все живые остались, что не порастеряли друг друга.

Ну а ребятишки у них, ничего не скажешь, вежливые, не фулюганы. Они у них, старуха говорит, двойняшки. Я прямо диву далась — двойники, а уж до чего же разные дети...

Эвакуированные двойняшки сразу привлекли к себе внимание не только ребят, но и взрослого населения деревни.

Именно потому, что очень уж они были разные.

Крепенький, черноглазый и смуглый Саша всего на два часа был старше брата, но уже через несколько дней и в школе, и в деревне их стали называть: старший и маленький.

У хиленького, синеглазого Павлика правая ножка была короче левой, на ходу он сильно прихрамывал. И ещё он как-то совсем по-детски картавил.

---

Когда Женька Азаркин при первом знакомстве с братьями бесцеремонно спросил Павлика, где его угораздило сломать ногу — может, это его немцы покалечили? — Павлик охотно и весело ответил: «Нет, она у меня не своманная, я так и родился, хвомой».

И, конечно, по общепринятым школьным традициям, к нему сразу прилипла кличка «Хвомой».

А Сашу ребята прозвали «Заставой».

На все вопросы ребят о довоенной их жизни на границе, об отце-пограничнике Саша отвечал, начиная фразой: «У нас на заставе...».

А поскольку Матвеевна перекрестила братьев на свой лад — Санькой и Панькой, — получилось: Санька-застава и Панька-хвомой.

На прозвища братья не обижались. Они уже перешли в четвёртый класс и со школьными обычаями были хорошо знакомы.

Только первые дни Саша держался настороженно и даже как бы в боевой готовности в любую минуту вступить в драку, но, когда убедился, что никто из ребят не намерен смеяться над Павликом, дразнить его детской картавостью и хромотой, сразу успокоился и с какой-то безоглядной, благодарной доверчивостью пошёл на сближение и дружбу с местной ребятнёй.

Вообще братья очень легко и безболезненно приживались к людям и к новой обстановке.

И бабушка Нина Семёновна тоже пришлась ко двору. Она не только успевала управляться с домашними делами, но в горячие весенние и летние дни ходила на колхозную работу. В овощную бригаду. Большим опытом в этой отрасли сельского хозяйства она не обладала, но до подлинной страсти любила копать в земле, возиться с нежной, хрупкой рассадой.

Кроме того, она была хорошо грамотна, добровольную её помощь в бригаде очень ценили.

Звеньевая Тамара Зуева часто прибежала к ней вечером с ворохом брошюр и плакатов, и они вдвоём — старая мать пропавшего без вести сына и молодая бабёнка, солдатская вдова, — сидели над книжкой допоздна, обсуждали увлечённо: как бы исхитриться ещё на недельку раньше подогнать в парниках помидорную рассадку, как уберечь от прожорливых вредителей раннюю, уже начавшую завиваться в кочан капусту.

Хуже дело обстояло с Зинаидой Павловной. От бабушки Нины Семёновны в деревне узнали, что Зиночка окончила музыкальное училище и до войны обучала детей музыке по

---

классу рояля. Никакой другой специальности она не имела, и в деревне подобрать для неё подходящую работу было мучительно.

Она тоже ходила в колхоз — окучивать картошку, или на прополку, или в сенокос валки подгрести. Но ни в чём не было у неё сноровки, всё получалось нескладно и неспоро. Неловко и жалко было смотреть, как она, с трудом разогнув пересечённую болью поясницу, стоит, опершись на тляпку, стирает грязной трясущейся рукой залитое потом, побледневшее от усталости лицо.

Её старались посылать на «лёгкие работы», в ту же, скажем, овощную бригаду, где работали в основном старухи и самые слабосильные женщины.

Никто не сказал бы, что она ленится, «волынит», все недели, как пытается она не отставать от других, но при всём старании всё равно никак не могла она осилить и половины дневной нормы.

И работала она всегда молчком, не поговорит с женщинами, не поделится горем, а горе-то ведь у всех было общее. Не поплачет, не пожалуется, как трудно привыкать ей к тяжёлой крестьянской работе.

Молчала и всё думала, думала о своём; задумавшись, уже ничего не соображала: драла заодно с сорняками кудрявенькие всходы моркови, тляпала остро наточенной тляпкой куда попало, под самый корень молодого картофельного кустика.

Надумали было летом направить её работать в телятник. Через неделю прибежала к Матвеевне Онька Азаркина, взмолилась:

— Тётъ Глаша, заберите вы эту свою Зиночку, ради Христа! Ничего же она не толкует, как малограмотная, ей-богу. Рационы все перепутает, телятишек не различит: который на подсосе, которого с пальца к пойлу приучать надо. К корове подойти боится: они, говорит, бодаются! Ей-богу, не вру!..

Как-то приятельница Матвеевны доярка Анна Никитична пришла звать Зинаиду Павловну на именины, поиграть гостям на гармошке: если человек на рояле играть обучен, так уж на трёхрядке-гармошке сумеет «Подгорную» сыграть.

Зинаида Павловна была явно поражена этим приглашением:

— Что вы? Что вы?! Боже мой... Да я никогда в жизни никакой гармошки в руках не держала... Я не умею!

Бабушка Нина Семёновна до самых ворот провожала Анну Никитичну, сконфуженно извинялась, пытаясь объяснить, что гармошка — это тоже, конечно, клавишный инструмент,

---

но рояль совершенно иное дело... Пусть никто не подумает, что Зиночка из гордости, из-за каприза отказала добрым людям в услуге.

После этого случая отношение женщин к Зинаиде Павловне стало совсем уж недоброжелательным.

Да оно и понятно. Люди тяжёлого, для всех неоценимо нужного труда не могут относиться иначе к человеку ничёмному, бесполезному, не проявляющему таланта ни в какой работе.

Если раньше в колхозе называли её иронически Зиночкой, теперь она получила кличку «Музыкантша», причём слово это имело уже оттенок явной насмешки.

Особенно невзлюбила Музыкантшу Онька Азаркина:

— Так же, видать, и на музыке играет, как картошку окучивает: тяп-ляп под корень... И как такие неумехи на свете живут? Старушонка — в чём душа держится — за что ни возьмётся, всё у неё в руках кипит. Старший, Санька, всё лето в поле. И копны возит, и пастушит с Проней-безруким, и на току наравне с большими парнишками помогает. На что Панька хроменький — и то колоски в поле подбирает, то сидит с дедом Андреичем — корзинки плести обучается...

— Это точно! — соглашались бабы. — Вся семья работающая, а энта Музыкантша, и годами молодая, и телом справная, сидит дома за старухиной спиной. У ей, видишь, горе — муж без вести... А у кого теперь горя-то нету? Чуть не в каждой избе похоронная...

— Был бы мой без вести, я бы терпела, всё же есть ещё чего ждать, на что надеяться, а может, живой? Может, ещё объявится?

Долгое время не могли для Зинаиды Павловны подобрать работу, но выручил случай.

Заведующую сельской библиотекой, молодую, красивую девчонку, умыкнул захавший погостить к родне демобилизованный по ранению лейтенант.

На освободившееся место и назначили Зинаиду Павловну. Жили Полонские по-прежнему у Матвеевны.

Хотя и говорили люди, что у Самойлихи неуживчивый характер, с Ниной Семёновной жили они душа в душу.

Нина Семёновна старалась, чтобы к приходу Матвеевны с фермы в избе было тепло и прибрано. Чтобы и самоварчик кипел, и горяченького было чего похлебать. Питались совместно. Скучно питались. Эвакуированные паёк получали небогатый. С колхозного трудодня тоже мало чего доставалось.

---

Матвеевна водила десятка полтора кур да свинёшку одну с грехом пополам за год откармливала.

Корову не держала. Покосов тогда колхозникам не выделяли — коси, где ухитришься урвать крадучи. Покупных кормов рядовая корова оправдать не могла: непосильны были налоги и молоком, и деньгами.

Кормились в основном с огорода. На второй год собрались с деньжонками, устроили складыню, купили козочку суягную.

Себе на беду. Козочка попалась молочная, доброго характера, — не блудня, не озорница, и на корм неприхотливая. Но первенец её, козлёнок Борька, положительно свёл Павлика с ума. Они ни на минуту не расставались. Козлёнок гонялся за Павликом, как собачонка. Когда Павлик уходил в школу, Борька начинал метаться. Скакал, словно бесноватый, по столам, по кроватям и без передышки блеял. Не блеял, а вопил навзрыд, с таким отчаянием, что приходилось брать его на руки и уговаривать.

Нина Семёновна садилась, держа его на коленях, к окну, внушала, что криком делу не поможешь. Надо терпеть и ждать.

— Сиди спокойно и смотри в окошечко. Вон туда, на горку, смотри. И жди. Посидишь, потерпишь, вот он, твой Павлик, и придёт.

Помаленьку Борька научился ждать. Цветочные горшки с окна убрали; вскочив на подоконник, он устраивался поудобнее и терпеливо ждал.

Завидев ковыляющего с пригорка Павлика, он кубарем скатывался с подоконника, мчался к двери, кричал, топотал от нетерпения копытцами. А когда Павлик входил, бросался к его ногам, взлягивал, бодался, прыгал, словно его пружиной подбрасывало.

Долго кормить козла никакого расчёта нет. Можно было прирезать на мясо, и покупатели находились, давали хорошую цену.

Матвеевна жаловалась соседкам: «Прямо ума не приложим, чего с Панькой делать. Пришёл вчера Стёпша, стал к Борьке приторговываться. Я гляжу: Панька побелел весь, вытарашил на меня глазищи свои, у меня прямо сердце зашлось... Сами знаете, взгляд-то у него какой...».

Взгляд у Павлика был светлый и тихий, но, когда заходил разговор о дальнейшей Борькиной судьбе, глаза его наливались таким ужасом, такой мольбой, что взрослые немедленно переводили разговор на другое.

---

Борька продолжал здравствовать и процветать. Довольно быстро он оформился в солидного козла, с противной бородежкой и скверным характером.

Но Павлик не изменил любви к Борьке до последнего своего дня.

\* \* \*

Павлик утонул в конце июня 1944 года. Речушка была неглубокая, но быстрая и порожистая. А Павлик не умел плавать. Забрёл в воду всего по колено, течение сбило его с ног и уволокло в небольшой тенистый омут.

Хоронили Павлика всей деревней. Только бабушка Нина Семёновна не смогла проводить маленького в его последний путь.

С ней в опустевшей избе оставались Матвеевна и молоденькая фельдшерница Валентина Петровна.

Сама обливаясь слезами, Валентина Петровна грелками и уколами пыталась не дать угаснуть последней искорке жизни, ещё теплившейся в измождённом, старом теле.

А осунувшаяся Матвеевна готовила во дворе стол, чтоб могли люди, вернувшись с похорон, помянуть так недолго прожившее среди них, милое всем, доверчивое и ласковое дитя.

Но было не до поминок. Зинаида Павловна, неузнаваемая, с опухшим, серым лицом, с одичавшими от горя глазами, металась по избе, иступлённо проклиная жизнь и всё живое... И ненасытную смерть, что унесла Павлика, а её оставила жить на этой проклятой земле.

Потом она вдруг закричала на Сашу, за все эти страшные дни не проронившего ни единой слезинки:

— Ты бесчувственное животное... У тебя нет сердца... Уйди! Я не могу тебя видеть. Уйди!

А Саша не мог плакать. Даже сейчас, когда обезумевшая от горя мать бросала ему в лицо бесчеловечно-жестокое слова.

В нём всё окаменело. Он не мог понять: как это может быть?! Он живёт, а Павлика нет? Совсем. Навсегда нет, и никогда больше не будет.. Может быть, в этом и заключается его вина, что Павлика нет, а он живёт... или в том, что он, старший, здоровый, сильный, недосмотрел, не уберёг... ушёл на работу в поле, оставил его с ребяташками, и некому было его спасти или утонуть вместе с ним.

— Не могу тебя видеть... Уйди! — кричала мать, и Саша, сгорбившись, пошёл из избы. И тогда со своей, казалось

---

бы, уже смертной постели поднялась бабушка Нина Семёновна.

Она бросилась к Зинаиде, повисла на ней, с воскресшей вдруг непонятной силой повалила на кровать, держала запрокинутую навзничь голову, не давая ей подняться.

— Зиночка, опомнись! Не смей, Зиночка, ты убьёшь его! Сашу! Позовите Сашу! Зиночка, приди в себя!

На помощь ей бросилась Валентина Петровна, а побелевшая Матвеевна кинулась из избы искать Сашу.

Но его уже перехватила и увела к себе старая учительница Мария Леонидовна, и был подле него заплаканный неразлучный друг Женька Азаркин.

А во дворе за поминальным столом хмуρο сидели вернувшиеся с кладбища учителя, женщины, старики.

За столом хлопотала на правах хозяйки Онька Азаркина. Молча, подавленно прислушиваясь к тому, что творится в избе.

Бобылка Никанориха, поджав сухие губы, сказала осуждающе:

— Чего уж этак вопить-то? Конечно, всякой матери своего дитя жалко, а только ежели разобраться, так для него, может, и лучше... Тоже несладкая жизнь такому... убогенькому-то...

— Чья бы корова мычала! — зло оборвала её Онька Азаркина. — Ты бы сначала попробовала родила хоть одного... Сама ты убогая... слепая душа!

Вообще-то, по мнению некоторых, Оньке следовало бы помалкивать. Она, безмужняя, опять ходила с «коробом». Только первенец её, Женька, был «законным». Восемь лет назад она прогнала со двора пьяницу мужа, а через два года родила себе толстомясого рыженького Андрейку неизвестного происхождения.

Онька, посмеиваясь, называла его «подосиновиком». В ту зиму она от колхоза работала на лесозаготовках, а там, в те довоенные годы, мужиков было со всех волостей. Со своими деревенскими она не баловала, к тому же рыжих ни парней, ни женатых в деревне не было, поэтому бабы к Онькиным грехам относились терпимо.

Когда обнаружилось, что сейчас Оньке опять «ветром надуло», бабы только руками развели. Потом припомнили, что, когда в конце зимы Онька была в городе на курсах животноводов, кто-то из деревенских, приезжавших на базар, видел её с немолодым раненым лётчиком.

Самым суровым судьёй легкомысленного Онькиного поведения была Матвеевна, родная её по матери тётка. Это она

---

первая назвала Оньку непутёвой, но сейчас, когда Онька грубо обрезала Никаноровну, Матвеевна решительно поддержала непутёвую свою племянницу.

— Кто дитя не хоронил, тот настоящего горя не знает... А Паня-покойничек... дай бог всем бы нам такими убогими быть...

И она вдруг громко, навзрыд, заплакала, впервые за эти дни заплакала при людях, чего никогда раньше себе не позволяла.

И когда получила похоронную на единственного своего сына Лёню, девятнадцатилетнего парнишку, погибшего под Ленинградом, уходила кричать в лес или ночью выла одна, запершись в тёмной избе.

— И то ещё горе — полгоря, когда сама его слезами обмоешь, обрядишь его в гроб своими руками... И могилка его рядом с тобой, на своей земле. А вот как проводишь ты на войну сына, молоденького, глупого... ничего он ещё на свете не повидал, ничего-то он ещё в своей жизни не испытал... Не миловался с девчонкой до белой зари, не стоял под венцом с невестой суженой, не покачал на коленках сына первого... Хоронила я мужа, думала: душа с телом расстанется, а не знала того, что самое-то лютое горе ещё впереди ждёт...

— Каждому своё горе тяжельше кажется... — проплакавшись, откликнулась Маня Погорельцева. — У меня вот их четверо осталось, мал мала меньше... Четверо сирот, какво без кормильца-то? Или вон Надежда, ей двадцать третий пошёл, а у неё двое на шее осталось...

— Не о том речь... сироты на шее... кормилец... — Матвеевна, проплакавшись, опять уже спряталась в свою жёсткую раковину. — Вон Гурьяновы-старики последнего потеряли. Не об кормильце они, как свечи, у всех на глазах тают... Конечно, молодой бабе с детьми овдоветь... чего говорить... а всё же молодые раны заживчивые... Взойдёт солнышко — росу высушит...

— Увы, утешится жена... и друга лучший друг забудет... — вздохнув, негромко произнёс пожилой завуч школы, литератор Алексей Миронович.

— Как вы можете? Как вы можете?! — всхлипнув, молоденькая учительница Верочка выскочила из-за стола и, сутулясь, побежала к калитке.

У неё недавно погиб жених — первый, единственный, ни с кем не сравнимый.

То, что здесь говорилось, казалось ей кощунством, оскорблением его памяти.

---

— Ладно, друзья. Ни к чему этот разговор затеян... Верочка-то?! А? Ох, старый дурак! Куда она побежала-то?!

Вслед за Алексеем Мироновичем потянулись со двора и остальные. Задержались только близкие, чтобы помочь хозяйке убрать поминальные столы.

\* \* \*

Трудно сказать, как сложилась бы дальше жизнь семьи Полонских, если бы вслед за бедой не пришла радость. И не радость, а чудо уже неожиданное, в которое уже все перестали верить.

Чудо заключалось в том, что Полонский Дмитрий Яковлевич живым и почти невредимым давно вышел из окружения и больше двух лет воевал, уже в чине майора, на Втором Украинском фронте.

Чудом было то, что после длительных бесплодных розысков смог он всё же найти семью, заброшенную эвакуацией в эту сибирскую деревню, случайно ставшую для его матери, жены и сыновей добрым приютом.

Письмо пришло из подмосковного госпиталя. После четвёртого ранения Полонский залечивал и старые, и свежие, «пустяковые», как он писал, раны. Руки-ноги почти что целы, голова на месте, а кое-какие хорошо заштопанные дырки на корпусе в счёт не идут. После выписки из госпиталя ему обещали десятидневный отпуск. Так что теперь нужно только набраться терпения и ждать.

Когда Саша со своим неразлучником Женькой Азаркиным прибежали со счастливой вестью к Матвеевне на ферму, женщины бросили дойку, набежали телятницы, прискакал на своей деревяшке скотник Афоня Вахрушев.

— Нет, девки, есть всё же Бог на небе! — убеждённо изрекла Онька Азаркина, погрозив пальцем безмятежно-синим небесам. — Хоть и полудурок, и хозяин никудышный, а всё же есть, существует! Утопил, паразит, парнишку, а потом, видно, опамятовался, совестно стало...

\* \* \*

Дома Дмитрию Яковлевичу удалось побыть всего четверо неполных суток. Счастливых и мучительных — четыре дня и три ночи.

Он плакал, склонившись над могильным холмиком сына; он смеялся, поражённый ранним возмужанием Саши, — ка-

---

кое это счастье — обнять сына, ощущая под ладонью мускулистое, плотное мальчишеское плечо, стискивая зубы от непереносимой жалости, целовал высохшие, коричневые от загара мамины руки. Не спуская влюблённых глаз с Зинаиды, любовался каждым её шагом, каждым движением.

А на неё и невозможно было смотреть, не любуясь. Оказалось, что она совсем ещё молодая. И глаза, как у той царевны из сказки... и летучая походка... и голос певучий и звонкий.

Только любовь может за несколько дней так преобразить человека. Теперь она уже ничего не боялась. Она не просто верила, она знала, что больше с ними уже ничего не может случиться плохого.

Война идёт к концу. Митю с его заслугами и тяжёлыми ранениями никто, конечно, не допустит больше в опасное место. Такого быть не может.

Теперь всё будет хорошо.

Она не плакала, прощаясь с мужем. Она даже прикрикнула на рыдающую свекровь и побледневшего Сашу. Как можно так распускаться?

Митя должен ехать спокойно. Беречь себя, сразу же по приезде в Москву лечь в госпиталь, чтобы окончательно укрепить подорванное здоровье.

Дмитрий Яковлевич слушал последние наставления жены, опираясь на плечи приникших к нему с двух сторон Саши и Женьки Азаркина.

Он боялся встретиться взглядом с глазами жены. Старался не слышать сдавленного плача матери. Силы его были на исходе.

Председатель Иван Максимович тронул его за локоть.

— Ладно. Дальние проводы — лишние слёзы... Давай, Митрий Яковлевич, добивай Гитлера да вертайся прямо сюда. Будем ждать с победой. А о семействе не беспокойся... Санька у тебя добрый хозяин растёт. Всё в порядке будет.

Прощаясь, Полонский поцеловал у Матвеевны руку, сказал хрипло:

— В неоплатном я перед вами долгу, Глафира Матвеевна.

И, садясь в кабину колхозного грузовика, прощаясь с обступившими его женщинами и ребяташками, повторял три слова: «Спасибо... всем вам спасибо...».

И после отъезда мужа Зинаида Павловна оставалась такой же неузнаваемо оживлённой, деятельной и подвижной.

Вскоре о ней даже в районе заговорили как об активном и толковом работнике. Она организовала книгоношество, проводила читки и обзоры литературы, совместно с учителями

---

провела в заброшенном сельском клубе вечер, посвящённый годовщине Октября.

Уговорила директора школы и колхозное правление купить на паях в соседней деревне у демобилизованного солдата трофейный немецкий аккордеон, и через неделю заиграла, да так, что никто уже не сомневался больше в её музыкальных талантах.

Ожил старенький сельский клуб. В День Конституции Дубровинский сельский хор с успехом выступал в сводном концерте на сцене районного Дома культуры.

Не испугала Зинаиду Павловну и беременность. Нина Семёновна попыталась было робко её предостеречь: «Обдумай, Зиночка, всё хорошенько. Война ещё не кончена, мало ли что может случиться...».

А случиться ещё могло всякое. Наши шли на Берлин. Начался последний этап великой битвы за победу.

Но Зинаида Павловна ни о чём таком и слушать не хотела.

— Ради бога, мама, не стоните вы и не каркайте! Митя же пишет, что работает при штабе, что ему ничто не угрожает. Нелепость какая! Всю войну человек сражался в самом пекле, а теперь, когда уже всё кончается, вы придумываете всякие нелепые ужасы. Когда Митя вернётся, у меня будет мальчик. Я назову его Павликом...

Весна была ранняя и дружная. Весна Победы. Все знали, что победа близка. По утрам молча замирали у колхозного репродуктора, чтобы не проронить ни одного слова из победных сводок оттуда.

И с ещё большим страхом встречали люди письмоносца. Те, кому ещё было кого ждать.

\* \* \*

Дмитрий Яковлевич погиб второго апреля.

Теперь Зинаида Павловна не кричала, не билась в истерику. Она была уже в декретном отпуске, могла не выходить со двора, не встречаться с людьми. Тяжёлая, грузная, лежала в своей боковушке, отвернувшись лицом к стене. Она много спала, но почти не могла есть.

В уходе за ней Саша и бабушка Нина Семёновна были Матвеевне плохими помощниками.

Осунувшийся, молчаливый Саша всё норовил куда-то уйти, забиться в угол, спрятаться от людей. Даже Женька Азаркин не лез к нему на глаза. Караулил издали, слонялся по-за углами молчаливой тенью.

---

А бабушка лежала тихая, обессиленная, бормотала что-то беззвучно, молила шепотком смерти себе.

Временами Матвеевна, сама за последнее время лишившаяся сна, кричала на Зинаиду:

— Ты ребёнка носишь, бездушная твоя душа! Мать на смертной постели лежит, за Санькой глаз да глаз нужен, неужели ты не видишь, что не в себе парнишка?! Или у тебя у одной горе? Да если бы все мы — бабы — так-то вот руки опустили, работать бросили, от детей отвернулись, что бы тогда мужикам-то делать? Как бы они тогда воевать-то стали?! Ты дитё доносить должна, поглядел бы Митрий Яковлевич, что ты над собой вытворяешь, как ты его дитём дорожишь...

Но Зинаиду Павловну даже самые жестокие слова не могли обидеть... Одинаково равнодушно выслушивала она и упрёки, и соболезнования, и советы взять себя в руки, пожалеть Сашу и ещё не родившегося Павлика.

\* \* \*

В ночь на девятое мая, перед рассветом, Зинаида Павловна родила девочку. В больницу свезти не успели. Пока разбудили перепуганного Сашу, пока сбегал он на другой конец деревни за Валентиной Петровной, Матвеевна и с роженицей управилась, и маленькую шлепками в чувство привела.

Девочка родилась немного раньше своего срока и сначала упорно не проявляла намерения жить.

За окном сияло майское, не по-весеннему жаркое солнце. Ошалевшие от счастья ребята-школьники носились по улицам Дубровки, колотили палками по заборам и палисадникам, вопили дикими голосами:

— Победа! Победа! Айдайте все к школе на митинг! Победа! Победа-а-а!!!

Вернувшись с митинга, Саша прошёл в горенку. Он словно живой воды хлебнул, и ему не терпелось рассказать матери, как бежал к школе народ, как все плакали и обнимались, и что «дядька из райкома» тоже плакал, поздравлял людей с победой, а девчонки успели сбегать в березняк, натащили целые вороха подснежников, кандыков, пушистых ветреников...

Но Зинаида Павловна лежала сонная, безучастная. Саша тихонько поднялся и на цыпочках подошёл к широкой бельевой корзине.

В ней, на подушке, спала его крохотная новорождённая сестра.

Он впервые видел только что родившегося человека. На какое-то мгновение его ужаснуло жалкое, сморщенное личи-

---

ко. «Как обезьянка... — подумал он с брезгливой жалостью. — Все они, наверное, такие сначала бывают... И я такой был, и Павлик. И Женька». Мысль эта успокоила и заставила подумать о деловом.

— Мам! — тихонько окликнул Саша, снова подсев к матери. — Давай назовём её Викторией, ладно?

— Как хочешь... — равнодушно отозвалась Зинаида Павловна.

— Чего это ты придумываешь своей головой?! — шёпотом набросилась Матвеевна на Сашу, когда он вышел на кухню. — Какая ещё тебе Виктория?! Мать парнишку ждала. Павликом хотела назвать. Вот и надо девчонке дать имя Паша... Панечка.

— Виктория означает — Победа, — нахмурившись, объяснил Саша. И по его жёсткому тону Матвеевна поняла: спорить не нужно.

Перед ней стоял не мальчишка-подросток, а хозяин, глава семьи, который теперь за всё в ответе.

— Ну и леший с тобой, делай, как хочишь... Вот станут её ребята Вишкой или Торькой кликать, тогда спохватишься... Да оно, пожалуй, и спорить-то не о чем. Не жилец девчонка-то... долго не протянет...

— Как не жилец?! Почему?!

— Почему, почему!.. Молока-то у матери в грудях нету... Вот почему. А девочка недоношенная, разве её без материнского молока выходишь?

Зинаиду Павловну чуть ли не насильно заставляли есть, побольше пить чаю с молоком. Маруся-счетоводка сбегала в соседнюю деревню на колхозную пасеку, выпросила горшочек мёду. Матвеевна варила настой из каких-то особых трав, от которых «у самых сухогрудых молоко приливает».

Ничего не помогло. Молоко у Зинаиды Павловны не приливалось. Девочку поили подслащённой водой, разведённым коровьим и козьим молоком. Она срыгивала и, разевая большой голодный рот, кряхтела и чуть слышно поскрипывала. Кричать, как положено новорождённому, она не умела. И соску сосать не умела.

На шестые сутки и поскрипывать перестала.

Вечером пришла Онька Азаркина. Её очередному «подосиновнику» Валерке шёл пятый месяц.

Толстый, спокойный, он лежал на Матвеевниной постели, благодушно озирая окружающий его белый свет.

Онька прошла в горенку, хмуро покосившись на лежавшую лицом к стене Зинаиду Павловну, молча вынула из корзины

---

девочку, села в кухне у окна и, положив её на колени, начала не спеша расстёгивать пуговицы на груди кофты.

— Ладно... хватит спать-то... Спишь этак-то и не заметишь, как помрёшь...

Не переставая ворчать, она легонько шлёпала Викторию по вялым, жёлтым щёчкам, потом зажала пальцами крохотную пуговку носа.

Девочка, задохнувшись, широко открыла рот, сморщилась, страдальчески пытаюсь заплакать.

— То-то вот... Держи рот-то пошире, глядишь, чего-нибудь и перепадёт. — Легонько сжимая тугой коричневым сосок, она каплю за каплей вливала молоко в судорожно раскрывающийся рот девочки.

— Давай, давай, работай! Твоё дело телячье, глотай чего дают...

Девочка захлёбывалась, молоко, булькая, пузырилось и стекало по подбородку и щекам на пелёнку, но прошла минута, другая, и маленькая вдруг притихла, словно поняла, что от неё требуется.

Всхлипнула и наладилась дышать, равномерно сглатывая живительные капли.

— Ну, на первый раз хватит... — Онисья облегчённо разогнулась и вытерла рукавом вспотевшее от напряжения лицо. — Тётя Гланя, возьми её... Я на ферму сбегаю... Валерка сытый, теперь долго будет дрыхнуть. Кинь мне на полу постелю, я у вас заночую. Её теперь надо часа через полтора кормить... Я так думаю, дня через два она грудь примет, сама будет сосать, никуда не денется.

Грудь Виктория приняла на третий день. Онисья даже охнула тихонько, когда слабенькие дёсны в первый раз чуть ощутимо сдавили её сосок.

Молока у неё с избытком хватало на двоих. Валерка тянул, как добрый телёнок. Дав ему отсосать «верхнее» молоко, Онисья прикладывала к груди маленькую. Она была искренне убеждена, что «самое сытное молоко то, что в грудях на доньшке остаётся».

Кормить Викторию было дело канительное и требовало много времени. Сосала она вяло, с длительными передышками, а у Онисьи времени всегда было в обрез.

— У-у-у! Бесстыдница, лентяйка зловредная, работай давай, есть мне время рассиживаться здесь с тобой... — ворчала она, не давая маленькой засыпать раньше времени. — Успеешь выспаться, нечего глаза-то закатывать. Тебе братка Валерка самые сливочки оставил, а ты нос воротить...

---

Больше месяца приходила Онисья с Валеркой ночевать в тёткину избу. По два-три раза в ночь прикладывала она маленькую к груди. Пока не приучили её к соске. Тогда можно стало, надоив полную бутылочку молока, пойти спать домой, — чтобы ранним утром забежать покормить девочку грудью и со спокойной душой идти на работу.

Труднее было с дневным кормлением. Время подошло самое горячее. Стадо перевели в летний лагерь, а это туда и обратно, считай, не меньше пяти километров. В телятнике после весеннего растёла работы тоже было по горло.

Прикинув на глазок распорядок предстоящего рабочего дня, Онисья с утра отдавала распоряжения «своим парням» — Саше и Женьке.

— К десяти часам притащите ребят в телятник, я с утра буду, в обед дома покормите, я надою обоим, смотрите только, чтоб не закисло, ставьте бутылочки в холодную воду. А к пяти часам чтобы обое были в лагере, я домой только после вечерней дойки доберуся...

Сначала «парни» таскали ребят на руках, потом дед Андреевич сплёл вместительную корзину-коробок, укрепил её на деревянных ошинкованных железом колёсах — получилась великолепная тележка.

Теперь Саша и Женька могли чередоваться, транспортируя сосунков на кормёжку к мамке Онисье.

Лето у парней выдалось трудное. У Женьки на руках Валерка и шестилетний рыжий кудряш, «подосиновик» Андрей. Мать целыми днями пропадала на работе, вся домашность лежала на Женькиных плечах.

Не легче было и Саше. Матвеевну с фермы не отпускали. И после возвращения фронтовиков рабочих рук в колхозе не хватало.

Бабушка Нина Семёновна лежала пластом и требовала ухода. Она молила себе смерти, но избавительница-смерть пришла к ней только под осень. Лето выдалось сухое и жаркое. Без обильного полива в огороде всё посохло бы и погорело. От коромысла с тяжёлыми вёдрами у Саши к ночи отнимались руки, по-стариковски разламывало поясницу.

Зинаида Павловна долго болела. Саше приходилось хотя бы на три-четыре часа в день открывать библиотеку. Агитаторам нужно было ежедневно выдавать свежие журналы и газеты, приходили из библиотечного коллектора посылки с новой литературой, её требовалось без промедления обработать и подготовить к выдаче тем немногочисленным читателям, которые и в летнее время не могли обходиться без книг.

---

Но больше всего и времени, и заботы отнимала у Саши Виктория. Крохотная, беспомощная, она вызывала в нём не любовь, а какую-то мучительную, тревожную жалость.

Он понимал, что мать больна, что она раздавлена горем. Он очень любил её и жалел, и в то же время никак не мог себя пересилить: всё время пристально и настороженно следил за ней. Как нехотя встаёт она с постели и с равнодушным, словно окаменевшим лицом берёт маленькую на руки... как брезгливо отбрасывает в угол мокрые пелёнки. И всё молча.

Ни разу не запела она, укачивая дочь, ни разу не заговорила с ней тем смешным ворчливо-нежным голосом, каким воркует над Валеркой и Викторией тётя Онисья.

И с тётей Онисьей она никогда не перекинется словом, хотя и бабушка Гляня, и все другие говорят, что это она — тётя Оня — «вытащила девчонку из могилки».

Саша уже многое понимал, но ещё не дано ему было понять, какое тяжёлое ревнивое чувство вызывает в Зинаиде Павловне эта чужая, грубая женщина.

Зинаида Павловна уходила из комнаты, чтобы не видеть, как, вывалив тяжёлую, несомненно потную и грязную грудь, съёт она в рот её дочери сосок, наспех сполоснутый холодной водой.

Всё в этой вызывающе развязной женщине коробило и отталкивало Зинаиду Павловну.

Чем она может гордиться, эта непонятная женщина с её неизвестно где и от кого прижитыми «подосиновиками»?

И что связало её Сашу — умного, развитого мальчика — с этим странным семейством, с молчаливым, диковатым Женькой?

Временами Зинаиде Павловне чудилось, что Саша всё дальше и дальше уходит от неё, но даже и это пугающее чувство было смутным и поверхностным.

Опустошённая горем, жила она в замкнутом мире одиночества и неприкаянности, в стороне от жизни и интересов окружающих её людей.

А время шло. Онисьины «сливочки» делали своё дело. Теперь Виктория уже не вызывала в людях чувства жалости.

Из недоношенного задохлика получилась горластая, весёлая девчонка. И первый зубок у неё прорезался вовремя, и вот уже, уцепившись за перильца, она встаёт в деревянной кроватке и гулит, и орёт, требуя, чтобы кто-то взял её на руки.

Прошло ещё несколько месяцев, и всем уже казалось странным, как они могли раньше обходиться без этого смеш-

---

ного колобка, что целый день путается под ногами, кричит, воркует и никому не даёт покоя.

«Взойдёт солнышко — росу высушит...» Так в старинной песне поётся. Высушило послевоенное солнышко и горькую росу неуёмного, казалось бы, вдовьего горя Зинаиды Павловны.

Несколько лет руководила она открытой в районном центре музыкальной школой. Вышла замуж за хорошего человека, родился у них сын, назвали они его Павликом.

С отчимом у Виктории отношения сложились добрые, и маленького Павлика она любила, но... Саша оставался в Дубровке. Заканчивал десятилетку, потом с неразлучным Женькой Азаркиным уехал по путёвке колхоза в сельхозинститут. Каникулы и производственную практику проводил он всегда в «своём» колхозе.

А Саша для Виктории был не просто старшим братом. Он был и отцом, и нянькой, и учителем, и главным судьёй всех её прегрешений.

И, когда Зинаида Павловна с мужем уехала на восток, на его родину, Виктория осталась с Сашей.

И никого это не удивило.

Дубровка для ребят Полонских была родиной.

Здесь под могильными холмиками лежали Павлик и бабушка Нина Семёновна. Сюда в последний раз приезжал отец.

Здесь жили баба Гланя и мама Оня, и Женя, который ещё совсем недавно мог наравне с Сашей и шлепка хорошего отвесить, и в кино не пустить за какую-нибудь провинность... и молочный брат Валера, и «подосиновик» Андрей... лесовик, охотник, рыжий бродяга...

А сейчас главный агроном пригородного совхоза «Дубровинский» — Александр Дмитриевич Полонский — и сестра его, историк средней школы — Виктория Дмитриевна — со сдержанной гордостью и достоинством говорят о себе: «Мы — сибиряки...».

# Рассказы

---

---

## Безотцовщина

Дед Красильников, которого в колхозе называли министром животноводства, встречаясь с Дружининым, любой разговор сводил к одному:

— Что ни говори, а на животноводстве у нас кадры самые сурьёзные. Одних доярок с законченным образованием четыре души, да ещё трое на заочном факультете обучаются. Одна беда: женихов на всех девок не хватает. Посватает кто чужой, со стороны — нипочём не удержишь, а в кадрах, гляди, опять же пробоина...

Дружинина надо было женить.

Для мужика семья — вроде якоря. Особенно, если и жена при деле, жильё доброе, ребятишки в ясли пристроены, домашность хоть небольшая. А холостяга — это же вольный казак, перекати-поле. Попала ему вожжа под хвост, он взбрыкнул — и до свиданья. А такого механика, как Дружинин, отпустить — это же колхозу прямое разорение.

Конечно, Дружинин не летун, не пустельга какая-нибудь, но всё же где это видано, чтобы этакий король-парень в бо-былях ходил.

— Ты, Алексей Андреевич, как в новом коровнике монтаж тянуть станешь, обрати внимание. Там у нас не только девки-доярки невестятся. Раиса Павловна, зоотехник, прямо сказать, самостоятельная женщина, правда, в годах, но из себя видная, домик у неё новый, телевизор, ну и другое всякое... Или к Лизе Костровой приглядишься, эта, конечно, помоложе, как раз в твоих годах, тоже девушка незамужняя, скромная, работающая, и обличьем приятная.

Дружинин стеснённо отшучивался.

На ферму он заглядывал неохотно. В этом становище тальниковских невест он невольно начинал чувствовать себя таким женихом-холостягой. Правда, девчата помоложе его стеснялись, считали по годам уже неровней, заигрывали и зубоскалили в меру, чтобы только не уронить девичьей марки; всё равно было неловко, словно по его вине Лиза Кострова ни с того ни с сего вдруг начинала багрово, до пота, краснеть, а Раиса Павловна на любую его незатейливую шутку готовно отзывалась каким-то не своим, особенным, мелодично-булькающим смехом.

---

В новом коровнике Дружинин «монтировал механизацию», но его часто вызывали и в летний лагерь, и в старый коровник, где то не ладилось с автопоилкой, то отказывали доильные аппараты.

После работы, возвращаясь домой, Дружинин подворачивал к телятнику за Анной Михеевной; с материнской стороны она доводилась Дружинину какой-то дальней роднёй, звал он её тётей Нюрой. Жила тётя Нюра за рекой, на Новых Выселках, ходить пешком в такую даль ей уже было трудно. Одно время Дружинин стоял у неё на квартире, потом пришлось перебраться поближе к мастерским. Теперь он, пока достраивался шестнадцатиквартирный жилой дом, временно снимал боковушку у стариков Аникиных.

В воскресное утро, безветренное и уже по-летнему знойное, Дружинин увёл в садок, под защиту густой цветущей черёмухи, свою новопкупку — красавец мотоцикл, расстелил на скамье газету и, тихонько насвистывая от удовольствия, не спеша вскрыл мотоциклово нутро.

Не отрываясь от приятного занятия, он время от времени искоса поглядывал в сторону полускрытого кустами щелистого забора.

За забором, приподнявшись на цыпочки, чтобы дотянуться до более широкой щели, напряжённо ухватившись пальцами за край трухлявой доски, стоял человек. В щели были видны только маленькие цепкие пальцы да очень серьёзные глаза, замороженно, не мигая смотревшие на сокровища, которые извлекал из мотоцикла и раскладывал на газете Дружинин.

— Иди-ка сюда... — негромко окликнул Дружинин. — Помоги мне, пожалуйста, одному тут никак не управиться...

Глаза и пальцы исчезли. Дружинин распрямылся и, раздвинув кусты, заглянул через забор.

Мальчишка сидел на траве. Тот самый головастик в синих трусишках, что уже недели две по утрам крутится у мастерских и гаража, а вечером, словно специально поджидая Дружинина, торчит за мостиком, у своротка к дружининскому дому.

— Чего же ты? — облокотясь о забор и закуривая, спросил Дружинин. — Тебе всё равно делать нечего, айда, соберём машину и закатимся вдвоём на Песчаное озеро, там вода тёплая, уже купаться можно...

Он протянул вниз руки. Всё ещё не веря своему нечаянному, свалившемуся через забор счастью — бывает же такое на свете! — мальчишка ухватился за его пальцы и ловко, как обезьяна, взбежал босыми ногами по отвесной стене забора.

---

Дружинин на лету перехватил его под мышки, на какое-то мгновение мальчонка всей своей невесомой ребячьей тяжестью приник к его груди.

— Значит, так, — распорядился Дружинин, опустив его на землю, — ты бери тряпку и перетирай вот эти штуки, а я буду собирать. Вдвоём нам тут и дел всего ничего.

Потрясённый оказанным доверием, посапывая от усердия, мальчишка благоговейно приложился тряпкой к старому гачному ключу. Никогда в жизни он не держал в руках таких великолепных, таких драгоценных вещей!

Беседа поначалу налаживалась туго. На вопросы мальчишка гортанно басил «ага» или, отрицательно мотая головой, тянул «не-е-е!».

Всё же к обеду Дружинин получил необходимые для первого знакомства сведения.

Звали его Лёнкой. На улице. А мама называет Алёшей. А вообще-то он Муромцев. Алексей Муромцев. Скоро шесть лет. Живут они с мамой у бабки Кати, во-он за теми сараями, в белой избушке... А у бабы Кати коза Капочка, бодучая, гад, никого не боится, хуже собаки...

За интересной беседой время до обеда пролетело незаметно.

— Ох ты! — спохватился Дружинин, взглянув на часы. — Тебя же дома-то потеряли! Влетит тебе, тёзка, от матери по первое число!..

— Не-е-е! — успокоил его Лёнка, деловито завёртывая в газету промасленные тряпки. — Мама теперь с коровами в лесу живёт, это который называется «летние лагеря». Она домой только спать приходит. Она думает, я с бабой Катей, а баба Катя пошла в лес веники резать, а я не хочу. Там комары и эти... пауки разные, тоже кусачие. А вчера мы с бабой Катей богу молились, она мне за это целое блюдо сметаны наложила; она сейчас придёт, поест и до самого вечера будет в кладовке спать...

Слушать Лёнку было занятно. У него не ладилось со звуком «р», речь получалась какая-то воркующая, переливчатая:

— Алексей Мурломцев. Мама говорила, я в Рлостове рлодился.

Плотно пообедав, поехали на Песчаное озеро... Намывшись в полное удовольствие, Дружинин заодно помыл и Лёнку. Спина у него была худая, но удивительно пряменькая, а грудь высокая и плечи хорошо развёрнуты. Дружинин потискал смуглые, крепкие Лёнкины икры:

---

— Ноги у тебя ничего, солдатские, а руки никуда не годятся. Ладно, погоди, сделаю я тебе гантельки — силу в руки загонять. Только смотри, тёзка, заниматься каждое утро, без обмана. Будешь?

— Буду! — полушёпотом выдохнул Лёнька.

Взглянув на него, Дружинин невольно поёжился: столько доверия и благодарности было в его сияющих, широко раскрытых, серьёзных глазах.

Потом Дружинин учил Лёньку плавать, потом ещё немного позагорали на горячем песке и поехали домой, довольные знакомством и проведённым днём.

С того воскресного дня каждый вечер Лёнька ждал Дружинина за мостиком на выезде из деревни. Откуда бы ни возвращался Дружинин, мостика он на пути к дому миновать не мог.

Лёнька никогда не бросался навстречу, ничем не выражал радости, не кричал, не прыгал. Стоял у дороги столбиком. Маленький, неподвижный столбик, весь — напряжённое, тревожное ожидание: а вдруг Дружинин не заметит или не узнает? Вдруг он промчится мимо, не остановится?

Дружинин ещё издали начинал притормаживать, и только тогда Лёнькино лицо заливала неудержимо счастливая улыбка.

Он влюблённо заглядывал в усталое обожаемое лицо, карабкался в седло, и они мчались! Два друга, два тёзки, мчались как ветер на великолепной, самой быстрой в мире машине.

Вскоре Дружинин заметил, что Лёнька во всём его копирует. С трудом удавалось удержать смех, когда Лёнька, протирая вечером запылённую раму мотоцикла, по-дружинински неспешно, с просторными паузами рассказывал о событиях минувшего дня:

— У мамы Крласотка двух телёнков рлодила. — Он отступает на шаг назад, щурится, критически оценивая результаты своей работы, негромко сквозь зубы насвистывает. — Один пёстрленький, а другой весь чёрлный, на лбу звёздочка.

Лёнькину мать на ферме все звали Ольгой. И никому не казалось странным, что эту худую смуглую девчонку никто никогда не назовёт Олей или Лёлькой.

Встречал её Дружинин нечасто. Приметилось, что держится она особняком, в стороне от горластых, смешливых девчат, и к этому тоже, видимо, все привыкли и считают естественным. И ещё приметилось: вылинявший ситцевый сарафан и старенькие, и в дождь, и в жару, босоножки. Другой обуви, по-

---

хоже, не было. Сначала Дружинину просто не верилось, что большелобого, серьёзного парня Лёньку Муромцева родила эта девчонка с резкими движениями, с недобрим взглядом диковатых глаз, что это о ней походя тарантит Лёнька: «Мама сказала... мама купила... а мама велела...».

— Почему у Муромцевой парнишка без надзора бегаёт? — спросил Дружинин, поджидая вечером тётю Нюру в вагончике Раисы Павловны. — Неужели для него места в детском саду не нашлось?

Анна Михеевна, домывая под умывальником руки, с любопытством покосилась на него через плечо, но ответить не успела.

— Место в садике мы для него сразу охлопотали... — востыжку, с беглой улыбкой пояснила Раиса Павловна. — Только продержался-то он там недолго. Если ребёнок с первых дней к порядку не приучен, трудно его перевоспитать. Тем более, что у мамы фанатерии слишком много. Где бы ребёнка наказать за провинность, а она ещё смеет воспитателю претензии заявлять. Конечно, в девушках ребёнка пришить ума большого не требуется, а вот воспитать его сумеет... Она, видите ли, целью задалась: в техникум подготовиться! У неё, видите ли, с детства мечта — зоотехником стать! Вовремя учиться не хотела, школу бросила, семнадцати лет ребёнка набегала, а теперь хватилась... Да ещё и нос дерёт! Уткнётся в книжку — смотрите, какая умная! Девочки у нас простые, дружные, они к ней сначала по-человечески подошли, а она вроде на всех свысока... Ну ей ли гордиться, перед людьми свой принцип выставлять?! У самой, простите за откровенность, комбинации приличной нету, даю вам слово — нету! А она из первой зарплаты своему ненаглядному сыночку — конструктор за четыре рубля, и костюмчик, и сандалеты синенькие, и... какао! Нет, вы представляете? Какао!..

— Никто Лёньку из садика не исключал. Ольга сама его забрала, — сердито перебила Анна Михеевна. — Лёньку я не защищаю, парень он упрямый да самолюбивый, это точно. Ольга болела долго, операцию ей делали, потом она ещё руку на стройке ломала... Квартиры у неё не было. Сама по общеститиям, а Лёнька из милости у родни жил. Семья большая, недружная. Пьянки, драки. Всего мальчишка натерпелся и нахлебался. А претензий Ольга воспитателям не предъявляла. Наоборот, она перед Лидией Николаевной гордость свою сломала, просила за Лёньку. «Вы, — говорит, — Лидия Николаевна, — воспитательница опытная, Алёша неплохой, он ласковый, привязчивый, он вас полюбит, только должны вы

---

к нему подход найти». А Лидия Николаевна и взвилась. «Я, — говорит, — никому ничего не должна, а таким, как вы, тем более. Вы, — говорит, — наплодите безотцовщины, они и сами никакому воспитанию не поддаются, и приличных детей нам портят. Вы, мать, не можете с ним управиться, а мы тоже не обязаны мучиться да к каждому байстрючонку ключи особые подбирать». Вот оно как дело-то было! Забрала Ольга Лёньку и ушла. А Лидия Николаевна в контору побежала со слезами да с жалобами. Её там водой отпаивали, утешали. Ольга же и осталась виноватой. Вызвали её, а она от гордости скорее себе язык откусит, а оправдываться да жаловаться не станет. «Я, — говорит, — сына своего больше Лидии Николаевне доверить не могу!». И весь разговор. Повернулась и ушла.

— Эту вашу Лидию Николаевну, — хмуро сказал, поднимаясь с места, Дружинин, — я бы её на пушечный выстрел к детям не подпустил... — Обернувшись, с порога добавил: — Парнишка у Муромцевой умница, и никакого особого подхода не требует. Мать правильно говорит — привязчивый он, ласковый, как кутёнок. Такого обидеть...

Они поднимались по тропинке к новому коровнику. Там, в тени под кустами, поджидал их дружининский мотоцикл.

— Откуда она, эта Ольга, прибилась-то сюда? — спросил Дружинин.

— Длинная это история, — неохотно откликнулась Анна Михеевна. — Здешняя она, здесь и родилась. Отец её трактористом был, Алёша Муромцев, на финской в тридцать девятом погиб. Тоська после него три раза замуж ходила. Ольга-то ей обузой была. Ну, люди похлопотали, сдали её в детдом. Училась она хорошо, детдом-то наш, сельский, а у неё с самых первых лет к хозяйству и к скотине интерес был. «Выучусь, — говорит, — буду телячьим профессором». Ну а Тоська к тому времени в городе обжилась, от третьего мужика родила двух сыновей, одной управляться трудно, тут и вспомнила, что у неё где-то дочь имеется. Ольга-то уже большенькая стала, вполне в няньки годилась. Забрала она её из детдома. Мать на работу пошла, а на Ольгу весь воз взвалила. Работы она никакой не боялась, домовитая она, хозяйственная, и сноровка у неё в любой работе есть, но силёнки-то всё ещё детские были — шестнадцатый год ей тогда пошёл. Осталась она в восьмом классе на второй год, а тут у матери третий народился. Отстала от школы-то совсем. Жилось ей — хуже некуда! От матери — ни слова доброго, ни ласки. Город Ольга ненавидела, всё мечтала сюда вернуться, «в папкин колхоз». Отца она своего сильно почитает. В его память и мальчишку

---

назвала Алексеем, и отчество Лёньке в метрике записала по нему — Алексеевич.

Хотела она тогда убежать, да стыдно: как это с родной матерью не ужиться? Ну а тут и подвернулся «добрый» человек, «пожалел». Наобещал: «Будешь учиться на зоотехника, уедем в деревню, пока там поживём, а как восемнадцать исполнится — сразу распишемся». Завёз дурочку куда-то под Ростов, на шахту. Сравнялось ей восемнадцать, у неё Лёнька готов, а того паразита и след простыл. Ох, Алексей Андреевич! Не в обиду тебе будет сказано, а много ж ещё среди вас, мужиков, разных гадов ползает! Нету даже таких слов, чтобы рассказать, сколько эта девчонка горя приняла. Одна, молоденькая, глупая. Ни угла, ни крыши над головой, ни образования, ни специальности и ни одной-то родной души. А мы ещё судим: гордая, нелюдимая, не верит никому. Люди к ней с добром, а она к ним углом. А кое-кому, вишь, не нравится, что она байстрючка своего, безотцовщину-то свою, слишком уж любит. Как-то она мне говорит: «Ой, тётя Нюра, до чего же мне учиться охота!». А я сдуру-то и ляпни: «Отдай ты Лёньку в детдом, выучишься и заберёшь обратно. И тебе, и ему лучше будет». Поглядела она на меня — как на дурочку, головой покачала, усмехнулась: «Тётя Нюра, да мы с ним друг без друга и дня одного не сможем прожить». Гордая она слишком — это точно, неласковая, а вот стрясись с человеком беда — душу готова отдать, чтобы помочь. А до чего её коровы знают; это уж ты мне поверь, первая примета, что человек добрый, если его собаки и прочие животные любят.

Анна Михеевна тихонько рассмеялась, что-то припомнив:

— Послушал бы ты, Алёша, как она с телятишками разговаривает. Оглаживает его, охорашивает, а сама наговаривает потихоньку, чтобы люди не услышали: «Ты ж моё ушастенькое, мордастенькое, глупастенькое...».

В новом коровнике девчата заканчивали уборку. Дружинин подъехал после обеда; от зноя и недосыпания побаливала голова. Он незаметно прошёл в конторку зоотехника, там ещё не был снят широкий столярный верстак. В коровнике стояла прохладная полутьма. Дружинин бросил в изголовье куртку и, вытянувшись на верстаке, блаженно закрыл глаза. Шумной ватагой ушли девчата. В гулкой тишине остались только чьи-то лёгкие поспешные шаги и шаркающий звук веника. Потом послышалась тихая песня. Пела Ольга, заканчивая уборку, отдыхала, радуясь прохладе и одиночеству. Проснулся Дружинин словно от толчка, словно кто-то его

---

тревожно окликнул. Где-то совсем рядом, за стенкой, кто-то не то плакал, не то смеялся. Поднявшись на локте, Дружинин взглянул в ещё не застеклённое окно конторки.

Ольга, бледная до синевы, пятясь, отступала к стене, упираясь в грудь плечистого, курчавого парня в новой пёстрой рубашке навывпуск. Пытаясь перехватить, оттолкнуть наглые ищущие мужские руки, она шептала, задыхаясь, гневно и умоляюще:

— Ну прошу же тебя! Ну ради бога, не трогай, я ж тебе говорила, я не такая...

— А какая? — с весёлым хохотком парень надвинулся, заклонил Ольгу широкой пёстрой спиной. — Ты невинная девочка? Так? Ну так вот, детка, последний раз добром спрашиваю: придёшь сегодня или нет? Не ломайся, хуже будет. Так ослаблю — сама себе не мила станешь...

— Не приду! Гадина! Не приду!

Бледное, запрокинутое лицо, искажённое страхом, стыдом, бессильной ненавистью.

Воротник новой рубашки, закрученной на затылке парня левой рукой Дружинина, тугой петлёй сдавил его горло. Дружинин рывком обернул его к себе лицом и, стиснув зубы, чтобы воздержаться от некоторых подходящих в данный момент слов, тыльной стороной правой руки не спеша ударил его по одной щеке, потом ладонью наотмашь по другой.

— Это тебе, детка, только аванс. Подойдешь ещё хоть к одной девчонке с пакостью — получишь полный расчёт. Тогда уж, милый товарищ практикант, не обижайся. Точно, что и сам себе не мил станешь, и в техникум дорогу не найдёшь. Понял, паскуда?

Даванув ещё разок воротником, Дружинин повёл парня на вытянутой руке к выходу. Пинком ноги широко распахнув дверь, брезгливо стряхнул его с руки на порог.

По положению Ольга теперь должна бы горько и облегчённо заплакать, обласкать спасителя благодарным, сияющим взглядом, но получилось всё наоборот.

Рывком подняв с пола сбитую в борьбе косынку, презрительно, надменно прищурясь, молча прошла Ольга мимо оторопевшего Дружинина.

Теперь Дружинин присматривался к Лёнке со всё возрастающим интересом... Надо же! Вскинет голову, губы сожмёт, прищурится — ну, мама родимая!

Шести лет человеку нет, а гордости, самолюбия на большого мужика хватит. И смекалка видна, и в любом деле сноровка добрая, видать — мать родная. А иной раз — смех и грех смотреть — всё перепуталось. Ольгино угловатое движение

---

худого плеча, насторожённый, пристальный взгляд, и тут же дружининское: спокойный, медлительный полуоборот, улыбчиво-доброжелательный взгляд через плечо, прикушенная в минуту раздумья нижняя губа. Чудно признаться, иногда среди напряжения и суеты рабочего дня вдруг тепло и радостно вспомнится: стоит у дороги забавный столбик, ждёт... то-то, небось, новостей за день накопилось.

И как это он раньше не замечал, какой занятный народ, оказывается, эти пацаны!

А потом случилось такое. Вечером, поджидая Анну Михеевну, Дружинин вёл потихоньку мотоцикл по тропинке от коровника к проезжей дороге. Оглянувшись, увидел, что, обогнав Анну Михеевну, к нему приближается Ольга.

Тут мотоцикл вдруг рыскнул в сторону, ткнул шиной в камень. Дружинин потянул его на тропинку и тут же обернулся, вздрогнув от резкого окрика:

— Товарищ Дружинин! Можно вас на минуту?

Прямо на него, не кланяясь тугой струе ветра, прямая, тонкая, стремительно шла Ольга. И Дружинин невольно поосторонился, отступил перед ней с тропинки. Но она не остановилась для разговора, только чуть замедлила шаг, проходя мимо него.

— Я вас хочу попросить... — полоснула вскозь из-под опущенных ресниц презрительно-ненавидящим взглядом. — Прошу вас оставить в покое моего сына.

Подошла встревоженная Анна Михеевна, виновато жмурясь, рассказала, что, вообще-то говоря, не зря Ольга с цепи сорвалась. Девки сегодня прямо как сдурели, всех пересмеяли: и друг дружку, и сами себя, и кавалеров своих. Добрались и до Дружинина: вот, мол, какая у него с Лёнкой-картавым дружба завелась, да с чего бы это? Да и к чему бы это?

— А змеишша-то наша, Раисушка, сидит усмехается. «А это, — говорит, — девочки, известный такой у опытных мужчин приём — через ребёночка к мамочке пристроиться! Все, — говорит, — они, мужчины, одинаковые. А вы что думали?..» Ольга-то весь день сама не своя ходила, а сейчас пролетела мимо меня и прямо к тебе. Ну, думаю, сейчас она душеньке моему Алёшеньке пулю отольёт.

Хочешь не хочешь, а надо было с этой бесноватой по душам поговорить.

Разве же это дело: из-за дурацкой бабьей брехни нарушать добрую мужскую дружбу? А как объяснить Лёнке, почему Дружинин должен от него отречься? Почему мать запрещает им дружить?

---

Как на грех, больше недели Дружинин не мог побывать на ферме. Пришлось ему, как мальчишке какому, караулить Ольгу поздним вечером за мостом у оврага. Он дал ей пройти вперёд и, идя сзади, сказал сразу без всяких вступлений и подходов:

— Зря вы, Оля, глупых людей слушаете и верите всякой пакости. Сынок у вас занятный, я к нему без всякого заднего умысла. Можете, конечно, не верить, но от вас мне решительно ничего не нужно.

Ольга обернулась к нему и впервые доверчиво и виновато заглянула снизу в хмурое и смущённое лицо Дружинина.

— Я знаю. Вы, Алексей Андреевич, не обижайтесь, простите меня, очень всё нехорошо получилось. И всё-таки прошу я вас... Оставьте Алёшу. Вы сами сказали: он ласковый, привязчивый... Вы от скуки, для забавы его приласкали, а он... у него только и разговора, что о вас. Он ночью вами бредит. Если вы его сейчас не отвадите, после ему ещё труднее будет. С ним так нельзя.

Ну, что же, нельзя — значит нельзя. Пришлось срочно, закончив работу на ферме, перебазироваться в юртинскую бригаду. Там работы непочатый край. Юртинская бригада самая отдалённая, домой Дружинин не показывался по неделе. Мотоцикл оставлял в гараже, приходил пешком поздним вечером, когда Лёнька никак уж не мог его увидеть...

Два раза встречал Ольгу в библиотеке. Очень хотелось подойти, спросить: как, мол, там тёзка-то мой поживает, забыл уж, поди, отвык? И вы сами тоже как поживаете...

Но Ольга, увидев его, немедленно уходила: ясно было, что не нужны ей никакие разговоры.

Однажды приснилось: рядом с ним в постели спит Лёнька, припал горячей щекой к его плечу. Уснуть больше не удалось. Дружинин долго курил, вздыхал тоскливо... наваждение какое-то, чёрт бы его подрал, никогда в жизни не знал, что за бессонница такая бывает. А бессонница, между прочим, стала наведываться всё чаще.

Как-то в городе, получив в «Сельхозтехнике» запчасти, Дружинин подвернул к универмагу за куревом. Потолкался в народе и вдруг резко притормозил у прилавка. Гляди-ка ты, красотища какая! Костюмчики с начёсом, тёплые, нарядные и размером, пожалуй, подходящие, и очередь ещё небольшая. Дружинин тревожно схватился за бумажник: неужели денег не хватит?

Денег хватило.

---

На слёт передовиков в район ехали с превеликим шумом, с развёрнутым знаменем на головной машине. Дружинин дома не был больше недели, заскочил только переодеться, и весёлый поезд обогнал уже при въезде в районный центр. На первой машине под баян плясали девчата, на второй пожилые колхозницы блаженно кричали: «Ой, мороз-мороз!». Сидя в президиуме, Дружинин, задумавшись, повёл глазами по рядам притихшего затемнённого зрительного зала и вдруг, словно от толчка, качнулся вперёд. Это сердце горячо и гулко толкнуло кровь к лицу. В третьем ряду, справа у колонны, рядом с тётей Нюрой сидела Ольга, в новом нарядном платье, худенькая, румяная...

Наваждение продолжало творить своё нелепое дело. Дружинин плотно сжимал губы, пробовал хмурить брови, но сдержать широченной счастливой улыбки уже не мог. В антракте он чинно и терпеливо прогулялся с тётей Нюрой по фойе. А спросить, куда исчезла Ольга, так и не решился. Не появилась Ольга после антракта и в зрительном зале. На её месте, рядом с тётей Нюрой, сидел чужой толстый дядька. После торжественной части Дружинин один уехал домой.

Осень в этот год задалась сухая, погожая. С уборкой уложились в сроки. Оставалось добрать последние гектары картошки, когда Дружинин, неловко спрыгнув с машины, повредил ногу. И — ничего же глупее не придумаешь! — здоровенный, как бык, залёг в постель, с задранной выше головы опухшей ногой. Хорошо ещё, что не загнали в больницу, дома хоть читать можно до одури. На пятое утро, сатанея от тоски и непривычного безделья, обрадовался чуть не до слёз, увидев в дверях Анну Михеевну.

— Извини, Андреич, что беспокою тебя, больного, чужой бедой, — не поздоровавшись, как положено, не присев, сказала Анна Михеевна. — Лёнька у нас шибко плох. Вчера ещё играл, а сегодня хрипит — смотреть страшно. Вера Михайловна уколы ставит, велит как можно скорее в город везти, а машины все в разгоне. В район дозвониться не могли: на линии повреждение. Девчонки на базу бегали, ладились хоть на коне до районной больницы довести, да Афанасий Иванович, как на беду, уехал на ходке в Гордеево, не на дрогах же больное дитя трясти? Иван Сергеевич в Зуево верхом погнал. Может, оттуда дозвонится, вызовет «скорую», да ведь это когда ещё будет, а он уже не откликается и не узнаёт никого. Раиса на телефоне висит, девки все обрелись. Ольга-то сама чуть живая, смотреть страх берёт!

---

...Глаза у Лёньки были закрыты. При каждом вздохе в горле у него натужно сипело, а в груди что-то словно бы лопалось с тихим бульканьем. Казалось, вот сейчас втянет он через силу ещё один скупой глоток воздуха и больше не сможет.

Холодея от страха и жалости, Дружинин взял в ладони горячую, вялую ручонку, потискал её легонько, погладил, и с хриплым стоном Лёнька открыл глаза. Он пристально, отчуждённо, словно издалека, всматривался в склонённое над ним лицо Дружинина.

— Что же это ты, тёзка, а? — тихонько спросил Дружинин.

Брови Лёньки изумлённо дрогнули, запекшиеся губы покривило слабой, неуверенной улыбкой.

— Ты... пришёл?! — вздохнул хрипло, просветлевшие вдруг глаза начали медленно наливаться слезами.

— Ничего, сынок, ничего... — сипло бормотал Дружинин, и, неловко изогнувшись, склонился ещё ниже, чтобы слабеньким горячим рукам удобнее было охватить его за шею. — Сейчас мы с тобой на нашем «ижике» в город поедем, к самому главному профессору. Он тебя живо на ноги поставит. Полежишь маленько в больнице, полечишься, а тут мне как раз отпуск выйдет, и поедем мы с тобой к батю моему и к мамане. Дед тебе охотничьи лыжи смастерит, а бабаня варешки свяжет, тёплые, никакой мороз не возьмёт...

— А мама?

— Ну и мама, конечно, с нами. Куда же мы с тобой без мамы-то? А как из отпуска приедем — прямо в новую квартиру, новоселье справлять. Мать нам пирогов напечёт, ребят соберём целое застолье... песни будем петь...

Дружинин осторожно разнял кольцо ослабевших Лёнькиных рук и, обернувшись, увидел Ольгу. Её била дрожь. Прижав к груди судорожно стиснутые кулаки, не мигая и, казалось, не дыша, смотрела она через плечо Дружинина в просветлевшее Лёнькино лицо.

— Узнал?!

От жгучей нежной жалости у Дружинина перехватило горло. Ужасаясь — когда же она успела так исхудать и осунуться? — он взял её маленькие тугие кулаки, с силой отвёл их от её груди, распрямил ледяные пальцы...

— Возьми себя, Оля, в руки. Крепись... через час будем в городе... Собирай его быстрее, я коляску пристегну, — и поедем! — говорил он спокойно, уверенно, а внутри холодело и ныло от страха: доведу ли?! — Сама теплее одевайся: на такой езде ветер насквозь просквозить может. Зимнее пальто наде-

---

вай, шаль тёплую... — командовал Дружинин, и кругом вдруг сразу всё пришло в движение ожило, заговорило.

— Нинка, беги неси своё пальто, оно как раз впору будет.

— Тётя Нюра, а под низ кофточку мою шерстяную, она тёпленькая.

— Марейка, айда бегом, достань из комода платок мой пуховый, да быстро!

— Сверху-то суконным одеялом накрыть, не пробьёт ветер-то!

— Скричите Юрку Кострова, он на обед домой пришёл, пусть он на своём мотике на всякий случай сзади едет.

— Ребёнка-то, ребёнка-то собирайте. Ох, господи, да есть ли у него тёпленькое что? Свитерочек какой под пальтишку, штаники тёплые. Ольга, да очнись ты!

Дружинин оглянулся на Ольгу, встретил её растерянный взгляд, сморщился досадливо:

— Эх ты, память дырявая! Тётя Нюра! Пошлите девчонок, пусть до меня добегут... — торопливо распорядился он. — Там у меня в чемодане сверху Лёнькин тёплый костюм лежит.

За всё это время Ольга не сказала Дружинину ни одного слова. Выполняла торопливо всё, что он приказывал, молча водила за ним глазами, а в глазах уже не было отчаяния и страха — нет, теперь-то уж Лёня не погибнет, самое страшное уже позади. И только когда Дружинин, прихромавши к коляске, начал укутывать её с Лёнкой ещё одним одеялом, подняла на него встревоженные глаза:

— Как же ты с больной ногой-то... Алёша?

Прошедшей осенью Лёньке исполнилось девять лет. Сейчас он кончает третий класс и, как говорит отец, «идет с мамкой ухо в ухо», потому что мать тоже кончает третий класс, только у них это называется не класс, а курс. И отметки у них почти одинаковые. Правда, один раз мать ухитрилась схватить троечку по химии, но сразу исправила на пятёрку, так что это не считается. С непослушным «р» Лёнька теперь управляется вполне прилично.

— Алексей Дружинин! — говорит он, только чуть-чуть погромыхивая буквой «р».

---

---

# Милочка

Со свадьбой у молодожёнов Гроздецких так ничего и не получилось. Два первых месяца они ютились в крохотной комнатухе молодёжного общежития. Справлять же свадьбу у Милочки в школе или в заводском клубе не хотелось. На совете у Артемьевых было решено торжество отложить до получения квартиры, чтобы заодно отгулять и свадьбу, и новоселье.

С квартирой вскоре уладилось, но к тому времени от Сашиных сбережений не осталось ни гроша, да ещё долги как-то незаметно образовались. А у Милочки не было приличного зимнего пальто. Когда Милочка прибежала к Саше и взволнованно шепнула, что Марина Антоновна всё-таки решила дошку продать — совершенно новую, чудесную, настоящую цигейку, у Саши опустились руки. Но он вспомнил, какие глаза были у Милочки, когда жена главного инженера проплыла в этой проклятой дошке через фойе, направляясь в кабинет директора клуба. Разумеется, дошка должна принадлежать только Милочке, и никому другому. В тот же вечер Саше повезло очень удачно продать свой новенький мотоцикл. Милочка чуть даже не заплакала, когда повели со двора их сильного и послушного красавца «ижика».

Цигейка съела «ижика» не полностью. Оставалась ещё некоторая сумма, вполне достаточная, чтобы справить небольшую, скромную свадьбу. И Милочкины коллеги-учителя, и Сашины товарищи по цеху не раз заводили разговор о том, как это неэтично — «зажимать» от друзей обещанную свадьбу.

Но тут неожиданно-негаданно явился Тимофей — старший Сашин брат, с которым Милочка, как и со всей своей новой роднёй, ещё не была знакома. Заглянул Тимофей Андреевич к молодым всего на два дня, мимоходом, возвращаясь из командировки. Он привёз им письмо и кучу подарков от всей родни: от мамы, от своей жены Фени, от золовки и даже от малышей-племянников Леночки и Валерика.

Милочка с помощью Валентины Сергеевны и Саши уже разбиралась в родстве, и в учительской, рассказывая о своей

---

новой, ещё незнакомой семье, с удовольствием произносила непривычные, но такие значительные и приятные слова: свекровь, деверь, золовка.

Тимофей, как и представляла себе Милочка по письмам и рассказам Саши, оказался до невозможности симпатичным. Говорить с ним можно было положительно обо всём. Сам он, правда, больше молчал, но зато так хорошо умел слушать и так славно смеялся. Он помогал Саше чистить картошку, и в первый же вечер к приходу Милочки из школы они вдвоём соорудили великолепный ужин. Между делом, пока Саша и Милочка были на работе, вставил зимние рамы. У молодых всё как-то не доходило руки, хотя по квартире гулял ветер, а под утро лужицы на подоконниках схватывало льдом. Потом Тимофей подшил прохудившиеся валенки, и они стали лучше, чем новые, такие тёплые и аккуратненькие. Это внесло в бюджет молодых значительную экономию, потому что Милочка собиралась как раз выбросить валенки в сарай и срочно обзавестись новыми.

Вечером, перед отъездом Тимофея, Милочка бегала по магазинам, готовя подарки для милой родни. С Сашей посоветоваться она не успела и покупала всё по своему вкусу и усмотрению.

Когда, довольная и усталая, Милочка вывалила подарки перед Тимофеем на стол, он вдруг потемнел и насупился: к чему всё это? Саша смотрел на него умоляюще, с неловкой улыбкой. Милочка немного растерялась: чем они недовольны? Потом привстала на цыпочки, положила руки на плечи и чмокнула его в щёку пять раз подряд, приговаривая:

— Для мамы, для Фени, для Нади, для Леночки, для Валерика!

Тимофей сконфузился и, огорчённо махнув рукой, пошёл в кухню, а Милочка начала укладывать подарки в его чемодан.

Уезжая, Тимофей взял с молодых слово, что на Новый год они приедут «домой» и прогостят не менее недели. С этого дня Милочка и Саша стали мечтать о поездке. У Саши летом отпуск был использован не полностью. Милочкой в школе очень дорожили, и она не сомневалась, что директор разрешит ей в зимние каникулы уехать на недельку, если, конечно, она сумеет всё заблаговременно подготовить к новогодней ёлке.

Для школы Милочка была как дар божий. Она умела писать лозунги на полотне и оформлять монтажи и стенгазеты. С её приходом наглядная агитация перестала быть в школе проблемой. Одинаково бойко она играла на пианино и на струн-

---

ных инструментах. Даже конфузливые и тяжёлые на подъём мальчишки потянулись в хор и с удовольствием запрыгали в танцевальном кружке, разучивая «Лявониху» или разве-сёлую русскую «Карусель». Впервые Новиковская школа победоносно выступила на районном смотре художественной самодеятельности, завоевала несколько дипломов и ценных призов и была удостоена чести выступить с лучшими номерами на областном смотре.

С родителями своего 8 «б» Милочка перезнакомилась в первый же месяц работы в школе. Ни у кого из учителей классные родительские собрания не были столь многочисленными и оживлёнными, что, правда, не совсем охотно, признавала даже завуч Ирина Прокофьевна. Во всех Милочкиных затеях родители принимали самое энергичное участие, в любую трудную минуту она бежала к ним за помощью и советом.

У руководства школы, особенно у Ирины Прокофьевны, бурная Милочкина деятельность нередко вызывала некоторое беспокойство. Например, с недавнего времени многих старшеклассников словно поветрием охватило увлечение гимнастикой. Началось всё с большого праздничного концерта, подготовленного старшеклассниками под руководством Милочки.

Концерт шёл с большим успехом. Вели его два долговязых весёлых десятиклассника. В программе не было традиционного тягучего «монтажа» и старых, до зелёной скуки запетых песен. Хор не выстраивался тяжеловесной окаменелой подковой, а ярким цветным хороводом выливался с песней на сцену. Все девочки выглядели красавицами, парни в цветных и вышитых рубашках молодецки поводили плечами. Было много новых песен, весёлых интермедий, забавных плясок. Были даже сатирические куплеты «на местные темы». А за кулисами толклись взволнованные родители: «гримёры», «костюмеры», «декораторы» и просто мамы-болельщицы. Тут же путались под ногами семиклассники, от которых не спасали никакие заставы в дверях.

Последний номер программы именовался гимнастическим этюдом. Готовился он в строжайшем секрете. Но не потому, что Милочка сомневалась, все ли найдут уместным появление на сцене учителя в таком «оригинальном» жанре. Нет, ей просто хотелось и для взрослых, и для ребят сделать приятный сюрприз.

Впечатление было поистине потрясающим. Спрятанный за кулисами струнный оркестр не очень дружно, но с боль-

---

шим чувством заиграл вальс. Из глубины притихшего зала тьму прорезали яркие цветные стрелы. Голубые, красные, зелёные лучи скрестились на середине затемнённой сцены. (Световые эффекты, тоже в глубокой тайне, подготовили с помощью папы-электрика многомудрые десятиклассники.) И вот в этом феерическом, радужном мерцании на сцену легко и красиво, как настоящие артисты, выбежали Милочка и молодой физрук Игорь Васильевич. На Милочке был строгий спортивный костюм. Кудрявые волосы туго схватывала широкая чёрная лента.

Зал тихо застонал от восторга. По учительским рядам прошелестел взволнованный шепоток, а у завуча Ирины Прокофьевны брови поползли вверх.

«Этюд» не отличался особой оригинальностью или сложностью исполнения, но всё это было так неожиданно, так молодо и красиво: маленькая гибкая фигурка в чёрном, взнесённая вверх сильной рукой Игоря; лёгкий скользящий полёт вниз и снова взлёт..

После этого памятного вечера старшеклассники ринулись в спортзал, где в один день, с завидной оперативностью, родились две новые секции: партерной гимнастики для мальчиков и художественной — для девочек. А учительскую несколько дней сотрясала жаркая дискуссия на тему: что такое хорошо и что такое плохо для авторитета педагога. Невзирая на горячую защиту учителей, бдительный страж учительского авторитета завуч Ирина Прокофьевна задала Милочке хорошую головомойку.

Работала Милочка в школе много и увлечённо. Причём всегда она что-то хлопотливо налаживала, устраивала, кому-то в чём-то помогала. Она обладала счастливым даром ожидать от людей только хорошее. И действительно, в её жизни хорошего было несоизмеримо больше, чем плохого.

Было очень плохо, когда семилетняя Милочка узнала, что на возвращение её отца нет никакой надежды. Он погиб на фронте, а не «пропал без вести», как считали все послевоенные годы. Мама тогда была совсем больная и беспомощная. Но приехала из Томска тётя Клара, забрала их к себе, и там, в крохотном уютном тёти-Кларином домике, Милочка прожила почти до двадцати лет.

Жили бедновато, но очень дружно. Каждый делал своё дело. Тётя Клара — детский врач — зарабатывала деньги, мама, как могла и умела, хозяйничала, а Милочка училась.

Тётя Клара очень любила музыку. К восьми годам Милочка бойко отстукивала на стареньком пианино простенькие

---

мелодии. По мнению тётки Клары, это говорило о незаурядной одарённости, и Милочка стала брать уроки музыки.

Мама неплохо рисовала и в ранней молодости несколько месяцев посещала балетную школу. Милочку записали в изостудию и в балетный кружок при ДOME пионеров.

Училась она всему легко и охотно. Времени у неё, хотя и в обрез, хватало на всё, потому что к домашней работе её не подпускали.

— Обойдёмся без твоей помощи. Занимайся, пожалуйста, своим делом!

— Оставь в покое посуду, лучше повтори гаммы!

— Брось сейчас же веник, опоздаешь на репетицию.

Мама умерла, когда Милочке шёл пятнадцатый год. После отца это было первое большое горе, но особых изменений в Милочкину жизнь оно не внесло.

Тётка Клара перестала работать: ей уже было шестьдесят два года. Жить стало труднее, но тётка как-то ухитрилась на свою и Милочкину пенсию одевать племянницу «не хуже других девочек» и кормила её по-прежнему вкусно и сытно. Всю домашнюю работу она взяла на себя, потому что теперь Милочка была уже большая, в школе выполняла разные общественные нагрузки, и, конечно, для дома времени у неё не хватало.

Становясь «большой девочкой», для тётки Клары Милочка продолжала оставаться ребёнком, требующим неусыпной заботы. Не дай бог, чтобы дитя не вовремя легло спать и ушло из дома голодное, чтобы не схватило оно в спешке несвежий воротничок или незаштопанные чулки. Школу Милочка окончила с отличием и с блестящей характеристикой. Со школьной парты она без больших осложнений пересела на скамью педагогического института.

Через два года тётка Клара скоропостижно умерла. Из-под Иркутска на похороны приехала какая-то близкая её родственница, и здесь впервые Милочка услышала противные, затхлые слова: завещание, наследство. Выяснилось, что Милочка тётке Кларе доводилась какой-то троюродной внучатой племянницей и никаких «законных прав» на наследство не имеет. Схоронив тётю, Милочка свернула в тючок постель и с дорожным чемоданом перебралась из родного домика в студенческое общежитие.

В институте Милочкино сиротство вызвало всеобщее участие. Каждому хотелось поддержать её в эти горькие дни, чтобы не так остро мучало её чувство утраты и одиночества. В общежитии подруги установили над ней ревностную опеку:

---

— Милка, выпей кефир, не смей ходить на тренировку голдная.

— Милка, собери бельишко, я в прачечную иду!

— Милка, надень мой свитер и Нинкины тёплые рейтузы, на улице тридцать градусов. Опять горло перехватит...

— Милка, давай сюда стипендию! Опять ты деньги растрясёшь на всякую ерунду, а тебе нужно туфли в починку нести и отложить десятку на платье.

О тёте Кларе Милочка очень тосковала. Но... время шло, а жизнь была до краёв наполнена музыкой, лекциями, книгами, нежностью подруг, обожанием влюблённых сокурсников.

Обожателей у Милочки всегда водилось больше, чем нужно. Постепенно в свите мальчишек-студентов стали появляться более солидные претенденты на её сердце. И у какой девчонки не закружится голова, если ей по очереди объясняются в любви: молодой талантливый доцент, красавец и умница майор из артучилища, солидный директор школы, в которой ты проходишь педагогическую практику. Но у Милочки голова не кружилась. Игру в любовь она не признавала и умела держать поклонников на грани хорошей дружбы.

А большая любовь маячила где-то ещё далеко впереди. Милочка не ждала трепетно её пришествия, не загадывала, каким должен быть её будущий избранник, не боялась ошибиться или пройти мимо настоящего. И когда это настоящее пришло, она не раздумывала и не сомневалась: а почему именно Саша? Ей даже в голову не приходило сравнить Сашу с кем бы то ни было.

Такие, как Саша, в жизни встречаются только раз.

...Они сидят в клубе на лекции. Тема лекции очень интересная. Лектор говорит умно, образно, увлечённо. Но вот то ли в жесте, то ли в его интонации почти неуловимо проскользнуло что-то очень знакомое. Милочка хмурится, напряжённо морщит переносье, пытается вспомнить. Вопросительно покосившись на Сашу, она встречает его прищуренный смеющийся взгляд: Райкин?! Нет, она не произносит этого слова, но Саша понял. Он утвердительно хмурится, и они оба сникают, мгновенно сражённые смехом.

По вечерам, когда Саша уходит «на заработки», Милочка часами сидит в библиотеке. В тишине маленького читального зала, склонившись над книгами, она вся уходит в работу. Окружающее исчезает, она перестаёт его ощущать. Вдруг, словно от толчка, она резко выпрямляется. На какое-то мгновение всё в ней напряжённо замирает. Не оборачиваясь, не глядя назад, она знает — в дверях стоит Саша.

---

...Поздним зимним вечером Милочка и Саша бредут по улицам уснувшего посёлка. Завернув за угол школы, где вдоль изгороди дремлют в снегу молодые приземистые ёлочки, они вдруг останавливаются, изумлённые, притихшие. С высокого столба, прямого и жёлтого, как восковая свеча, из серебряной воронки абажура на нетронутую пелену снега, на голубую хвою ёлочек льётся конусообразный поток света. И в нём, наплывая из темноты, тихо, неторопливо, словно в полусне, кружатся снежинки. Но какие же это снежинки? Это большущие, пушистые, тёплые бабочки, привлечённые светом, опускаются к подножию столба.

Милочка стоит, прислонившись виском к Сашиному плечу. Снегопад. Почему она раньше не замечала, какое это чудо — снегопад?..

Квартирный вопрос для молодых разрешился на редкость удачно. Старший сын доктора Артемьева переехал с семьёй в город, и жена Артемьева Валентина Сергеевна сама предложила Саше и Милочке занять освободившиеся комнаты. В первой сложили плиту с духовкой. Саша соорудил раздвижную ширму, выгородилась крохотная кухонька и что-то вроде столовой. Вторая комната служила спальней и рабочим кабинетом.

Комнаты молодых от квартиры Артемьевых отделял коридор. Было очень удобно. Отдельная квартира, и в то же время достаточно перебежать коридор, чтобы очутиться в кухонных владениях Валентины Сергеевны, где из хозяйственной утвари имеется всё, что твоей душе угодно.

Николай Иванович Артемьев, главврач поселковой больницы, два года назад вытащил Сашу из могилы, когда тот свалился с жестоким воспалением лёгких. Выхаживать Сашу помогала и Валентина Сергеевна: дежурила у его постели, когда ему было особенно плохо, носила передачи. Из больницы они забрали Сашу к себе и отпустили в общежитие окончательно поправившимся и окрепшим.

К ним, ещё невестой, Саша привёл Милочку, и она сразу же почувствовала себя у Артемьевых как дома. Правда, Николай Ивановича Милочка сначала немножко побаивалась, но только сначала. Немолодой, некрасивый, внешне неприветливый, он оказался самым красивым, умным и добрым человеком на свете. Именно таким представляла Милочка своего отца.

А в Валентину Сергеевну она влюбилась нежно и безоглядно с первой встречи. И не мудрено. Валентиной Сергеевной можно любоваться часами, когда она — большая, стат-

---

ная — плавно и легко ходит по комнате. Она вообще никогда не спешит, не суетится, а делает всё быстро, ловко и как-то особенно красиво. Вещи в её сильных ласковых руках становятся послушными и удобными. Не гремят, не падают, не разбиваются.

А как она умеет слушать! Внимательно, серьёзно, с каким-то особенно глубоким, искренним интересом к чужому волнению. И всегда не просто с добрым человеческим участием, а с деятельной готовностью поддержать, помочь, принять на себя долю чужой беды. Очевидно, поэтому коммунисты-строители третий раз единогласно избрали её секретарём цеховой партийной организации.

Артемьевы всегда рады людям, а людей влекло к ним будто магнитом. Особенно многолюдно и весело бывало у них в субботние вечера. К ним шли не ради выпивки и угощения. Собирались «на огонёк» — потолковать, поспорить, послушать новую пластинку, самим попеть, а то и сплясать просто так, от доброго здоровья, от хорошего настроения.

Хозяевам не нужно было гостей развлекать, следить, чтобы кто-то вдруг не заскучал. Гости свои обязанности знали. Продукты приносили компанией. Один разжигал огонь в плите, другой чистил картошку, третий крутил мясо на котлеты или пельмени.

Мужчинам не возбранялось часами цепенеть над шахматной доской, любители могли перекинуться в подкидного. Женщины приходили с рукоделием — и чулки поштопать неплохо в приятной компании.

Такие вечера, без подготовки, без особых приглашений, в артемьевском кругу назывались «малыми бесятниками». Душой их была Валентина Сергеевна, гостеприимная, хлебосольная, неистощимая на всяческие весёлые выдумки.

Вот она выплывает из кухни с большим блюдом дымящихся пельменей в руках. Под восторженные вопли оголодавших гостей идёт она вокруг стола, дробно постукивая каблучками — королева в золотом венце тяжёлых кос. Ну кто поверит, что она уже дважды бабушка?!

За ней в кухонном переднике, с поварёшкой в руке — кудрявый весёлый седой бес, давний приятель Артемьевых, хирург Аркадий Львович.

— Сорок лет хозяйшке?! Эх вы, лопухи зелёные! — кричит он, размахивая поварёшкой. — Да что с вами говорить? Что вы понимаете? В двадцать лет баба — бутон, в тридцать лет баба — цвет, а в сорок лет баба — ягодка! Эх!! — И, сбросив передник, идёт к Валентине Сергеевне целовать ручки.

---

С не меньшим удовольствием он целует и Милочкины ручки. Они стали друзьями сразу после первого знакомства. Спорили и пикировались, распевали дуэты, танцевали на потеху всей артемьевской компании липси и чарльстон. Аркадий Львович громко восхищался Милочкиными талантами, называл её очаровательным вундеркиндом и майским ветерком. Сердечно относился он и к Саше. Только иногда Милочке казалось, что он как-то очень уже внимательно и серьёзно поглядывает на Сашу, словно тот не совсем здоров, но вдумываться в поведение Аркадия Львовича у неё не было ни времени, ни желания.

Первого декабря Артемьевы справляли годовщину свадьбы. Было чудесно, очень весело, тепло и немножко сентиментально. У Милочки защипало в носу, когда под требовательные вопли «горько» Николай Иванович поднялся и, взяв Валентину Сергеевну за плечи, сказал тихо и очень серьёзно: «Спасибо, мать, за всё!».

Милочка готовилась произнести тост, но у неё ничего не получилось. Вздрагивая влажными ресницами, она подняла бокал и неожиданно для самой себя выпалила скороговоркой:

— Хочу, чтобы мы с Сашей прожили жизнь так же, как Николай Иванович и Валентина Сергеевна!

И, оттолкнув стул, побежала с бокалом вокруг стола к Валентине Сергеевне целоваться.

Декабрь был на исходе. Нередко, расставшись поутру, молодые встречались только поздним вечером. Милочка целыми днями пропадала в школе. Саша ради заработка хватался за любую сверхурочную работу. Деньги по-прежнему у них никак не держались и долги почти не убывали.

Сначала Саша перебивался чертежами, потом подвернулась выгодная сдельщина на строительстве гаража. Стройка шла в две смены, каменщиков не хватало, а Саша ещё практикантом на кирпичной кладке давал по полторы нормы. Вечерняя работа была не из лёгких, но хорошо оплачивалась. Скверно, конечно, что уже три контрольных задания он не смог выслать в институт к сроку. И на сессию, видимо, ехать не придётся. Хорошо ещё, что Милёсик пока не замечает и ни о чём не догадывается. Ладно, сейчас главное — вылезти из долгов и войти наконец в колею. Потом всё образуется.

Милочка очень не любила возвращаться вечером из школы, когда Саши нет дома. На холодной плите сохнет невымытая посуда. Очень хочется чего-нибудь вкусенького, горячего. Но в квартире так холодно. У Саши дрова разгораются сразу, а

---

у неё они только противно шипят и плюются. Скинув платье и замотав голову полотенцем, чтобы не так холодило уши в настывших за день подушках, Милочка забирается под одеяло. Погреться.

Просыпается она, когда Саша, присев на край постели, осторожно сматывает с её головы длинное полотенце. В комнате уже тепло и чем-то очень аппетитно пахнет.

— Замёрз мой Милёсик, — говорит виновато Саша, бросая полотенце в угол кровати. — Прости, синенький, никак не смог забежать днём. Ну ничего. Сейчас я тебе дам чаю с лимоном и горячих сосисок.

— А я, Сашуня, хотела затопить, да лучинку не нашла, и немножко задремала... — сонно бормочет Милочка, поудобнее устраиваясь в подушках. На стуле у кровати уже дымятся горячие сосиски.

Иногда Саша делает попытку вовлечь Милочку в сферу домашнего хозяйства.

— Милка, ну ты хотя бы посуду помыла, что ли. Ведь третий день киснет.

— Ой, Сашенька, миленький. Посмотри, сколько у меня тетрадей, а я так устала, — жалобно затыгивает Милочка. — Ты закрой посуду тряпочкой, чтобы она тебя не травмировала, и давай немножечко отдохнём. Я свежую «Юность» принесла, послушай, какие чудесные стихи!

И Саша, вздохнув, прикрывает посуду грязным полотенцем. Против стихов из любимой «Юности» он устоять не в силах. Освежившись стихами, отдохнувшая Милочка бодро садится за проверку тетрадей, а Саша, разомлевший, полусонный, идёт на кухню мыть посуду.

Но время от времени в Милочке вдруг пробуждается домовитая хозяйка, и она учиняет генеральную уборку своего запущенного гнезда. Валентина Сергеевна называет это мероприятие стихийным бедствием и вавилонским столпотворением.

«Стихийное бедствие» частично распространяется и на квартиру Артемьевых. Забрызганная известью, в мокрых тапочках, со съехавшей набок косынкой, румяная, озабоченная Милочка то и дело врывается к Валентине Сергеевне за срочной консультацией: почему оконные стёкла не протираются до зеркального блеска, как у Валентины Сергеевны? Что делать, если новая алюминиевая кастрюля вдруг покрылась жуткой сыпью и никак не отмывается? Почему тюлевые шторы после стирки совершенно неприлично перекосило, а под утюгом они вспучиваются какими-то странными пузырями?

---

Под Новый год настроение у Милочки было отличное. К школьной ёлке она всё хорошо подготовила, и директор без всяких разговоров дал ей отпуск на все каникулы. Немножко хандрил Саша, но Милочка была уверена, что поездка к родным стряхнёт с него эту совершенно беспричинную хандру. Они выехали тридцатого, с таким расчётом, чтобы праздник встретить «дома», среди своих.

А через несколько дней поздним вечером, уже в полусне, Валентине Сергеевне почудилось, словно бы тихонько скрипнула входная дверь. Ключи были только у Николая Ивановича и у молодожёнов, но Николай Иванович дежурил в больнице, а молодые должны были вернуться не раньше как через неделю.

Валентина Сергеевна опустила голову на подушку, но за стеной что-то совершенно явственно загремело, похоже, упал сшибленный кем-то стул.

Дремоту словно водой смыло. Сунув ноги в шлёпанцы, Валентина Сергеевна, не зажигая огня, вышла в коридор.

В квартире Гроздецких было темно и тихо. Прислушавшись, Валентина Сергеевна решительно вошла в комнату и провела руками по стене, нащупывая выключатель.

— Не надо! Потушите!

На кровати в дохе и в варежках, поджав ноги, сидела Милочка. Посреди комнаты валялись сброшенные с ног валенки.

— Где Саша? — тревожно спросила Валентина Сергеевна.

— Успокойтесь! — звонко и вызывающе ответила Милочка. — Ваш Саша жив и здоров!

Валентина Сергеевна щёлкнула выключателем и, наступив в темноте на валенки, наклонилась, отставила их аккуратно в сторонку.

— Что же ты сидишь, как гостя? Раздевайся, я сегодня у вас хорошо протопила.

— Спасибо, — сухо поблагодарила Милочка. — Я зашла на минутку, чтобы взять необходимые вещи. Погреюсь и пойду.

— И куда же ты идёшь? — подняв опрокинутый стул, спросила Валентина Сергеевна.

— Не знаю, — Милочка запнулась. — К девчонкам или к Инне Семёновне...

— Ну что ж, иди. Завтра о вашей ссоре будет знать вся школа, а послезавтра, когда вы уже помиритесь, заговорит весь посёлок.

— Во-первых, никакой ссоры не было, значит, и о примирении не может быть речи. Во-вторых, меня не интересует,

---

что обо мне будет говорить посёлок, — холодно ответила Милочка.

— Правильно! — вздохнув, поддакнула Валентина Сергеевна. Была бы ты не учителем, а парикмахером, или билетики бы в бане продавала. А о своих драгоценных архаровцах ты подумала?

— Я завтра подаю заявление о переводе. Поеду на север, в любую самую глухую деревушку. Здесь мне нельзя оставаться ни одного дня.

Сказано было очень решительно, но Валентина Сергеевна услышала, как в потёмках шмякнулась сброшенная на пол доха.

— Подвинься-ка! — Валентина Сергеевна тяжело опустилась на кровать. Пружины охнули и сели. Милочка, не удержав равновесия, привалилась к её большому тёплому плечу.

— Ну, давай рассказывай всё по порядку. Тебя плохо приняли?

— Наоборот, — тихо, сквозь зубы ответила Милочка. — Встретили более чем хорошо.

...На перроне вокзала молодых встречали Тимофей и его жена Феня, красивая и простоватая, чем-то неуловимо похожая на Валентину Сергеевну. И Надежда — старшая сестра Саша, инженер-конструктор, немолодая, суховато-приветливая, с букетом живых, таких прекрасных в новогодний вечер, цветов. И мама — маленькая, хрупкая. Милочка сразу же, легко и бездумно, стала называть её мамулей.

Они приехали домой. На следующий день Феня вычистила и отутюжила Сашин костюм, и он стал совсем как новый. Мамуля перештопала все предусмотрительно захваченные Сашей носки, пришила оборванные вешалки и недостающие пуговицы, потом засела за машину, обложившись ворохом белого полотна.

И опять были подарки. Правда, Милочка немного удивилась, когда Феня преподнесла Саше ночную пижаму, а Тимофей — две пары белья. Потом она перестала удивляться и уже как должное приняла от Надежды две простенькие, но довольно симпатичные спальные сорочки.

Каждый день мамуля и Феня пекли всяческие домашние постряпушки, которые можно было жевать с утра до вечера.

Саша и Милочка жевали с утра до вечера. Поднимались в двенадцатом часу, после обеда ухитрялись ещё немного поспать. Вечером Саша вёл показывать Милочку друзьям и знакомым или друзья и знакомые приходили к ним в гости. Ве-

---

селились до упаду, нисколько не хуже, чем на артемьевских бесятниках.

Так в праздничной суете и в блаженном безделье промелькнули для Милочки четыре чудесных дня. А на пятый день они с Сашей немного поссорились.

Саша с утра бродил какой-то полусонный, посматривал на Милочку искоса, словно ему было нужно сказать ей что-то не очень приятное. Тимофей и Феня были на работе, дети ещё не вернулись из садика, мамуля тоже ушла куда-то из дому. Милочка от скуки подремала в полутёмной спальне, а под вечер решила вытащить Сашу на каток. Саша совершенно неожиданно заупрямился. Лежал в столовой, уткнувшись носом в спинку дивана, когда же Милочка пригрозила, что пойдёт на каток одна, грубо отмолчался. Тогда Милочка уже по-настоящему рассердилась, оделась и молча ушла. Пусть дуется один, на диване, в полутёмной столовой.

На улице мела позёмка. Без Саши было холодно и неинтересно. Милочка побродила в сумеречном заснеженном сквере, постояла, нахохлившись, за углом, подставив ветру спину. Вернулась к дому уже совсем затемно. Взобравшись на завалинку, заглянула в ярко освещённое окно столовой. Вся семья была в сборе. Тимофей и Саша сидели у стола над шахматной доской.

И Милочку осенила блестящая идея. Сейчас она тихонько вернётся домой, возьмёт денег, сбегает в гастроном, купит бутылку самого дорогого вина и килограмм самых дорогих конфет. Поставит бутылку на стол и расскажет родным, как глупо она поссорилась с Сашей.

Тихонько приоткрыв дверь, Милочка сбросила у порога валенки и, прикусив губу, на цыпочках пробежала через кухню в спальню. Сунув руку в Сашин портфель, где у них хранились деньги на обратную дорогу, она на минутку прислушалась к громкому, непривычно резкому голосу молчуна Тимофея. Прислушалась и оцепенела. В столовой шёл суд. Немилосердный семейный суд.

— Ты же в ишака превратился! — говорил Тимофей. — По дому весь воз тянешь да ещё вечером на отхожий промысел идёшь, чтобы лишнюю десятку на стороне зашибить. Неужели тебе перед ребятами не совестно калымить? Это при ваших-то заработках?!

Он резко оттолкнул шахматную доску. Вдогонку за легковесными пешками по столу загрохотали тяжёлые кони и ладьи.

— Ну ладно, медовый месяц, я это понимаю, ну, два месяца от силы, куда ни шло. — Было слышно, как Тимофей сердито

---

сгрёб шахматные фигуры в кучу. — А что будет, когда она тебе ребёнка родит? Сейчас ты за домработницу отвечаешь, а потом ещё и нянькой придётся стать...

Саша молчал. Тогда спокойно и негромко начала обличительную речь Надежда.

— Тимофей прав. Так дальше жить нельзя. Неужели она не понимает, что всё это ребячество, эта милая непосредственность, просто не вяжется с её возрастом, со званием учителя, в конце концов. Она словно бы гордится тем, что совершенно беспомощна в быту. Я не хочу сказать, что она, невзирая на все её разнообразные таланты, пуста и никчёмна, но...

Слово «таланты» было произнесено так едко, так уничтожающе, что Милочка, сжавшись от стыда и обиды, закусил губу, чтобы не заплакать навзрыд, во весь голос. Боже мой, неужели это говорят люди, ставшие для неё самыми родными, самыми близкими на земле?

— Ты меня, Саша, извини, — спокойно продолжала Надежда. — Неужели ты не замечаешь, что она неряшлива, чтобы не сказать больше? Роль полотенец у вас исполняют какие-то застиранные лохмотья. У неё полдюжины самых дорогих чулок и ни одной ночной рубашки. К каждому платью какие-то особые ожерелья, броши, а мама срочно вынуждена шить для вас постельное бельё.

— Я и то диву даюсь, — негромко произнесла Феня. — Ты, Сашенька, не обижайся, а ведь правда, какая-то она у тебя беззаботная. Я ей говорю: «Саша у нас всегда такой чистюля был. Всегда чтобы у него пижама на ночь чистенькая, а теперь в чем днём ходит, в том и спать ложится». А она смеётся, как маленькая, ей-богу. А что она лентяйка или эгоистка какая-то, ты, Надя, совсем напрасно. Просто не приучили её с детства к домашности, вот она и получилась такая никудышненькая. И правильно Тима сказал: маленький народится — плохо у вас, Сашенька, будет. Ты думаешь, что они, маленькие, глупые, ничего не понимают. А они и чистоту, и красоту, и порядок очень понимают, хотя сами другой раз, как поросята, в лужу лезут. Надо тебе, пока детей нет, Людашу к домашности приучать, потом поздно будет...

А Саша продолжал молчать.

Тихо и неохотно заговорила свекровь. Казалось, что весь этот семейный суд был ей не по душе.

— И лентяйка... и неряха... и дурочка. Ничего ты, Надя, в ней не поняла. Феня правильно говорит: при таком воспитании из неё полный урод мог бы получиться. А она ребят своих любит и делу своему всей душой отдаётся. Не фыркай,

---

Надежда, учитель из неё со временем прекрасный получится. Я в ней одного не понимаю: Сашу она очень любит, как же тогда допустила, что он институт бросил? Почему позволяет ему ради денег работать не по силам? Знает ведь, что он недавно болезнь тяжёлую перенёс. Сама такая здоровенькая, цветущая, а на тебя, сынок, глядеть тошно.

Тут в столовой зашумели, задвигались. Милочка лихорадочно схватила в полутьме листок бумаги, валявшийся на столе Валеркин цветной карандаш.

— Очень я испугалась, чтобы кто-нибудь из них меня тогда не увидел, — рассказывала Милочка Валентине Сергеевны. — Написала ему записку, взяла денег на билет и убежала. На вокзале боялась, что хватятся и я не успею уехать.

— Что же ты ему написала? — спросила Валентина Сергеевна.

— Не беспокойтесь. Ничего лишнего. Всего несколько слов.

По мнению Милочки, её «последнее письмо» могло служить образцом сдержанности, достоинства и глубокого смысла. На клочке бумаги зелёным Валеркиным карандашом она набросала следующее:

«Напрасно тебя оплакивают. Я с твоими родными совершенно согласна. Ты совершил ошибку. Тебе нужно было жениться на Фене. Ты предал нашу любовь. Видеться мы больше не должны. Людмила Рожнова».

— Да-а-а! — озабоченно протянула Валентина Сергеевна. — Коротко и ясно. Ну, я думаю, у Саши хватит ума не показать своим это нелепое послание.

— Нелепое! — в темноте за плечом Валентины Сергеевны словно сердито фыркнул и ошетинился всеми колючками разгневанный ёж.

— Конечно же нелепое, — вздохнула Валентина Сергеевна. — Какое предательство? В чём его вина перед тобой?

— Он позволил им порочить меня. Как он мог? Как он смел молчать?!

— Во-первых, ты струсила и убежала, когда разговор ещё не был закончен, а во-вторых, что он мог сказать? Что он не забросил учёбу? Что он не изматывает сил ради лишней десятки? Что он не ходит с дырявыми пятками?

— Зачем вы ко мне пришли?! — враждебно воскликнула Милочка. — Вы такая же жестокая, такая же бездушная, как все они. Что вам от меня нужно?! Хорошо! Я — неряха, я — плохая хозяйка. Но разве он не видел этого раньше? Если ему требовалась жена для хозяйства, нужно было поискать себе хорошую домохозяйку, такую, как Феня.

---

— Оставь Феню в покое, — жёстко перебила Валентина Сергеевна. — Судя по всему, Феня не только хорошая хозяйка и мать, она умница, добрый и справедливый человек.

— Пусть так, — досадливо отмахнулась Милочка. — Я ничего от него не скрывала, разве он не понимал, что на роль домработницы я не годюсь?

— А что он годится на роль твоей домработницы, ты понимала? И была этим довольна? Забавно! — вдруг совсем добродушно засмеялась Валентина Сергеевна. — Обычно приходится молодых мужей убеждать, что они обязаны делить с жёнами тяжесть домашних дел и забот, а у вас всё шиворот-навыворот. Ты говоришь: я — неумеха, я — неряха, я — плохая хозяйка, а почему ты не добавляешь: я — плохая жена?

— Потому что это неправда! Саша был со мной счастлив, и вы это прекрасно знаете! Разве может дать счастье плохая жена? Господи! Какая я была дура! Я была уверена, что любовь — это прежде всего общность интересов, взглядов, убеждений, что основное — это... ну... духовное взаимопонимание, доверие, искренность. А оказывается, главное в любви — умею ли я штопать носки, как его мама, и сколько у меня пододеяльников. Да, я не умею беречь деньги, я люблю дорогие чулки и красивые безделушки, потому что у меня раньше их никогда не было. Я даже не знала, как это чудесно: пойти и купить что-нибудь славненькое, просто потому, что хочется купить. И никогда Саша меня не осуждал... Почему же теперь у него не нашлось ни одного слова? Почему же он не объяснил им, насколько всё это глупо, мелко, ничтожно? Ну скажите, скажите мне, почему он молчал? Как он мог позволить им вмешаться в нашу жизнь, бросить им под ноги нашу любовь?!

— В тебе сейчас обида кричит, — тихо произнесла Валентина Сергеевна. — Тебя оскорбило, что родные осмелились усомниться в Сашином счастье. Ты говоришь: мелочное, ничтожное, второстепенное. Не в рваных носках дело, конечно. Беда в том, что ты не заметила, когда Саша перестал заниматься, что по твоей вине он может остаться недоучкой. Поверь мне, этого он тебе впоследствии не простит. Ты позволяешь ему ради денег работать сверх всякой меры. Неужели ты не видела, как он устаёт, как он опускается и тупеет? Ты сама недавно со смехом рассказывала, что он уснул в кино. У него не остаётся времени для чтения, он безобразно запустил общественную работу. Наконец, разве ты не знала, что он должен был вступить в партию? Я ему рекомендацию готовила. А сейчас он тянет, отмалчивается. Почему? Кому же,

---

как не тебе, знать об этом, если ты говоришь о взаимопонимании и доверии.

— А почему, Валентина Сергеевна, вы говорите мне об этом только теперь, когда семья наша уже рухнула?

— Видишь ли, Люда, — Валентина Сергеевна немного помолчала, подумала. — Вмешаться в чужую жизнь, особенно в жизнь молодожёнов, — дело нелёгкое. Очень уж много здесь нужно деликатности, такта. Иногда одним неосторожным словом вместо помощи можно большой вред причинить. Возможно, что мы неправильно делаем, когда слишком деликатничаем с вами. Может быть, нужно именно более решительно вмешиваться. Не страдать молча, наблюдая со стороны, как вы творите одну ошибку за другой, не обижаться, когда вы так высокомерно отталкиваете любую попытку старшего помочь вам не допустить ошибки, может быть, самой неоправимой.

Милочка хотела что-то возразить, но Валентина Сергеевна остановила её лёгким движением руки.

— Саша, например, несмотря на всю нашу дружбу, очень ревностно охранял ваши семейные дела от постороннего вмешательства. А разве бы Николай Иванович просто по-мужски, если не по-отцовски, не мог дать ему доброго совета? И не думай, что только родные усомнились в Сашином счастье. Он сам уже начал сомневаться в своём счастье, потому и молчал в разговоре с родными. Когда вы поженились, многие Саше завидовали, а позднее стали его жалеть. Помнишь шуточки Аркадия Львовича? Он ещё как-то под гитару продекламировал из некрасовского стихотворения:

Белый день занялся над столицей,  
Сладко спит молодая жена,  
Только труженик, муж бледнолицый,  
Не ложится — ему не до сна!  
Завтра Маше подруга покажет  
Дорогой и красивый наряд...  
Ничего ему Маша не скажет,  
Только взглянет... Убийственный взгляд!

Ну и так далее. Напевая, он выразительно посматривал на тебя. Всем нам было очень нехорошо. Саша после этого стал избегать Аркадия Львовича. А ведь раньше они были большими друзьями. После этой истории мы все из-за вас перессорились. Аркадий, разгорячившись, назвал Сашу... Дымовым.

— Дымовым? Подождите... Саша — Дымов... Значит, я — Попрыгунья?

---

— Если бы ты, Людаша, была Попрыгунья, я думаю, Саша не смог бы тебя полюбить, да и я не стала бы время с тобой терять. Перекрестилась бы и сказала: «Слава тебе господи! Прозрел наконец парень».

— Между прочим, — с нервным смешком перебила Милочка, — мои дорогие родственники тоже упорно называют меня Людой, Людашей, Людочкой, а Тимофей даже Людмилой Павловной величал. Жила-была Милочка-мотылёк... стукнули мотылька по крылышкам — и не стало Милочки.

— А ты её, дурынду, не оплакивай, не убивайся, — тихонько засмеялась Валентина Сергеевна. — Меня тоже когда-то звали Лялька... представляешь? Потом Лялька стала Валькой, Валентиной, а к двадцати годам уже и в Валентину Сергеевну оформилась. Всею своё время. А вы, уважаемая Людмила Павловна, и так слишком долго, надо сказать, в Милочках засились. Нет, серьёзно, неужели ты и дальше хотела бы оставаться той маленькой собачкой, которая до старости щенок?

Милочка ничего не ответила. Сидела молча, не шевелясь. Потом неожиданно промолвила упавшим голосом:

— Уснуть бы сейчас крепко-крепко, а утром проснуться — и ничего этого нет. Нет и не было, просто привиделся скверный сон...

Валентина Сергеевна даже сморщилась от жалости, столько в Милочкиных словах было тоскливого отчаяния. А Милочка вдруг горячо зашептала:

— Что мне делать теперь? Как я буду жить? Я не могу без него, вы понимаете это — я не могу! И оставаться мне нельзя, теперь уже ничего не поправишь.

— Не подумай, что я хочу тебя утешать, сюсюкать о том, что «милые бранятся — только тешатся», что «перемелется — мука будет», — не сразу ответила Валентина Сергеевна. — Ты говоришь: семья рухнула. А семьи-то, по существу, у вас ещё и не было, и по-настоящему узнать один другого вы ещё не успели. Нарядили вы друг друга в пёстрые красивые одёжки, а они сейчас помаленьку начали облетать, как листья с осеннего дерева. Саша до сих пор был рабски влюблённым мальчишкой и видел в тебе только очаровательного шаловливого мотылька. А подошло время, когда он должен в тебе увидеть и друга своего, и мать будущих ребят, и доброго духа своей будущей семьи. Всё теперь от тебя зависит. Ты не должна позволить ему себя разлюбить. Понимаешь? Бороться ты за его любовь должна, драться, потому что ты любишь его, и он твоей любви стоит. И ещё запомни. Влюбиться всякий дурак сумеет, а вот сохранить любовь не так-то просто.

---

В каждой семье бывают и ссоры, и примирения. Отшумит буря, придёт в семью мир, кажется, всё миновало, утряслось... а зарубка на память осталась. Старайтесь, чтобы их как можно меньше было, очень уж они порой болят, эти старые рубцы на сердце.

— Значит, у вас, Валентина Сергеевна... Неужели вы это о себе говорите?! — тихо ахнула Милочка.

— Чучело ты моё милое! Если бы в своё время чувство Николая Ивановича и разум его не оказались сильнее глупого гонора, если бы я в последнюю минуту не поняла, чего могу лишиться, не пришлось бы тебе гулять на нашей серебряной свадьбе. Потому-то я и толкую тебе: береги то, что тебе судьба подарила. Дважды в жизни такой любви не бывает. И потом — не расчлений ты любовь: вот на этой полочке интеллектуальное, возвышенное, а на этой — мелочишка всякая, быт. Признаюсь тебе по секрету: ненавижу я нашу бесконечную проклятую бабью работу, но никуда от неё пока не денешься. — Валентина Сергеевна притянула Милочку к себе за плечо:

— Лапки, как у лягушонка, холодные, глаза ввалились. Не спала, не ела, не плакала. А прореветься сейчас совершенно необходимо. Потом чайку горячего и выспаться. С десятичасовым Саша прикатит, и ты должна его хорошо встретить: бодрая, свеженькая, без слёз и бабьих упреков. Прежде всего подумай о нём. Что он за эти сутки пережил. Ложись-ка, я тебя укрою получше.

— Холодно как, — пожаловалась Милочка. — Если бы вы знали, как мне холодно, как у меня сердце болит. Вот он войдёт, а дальше что? А если сразу чужой, что я тогда смогу? И ждать больше пяти часов! — Она громко всхлипнула. — А если он сегодня совсем не приедет?!

Подушка сразу намокла, стала теплее, и очень вдруг захотелось есть, но уже не было сил поднять тяжёлые, набрякшие от слёз, горячие веки.

---

---

## Ульяна Михайловна

Перед самым пробуждением приснилась река. Просторный, синий речной плёс, бездонное, синее-синее небо, и из этой синевы, откуда-то справа, льются потоки света. Заросли черёмухи окаймляют синюю глубину излучины, а над зелёной каймой отвесный песчаный берег... и там, наверху, на самом обрыве, могучие, прямые, как свечи, сосны.

Он плывёт вдоль зелёного берега, стоя в большой плоскодонной лодке. Под босыми подошвами сухие, прогретые солнцем доски.

Вениамин Павлович потянулся со сладостным стоном. Эх, жаль, что сон-то достался короткометражный, но... за открытым окном, словно продолжение сна, синело небо, комната была полна утренней свежести и праздничного света.

Какое же это всё-таки блаженство — возвратиться домой!

После трёхмесячной нервотрёпки, холода, грязи, ночёвок в бараках и палатках... Уже к середине зимы положение на трассе создалось гиблое. И все синяки и шишки за чужие грехи — за просчёты изыскателей и проектировщиков — ему пришлось взять на себя.

И он вытянул. Вывез. Несмотря на весеннюю распутицу, на нехватку механизмов и рабочей силы, на все огрехи в проекте.

Конечно, в тресте знают, на чьи плечи можно взвалить такой груз. У Смолянинова плечи широкие и голова на этих плечах посажена не дубовая, как у некоторых...

Как он, этот чудаковатый дед Часовников с пятого участка, сказал, провозжая его к машине: «Ну, рисковый ты мужик, Вениамин Павлович, рисковый и удачливый».

Удачливый... Ну что ж, пусть будет так. Но удача — бабёнка взбалмошная, с капризами. Она тоже не каждому в руки даётся.

А здорово вчера его в тресте принимали, когда он, прямо со своего заляпанного грязью вездехода, ввалился к начальству.

Впереди отпуск, Ялта, море...

«Самое синее в мире, Чёрное море моё...» — тихонько загудел Вениамин Павлович, блаженно потягиваясь под белоснежной простыней.

В столовой послышались лёгкие шаги. Вениамин Павлович закрыл глаза, сонно распустил губы и старательно засопел.

---

Чуть скрипнула дверь. Валерия на цыпочках скользнула к шифоньеру. Ага, скатерть достаёт новую, салфетки крахмальные. И так, предстоит праздничный завтрак в ознаменование победоносного возвращения главы дома в лоно семьи.

Вениамин Павлович стремительно выбросил руки. Тихонько вскрикнув, Валерия навалилась ему на грудь: «Венка! Жадюга ненасытный, тише. Ребята проснулись!».

Давясь от смеха, она вырвалась из его цепких рук и, оправляя волосы, строго скомандовала:

— Вставать! В душ и за стол!

Господи боже, ну кто поверит, что у этой тоненькой синеглазой девчонки шестнадцатилетняя дочь, что рослый богатырь, этот босяк Алёшка, — её сын?!

Забавная штука — после семнадцати лет брака быть влюблённым в собственную жену. Ещё лучше знать, что и для неё ты единственный, что, кроме тебя и ребят, ей никто не нужен. И откуда взялась в ней эта домовитость, сноровка и умение в домашних делах?

Говоря по правде, семнадцать лет сидела она за спиной тётки Ули. Пять лет в институте, потом с головой ушла в работу. Домой приходила ко всему готовому. И с ребятами горя не знала. Её дело было — выносить да родить хороших ребят, а нянчила и растила их баба Уля... бабуля. Так же, как растила его, осиротевшего шестилетним пацаном... Нехорошо всё же получилось... Сорвалась, уехала куда-то к чёрту на рога. И чего их с Валерой в последнее время мир не стал брать? Такая была всегда славнецкая старуха: весёлая, бодрая... и ребята к ней были привязаны. Видимо, у всех у них под старость характер портится... ворчать начинают, стонать, хныкать.

Наша хотя и не хныкала, но нелады у неё с Лерой начались серьёзные. Правда, не при детях. Уж в этом отношении тётка Ульяна была молодец. Детей она берегла. Иногда Валера её чем-нибудь заденет при ребятах — она отойдёт, отмолчится. Зато потом дуется неделю или, Лерка говорила, истерику у себя в комнате закатит... Нет, надо было всё же поговорить с ней хоть раз... выяснить, чего ей не хватает. Ну да ладно, леший с ней, уехала и уехала, её дело. По крайней мере, Валерия повеселела, хозяйничает, хлопочет... Конечно, ей теперь туговато приходится, ну ничего, тётка ребят к работе приучила, половину домашних дел выполняют Ирина и Алёшка...

Вениамин Павлович не выносил бабьих склок, и сейчас, в это праздничное утро, досадливо отмахнулся от неприятных мыслей...

---

Ульяна Михайловна действительно старуха была неплохая. Из породы неунывающих.

Смолоду работать на производстве ей не пришлось. Замуж она попала на девятнадцатом году в большую и нескладную семью. Старик свёкор и пятеро парней лесенкой. Старшему двадцать пять, младшему одиннадцать. При шести мужиках одной хозяйке и по дому работы хватало.

Муж ей достался хилый, прожил недолго. Пока был жив свёкор, Ульяна Михайловна держалась в доме за хозяйку, хотя в семью уже пришли ещё две молодые невестки, но когда и свёкра снесли на кладбище, никакого смысла не стало батрачить на взрослых деверьях и сношенниці.

Детей у неё не было, а одна голова не бедна. Продала телушку, что выделили ей деверья из небольшого хозяйства, уехала на шахту и устроилась, по трудным временам, неплохо. Работала кастеляншей в небольшом санатории, в трёх километрах от шахтёрского посёлка.

По вечерам ходила в люди: помыть, постирать, с ребятами подомовничать. Жила в крохотной каморочке при бельевой — бесплатно. Питание тоже большого расхода не требовало. То повариха кликнет похлебать щей, оставшихся от обеда отдыхающих, то после уборки квартиры или стирки пригласит поужинать хозяйка. Так что иной месяц всю зарплату целиком можно было потратить на одежду или в копилку отложить.

За нарядами Ульяна Михайловна не очень гналась. Но тут как раз наметилась у неё перемена в жизни. Присватался жених из шахтёров, мужчина одинокий, самостоятельный, с приличным заработком.

Приходилось высчитывать каждый рубль на случай, если дело сладится. Не идти же в дом жениха раздетой-разутой и без копейки в кармане.

Дело шло к свадьбе. Но, словно снег на голову, пришло известие, что младшая, единственная сестра — Тонька беспутная — умерла, а мальчишкой её пригульным распорядиться некому.

Сёстры были в давней ссоре. Тонька за многие годы даже ни на одно письмо Ульяны Михайловны не ответила. Но теперь старое вспоминать было не время.

Отпросившись на неделю, сняла с книжки все свои скопленные гроши, съездила, похоронила сестру честь честью, а шестилетнего Венку привезла с собой. И вся жизнь её пошла кувырком. Самостоятельный мужчина вопрос поставил ребром: тётка не мать, мальчику место в детском доме.

Сколько тогда она наслушалась поучений, упрёков, советов!

---

— Ты, Уля, с ума-то не сходи, — убеждали её бабы.

— Такого человека упустить — это ж идиоткой быть надо. И ради чего! Был бы сын родной, ну тогда, конечно, тогда другое дело...

От этих уговоров Ульяне Михайловне становилось ещё тошнее. Господи, ну как люди могут не понимать?! Тоньку-то она в зыбке укачивала, на загорбке таскала, пока та не научилась бегать... А Венка — Тонькин сын, у него же ни отца, ни бабки, кому он нужен, кроме неё?

О детском доме и слова не допускала. Детский дом — для безродных подкидышей, а Венка не безродный, у него родная, кровная тётка есть.

Жить с ребёнком при бельевой ей, конечно, не разрешили, пришлось снять частную комнатку на окраине посёлка, за три километра от работы.

И дрова, и уголь надо было покупать, и ломать каждое утро голову, чем и как четыре раза в день накормить ненасытного Венку. Был он худущий, но прожорливый, как галчонок.

Главная же беда заключалась в том, что в детский садик принимали только шахтёрских детей, дома оставить его было не с кем, приходилось водить с собой на работу.

И хотя поначалу все сиротку жалели, вскоре начались неприятности. Конечно, была бы это девчонка, дать бы ей тряпочек старых, лоскутков пёстреньких, иголку с ниткой — сиди, приучайся помаленьку к делу, шей своей тряпичной Катьке наряды. А мальчишку, да ещё такого озорника и непоседу, разве удержишь у тёткиного подола?

Совсем же стало безвыходно, когда пришло время отдавать Венку в школу. Начальная школа стояла на противоположном конце посёлка, за железнодорожной линией.

Чтобы самой к девяти часам поспеть на работу, приходилось Венку поднимать чуть свет, уводить в школу, когда там ещё никого, кроме сторожихи, не было.

Пока не начнут сходитья учителя и ребяташки-школьники, он и слоняется и куролесит в одиночку от скуки, как хочет. Начались неприятности и в школе.

И дома тоже было не легче. Хозяйка отказала в квартире.

Топила Ульяна Михайловна скудно. Зима стояла лютая, а у неё каждое полешко, каждое ведро угля было на счету. Да и Венка надоед хозяйке хуже горькой редьки.

Посовалась Ульяна Михайловна в поисках квартиры и работы в посёлке, но ничего подходящего не находилось.

Но нет, видно, худа без добра. Пришло письмо от младшей, тоже рано овдовевшей сношеницы Веры. Последние

---

годы жила она в деревне, вступила в колхоз, но теперь за-сватал её в город хороший человек, и она предлагала Ульяне Михайловне, зная, как бьётся она с сестриным мальчишкой, переезжать и жить в её избе. И пяток кур ей оставила, и козу дойную, и кое-что из домашности, чтобы было с чего Ульяне начать жить и хозяйствовать на новом месте.

Никакой, хотя бы и крестьянской, работы Ульяна Михайловна не боялась, да и выхода у неё не было.

Перед весной Венка переболел воспалением лёгких, совсем отощал, кашлять начал нехорошо.

Врачи сказали: наследственность у ребёнка ненадёжная. Необходимо, во-первых, питание, а во-вторых, чистый воздух, желательней всего лесной, сосновый. А Верина деревня располагалась на сухом, песчаном берегу реки, а прямо за крайними избами стеной стоял сосновый бор.

Собравши свой скудный вдовый багаж — а он весь умещался в двух фанерных чемоданах да в двух узлах, — Ульяна Михайловна откочевала с Венкой на новое местожительство.

На первых порах в колхозе работала она куда пошлут, потом поставили её учётчицей в полеводческую бригаду.

И хотя невелики были колхозные заработки, при своём хозяйстве, при огороде жить всё же стало несравненно легче. Собравшись с деньжонками, Ульяна Михайловна купила на выплату старую швейную машинку и в зимние вечера шила деревенским модницам немудрёные наряды. Это тоже давало небольшой приработок.

На свежем воздухе да на козьем молоке Венка на глазах поправлялся, окреп, двинулся в рост. Школа была рядом, учителя в школе заботливые, душевные.

В первый же год войны Ульяна Михайловна ушла работать на ферму телятницей.

Те годы во сне приснятся — холодным потом обольётся. Сколько бы ни надрывались бабы в работе, без мужиков — кругом прорехи.

Бескормица, а телята, детёныши лопухие, — они же питания требуют. Хлипкие, зябкие... Им тепло необходимо, а в телятнике стены зимним ветром насквозь продувает и крыша вот-вот завалится.

Одна неотступная забота — спасти молодняк. Не допустить падежа, выходить, сохранить любой ценой. Особенно тёлочек племенных. Из-за них Ульяна Михайловна не один раз ревела, хотя по натуре своей была не слезлива.

Плакать походя, принародно обливаясь слезами, она просто не умела. Когда становилось совсем невтерпёж, убегала

---

куда-нибудь подальше от людей и голосила вволю, пока не отляжет от сердца.

Венка и ростом, и красотой, и дерзким характером зародился, видимо, в неизвестного отца. И умом бог его не обидел. Захочет — идёт в школе на круглые пятёрки, и поведение примерное. Вдруг, вроде ни с того ни с сего, поедут на нём черти, и летят все его успехи насмарку.

То ли обидит его кто, а может, о матери заскучает. Ульяне Михайловне всё думалось, что, если ребёнок знал мать живую, должен он о ней помнить и тосковать.

А Венка мать почти что и не помнил. Маячило в памяти что-то смутное, беспокойное, неустроенное. Скандалы по ночам, женский визгливый, истерический плач... И колотушек ему тогда много перепало.

Помнил, как лежала мать на столе, прикрытая белым, кругом толкались какие-то чужие... потом вдруг около него оказалась, словно с неба свалилась, тётка Уля, он её до той поры и в глаза не видывал.

Тётка Уля никогда не дралась, когда сердилась, не визжала и не плакала. Ругала часто, в угол ставила, на улицу, к ребятам, не пускала, если чего-нибудь нашкодит лишнего. И никогда не корила, что вот подобрала его, сироту, содержит из милости, неблагодарного...

Люди так говорили, а тётка Уля им возражала, и с её слов он твёрдо усвоил, что она должна была его принять, и воспитывать, и заботиться о нём, потому что она тётка.

И ничего в этом особенного нет, так и должно быть.

Два раза бросал он школу, три раза убегал из дома, правда, ненадолго.

Ульяна Михайловна, стиснув зубы, крепилась, не бегала за ним, не искала. Никуда не денется, побегаёт и придёт, цыганёнок зловредный.

И он приходил. Грязный, голодный, надутый... а глаза, как у беса, смеются. Ульяна Михайловна топила баню, давала чистое переодеться, говорила за ужином спокойно, без крика:

— Я тебя не держу. Не глянется у меня — иди, ищи, где тебе лучше будет. Но пока ты у меня живёшь, от школы я тебе отбиться не дам. Иди утром в школу, проси прощения, я за тебя страмиться не пойду...

С девятого класса Венка взялся за ум, школу заканчивал хотя и без медали, но с хорошими оценками. Как-то вечером пришла его классная руководительница — милая душенька, Анна Евгеньевна, стала рассказывать, что у Вениамина большие наклонности к математике.

---

— И вообще, Ульяна Михайловна, мальчик он очень одарённый. Я понимаю, как вам трудно, вы на него и так очень много потрудились. Я вас не уговариваю...

А чего её было уговаривать? Она и сама понимала, что такому башковитому, способному к наукам парню одна дорога — в город, в инженерный институт.

Находились сердобольные люди, корили Венку:

— Говорил бы спасибо тётке, что сама недоедала, недопивала, полное среднее образование тебе дала. Сколько же можно из человека соки тянуть? Теперь бы самое время тебе о её спокойе подумать... Молодой, здоровый, грамотный — чего тебе ещё надо?

Вениамин отмалчивался, щуря чёрные цыганские глаза, усмехался дерзко. Он знал, что ему надо, и с тёткой Улей у него всё уже было обдумано и решено.

Костюмчик суконный и ботинки она ему к выпускным экзаменам, наполовину в долг, но всё же справила. Оставалась задача — пальто к зиме успеть завести. Нужны деньги были и на прожитьё в городе, на то время, пока не начнёт он получать стипендию.

Стипендию ему, конечно, дали, потому что экзамены он выдержал хорошо, и в дальнейшем занимался старательно.

Всё же эти пять лет Венкиного учения в институте достались Ульяне Михайловне, пожалуй, даже труднее, чем годы войны. Живя вместе, и пропитаться было легче, а главное, за одеждой тогда не гнались. Есть стёганка — и слава богу. Стёганка тогда на любой сезон годилась. И в зимние морозы, и весной, и осенью себя оправдывала. А в послевоенные годы молодёжь очень стала стремиться к хорошей одежде. Особенно в городе. Да оно и понятно: дело молодое, всегда на людях. В кино барышню пригласить — не пойдёт же парень в стёганке или в подшитых валенках.

Да и в питании приходилось его поддерживать. На одну стипендию в те годы никак невозможно было пропитаться. Домой Вениамин приходил только на большие праздники, нельзя ему было от учения отрываться.

Транспорта тогда никакого не было. Нагрузишь на санки картошки мешок, капусты солёной, ну и ещё чего сумеешь прикопить или заработать: сала шматок, яичек, мёду баночку, — глядишь, наберётся добрый возок. Лямку через плечо — и пошла... А до города сорок пять километров.

На летние каникулы приезжал Вениамин только в первый год, когда перешёл на второй курс. Дальше уже не приходилось: то в студенческий лагерь путёвку дадут, а потом практика.

---

Так что за пять лет виделась с ним Ульяна Михайловна считанные часы.

Настал наконец счастливый день. Читала и переживала Ульяна Михайловна последнее Венкино большое письмо, где он подробно описывал, как успешно защищал он диплом; извинялся, что не может приехать повидаться, потому что получил уже назначение на хорошую работу, в соседнюю область; благодарил тётку за заботу и просил денег больше не посылать. На первое время выдали подъёмные, а там и зарплата пойдёт.

А дальше уже слал открытки — к 8 Марта, на Первое мая, на Октябрьскую. Поздравительные.

Ульяна Михайловна не обижалась. Раз денег не просит, значит, всё у него, слава богу, хорошо. А чего ей ещё надо?

Она и сама от него уже понемножку отвыкала. У него, молодого, своя жизнь, свои заботы. И она ещё не старуха, не инвалидка — чего о ней беспокоиться?

Наоборот, она словно вольную получила. Сама себе не верила, такая у неё началась тихая и спокойная полоса жизни.

Послали её в район на пчеловодные курсы, потом доверили колхозную, до последней крайности запущенную, пасеку. Через год пчёлы уже стали приносить колхозу немалую прибыль.

Всего хватало: и работы, и заботы, но всё же эти последние три года на пасеке вспоминались ей потом как светлый праздник. Столько милой красоты было вокруг, тишины и покоя.

На четвёртый год осенью приехал Вениамин. Солидный, красивый, в сером коверкотовом костюме. Не один приехал — с молодой женой.

Ульяна Михайловна приняла гостей как положено. Праздничным застольем, с хмельной медовушкой, с рыбным пирогом и сибирскими пельменями.

Молодые приехали не с пустыми руками, привезли тётке хорошие подарки: отрез на платье, туфли коричневые на невысоком подборе. Туфли Ульяна Михайловна тут же и обновила — плясала с директором школы «барыню», била дробы с припевками, все гости со смеху полегли.

Была она в тот вечер всем довольна, весёлая. А к чему людям знать, как горько обидел её дорогой племянничек? Не то чтобы на свадьбу пригласить, хотя бы словечком каким известил.

Ну да что с них, с нынешних, возьмёшь — они и у родных-то матерей ни согласия, ни благословения не спрашивают.

Вечер отгуляли, а утром, за завтраком, Вениамин сказал так, вроде бы между делом:

---

— А мы ведь, тётъ Уля, за тобой приехали. Мы квартиру получили, комнату с кухней. Кухня большая, и водопровод есть. Отопление, правда, печное, ну это всё временно. Года через два будем иметь квартиру в центре города, со всеми удобствами...

Дело объяснилось просто: не побереглись ребята, молодая была уже на пятом месяце. А сама ещё только-только на второй курс в университете перешла.

— Выручай, тётъ Уля, нам без тебя — зарез. Матери у Лерки нет, а учиться бросить ей никак нельзя, она у меня умница, далеко пойдёт, если ты нам поможешь.

Ульяну Михайловну Венкины слова никогда бы не разжалобили, но очень уж по душе пришлась ей невестка. Большеглазая, скромная, тоненькая, как былиночка. Ну где же такой и учиться, и с маленьким управляться? Или недоучкой останется, или ребёнку погубит.

Первые месяцы в городе Ульяна Михайловна места себе не находила. Шум, толкотня, воздух тяжёлый. Все чужие, и люди какие-то немилые. До душевного затмения, до хвори тосковала она о своей избушке, о милой пасеке. Бывало, среди белого дня вдруг почудится: пчёлы гудят, стоном стонут, господи, это же рой поднялся... Опомнится, самой жутко станет... Бросить бы всё, уехать, да как же уедешь? Валерия очень тяжело носит, рвоты её изнурили, уход ей нужен. Кто его знает, как ещё поможет ей бог разродиться. Вениамин с лица спал, осунулся, бежит с работы: «Ну как она, тётъ Уля? Чего это с ней, тётъ Уля?».

А потом сразу, можно сказать, в одночасье, всё изменилось. И тоску рукой сняло. И пчёлы в ушах плакаться перестали. Привезли из родильного Ириночку.

Пчёлка моя золотая, вербочка моя, пушинка ненаглядная...

Приникнуть губами к шелковистым волосикам, слушать, как дышит под губами живой родничок, трепетное темечко.

Или возьмешь ножонку, целуешь крохотную подошечку, ей, крохотке, щекотно, она пальчики подождёт, господи-боже, есть же такое чудо на свете — пяточка розовая, круглая, и пять красных горошинок — пальчики, и на каждом ноготок, как лепесточек, перламутровый.

Ульяна Михайловна человек справедливый, бывают, конечно, дети толще и красивее, но таких, как Ириночка, всё же ей видеть ещё не приходилось, Умненькая, ласковая, не крикунья. Словно понимает, что мама болеет, что маме учиться нужно.

Врачи говорили, что для Валерии всего дороже сон.

---

На ночь Ульяна Михайловна кроватьку переносила к себе, в кухню. Закроет дверь поплотнее, и молодых дитя не потревожит, и бабке спокойнее. Чуть шелохнётся маленькая, а бабушка уже рядом. Ш-ш-ш, тихо, моя гуленька, тихо! Сейчас мы с тобой мокрушки уберём, сухонькое, тёпленькое подстелем, ляжем на бочок... а кушать захотим, мамку тревожить не будем, зачем она нам? У нас бутылочка есть, пососём да и закатимся спать до самого утра...

Девочка росла не толстая, но здоровенькая и спокойная. Ульяна Михайловна успевала и магазины обежать, и поесть приготовить, и печи истопить, и квартиру убрать к приходу молодых.

Жили дружно. Случалось, конечно, и плохое, как и в любой семье.

Валерия после Иринки вскоре поправилась, расцвела и похорошела на загляденье. Была она уже на четвёртом курсе. Вечером иной раз задержится на занятиях или на собрании, а Вениамину стало это не по душе. Придумал ревновать, хоть учение бросай. Выпивать стал частенько. А пьяный он смолоду сильно был нехорош. Что ни ночь, то шум. Грубит, сквернословит. Утром посмотришь — у Валерии глаза наплаканы.

Пыталась Ульяна Михайловна его стыдить. Она-то поженски твёрдо знала, что Валерии никто, кроме него, не нужен был, что такие, как она, на измену и распутство не способны.

От жалости к ней, от страха за их молодую любовь Ульяна Михайловна совсем лишилась сна.

Лежит ночью, прислушивается, ждёт беды. Как-то под воскресенье Вениамин пришёл вечером сильно выпивши, злой, нахальный. От ужина отказался, на Валерию рявкнул, чтобы шла спать, и дверь в кухне закрыл рывком.

Ульяна Михайловна лежала в потёмках, рядом в кровати посапывала трёхлетняя Иринка.

Начала было задрёмывать, и вдруг, словно ножом по сердцу, полоснул звук удара и тоненький приглушённый вскрик.

Не помня себя, в длинной ночной рубахе, босая, простоволосая, ворвалась она в комнату молодых, рванула выключатель.

Вениамин лежал на краю постели, откинувшись на подушки, а она, маленькая, сидела, прижавшись спиной к ковру, загородив локтем лицо, комкала на груди порванную сорочку.

В кухне заплакала Иринка.

— Иди к ребёнку! — крикнула Ульяна Михайловна, и Валерия послушно скользнула с постели и побежала мимо неё в кухню.

---

В ушах Ульяны Михайловны шумело. Она ничего не видела. Только это лицо на белоснежной смятой подушке.

Сытое, тупое лицо, наглые мутные глаза.

— Ты что сделал, паразит?! Что ты сделал?! — Её трясло от ненависти и горя. — Ты на кого руку поднял, зверюга?!

Вениамин, приподнявшись, тяжело оперся на локоть:

— А ты что? Тебе что здесь надо?

И тогда она молча, наотмашь хлестнула его по лицу и, повернувшись, пошла, хватая воздух пересошим ртом.

Валерия, скорчившись, лежала на её постели.

— Ничего... ничего... — бормотала сквозь зубы Ульяна Михайловна, торопливо наливая в грелку горячую воду из чайника. — Ничего... поглядим, что он утром петь будет... на-ка, надень кофточку мою тёпленькую...

Она положила к ледяным ногам Валерии грелку, укутала её одеялом, сама прилегла рядом.

— Не жжёт? Ну и ладно... согреешься и уснёшь... Я ему оплеух надавала, это ничего, это ему, паразиту, на пользу... Спи, а завтра пораньше встань и иди куда-нибудь к подружкам или к своим на рудник поезжай, домой не ходи, пока сам тебя не разыщет... да сразу-то не поддавайся, не прощай... чтобы осталась ему хорошая зарубка на память...

А утром, когда Вениамин поднялся, наливая ему чай, сказала спокойно:

— Пятый год женаты, а не разглядел, с кем живёшь... Не из тех она, которых бить можно. Иди, дурак, ищи жену, может, ещё и простит... да запомни: простить-то простит, а забыть она этого тебе никогда не забудет.

Больше она ни тому, ни другому слова не сказала. Будто ничего и не было. Как он с женой мирился, это её не касалось. Может, сам уразумел, на какой риск шёл, чего мог лишиться... А может, и тёткина оплеуха маленько на пользу пошла. Только с тех пор ни выпивать, ни скандалить дома его больше не поманивало.

Через несколько лет — это уже Алёше три года сравнялось и Ириночка в школу ходила — Вениамин Павлович ещё раз протрафился.

Жили они тогда уже в трёхкомнатной новой квартире, Валерия работала на большом комбинате, была на хорошем счету, а Вениамина Павловича перевели в трест с большим повышением.

В общем, казалось бы, жить только да радоваться. Дети здоровы, умненькие, красивые; сами супруги — пара на загляденье; о домашности и о детях заботы они не знали, по-

---

тому что бабуленька ещё в полной силе и с хозяйством могла управляться вполне самостоятельно. Вениамин Павлович часто бывал в длительных командировках. И вот как-то, когда он уже более трёх недель был в отъезде, Валерия получила по почте заказное письмо. В нём доброжелатели извещали доверчивую жену о грешках супруга.

Имена назывались, и даты, и прочие неопровержимые доказательства приводили. Сгоряча Валерия собралась уходить. Молча бродила по комнатам с окаменевшим лицом, укладывала чемодан. Потом, закутавшись в тёплый платок, легла на кровать лицом к стене, лежала до утра одна в тёмной спальне.

Ульяна Михайловна не стала её успокаивать, просить, чтобы не верила сплетням, не убеждала, что Вениамин такого себе позволить не может.

Обе они прекрасно знали, что Вениамин может.

Ульяна Михайловна сказала:

— Смотри сама... только не ошибись сгоряча, не просчитайся. Главное дело — детей осиротишь. Сама знаешь, Венка за тебя и за ребят душу отдаст. Ну, если уже не можешь — режь напрочь, чтобы детей не мучить и людей не смешить: сегодня разошлись, завтра помирились.

И, помолчав, добавила:

— Вот он придет, ты не дуйся, виду не показывай, а до себя не допускай. Постелись отдельно, а когда он спрашивать станет, ты письмецо покажи и разъясни без крику, без ругани, толково... Не в том, мол, дело, что мне за тебя перед детьми стыдно и от людей позор, а что не могу я после твоего паскудства в постель тебя допустить... Видеть тебя мне и то гадко... брезгую я... Да так-то вот и поманежь его недельку, другую, пока он волком не взвоят.

Валерия, осунувшаяся, словно после болезни, внимательно посмотрела в лицо Ульяны Михайловны, усмехнулась чуть заметно.

Она уже не была наивной девочкой, как десять лет назад. За мучительную, бессонную ночь она успела многое взвесить и обдумать... Не сладко в тридцать лет, с двумя детьми, остаться соломенной вдовой, разводкой... брошенной.

Но всё же надо было как-то призвать милого муженька к порядку, отучить пакостить по подворотням. Тут уж любые средства хороши.

Что и как у них происходило дальше, Ульяна Михайловна не знала, да и знать этого не полагалось. Никакого разлада в семейной жизни со стороны заметно не было. Валерия, как

---

всегда, с детьми и мужем была ласкова и заботлива. Только Вениамин Павлович не одну, а полных три недели ходил сам не свой. Встанешь ночью попить, а он сидит в кухне один, и лица на нём нет.

А потом, в одно прекрасное утро, вдруг повеселел, расцвёл, смотрел на Валерию влюблённо, словно они только что заново поженились.

Так всё и обошлось помаленьку.

Дальше жили, как в народе говорят, людям на зависть. Дети родителей обожали. Ни у кого из их сверстников не было таких родителей. Папа — весёлый, сильный, смелый. Он никого не боится, его все уважали и всегда посылали на самую трудную и ответственную работу. Мама — самая красивая, добрая и справедливая. И ещё она была умница и имела подход к людям, так папа говорил. И её тоже все уважали.

Когда супруги собирались в театр — молодые, красивые, — Ирина с Алёшей обмирали от гордости и восторга.

А ребят в театр, на детские утренники водила бабуля. И в цирк тоже. И в кино бабуля ходила только на детские сеансы. Летом бабулю отправляли «отдохнуть» в деревню к Валериним родственникам. Конечно, с детьми. Там был большой ягодный сад. Бабуля варила варенья и джемы, сушила грибы, мариновала огурчики и помидоры. Все эти припасы Вениамин потом вывозил в специально оборудованных больших чемоданах.

Под осень молодые уезжали на курорт, а бабуля начинала собирать ребят в школу.

На родительские собрания в школу чаще ходила тоже бабуля, у молодых свободные вечера редко выпадали, а для Ульяны Михайловны эти школьные собрания были вроде праздника.

Ириночку и Алёшу учителя любили, и даже сам директор школы ставил их в пример другим родителям и бабушкам. И все знакомые и соседи тоже всегда их хвалили. Соседка, жена доцента, мать двух дочерей-подростков, как-то спросила бабулю:

— Ваши дети просто удивительно воспитанные, вежливые, послушные. Помогают вам в работе. Как вы этого достигаете, Ульяна Михайловна? Откройте нам свой педагогический секрет.

Ульяна Михайловна очень тогда смеялась. Тоже нашли педагога!

— Ну какой тут может быть секрет? Главное, я так понимаю, чтобы в семье при детях никогда ни ссору, ни крику не

---

было. Если взрослые не нагрубят, не обидят друг друга при детях, с чего же детям-то грубыми быть или невежливыми? Дети — они же как обезьянки. И дурное, и хорошее прежде всего они от отца с матерью перенимают, ну и от нас, стариков, тоже. А к работе их надо приучать с младенчества. Иринке годика два было, принималась я за уборку, ей в тазик воды налью, дам тряпочку чистую — помогай, доча, бабуле, где же мне одной-то управиться. Вот она и сопит, старается, трёт ножки у стула. А то дашь ей ложки мыть, перетирать. Сажусь сама чулки чинить, дам ей иголку с ниткой — штопай папин носок. Папа приедет, вот порадуется, какая, скажет, дочь-то у меня мастерица растёт, помощница. А Алёше всегда внушала: ты мальчик, мужчина, ты должен всегда маме и бабуле помогать. Никогда не слушай, если скажут: не мужское дело, бабья работа. Это глупые люди придумали, которые ни маму свою, ни бабулю не любят и не жалеют. И к чистоте и к порядку я их тоже с первого года приучала. Тут опять же, конечно, самой нужно всегда аккуратной быть, чтобы в квартире чистота соблюдалась, чтобы они никакого неряшества вокруг себя не наблюдали и знали: насорил, игрушки разбросал — прибрать самому же придётся. Наказывать? Да разве без наказания ребёнка вырастишь? Всякое бывает. И по заднице нашлаёпаешь, и в угол поставишь. Только с моими это ни к чему, только что зло своё сорвёшь. Мои больше всего боятся, если я с ними разговаривать не стану. Я ведь такая: когда нужно, я очень твёрдо себя с ними ставлю. И день, и два могу молчать. Для них это — хуже нет. И у нас так: я накажу — ни Вена, ни Лерочка словечка не скажут, не оговорят меня. Так же и я: папино слово — закон. Мама сказала — значит, так тому и быть.

Так вот и катилась у них жизнь год за годом. Спокойная, налаженная, благоустроенная.

С Валерией у Ульяны Михайловны отношения сложились не очень тёплые, зато ровные, спокойные.

Только в последний год появилась у Валерии какая-то раздражительность, стало прорываться недовольство.

Она никогда не была транжиркой, цену копейке знала. Всегда точно рассчитает, сколько нужно на питание, на другие домашние расходы. И никогда ей не приходилось Ульяну Михайловну учитывать. Отпущенных на хозяйство денег всегда хватало. А теперь она стала замечать, что деньги текут как вода.

— Второе нужно готовить с таким расчётом, чтобы не оставалось от обеда. Вы же видите, что Ирина и за ужином не может есть ваши разогретые битки, а вы ещё и на завтрак

---

детям вчерашнее суёте. Я ничуть не хочу вас обидеть, но неужели вы не замечаете, что последнее время у нас безобразно много денег уходит на питание?

— Так ведь мясо-то, Валера, на рынке приходится брать, и яичек в магазине нету, ты же сама велела три десятка взять, и овощи тоже.

— Ах, пожалуйста, оставьте! Раньше почему-то вы умели и купить, и приготовить, а теперь...

Или ещё:

— Ульяна Михайловна, фрукты покупаются для детей. К чему вы, например, в прошлую среду купили три килограмма винограда? Если разумно распределять, детям вполне достаточно на неделю полтора килограмма, а вы посмотрите: сегодня вторник, а в вазе уже одна кисточка лежит. Поймите, мы не так богаты, чтобы швыряться деньгами...

Раньше, бывало, праздничный стол всегда готовила Ульяна Михайловна. Валерия прибежит, только салат какой-нибудь особенный приготовит или торты украсить поможет, на это она была мастерица.

А начнут гости собираться, бабуля и гостей встречает вместе с молодыми, и угощает, и за столом сидит наравне со всеми. Вениамин, бывало, скажет: «Хватит тебе, бабуля, суетиться, садись давай за стол». И сам рюмочку нальёт и чокнется по-родственному.

А тут гости приходят, Валерия вдруг говорит: «Ульяна Михайловна, всё, что нужно, я сама сделаю. Идите, пожалуйста, отдохайте». Ульяна Михайловна сначала не поняла, вышла в кухню, и тут услышала, как Валерия тихонько, с досадой говорит приятельнице: «Боже мой, до чего же бестактная старуха! Почему ей нужно обязательно торчать в столовой, когда у нас люди?».

Очень нехорошо получилось. Ульяна Михайловна ушла в свою комнату, легла, у неё от стыда за свою глупость под сердцем закололо. Больше к гостям она не выходила.

А через неделю, выйдя из ванной комнаты, Валерия Сергеевна сказала сокрушённо: «Просто не понимаю, куда у нас столько мыла уходит? Не успею положить в мыльницу свежую печатку, смотришь, опять уже обмылок... Прямо как в какую-то прорву всё уходит...».

— Господи, Валерия, с ума ты сошла, что ли?! — закричала Ульяна Михайловна, всплеснув руками. — Да я что, ем, что ли, твоё мыло?! Или ворую его?!

— Пожалуйста, избавьте меня от истерик... — холодно оборвала Валерия и ушла в спальню.

---

А Ульяна Михайловна больше всего боялась домашних ссор. Поднимется крик, наговорят люди друг другу сгоряча всяких грубостей, сама не поймёшь, кто прав, кто виноват. Проще же всего сесть да и поговорить, разобраться по-доброму, кто чем недоволен.

Она выбрала подходящую минуту, когда ни детей, ни Вениамина Павловича не было дома, подседа в столовой к Валерии.

— Не сердись, Валера, ты мне скажи: может быть, у тебя по работе что не ладится или нездорова ты? Вроде я тебе ничем угодить не могу... А что тебе нужно, не пойму никак...

— Зачем же мне угождать? — холодно усмехнулась Валерия. — Это вы привыкли, чтобы мы вам угождали... привыкли, что мы перед вами должны на задних лапках ходить... Вы же в доме хозяйка... вы и детей воспитываете одна. А дети тоже не рады. Ирина уже несколько раз мне жаловалась, что вы мешаєте ей заниматься. Вязываетесь в её разговоры с девочками... В конце концов это Ирина комната, она уже не девочка... Неужели вы не можете в кухне посидеть или пойти к своим приятельницам, чтобы не мешать детям? Алёшей вы тоже помыкаете...

— Не ври! Не ври на детей! стыдно тебе... стыдно... стыдно!

Впервые за семнадцать лет она сорвалась, впервые Валерия услышала её иступлённый крик, увидела искажённое, залитое слезами лицо.

После этой стычки они долго не говорили друг с другом. Вернее, не говорили, когда оставались одни. При детях старались держаться как обычно. Обе они искренне были убеждены, что дети ни о чём не подозревают.

Как-то вечером Валерии позвонил старшей её сестры, Ангелины Сергеевны, муж. Виктор Иванович просил отпустить Ульяну Михайловну подомовничать. Лина очень разболелась, а ему нужно срочно ехать в командировку.

Две недели Ульяна Михайловна ухаживала за больной, хозяйничала, хлопотала, пока не возвратился Виктор Иванович.

Домой летела на крыльях, очень уж наскучалась о детях, да и Валерию было жаль, у неё как раз в комбинате работы было невпроворот.

На звонок открыла Валерия, весёлая, оживлённая. По тому, как сразу потускнела она лицом, Ульяна Михайловна поняла, что не её звонка ждала Валерия и ничуть не рада её возвращению.

---

Только ребяташки обрадовались. Ирина, как котёнок, потёрлась щекой о её щеку, промурлыкала на ушко:

— Ну чего ты так долго?!

Алёшка чуть с ног не сбил, повис с разбега на шее, взвыл разбойничьим басом:

— Ура! Бабуленька пришла!!

Шумную встречу оборвал строгий окрик Валерии Сергеевны:

— Алексей, прекрати сейчас же! Что за идиотизм? Тебе двенадцать лет, идите сюда!

Алёшка, сконфуженно сморщив нос, послушно побрёл в комнату, Ириночка фыркнула, повесила бабулино пальто на вешалку, ещё раз чмокнула её в щеку и, вполне независимо дёрнув плечиком, ушла в спальню матери.

Вот тогда впервые Ульяне Михайловне стало настоящему страшно. Она была лишней, ненужной в этой большой, светлой квартире. Ещё совсем недавно всё здесь было своим, милым, привычным. Была семья. Выросшие на её руках внуки. Нужно было по утрам вставать за час раньше всех, обо всех позаботиться, хлопотать... Можно было поворачивать, что вот никак не выберешь днём минуточки полежать, отдохнуть...

И ничего этого не стало. И без неё в квартире чистота, порядок. Обед приготовлен из трёх блюд, в шифоньере аккуратными стопками уложено без неё постиранное и хорошо проглаженное бельё.

Дети подросли... теперь уже они не обуза, а помощники матери... Они семья... Их четверо, а бабушка, выходит, пятый лишний. Да нет, какая там бабушка? Нянькой она была, кухаркой, прачкой... бесплатной домработницей. А к чему семье домработница, если хозяева в расцвете сил и дети уже взрослые?

Поговорить разве с Вениамином? Нельзя же так, несправедливо это, неправильно. Не сама же она к ним напросилась, не приехали бы они за ней: «Выручай, тётя Уля, без тебя нам зарез...», проработала бы эти семнадцать лет в колхозе, теперь вон и колхозникам пенсии дают... Избушку ту сношеница тогда же продала, давно уже в ней живут чужие люди. Куда же теперь она? Брат старший, Никифор, в прошлом году заезжал на денёк, звал к себе погостить... так ведь и сам уже старый, пенсия на двоих сорок три рубля... Поговорить бы всё же с Венкой... Как говорить и когда? Всё он в разъездах, и неприятности у него сейчас на работе большие. И о чём говорить? Не слепой же он, сам видит, к чему дело идёт. Было

---

один раз, сунулась она к нему, как он тогда обрезал: «Увольте, ради аллаха, сами разберётесь. Только мне не хватало в ваших дрязгах копать».

Да, Вениамин Павлович не выносил бабьих склок, и сейчас, в это чудесное праздничное утро, досадливо отмахнулся от неприятных мыслей. Уехала и уехала. Её дело. Он ещё немного понежился в постели, подождал.

Обычно после длительных отлучек ребята, поднявшись утром, прибежали в ночных рубашонках в спальню, забирались к отцу под одеяло. Иринкина — правая рука, Алёшкина — левая.

Сегодня ребят не было слышно. А вчера вечером встретили они его без обычного визга — папуленька приехал!!! — не вешались на шею, не тискали, не чмокали куда придётся.

Взрослеют, что ли? Иринке шестнадцать, видимо, уже стесняется ласкаться по-ребячьи... А Алёшка? Ах ты, Алёха-булёха, обезьяна лохматая! Сестричкин хвостик, Иришкино зеркальце. Куда Ирина, туда и он...

За праздничным столом было непривычно тихо. Ребят словно подменили. Ирина сидит, вытянувшись в струнку, ох, хороша девчонка растёт, парням на погибель. Улыбается сдержанно на отцовские шутки, кратко отвечает на его вопросы о школьных делах. Подумать только — через несколько недель — десятиклассница. А через год экзамены в институт... конкурс, количество баллов... у папы с мамой прединфарктное состояние.

Алёха сидит ссутулившись, исподлобья вопросительно косятся на сестру. Вот он, этот самый трудный переходный возраст. Вчера ребяташки — весёлые, ласковые щенки, сегодня ни с того ни с сего — замкнутость, сдержанность, секреты какие-то... Хотя, вообще говоря, Алёшке-то ещё рановато ломаться, двенадцатый год...

Валерия поставила на середину стола блюдо слоёных мясных пирожков и налила в чашки золотистый бульон.

Румяная, оживлённая... словно не замечает перемены в ребятах. Ну и хорошо. Ей-то лучше знать...

— Итак, давайте начнём семейную ассамблею... — Валерия окинула быстрым взглядом притихших ребят. — На повестке дня — лето. Алёша, видимо, поедет в лагерь «Соколёнок», папе в тресте обещали путёвку. Ну, а Ириночка — на этот раз с нами в Ялту, как думаешь, отец, заслужила наша дочь такую высокую награду?

---

Иринка нахмурилась и опустила глаза. Вениамин Павлович пригнулся к столу и положил руку на плечо дочери, снизу заглянул ей в лицо:

— А дщерь наша милая чем-то недовольна... Что, соловушка, не весел, что головушку повесил?

Иринка не откликнулась на шутку, не подняла глаз.

— Я никуда не поеду... Я первого выхожу на работу... в ботанический сад...

— На работу?! — смешливо изумился Вениамин Павлович. — Это что же, новый почин, что ли? Всей классной артелью?

— Никакой не артелью... Я сама. Мне нужны деньги...

— Ну-ну! — миролюбиво поддакнул Вениамин Павлович. — Деньги, конечно, всегда нужны... Но для чего, вот вопрос? Может быть, ты откроешь нам с матерью этот секрет?

— Никакого секрета... — Она положила вилку на стол, прикрыв аккуратным треугольничком салфетки. — Просто я должна посылать бабуленьке тридцать рублей в месяц. Поработаю лето, ей на полгода хватит...

— Так... — Вениамин Павлович резко отодвинул тарелку с недоеденным пирожком. — Насколько мне известно, твою драгоценную бабуленьку никто из дома не гнал. Она сама не пожелала жить у нас...

— Подожди, Вена, не горячись... — спокойно прервала его жена. — Нам с Ирой давно нужно было объясниться. Я надеялась, что она одумается, и не хотела тебя волновать. В последнее время она и сама ведёт себя нехорошо, и Алёшу настраивает. Она считает, что мы в чём-то виноваты перед Ульяной Михайловной... Я хочу кое-что напомнить детям...

Она могла в запальчивости накричать, поставить в угол, шлепков могла надавать под горячую руку, но никогда ещё не говорила с детьми таким беспощадно холодным тоном, никогда её лицо не было таким чужим и жестоким.

— Если тебе не изменяет память, ты вспомнишь, Ирина, как ты сама неоднократно жаловалась мне, что Ульяна Михайловна надоедает тебе своей воркотнёй, что, когда к тебе приходят девочки, она ввязывается в ваши разговоры, мешает вам заниматься. Были случаи, когда она выгоняла тебя и девочек из твоей комнаты.

— Ну и что же, что ворчала? Она скажет: «К ужину хлеба нет, сходи в магазин». А у меня девчонки, мне не хочется, ну и... Потом почему ты говоришь — моя комната? Это её была комната, а не моя... она старая, ей отдохнуть нужно, а ко мне девчонки придут, мы дурим, орём.

---

— Хорошо! — резко оборвала Валерия. — А как она Алёшу по голове ударила, вы думаете, мне это неизвестно?

— И ничуть не ударила... — хмуро пробасил Алёшка. — Один разок только стукнула по затылку... Она долбила-долбила: «Не лезь на тумбочку, не лезь на тумбочку...». А я полез, и твою синюю вазу разбил... Ты бы мне дала за эту вазу! А она стукнула меня разок всего, а тебе сказала, что это она пыль вытирала и уронила... А ты на неё: «Не лезьте в мою комнату, не трогайте моих вещей, если у вас в руках ничего не держится...» — и ещё всякое... а она так и не сказала, что не виновата...

— Удивительные дети! — холодно усмехнулась Валерия. — Никакого самолюбия — на них кто-то орёт, их бьют...

— Не кто-то, а бабуля, — тихо вставила Иринка.

— И не орала, и не била, — согнувшись в три погибели, Алёшка упёрся подбородком в край стола. — Вон у Лазаревых бабушка Серёжку ремнём отлупила, а мать говорит: «Мало, ещё надо было добавить».

— Довольно! Поговорили... — резко оборвал Вениамин Павлович. — Алексей, сядь как положено... За столом сидишь. Повторяю: её никто из дома не гнал. Уехала она по собственному желанию, и уехала не куда-нибудь, а к дядьке Никифору, к своему родному брату...

— Дедушка Никифор сам бедный. — Ирина говорила тихо, как-то уж очень твёрдо и непримиримо. — На троих одна его пенсия, и пенсия маленькая... И живут они трое в одной комнатухе...

— Интересно, откуда ты черпаешь такую информацию? — насмешливо спросила Валерия. — Это Ульяна Михайловна тебя информирует?

— Неправда! И ты сама знаешь, что неправда. Все письма бабуля адресует на твоё имя, и ты всегда читаешь их первая и знаешь всё, что она мне и Алёше пишет...

— Откуда же все эти жалобные подробности?

— Мне рассказала тётя Лина... — Иринка подняла голову и прямо взглянула в лицо матери. — Тётя Лина, твоя родная сестра... Только ты не думай, что бабуля ей пишет, жалуется. Дядя Витя ездил туда в командировку и рассказал, как бабуленька плохо живёт... ведь у неё ни пенсии, ничего... ни копеечки нет своей... Кто-то же должен о ней позаботиться...

— Никто ей ничего не должен... — Вениамин Павлович произнёс эти слова с расстановкой, подчёркнуто спокойно. — Повторяю третий раз: её никто не гнал. Мы считали её членом нашей семьи, относились к ней, как к близкому чело-

---

веку. Вы называли её бабушкой, хотя ты прекрасно знаешь, что она мне не мать, а тётка...

— Я знаю. Поэтому я и ходила в юридическую консультацию...

— Что?!

— Я хотела узнать законы... для бабули. Ну мне там всё разъяснили... Если бы она тебя усыновила, когда взяла к себе... на воспитание, теперь ты должен был бы ей платить алименты... По закону. Или если бы вы оформили её домработницей... Маме нужно было учиться, а тут я... вы поехали и стали её просить, чтобы она переехала жить к вам. Возиться со мной, потом с Алёшей... Работать на нас, на всю нашу семью. Вот... если бы вы тогда оформили её как домработницу, теперь она имела бы пенсию. А она не догадалась тогда, не подумала, что так всё может получиться. Вот, оказывается, какие у нас несправедливые, скверные законы.

— Ну вот что... Ты начинаешь заговариваться... — Вениамин Павлович с грохотом отодвинул стул, поднялся из-за стола. — Раз и навсегда я категорически запрещаю тебе, понимаешь? За-пре-щаю!

— Папа, не кричи на меня... — Теперь она уже не прятала от него глаз. Бледная, вскинув подбородок, она смотрела ему прямо в лицо. — Через три дня я получу паспорт, и ты не сможешь мне запретить работать. Ты понимаешь... мне там ещё сказали, что если старик не заработал пенсии и у него нет родных, которые обязаны его кормить, таким дают пособие... десять рублей в месяц... по безродности, понимаешь! По безродности... и ещё есть такие дома... для безродных... Ну я лучше вам всё сразу скажу. Я и зимой буду работать. Десятый закончу в вечерней школе. И в институт поступлю на вечерний или на заочный... Я буду очень хорошо работать, чтобы получить для бабули комнату, а пока найду для неё частную... Я всё равно заберу её сюда, потому что она не безродная. Ей нельзя одной жить без меня и Алёши. Мы с Алёшей уже всё обдумали.

И именно в эту минуту за их спиной раздался смех. Валерия стояла на пороге столовой с кофейником в руках.

Она смеялась звонко, искренне, заразительно. Ну можно ли принимать всерьёз ребячьи выходки!

Лицо её было безмятежно спокойно. Не было на этом свежем, красивом, холёном лице ни тревоги, ни гнева. И голос, только что холодный и жёсткий, звучал сейчас смешливой теплотой:

— Нет, вы только послушайте этих мудрецов — они всё обдумали! Господи, ну к чему этот нелепый разговор? Алё-

---

ша, давай свой стакан. Да садись же к столу... Разгорячились, наговорили, чего не нужно... Тебе покрепче, папа? Ох, Ариша, Ариша! До чего же ты, оказывается, ещё глупенькая девочка... Ни с кем не посоветовалась, ни в чём не разобралась, и начинаешь выкидывать такие фортели: устраиваешься на работу, ходишь к юристам... позоришь папу. Неужели ты не поняла, что папу оскорбило бабулино поведение?

Подняв голову, Вениамин Павлович перехватил её ласково-предостерегающий взгляд.

— Бабуля уехала, не поговорив, не простившись с папой. Она же и с вами-то не простилась, воспользовавшись, когда вы на каникулах гостили у тёти Лины. Она могла обидеться на меня, возможно, в чём-то я была не права, но ведь папа-то её ничем не обидел? Вот он и хотел, чтобы бабуля поняла, что поступила неправильно. Конечно, мы будем посылать ей деньги. И, если будет нужно, папа сможет и комнату для неё получить. Я понимаю, она уже стара, ей нужен покой, отдельно жить ей будет удобнее. Она будет приходить к нам в гости, и вы сможете её навещать, когда захотите.

Она ворковала, разливала кофе, раскладывая на тарелки куски праздничного торта.

Вениамин Павлович, постукивая ногтем по золочённому узору подстаканника, угрюмо слушал вкрадчиво-успокаивающее журчание.

— С папой и мамой нужно всегда быть откровенными. От них ничего нельзя скрывать, тем более нельзя что-то предпринимать без их ведома.

Вениамин Павлович хмуро взглянул на ребят.

Каким жалким и некрасивым стало лицо Иринки. Алёшка слушал мать, приоткрыв рот, уже готовый к улыбке, но, покосившись на сестру, вдруг померк и опустил голову.

Они сидели рядом нахохлившись, как воробьи под дождём. Нет, они ещё ничего не умели скрывать. Отец одним беглым взглядом прочёл отражённые на их лицах чувства.

Смятение и... стыд.

Он тяжело поднялся и пошёл из столовой... Слева в груди что-то нудно, противно сосало.

Он лёг ничком в неубранную постель.

Праздничный завтрак не состоялся.

---

---

# Расплата

Настроение было испорчено с самого утра. Вместо воскресного пирога Мария подала к завтраку яичницу с салом. Григорий Антонович хотел было спросить, где Сергей, почему не выходит к столу, но раздумал.

С Сергеем предстоял серьёзный разговор, и сейчас не время было его начинать. Вчера вечером после работы Григорий Антонович здорово «набрался» у Веньки Пастухова. Как всегда, на людях он не позволял себе распускаться. По улице шёл прямо, твёрдой походкой и, хотя в глазах всё плыло и двоилось, степенно раскланивался со встречными.

Не было такого случая, чтобы он, Малахов Григорий Антонович, свалился хмельной или, что хуже всего, попал в вытрезвитель.

Он всегда успевал добраться до дома, иногда даже раздеться успевал самостоятельно. Дома, правда, он нередко вёл себя не очень достойно. То просто колобродил, не давал семье спать, а иногда начинали вдруг всплывать старые обиды, чудилось, что жена и ребята недостаточно его уважают и хотят как-то унижить.

Тогда он впадал в буйное состояние, нужно было его держать, а он рвался и поносил всех самыми последними словами.

Раньше, ещё каких-то три-четыре года назад, за ним такого не замечалось. Да и пил-то он тогда только по праздникам, в своей, хорошей компании. А что касается сквернословия, то в трезвом виде он и сейчас терпеть не мог, если какой-нибудь стервец похабничал, особенно при детях или женщинах.

Вчера же его развезло раньше времени. Он смутно помнит, как Мария стаскивала с него сапоги, а тапки домашние вроде бы не поставила перед ним, как положено, а бросила на пол... Он очень рассердился, пинком отшвырнул разношенные шлёпанцы, один из них ловко смазал Марию по лицу... Помнит, что Серёжка не выскочил, как всегда, из своей боковушки... Помнит, как швырнул сапогом в раскрытую дверь кухни, зазвенела сбитая со стола посуда, он наклонился за вторым сапогом, но тут его самого швырнуло куда-то вбок, потолок косо опрокинулся и стремительно, но совершенно беззвучно рухнул, увлекая Григория Антоновича в душную бездну.

---

Утром поднялся через силу. Раньше, как бы ни выпил накануне, утром просыпался от голода. Знать не знал, что такое похмелье.

А теперь от одного запаха пищи мутило. Под сердце подкатывала тошнота, ломило затылок, а изнутри была какая-то подлая дрожь, и унять её было невозможно.

Поковыряв вилкой яичницу и выпив через силу стакан крепкого чая, Григорий Антонович набросил телогрейку, прошёл в свою «мастерскую», небольшой сарайчик, где у них с Серёжкой были оборудованы два столярных верстака.

Заводскую свою работу Григорий Антонович очень уважал. Сотворить из куска мёртвого металла тонкую, сложную деталь не каждый сможет, но для сердца, для душевного отдыха у него была его столярка. Ведь какая же это красота, когда над тяжёлым рубанком, плавно скользящим по грани деревянного бруска, расцветёт первый завиток, а за ним, обгоняя друг друга, потекут кудрявые стружки, такие тонкие, нарядные, хрупкие, что на них боязно наступить ногой!

Войдёшь в столярку, и от лесного, смолистого запаха стружки и опилок приходит к тебе какая-то душевная тишина и покой. И двигаться хочется спокойно и не спеша, и говорить негромко и не грубо. В столярной работе оба они с Серёжкой ценили красоту. Мастерили рамы полированные для картин, полки книжные или какие-нибудь этакие лёгонькие, воздушные подвесы для комнатных цветов.

Вот и сейчас, уже третий месяц, Григорий Антонович тайно от Сергея, по особому чертежу мастерит подвесной книжный стеллаж.

Подарок-сюрприз к Серёжкиному семнадцатилетию. Только ни к чему теперь таиться от Сергея. С самой зимы, за всё лето, ни разу не заходил Сергей в столярку.

Григорий Антонович с трудом протиснулся за верстак в угол, достал из тумбочки початую поллитровку и стакан.

Вот оно, чудодейственное лекарство от всех немочей и болезней! Морщась, он налил полстакана, выпил, перекосившись от отвращения. Утром даже слышать мерзко, как она, отравая проклятая, булькает, наполняя стакан.

Закрывшись в столярке, Григорий Антонович бросил в изголовье телогрейку и лёг на верстак. Нужно было решить основное: как, в каком тоне говорить с Сергеем? Шестнадцатилетнего парня в угол не поставишь, ремешком уму-разуму не поучишь. Придётся, видно, говорить по душам, как мужчина с женщиной. Прежде всего рассказать о вчерашнем позоре.

---

Вчера, в конце рабочего дня, Григория Антоновича пригласили в партком. В кабинете, кроме секретаря Виктора Захаровича, сидел директор подшефной средней школы, которую два года назад окончила Веруська, а в этом году будет кончать Сергей.

С директором школы знакомство у Григория Антоновича было, как говорится, шапочное. На родительские собрания всегда ходила Мария. Григорий Антонович в школе побывал всего два раза: на Веруськином выпускном вечере да ещё как-то лет шесть назад, когда проводили встречу школьников с передовиками производства. Он тогда ещё ходил в передовиках. И в тот раз сидел за красным столом на небольшой сцене школьного зала, а этот вот самый директор рассказывал ребятам, какой он — Малахов Григорий Антонович — есть работник. Золотые руки, ударник, гордость завода.

А на передней скамье в зале, битком набитом школьниками, сидели рядом Веруська и Сергей.

Непоседу Веруську распирало от счастья и гордости. Она поминутно крутилась, вглядываясь в лица ребят, — ведь они могли не понять, не расслышать, что говорят о её папке, о её, Верки Малаховой, отце! Серёжка же сидел неподвижно, зажав ладони между колен, смотрел на отца снизу вверх, исподлобья, багровый и вспотевший от радостного волнения.

И ещё однажды сидел Григорий Антонович рядом с директором школы, тоже за столом президиума — в гортее, на торжественном заседании в честь годовщины Октября.

И вот этот человек, имени-отчества которого никак не мог сейчас вспомнить Григорий Антонович, вдруг задал ему вопрос: где Сергей провёл лето?

Вопрос ошеломил Григория Антоновича. Кто, как не директор школы, должен знать, что Сергей Малахов сразу после окончания учебного года был направлен школой и комсомольской организацией в пионерский лагерь в качестве младшего вожатого, а потом уехал на уборочную в совхоз?

— Не был он, Григорий Антонович, ни в лагере, ни в совхозе не был, — хмуро перебил его директор. — К бабушке он ездил, к вашей матери, а потом будто бы на какой-то рудник, со знакомыми парнями. Беда в том, что мы не знаем, что с ним творится последние три года. Уже в седьмом классе он стал более замкнутым, а зимой прошлого года резко снизил успеваемость, пропускал занятия... Учителям стал дерзить, чего раньше с ним никогда не было.

— Это он расстроился, когда Веруська, сестра его... замуж вышла... — торопливо объяснил Григорий Антонович.

---

— Поступок Веры не одного Серёжу расстроил... — Директор пристально посмотрел Григорию Антоновичу прямо в глаза. — Веру в школе считали умной и серьёзной девушкой. Она готовилась в институт и, несомненно, поступила бы. Естественно, насколько всех удивил этот странный брак. Это не замужество, Григорий Антонович, это бегство из дома. Простите, я не закончил. Ваша жена очень больна, и нам приходится её щадить... Она очень тяжело переживает Серёжины срывы, и в то же время чего-то недоговаривает, о чём-то умалчивает. Вы на наши приглашения не являетесь, классный руководитель много раз приходила на квартиру — вас или нет дома, или с вами нельзя говорить, потому что вы пьяны...

Затылок наливался каменной тяжестью, в ушах шумело. Григорий Антонович сипло кашлянул.

Нужно было в конце концов объяснить уважаемому товарищу директору, что перед ним не школьник, которого можно отчитывать, как мальчишку, но тут заговорил секретарь Виктор Захарович.

Из-за шума в ушах Григорий Антонович не сразу вник в содержание его слов, в смысл разговора. А разговор шёл о потерянном авторитете, о былой славе Григория Малахова, утопленной им якобы в рюмке водки.

С трудом проглотив сухой, колющий комок, перехвативший горло, Григорий Антонович сказал, насколько мог язвительно и веско:

— Я, Виктор Захарович, извините, что перебил вас, хочу задать один вопрос: было ли когда, чтобы Григорий Малахов плана не выполнил? Или, возможно, прогул совершил? Или вы из вытрезвителя на Григория Малахова данные имеете? А может быть, будучи в трезвом состоянии, он ценную деталь запорол?

Виктора Захаровича даже перекосило всего, словно он горсть сырой калины разжевал:

— Да разве в плане дело-то, Григорий Антонович? Чего ты младенцем прикидываешься? В твоём цехе народ за звание борется — кто раньше в таком деле был бы закопёрщиком? Антоныч! Дядя Гриша Малахов! Раньше ребята в цехе в тебе наставника видели, а теперь?! А что касается ценных деталей, так... ну ладно, не о том речь. Анатолий Ильич тебе о Сергее не всё ещё сказал... Оказалось, вчера Сергей пришёл в кабинет Анатолия Ильича, заявил, что школу кончать не намерен, и потребовал свои документы.

— Именно потребовал, причём грубо и заносчиво... Серёжа Малахов, которого я знаю с семи лет, один из лучших учени-

---

ков школы, комсомолец... Страшно сказать, Григорий Антонович, Серёжа был... пьян!

Анатолий Ильич резко поднялся из-за стола, встал лицом к окну.

— Вот так-то вот, Антоныч... — негромко сказал секретарь. — Неладно у тебя в семье, и с тобой неладно... Как бы тебе не упустить Серёжку-то! С дочкой скверно получилось, смотри, сына не потеряй.

Слова были добрые, но смотрел он на Григория Антоновича, словно врач на тяжело больного, и директор стоял у окна, как статуя, повернувшись к Малахову спиной.

Григорий Антонович поднялся не спеша, поблагодарил вежливо:

— За беседу спасибо. С сыном меры приму. Послезавтра в школу он сам придёт извиниться за свои проступки... А что касается семейных моих дел, то в них я уж сам лично как-нибудь разберусь.

Он с достоинством раскланялся и вышел, спокойно прикрыв за собой дверь.

Не заходя в цех, он миновал проходную и обычным своим, твёрдым строевым шагом, спокойный, солидный, как и положено человеку его возраста и положения, вошёл в парк.

Идти домой с таким нагаром на сердце было невозможно. Напиваться он не собирался, нужен был просто один стакан красного, чтобы хоть немного сполоснуть с сердца эту едучую накипь, но тут на него навалился Венька Пастухов, потащил к себе обмывать новопкупку — мотоцикл, попробуй откажись, человеку кровная обида.

За обедом Григорий Антонович спросил, где Сергей, почему к столу не идёт. И тогда Мария сказала, что Сергей уже две ночи дома не ночевал. Голос у неё был тусклый, бесцветный, словно муж у неё о котёнке спросил: чего это Мурзика сегодня не видно?

Григорий Антонович опять закрылся в столовке. Дело шло к вечеру, сколько ни бродяжит Сергей, а к ночи всё же должен заявиться.

Натворил, стервец, дел в школе, а теперь не смеет домой глаз показать. Что же всё-таки делать-то с ним? Строгостью брать или добром? Рассказать, как они с матерью всегда гордились его успехами в школе, мечтали дожить до того счастливого дня, когда придёт он к ним с дипломом инженера, а может, и аспирантом станет, доцентом, диссертации научные будет защищать?.. Что в школе никто на него зла не держит,

---

все беспокоятся о нём? Пойти надо — извиниться. Ничего не поделаешь — вот его, Григория Антоновича, вызвали в партком и за сыновьи проступки отчитали, как мальчишку... Да... а в парткоме-то он повёл себя с самого начала в корне неправильно. Глупо себя повёл, нетактично.

Люди-то они стоящие, а главное — свои люди! Сказать бы просто: «Точно, мужики, всю мою жизнь — и заводскую, и семейную — словно трещиной расколото...». И про детали Виктор Захарович справедливо намекнул... Забыл уж Григорий Антонович, когда ему сложный заказ поручали. А он и не просил. Не надеялся он теперь на себя. На золотые свои умелые руки. Ни силы, ни точности, ни верности в них не стало.

Авторитет... Не в том дело, что давненько исчез с заводской Доски почёта его портрет, что уже дважды обошли его на выборах, не включали в состав делегаций по обмену опытом.

Другое хуже. Гошка Савельев, пропойца, хулиган, на днях подошёл, хлопнул свойски по плечу, предложил скинуться на двоих.

И Рогачев с Тереховым, подонки, тунеядцы, подходят теперь запросто, как свой к своему. Как к ровне подходят!

И в семье неладно. Ещё год назад, бывало, Мария плакала, ругалась, уговаривала его не пить. А потом, как Веруська сбежала и с матерью он поругался, замолчала. В доме словно только что покойника вынесли. Не тянет теперь домой. Опыты всё.

А в конце-то концов, не каждый же вечер он пьяный приходит, и скандалит тоже не всегда.

Если разобраться, не так уж много от семейных требуется: не лезть на рожон, когда видишь, что человек выпивши... В других семьях и не такое творится...

Ну Мария... больная, точно, даже с работы пришлось уволиться, а ребятам чего не хватало? Ни разу пальцем не тронул, трезвый словом плохим не обидел, одевал обоих, как картинку, ни в чём отказа не имели.

А как они его любили! Когда портрет его на городской Доске почёта вывесили, Мария говорила, каждый день в центр бегали, на папку любоваться.

Однажды по радио передавали репортаж о его цехе. Он сам и думать забыл о передаче. Лежал в воскресный день на диване с газетой, а Веруська услышала, завизжала: «Тихо! Слушайте!!! О папке передают!!!».

Серёга, тот в чувствах своих сдержанный, даже улыбаться от радости стесняется, а Верка, как передача закончилась, шлёпнулась на отца сверху, как тигрица, обхватила за шею,

---

растрепала всего, зацеловала, а ведь большая уже дурёха была, годов четырнадцать, не меньше.

А Мария стоит в дверях, к косяку привалилась, смотрит на него, а глаза синие-синие, и слезами налились — от радости... На него и на ребят глядя...

Вечерами дом, как улей, гудел. К Веруське подружки набегут, у Сергея в боковушке чего-нибудь мальчишки мастерят...

А когда начал он выпивать, перестала дочь подруг в дом водить, и сама вечерами подолгу нигде не задерживалась — боялась мать одну оставлять... А у него всё чаще стали выпадать ночи, когда колобродил он и бушевал часами, и сон не мог его повалить.

Так получилось и в ту проклятую ночь. Помнил смутно, что рвался куда-то бежать, а Мария, Веруська и Сергей висели на нём, пытались удержать.

И не то он кого-то грубо толкнул, не то его кто-то по лицу смазал — свалился он, уснул мёртвым сном, заспал всё, что произошло. А на другой день, проспавшись к обеду, узнал, что Веруська уехала, а проще сказать, сбежала с Лёней Кружилиным. Этого Лёню, заезжего сахалинского рыбака, перекаатиполе, Ивана безродного, никто в доме и за жениха не принимал. Приходил по вечерам, сидел в уголке на диване, следил за Веруськой робким, преданным взглядом. И высидел. Дождался, когда девчонка сгоряча разум потеряла. Увёз тайком, как вор.

Мария тогда сильно приболела. Пришлось Григорию Антоновичу съездить в деревню за матерью.

Мать Григорий Антонович очень уважал. Она была справедливая, а это качество он ценил в человеке превыше всего.

Жизнь матери досталась трудная. Овдовела она двадцати семи лет, замуж больше не пошла — молодая, здоровая, красивая, пронесла своё вдовье звание, ничем его не замарав, потому что нужно было ей вырастить трёх сыновей. Первенца Павлушу и двойнят-близнецов Мишу и Гришу.

Без отца сыновей растить нелегко, но парни у неё подрастали работающие и послушные.

Только подросли они не ко времени. Грянула война, и из троих вернулся к матери один младший из близнецов, Гриша. Григорий Антонович.

Демобилизовавшись, Григорий Антонович в деревне не остался. Уехал в город, поступил на завод, встретил Марию.

Каждый год отпуск они проводили в деревне, у матери. А когда народились Веруська и Сергей, мать подолгу гостила у них.

---

Каждый приезд её для семьи был праздником. Больше всех любил бабушку Сергей. Не зря ревнивая Верка называла Серёжку «бабыным сыночкой».

На этот раз, горько оплакав с Марией нелепое Веркино замужество, присмотревшись к неладной их жизни, мать сурово сказала Григорию Антоновичу, когда были они один на один:

— Ты, Гришенька, Манькиного ноготочка не стоишь... Она, дура, любит тебя, все твои подлости покрывает, жалеет тебя... Тебе бы побережь её, не за ради её самой или детей, а за ради своего собственного интересу... Ты же пропадёшь без неё...

Слова эти очень обидели Григория Антоновича. Два месяца как мать у них гостила, он сдерживал себя, натуру свою ломал. Всего раза два пошумел выпивши... Но разве на них угодишь? Всё равно в доме ни шутки, ни смеха, как раньше бывало.

А мать старым своим умом никак не могла понять, что Гришеньке-то её пятый десяток к концу идёт. Что поздно теперь его уму-разуму учить, на праведный путь наставлять... И не след невестку против родного сына натравливать...

И он сорвался. Пришёл во втором часу ночи. Велел Марии горячего сготовить, пошёл к Сергею в боковушку, но тот, стервец, завернулся с головой в одеяло, отвернулся к стене.

Мать тоже к столу не вышла, хотя, конечно, не спала.

И вот от этого молчания, от этого их безмолвного бунта, накатило такое зло, такая охватила обида... Видимо, вся выпитая за вечер водка в тепле в мозги ударила. Дальше он ничего почти не помнит... Матери вроде бы показалось, что он Марию хочет ударить, она Марию собой загородила...

Утром, когда он спал, мать уехала, не повидавшись с ним, не простившись. Хотя бы выругала как следует на прощание. Расспрашивать, чем и как он обидел мать, было не в его правилах. Что было, того не исправишь, пройдёт время — помаленьку забудется материнская обида и всё образуется.

Но после её отъезда в доме окончательно всё затихло. Сергей осунулся, как после болезни. На мать не надышится, а с отцом всего разговору: да... нет...

Потолковать бы с сыном по душам, но дыбом вставало отцовское самолюбие: нет же, щенок лопухий, не тебе перед отцом этаких принцев Гамлетов разыгрывать, между отцом и матерью клинья вбивать... Родители поссорятся и помирятся, а твоё дело телячье...

Григорий Антонович завозился на верстаке. Сел, крепко потёр лицо ладонями. Нарастала тревога. И вспомнилось такое, отчего сердце точно клещами сдавило.

---

Четырнадцать лет назад... Тогда их теперешний микрорайон был городской окраиной, отделённой от центра речной протокой. Моста ещё не построили, и жители заречья с городом общались своими средствами — зимой по льду, летом переправлялись на лодках.

Стоял холодный ноябрь. Воду схватило первым льдом, но ходить через протоку ещё не разрешали.

Двухлетний Серёжка второй день капризничал, хныкал, всё время просился на руки, а поздним вечером у него перехватило горлышко, и он стал задыхаться. Никакие домашние средства не помогали.

К часу ночи стало ясно, что нести его пешком через дальний городской мост или бежать искать какой-то транспорт поздно. А детская больница со старым прославленным врачом была в центре — только протоку перебежать.

Тогда он завернул Сергея в одеяло и побежал к реке. Он бежал ночными безмолвными улицами и думал об одном — только бы добежать... Успеть донести живого.

Он спустился под крутой берег, ступил на тонкий, ещё не окрепший лёд. Под ним лежала тёмная ледяная глубина. Стиснув зубы, он лёгким звериным шагом отошёл метра на два от берега и побежал на маячившие впереди городские огни.

На середине реки он услышал за плечом прерывистое, хриплое дыхание. Мария бежала за ним, прижав обеими руками к груди длинный шест.

Не замедляя бега, он крикнул через плечо: «Не подходи близко, дальше держись!».

На бегу он приоткрывал уголок одеяла, ловил уже совсем тихое сиплое дыхание Серёжки, припадал на миг к набухшей пульсирующей жилке на мокром от холодного пота виске.

Он успел. Серёжке разрезали горлышко, сунули в разрез резиновую трубку, воздух хлынул в лёгкие, и он начал дышать.

А в приёмной на диване, запрокинув голову, лежала Мария. Лицо у неё было голубое, на голубом темнели фиолетовые губы. Время от времени она открывала глаза: огромные, пустые, нездешние. Около неё хлопотали люди в белых халатах.

Только тогда Григорий Антонович узнал, что у неё больное сердце. Сначала он очень напугался, ходил за ней, как за ребёнком, но, выписавшись из больницы, Мария осталась такой же молодой, красивой, весёлой. Больное сердце не мешало ей работать, растить ребят и любить своего не очень-то покладистого и удобного в жите Гришу.

---

Григорий Антонович, сидя на верстаке, всё поглядывал в оконце, чтобы не прокараулить, когда зайвится блудный сынок с повинной своей головушкой. И всё же прокараулил. Поднял голову на скрип двери. В дверном проёме стояла Мария, седая, с окаменевшим лицом.

— Иди... Сергея возьми...

— Что такое? Что с ним?! — холодея, спросил Григорий Антонович.

— Пьяный он... — Голос у Марии был такой же тусклый и серый, как её лицо.

Сергей сидел на земле, привалившись спиной к калитке. Григорий Антонович приподнял его, поставил на ноги, и сын довольно бодро прошагал до крыльца. Потом вдруг бессильно повис, начал валиться, и его пришлось внести в дом на руках.

Нужно было протащить его в боковушку и уложить спать, но в прихожей Сергей вдруг с силой отпихнул отца локтем в грудь и, пошатываясь, вошёл в столовую.

— Ты, Серёга, не дури... — миролюбиво посоветовал Григорий Антонович, взяв его за плечо. — Пошли давай спать...

— Нет, батя, не выйдет! — Сергей, покачнувшись, оперся о стол. — Мы с тобой сейчас... за круглый стол... мы с тобой сейчас ассамблею проводить станем... — Он громко, по-дурацки захохотал и тяжело плюхнулся на стул.

— Милости прошу, товарищ Малахов! Приса-жи-вайтесь, не стесняйтесь... будьте как дома... — Он опять захохотал, и Григорий Антонович молча сел на указанное ему место.

— Ты на меня, батя, не выбру... не вы-бу-ривайся! Больше я тебя не боюсь... потому что ты... нуль, понятно? Нуль... и без палочки. Ты всё ещё себя считаешь: я — Малахов! Идёшь по улице — пьяный вдребезину... нос кверху... грудь колесом... как верблюд, с незнакомыми людьми направо-налево раскланиваешься... милостиво... а ребята за тобой бегут... хохочут, потешаются...

Сергей не то хохотнул, не то всхлипнул, вытер рот мокрой рукой.

— В бригаде твоей мужики говорят: «Малахов... жёрнов у нас на шее... гнать надо... и жалко — всё же был... Малахов!». Конечно, там ты тихий, не нашумишь... это дома тебе раздолье... здесь тебе всё дозволено! Мы с мамой забыли уже, как это люди вечером лягут и спят... Мы, батя, не живём... а ждём... какой придёшь! Чего над нами вытворять будешь? А ты, батя, хитрый! Знал, что мама в партком не побежит жаловаться, она и нас приучила... только бы люди не знали,

---

что ты дома творишь! Я всё паспорта ждал, хотел, как Верка... дунуть куда глаза глядят, а потом думаю: нет, шалишь! Мы сперва с бате́й на пару — попьём, погуляем. Ты — рюмку, я — две...

— Слюни подбери, сопляк... — тихо посоветовал Григорий Антонович, до боли стиснув сцепленные на коленях похолодевшие пальцы.

— А что? Противно?! — Навалившись грудью на стол, Сергей, ухмыляясь, смотрел в побелевшее лицо Григория Антоновича. — А нам не противно за тобой убирать, за пьяным? А маме не противно, когда ты... такой вот, в постель к ней лезешь?!

Григорий Антонович, мертвея, начал медленно приподниматься над столом.

— Что? Бить будешь? Бей! Ну, бей! Мне теперь ничего не страшно!

Григорий Антонович боялся оглянуться. Мария сидела у двери, прислонившись затылком к стене. Равнодушная, безучастная, она словно дремала, скрестив руки под грудью и закрыв глаза.

— Бей! Всё равно не боюсь! — прокричал Сергей и, размахнувшись, швырнул со стола пепельницу. — Я тебе теперь неподвластный... понял? Как Верка... Верка моя...

Сергей всхлипнул и тяжело ткнулся лицом в сжатые кулаки:

— У неё пальцы хирургические... она бы теперь на второй курс перешла, а у неё скоро ребёнок... зачем ей ребёнок?! Конечно, ты никогда не помнишь, что пьяный над нами делаешь, так я тебе напомню!! Я тебе объясню!! Почему она из дома сбежала, что тогда было...

Мы с мамой тебя держали, а Верка всё тебя оглаживала, уговаривала: «Папуленька, не надо! Папуленька, успокойся!». А ты маму локтем в грудь, наотмашь, со всей силы, прямо по больному её сердцу... она упала... Тогда Верка размахнулась и тебя по... по морде!

Мы думали, она с ума сойдёт, как она над тобой кричала... Ты храпишь, а она руки тебе целует: «Папуленька, прости!».

А что ты с бабушкой сделал?! Тоже не помнишь? За то, что маму она от тебя заслонила... ты ей прямо в лицо: «Отойди, старая падаль...» — а потом ещё...

— Серёжа... — тихо, предостерегающе окликнула его Мария.

Но тут Сергею стало плохо. Он покачнулся и, вцепившись в скатерть, начал валиться со стула.

---

Григорий Антонович перетащил его на диван, но Сергей вдруг напряжился и, оттолкнув отца, сказал совершенно осмысленно, твёрдо произнося каждый слог:

— В школе мне делать нечего... Не судьба нам с Веркой учиться... Мне теперь ничего не надо... Мама у нас скоро помрёт... Вот когда ты её доконаешь, тогда я тебя убью...

Он хотел ещё что-то сказать, но судорожный спазм перехватил его горло. Сергей бился в руках Григория Антоновича, то обессиленно откидывался на подушку, то вновь корчился, сотрясаемый мучительными спазмами.

Наконец он затих. Отирая мокрым полотенцем бледное до синевы Серёжино лицо и худую мальчишескую грудь, Григорий Антонович бормотал какие-то давно забытые слова:

— Ничего, серенький, ничего, потерпи... сейчас легче будет... спи, маленький, спи...

Тут он увидел жену. Мария лежала навзничь, запрокинув голову так же, как тогда, в больнице. И так же на голубом лице темнели фиолетовые губы.

— Маруся, худо тебе?! Я сейчас, ты потерпи, добегу до гаража, «скорую» вызову!

— Не надо... — прошептала Мария. — Отлежусь... в буфете в вазочке нитроглицерин... скорее...

Он никак не мог грубыми своими, трясущимися пальцами ухватить крохотные крупинки... Серёжка сказал: «Она ведь у нас скоро помрёт...».

— Теперь... там же капли... грелку к ногам...

Он делал всё как положено, но флакончик с каплями прыгал в пальцах, звенел о край стакана... Кипяток фыркал, вырываясь вместе с паром из резинового жерла грелки.

Серёжа сказал: «Вот когда ты её доконаешь...».

Он присел подле Марии, взял холодные её, вялые руки в свои, приник к ним, пытаясь отогреть дыханием.

И она помаленьку начала дышать всё ровнее и спокойнее. Лицо оживало, голубизна отлила от щёк, темнела только под глазами да вокруг рта.

— Маруся, слушай, что скажу... — Он склонился к её лицу, словно боясь, что она может не услышать, не понять его.

— Сама знаешь, я тебе обещаний никогда не давал, прощения не раз просил, а слова не давал... А ты знаешь: слово моё твёрдое... Ты только скрепись, не дай болезни ходу, станет вам с Серёжкой получше, я за мамой съезжу, ты не бойся, я уговорю её, упрошу... она простит...

И тут фиолетовые Марусины губы тронула усмешка:

— Она-то простит...

---

— А ты?!

— Господи! — тяжело вздохнула Мария. — Разве во мне дело, Гриша? Дети...

— Маруся, мы Веруську рожать сюда заберём... — торопливо зашептал Григорий Антонович. — Захочет, пусть Лёню своего сюда перетащит, он парнишка неплохой... Пущай Веруська учиться идёт, а маленький её для нас с тобой не обуза, знаешь... будем мы его нянчить... А за Сергея ты не бойся. Мой грех, мне исправлять...

— Иди к нему... не отходи... чтоб не случилось чего...

Сергей лежал скорчившись, поджав колени к груди. Григорий Антонович принёс из прихожей тёплый полушубок, положил поверх одеяла.

Сергей застонал, заметался, вцепился руками в руку отца. На миг открылись его мутные, налитые страхом и болью глаза:

— Папа!

— Я с тобой, я с тобой, сынок! Спи давай, я с тобой! — подтыкая сбившееся одеяло, шептал Григорий Антонович.

Он сидел, сгорбившись, у постели Сергея. Когда накатывала дремота, ему чудилось, что бежит он по тонкому, некрепшему льду.

Серёжа, укутанный в ватное одеяло, оттянул руки, бежать ему трудно и неудобно, но его гонит страх...

Успеет ли? Донесёт ли? Не поздно ли?

---

---

## Сон без сновидений

Когда знакомые женщины начинают жаловаться на детей, на их эгоизм и бездушие, плачутся, рассказывая о семейных распрях и скандалах, Лидия Павловна сочувственно вздыхает. Она искренне жалеет их, этих несчастных матерей.

Что может быть хуже, если в семье нет мира? Это же самое важное в жизни человека — мир в семье. Тогда и работа идёт на лад, и никакие трудности не страшны.

Она их очень жалела, но в глубине души не понимала, как это можно: плакаться перед чужими людьми, жаловаться на детей, рассказывать о них плохое?

Конечно, дети по молодости лет, по горячности могут иной раз и сделать что-нибудь не так, и сказать не то, а мать — на то она и мать, чтобы не допустить в семье до греха.

О себе Лидия Павловна говорила: «Мне на Серёжу грех обижаться. Всем бы матерям таких сыновей».

Она гордилась Серёжей. Несмотря на пережитые трудности и лишения, он у неё получился удачный: настойчивый, серьёзный и очень способный к наукам.

Отца Серёжа не знал. Так уж сложилась жизнь, что не сумела Лидия Павловна выйти замуж, засиделась в девушках, а когда уже перевалило за тридцать, выпало ей недолгое счастье.

Всего полгода длилась их горькая тайная любовь. А потом, вызванная анонимным письмом, приехала жена, привезла детей, двух девочек-подростков. Приехала для расправы. Готовая на всё: на скандал, на драку, — лишь бы сохранить семью, не позволить какой-то жалкой машинистке, вековухе несчастной, при живом отце осиротить двух детей.

Не от позора и не от страха перед скандалом бежала тогда Лидия Павловна из родного города. И его, единственного, не побоялась бы она поставить под удар — пусть бы пришлось им уехать на край света... Не скрывала бы она от него, что через полгода родит ему сына, — всё могло обернуться иначе. Но она знала, что, как бы далеко он с ней ни уехал, половинка его сердца останется там, с брошенными детьми и... с немилой женой, с которой, плохо ли, хорошо ли, прожил он без малого шестнадцать лет.

---

Бежала она куда глаза глядят, потому что не было у неё на свете близкого человека, с которым можно поделиться такой бедой.

Бежала налегке. Через плечо связанные ремнём чемодан и тючок с постелью, в одной руке дорожная сумка, в другой — главное её достояние — старенькая машинка «Ундервуд».

Через полгода родился Серёжка. Стало легче — отступила смертная тоска, притупилась боль. Нужно было работать, очень много работать, чтобы Серёжа ни в чём не нуждался, чтобы у него было всё, что имеют другие, отцовские дети.

Как следует обжиться на новом месте Лидия Павловна не успела. Началась война. Эвакуация волокла её с пятилетним Серёжей на руках от Киева до Омска. В Омске их с эшелона сняли. Серёжа бредил, задыхался, а на последнем перегоне затих, перестал плакать и просить водички. Двое суток Лидия Павловна просидела на ступеньках крыльца детского изолятора. Из-за строжайшего карантина родных дальше крыльца не допускали.

К концу третьих суток к ней вышла пожилая нянечка и сказала, что дыхание Серёжи прочистилось, только что он поел каши, выпил полстакана киселя, дай бог не сглазить, доктор сказал: похоже, парнишка всё-таки выживет... Лидия Павловна не заплакала, не сказала спасибо за добрую весть. Она закрыла глаза и прислонилась к перилам крыльца. Потом поднялась и пошла в город искать работу и хоть какое-то пристанище, чтобы было куда выписать Серёжу из больницы, если он всё-таки выживет.

В тот же день её взяли машинисткой на большой машиностроительный завод, и койку дали в рабочем общежитии. В коллективе её очень ценили за грамотность, за мастерство, за ровный, ласковый характер, за ненавязчивую готовность помочь любому в трудную минуту.

После болезни Серёжа стал совсем тощенький и прозрачный. Спасти его могло одно — хорошее питание. Прокормиться машинкой в те трудные времена было невозможно.

Лидия Павловна ходила на разгрузку вагонов, расчистку путей от снега, потом ей подвернулась постоянная, очень выгодная работа.

Жена старого профессора, эвакуированного из Ленинграда, пожилая, рыхлая женщина, пригласила Лидию Павловну через день по вечерам «помогать ей по хозяйству». Называть Лидию Павловну приходящей домработницей у деликатной профессорши не поворачивался язык.

---

Вскоре она порекомендовала Лидию Павловну ещё в два дома. В конце концов распределились все вечера недели, и выходной день был полностью загружен. Работой этой Лидия Павловна очень дорожила. Хозяйки не только позволяли приводить с собой Серёжу, но и усиленно его подкармливали.

Прошло несколько лет. Серёжа пошёл в школу, и через него Лидия Павловна познакомилась со старенькой учительницей Анной Алексеевной.

На окраине города у Анны Алексеевны была небольшая квартирка. Сама она занимала спальню, а проходную столовую сдала Лидии Павловне. Вскоре они стали жить одной семьёй.

Лидия Павловна привела в порядок старый, запущенный домишко, разработала давно заброшенный огородный участок — он для их маленькой семьи стал важным подспорьем.

Всем своим одиноким, истерзанным сердцем привязалась она к чужой доброй старухе, ходила за ней, как родная дочь ходит за больной матерью. А потом, когда пришёл неизбежный срок, схоронила, оплакала, и родная могила ещё крепче привязала её к новому гнезду.

Учился Серёжа неровно. В начальных классах он мог служить натурой для плаката «Пионер — всем детям пример». А в шестом классе вдруг задурил, и настолько, что на педагоге дважды ставился вопрос о его пребывании в школе. Седьмой он всё же закончил с хорошими оценками и с пятёркой по поведению, а в восьмом опять вышел из колеи.

А для Лидии Павловны целью и смыслом жизни было «создать для Серёжи условия», «вывести в люди», «дать ему высшее образование».

Жилось трудно, но всё же жили они не хуже людей. Теперь Лидия Павловна уже не ходила по домам «помогать по хозяйству». Кормила машинка. Заказов было в избытке. За ценой она не гналась, а качество давала отличное. Как бы поздно, засидевшись над уроками, ни ложился Сергей спать, из кухни доносился неутомимый стрекот «Ундервуда». Матери всегда нужно было закончить «очень срочную работу».

Серёжа никогда ничего не просил, но мать не могла видеть его голодных, упрямо-печальных глаз, когда он чего-нибудь очень хотел. И всегда в нужный момент у него появлялось всё необходимое, о чём он мечтал, что видел он у других мальчиков, тех, у которых были отцы.

Студентом третьего курса Сергей женился. Неразумный шаг, но что поделаешь? Первое, настоящее чувство. Серёжа никогда в этих вопросах не проявлял легкомыслия.

---

Втайне Лидия Павловна давно мечтала о том дне, когда Серёжа «встанет на ноги» и приведёт в дом молодую. Она даже имя для будущей милой невестки подобрала. Оленька или Наташа... а ещё лучше Любушка... Любаша — скромная, застенчивая, ясноглазая. Войдёт и будет называть мамой.

На деле всё получилось несколько по-иному. В комнату уверенно и без тени смущения вошла тоненькая интеллигентная дурнушка с очень красивыми неласковыми глазами.

И имя у неё было какое-то холодноватое, не очень милое — Лариса.

Со свекровью она держалась в меру приветливо и называла её по имени и отчеству.

Лидия Павловна ничем не проявила своего разочарования. Невестка была трудолюбива, чистоплотна, экономна — качества в молодой женщине ценнейшие, а главное — она любила Серёжу.

Что ещё нужно матери? Вот только, обращаясь к Ларисе на «ты», Лидия Павловна на первых порах ощущала какую-то неловкость.

Но потом ничего, привыкла. Молодые поселились в маминной спальне, а мама перебралась в проходную столовую.

Поднималась она в шесть часов утра. Нужно было успеть прибраться в доме, приготовить для ребят горячий завтрак и обед. Самой ей дома обедать не приходилось. Комбинат, где она продолжала работать, находился в «Новом городе». Трамвая в их сторону ещё не проложили, а пользоваться автобусом она считала для себя недопустимым расточительством.

Ровно в восемь она будила молодых и лёгкой трусцой бежала на службу.

А вечером, прибежав домой, спешила переделать всю «чёрную» домашнюю работу: вытопить печь, постирать, вымыть пол.

К приходу молодых в маленьких тёплых комнатках царилла свежая, всегда словно предпраздничная чистота, на кухонной плите, источая аппетитные запахи, ждал горячий ужин. За ужином Сергей рассказывал, как прошёл день. И хотя для матери в его рассказе уже не всё было понятным, она могла слушать его без конца. Что-нибудь, тоже очень интересное, добавляла немногословная Лариса, потом и Лидия Павловна рассказывала с своих служебных делах.

У неё на работе почему-то всегда случалось много забавного, а посмеяться Ермаковы любили. Даже несмеяна Лариса нет-нет да и зазвенит своим негромким мелодично-хрустальным смехом.

---

Этот час драгоценного отдыха за семейным столом был наградой за длинный, утомительный день. После ужина молодые садились за книги, а Лидия Павловна, помыв посуду и поплотнее прикрыв дверь, чтобы не мешать детям заниматься, примащивалась за кухонным столом со своим дряхлым «Ундервудом».

Лишняя копейка теперь стала ещё нужнее.

Питание ребятам требовалось хорошее: ведь они так много работали, а у Ларочки то туфлишки прохудились, то платьишко ей к празднику нужно сшить.

У молодых на долгие годы вперёд всё было строго спланировано: когда они окончат институт и на какой завод добьются назначения; к какому сроку Сергей на этом заводе сможет создать свою экспериментальную лабораторию; когда произведут они на свет первого сына.

И вот в этом-то, последнем пункте плана они просчитались. Запроектированный сын решил появиться на свет значительно раньше намеченного срока. Были упрёки и ссоры, были неумелые попытки избавиться от беды, но истекли все сроки, и пришлось готовиться к встрече незваного гостя. На супружеском совете молодые решили: выход один — маме придётся оставить работу.

У Лидии Павловны оборвалось сердце, когда её познакомили с этим решением.

— Вы с ума сошли, ребята?! — Она растерянно переводила взгляд с невестки на сына. — Как же мы будем жить? И потом... мне же пенсию могут дать...

Молодые невесело молчали.

— Да и совсем не обязательно бросать работу... — ободрённая их молчанием, зашепила мать. — Вы не бойтесь, я управлюсь. Он вам не будет мешать, я сама буду его в ясли носить...

У Ларисы округлились глаза.

— В ясли? — спросила она негромко. — Я надеюсь... вы пошутили, Лидия Павловна...

Голос её звучал спокойно и, как всегда, неумолимо вежливо, но и Сергей, и мать знали, что таится за этим внешним спокойствием.

Лидия Павловна уронила руки на колени, и тут же этими маленькими, изуродованными непосильной работой руками завладел сын. Нежно перебирая и поглаживая мамины пальцы, Сергей заворковал милым своим молодым покоряющим баском:

— Всё от тебя теперь, мамуленька, зависит. Только от тебя. Не бросать же Ларке институт. А ясли, конечно, отпадают, она

---

права. Малышу нужен полноценный уход. Перебьёмся два-три года, окончим институт, и всё образуется. А пенсия... ты не обижайся, но ведь это же гроши. Нам твоя помощь нужна сейчас... Ты должна нас выручить...

Должна... Ну конечно, должна... Кто же ещё, как не она, может им помочь?

Вместо ожидаемого сына родилась Люсенька. Ещё одна заноза в сердце. Родилась Люсенька в срок, но чахленькая, словно недоносок.

Просто удивительно было, что такое хиленькое, такое крохотное существо могло так оглушительно вопить, требуя от окружающих полного и беспрекословного подчинения.

Лидия Павловна считала, что, когда пупочек зарос, можно время от времени давать ребенку прокричаться, но Лариса с первых же дней установила непреложный закон: ни при каких обстоятельствах Люсе нельзя давать плакать. Её нельзя сравнивать с другими, здоровыми детьми. Ребёнок слабенький, хрупкий, требующий особого, индивидуального подхода.

Наступила новая, нелёгкая полоса жизни. Молока у Ларисы не было. Люсеньку Лидия Павловна выкармливала искусственно. Нужно было успеть управиться со всеми домашними делами, сбегать в консультацию с бутылочками за молочными смесями — готовить их дома Лариса не разрешала — и всё это между делом, потому что основным занятием было умиротворять Люсеньку, не давать ей кричать. И самое главное — нужно было на две студенческие стипендии ухитриться сводить концы с концами.

И опять до глубокого ночного часа стрекотала в кухне машина. Вставать же теперь приходилось ещё раньше. Люсенька поднималась ни свет ни заря, нужно было ловить момент её пробуждения и вовремя унести в кухню, чтобы она своим утренним рёвом не разбудила Серёжу и Ларочку, дала бы им поспать лишний часок перед уходом в институт.

Лариса после родов ещё сильнее похудела. Сергей засел за дипломный проект — здоровый, спокойный сон был для них необходим. Понемногу мать научилась, особенно когда Люсенька болела, обходиться почти без сна.

Правда, с утра поташнивало и покачивало от слабости, но с этим можно было справиться. Главное, что в институте у ребят дела шли отлично, а у Люсеньки вовремя прорезались зубки и болела она не чаще, чем «другие, здоровые дети».

Окончив институт, Сергей с головой ушёл в любимое дело, завод для него стал самым интересным и значительным ме-

---

стом на земном шаре. Через год окончила институт и Лариса. С годами рос недостаток, но возрастали и расходы.

Получили в центре города трёхкомнатную квартиру. Две комнаты, исключая бабушкину, требовалось заново обставить. Нужно было прилично одеваться: к этому обязывало положение. Подростала Люся и тоже требовала немалых расходов. Полновластным распределителем кредитов теперь стала Лариса. На хозяйство она давала в обрез. У бабушки порой ум за разум заходил, как дотянуть до полочки. Выручала кормилица-машинка. Старые клиенты не забывали Лидию Павловну. Заказов хватало.

Только вот сил становилось всё меньше, и ссорка уже стала не та. А по-прежнему хотелось, чтобы, придя домой, дети могли хорошо поесть и отдохнуть, и чтобы Люсенька при них поменьше хныкала и привередничала.

В домашние дела Лариса Львовна не вмешивалась.

Только в одном она непрекаемо требовала подчинения своей воле: Люсю нельзя раздражать, нельзя наказывать. При её нервной конституции любая форма грубого давления может вызвать тяжёлый кризис.

Все попытки бабушки приучить девочку к самостоятельности и порядку натыкались на каменное противодействие матери.

И Люсенька очень рано поняла, каким мощным козырем она владеет против всех бабушкиных козней.

— Вот я скажу маме, как ты меня мучаешь! Я спать хочу.. У меня головка болит, — ныла она, когда бабушка пыталась заставить её вечером собрать разбросанные по всей квартире игрушки. И не желала ложиться в постель, и жаловалась, и истерически рыдала, когда мать приходила домой.

В результате — несколько дней угнетающего, отчуждённого молчания Ларисы, холодный взгляд, пресекающий любую попытку к объяснению. Лидия Павловна не боялась невестки, конечно, нет, просто не хотелось в семье грех заводить, хотя и горько было сознавать, что внучка-то растёт урод уродом.

Всему приходит своё время. К концу шестого десятка наступило неизбежное. Начало тревожить сердце. Чаще всего по утрам, когда домашние дела обступали со всех сторон, где-то в левом подреберье возникала боль. Не очень острая вначале, постепенно она опоясывала грудь, вонзалась в плечо и левую руку, отнимала дыхание. Казалось, вот сейчас, ещё одна последняя минутка — и настанет конец. В холодном поту, в смертной тоске, посеревшая и уже полумёртвая от боли и

---

страха, лежала она в ожидании этой последней своей минуты. После приступа долго дрожали и подламывались ноги, из рук всё валилось.

Неумытая Люсенька с хныканьем бродила по неубранной квартире, изнывая от безделья и скуки. Она не умела жить интересно без бабушкиной помощи.

А бабушка вышла из строя. Пришлось взять приходящую домработницу. И тут начали обнаруживаться странные вещи. Выяснилось, что за восемь договорных часов домработница Катя никак не успевает управиться со всеми домашними делами; что в сумму, ассигнованную Ларисой Львовной на хозяйство, уложиться невозможно; что Люся ни одного часа не может обходиться без посторонней помощи и обладает способностью любого, самого уравновешенного человека довести да белого каления своими требованиями и капризами.

Пришлось Ларисе Львовне самой включаться в ненавистное ей домашнее хозяйство.

Внешне она ничем не проявляла недовольства или раздражения, но жить подле неё становилось всё более неуютно. Даже Сергей Николаевич теперь всё чаще по вечерам стал задерживаться в своей лаборатории.

И вечерние встречи за семейным столом утратили свою былую прелесть.

Чтобы не мозолить ближним глаза, бабушка отсиживалась в своей «отдельной» комнатке, в которой они жили вдвоём с Люсей. Больное сердце лишало её возможности двигаться, но у неё оставались ещё две доступные ей радости: рукоделие и её дряхленький «Ундервуд».

Всю жизнь рукоделие было для неё видом отдыха и особого удовольствия. Она не только умела вышивать на любой манер, и гладью и крестом, — оказалось, что она владеет чудесным древним искусством кружевницы. Певуче постукивают старинные кленовые коклюшки, сплетаются, перекрещиваются тонкие нити, и на тугой подушке, утыканной стальными булавками, возникает дивной красоты узор.

Лариса Львовна считала, что любовь к рукоделию говорит «об интеллектуальном убожестве женщины», но бабушкины дары — кружева-паутинки — принимала благосклонно. Ни в каком магазине такую прелесть не купишь ни за какие деньги.

Кроме того, сидя за рукоделием, бабушка разрешала ещё одну нелёгкую задачу — удерживала подле себя Люсеньку.

Особенно ценно это было по вечерам, когда Сергею Николаевичу и Ларисе Львовне нужно было позаниматься или

---

просто спокойно отдохнуть, а Люсеньке на сон грядущий требовалось похныкать и покапризничать. Наверное, ни одна кукла в мире не имела таких изысканных нарядов, как Люсины куклы, и ничья другая внучка не слушала столько бабушкиных сказок под мелодичный перезвон кленовых коклюшек.

Время от времени, когда позволяло больное сердце, бабушка отправлялась в поход к старым своим клиентам и брала немного работы.

Совсем немного, только чтобы не переводилась хоть и небольшая, но всё же своя, собственная копейка.

Но пришла новая беда. Осенью Лидию Павловну свалил ревматизм. Четыре месяца кочевала она из клиники в клинику. Потом её выписали домой, хотя изуродованные болезнью суставы ещё сильно болели и, что самое страшное, опухшие пальцы рук почти совсем перестали ей повиноваться.

Люся очень скучала без бабушки, но, когда её привезли из больницы, Люсе казалось, что привезли какую-то не ту, не её бабушку — такая она стала маленькая и старая... И глупая.

Лидия Павловна не понимала, какие горькие перемены принесла ей старость. Неверными стали движения, отказывала память, появилась навязчивая старческая болтливость.

Но она ничего не понимала и упорно цеплялась за своё привычное место в жизни. Она пыталась ещё хоть в чём-нибудь, хоть чуточку быть полезной.

И всем мешала и вызывала в окружающих раздражение.

Однажды, когда бабушка, тяжело дыша и нудно шаркая подошвами старых Ларисиных тапочек, полчаса бродила по столовой с тряпкой в руках, Лариса Львовна не выдержала:

— Боже мой! Лидия Павловна, ну кому это нужно? Идите к себе, отдыхайте!

Люся быстро и немного испуганно взглянула на мать, на бабушку. Нет, бабушка не обиделась, она молча пошла к двери, только Люсе показалось, что бабушка стала ещё меньше ростом. И ещё Люся заметила, что бабушка после этого случая входила в столовую только когда звали есть, и изредка вечером, если там находился папа.

Побыть около сына, поговорить с ним теперь доводилось нечасто. Он всегда спешил, всегда был переполнен своим, личным, и в этом личном места для матери уже не оставалось.

Как-то в поликлинике ей повстречалась Серёжина лаборантка. Приветливо поздоровавшись, она поздравила мать с радостью. Ну как же! У Сергея Николаевича такие успехи на

---

работе, его представили к премии, о нём недавно в газете писали, неужели Лидия Павловна не читала?

— Ну, что вы! Как же... — через силу улыбаясь, возразила мать. — Говорил Серёжа... и газету показывал...

Разве можно было признаться чужому человеку, что не пришёл Серёжа порадовать её своей победой? Замотался... Забыл. А может быть, просто в голову не пришло, какого торжества, какого праздника лишил он мать.

Раньше Лидия Павловна почти не умела плакать. Времени, что ли, не хватало. А теперь слёзы текли сами собой. Но плакать в одиночку скучно. Нужно, чтобы кто-то добрый и понимающий сидел рядом... и погоревал бы вместе с тобой, и подбодрил: «Потерпи немножко, скоро лето, пожаришь на солнце свои косточки, подлечишься, и пойдёт дело на поправку...».

Как-то в особенно горькую минуту, когда совсем уже непереносимо болели руки, Лидия Павловна пошла в комнату сына.

Ларисы Львовны не было дома.

Сергей Николаевич куда-то очень спешил. С озабоченным лицом он торопливо завязывал перед зеркалом галстук.

Он очень спешил, и он уже привык к мысли, что мать стара, больна, что в её возрасте положено плакать и жаловаться на старческие недуги.

— Доктора, Серёженька, говорят, что одними лекарствами теперь уже не поможешь... — всхлипывая и суетливо отирая опухшими пальцами слёзы, спешила выговориться мать. — Я думала, в больницу опять лечь полечиться, а они говорят, ни к чему... — Лидия Павловна не решилась сказать сыну, что доктор, кроме покоя и лекарств, настоятельно рекомендовал грязевое лечение. Но ведь грязи — это курорт!

— Ну вот и хорошо... вот и правильно... — рассеянно пробормотал Сергей Николаевич, разыскивая в коробочке затерявшуюся запонку. — Отдыхай, отдыхай мама... и поменьше расстраивайся. Что тебе ещё нужно? Ты отдыхай...

Время от времени Сергей Николаевич сам заходил в комнату матери, но эти визиты уже не приносили ей радости. Он словно повинность отбывал. Он уже отвык делиться с матерью тем, что составляло основной смысл его жизни. Труд его давно перерос в творчество, мучительное и радостное. И что в этих трудных и сложных делах мог понимать человек, уже впадающий в детство?

Чаще всего они говорили о Люсеньке. Косясь — как ему казалось, незаметно, — на часы, Сергей Николаевич вяло тол-

---

ковал о странной неспособности Люси к математике, и что английский ей тоже даётся трудно. Придётся, видимо, искать репетитора.

Люся в семье по-прежнему считалась слабенькой, хотя за последние годы она очень окрепла и выглядела даже упитаннее других, «здоровых» детей. Деликатно поддакивая сыну, Лидия Павловна каждый раз взволнованно обдумывала, не попросить ли у него немного деньжонок.

Но тут же отказывалась от этой мысли.

Во-первых, деньгами в семье заправляла Лариса Львовна, сын оставлял себе только на карманные расходы, во-вторых, он мог понять её неправильно, мог подумать, что она жалуется на невестку.

А Лариса Львовна никогда ей в деньгах не отказывала. Беда была в том, что все эти новые лекарства «от сердца» очень дорогие. Как-то она принесла от врача два рецепта. Лариса Львовна просмотрела их и, усмехнувшись, пожала плечами:

— Для чего же вы на одно лекарство выписываете два рецепта? Запасы решили делать?

— Это же не я, это, Ларочка, доктор. Она говорит, лекарство очень полезное, а бывает в аптеках редко... — торопливо начала объяснять Лидия Павловна.

— Ну хорошо, хорошо! — перебила Лариса Львовна. — Сколько же вам нужно?

— Да я, Ларочка, точно-то не знаю... Все они теперь какие-то дорогие...

— Двух рублей, я надеюсь, достаточно? — Она порылась в сумочке и положила на стол две помятые бумажки.

Вообще-то Лидия Павловна рассчитывала получить три рубля. Щёточка зубная у неё совсем вытерлась, и ещё очень хотелось сходить в баню.

Никак не могла она со своими несчастными суставами приспособиться к глубокой и скользкой домашней ванне. Конечно, если попросить, Ларочка не откажет, даст, но просить на баню язык не поворачивался. Вскинет Ларочка изумлённо тонкую бровь: «Кто же ходит в баню, если есть собственная ванна?!».

И правильно, если разобраться, любой здравомыслящий человек расценит такую причуду как нелепую, старческую блажь...

В то ясное, в меру морозное утро Лидия Павловна в самом наилучшем настроении отправилась в поликлинику. Ночью она славно отдохнула, руки почти не болели, и сердце

---

не мешало, а под утро ей приснилось что-то очень хорошее. В квартире уже никого не было, только в кухне, готовя обед, негромко напевала домработница Катя.

Из поликлиники, очень довольная и проголодавшаяся, она зашла в аптеку, потом посидела в скверике, отдохнула немного, полюбовалась на спящего в коляске румяного малыша.

Уже подходя к дому, вспомнила, что сегодня на второе Катя готовила любимые Серёжины голубцы в сметане, и настроение у неё стало ещё лучше.

Она не очень спешила, потому что была суббота, короткий день, обедали позднее, но всё же не сумела рассчитать времени и к обеду опоздала.

А делать этого не полагалось. Семья сидела за столом.

В спешке Лидия Павловна, не переобувшись в коридоре в домашние туфли, ввалилась в столовую в своих разношенных, подшитых ботах.

Торопливо просеменя на своё место за столом, она оживлённо и пространно начала рассказывать, как принимала её сегодня новая врачиха — такая молоденькая, такая милочка, и имя словно специально для неё придумано — Ия Витальевна.

Лариса Львовна налила тарелку супа, твёрдо поставила её перед бабушкой, твёрдо и коротко сказала: «Ешьте!». Бабушка тревожно и вопросительно взглянула на невестку: что это, господи, какие-то они сегодня все надутые, уж не поссорились ли перед обедом? Она очень хотела есть, но ещё сильнее хотелось ей поделиться своей радостью: ведь это же просто удача — попасть к такому милому врачу. Продолжая рассказ про милочку доктора, она торопливо и жадно глотала суп, потом выловила аппетитный хрящик и стала звучно обсасывать жирное, хорошо уваренное мясо. Сын, опустив глаза, хмуро доедал суп. Лариса Львовна, страдальчески сжав губы, отодвинула тарелку и положила ложку на стол. Тогда Люсенька, и сердясь, и жалея бестолковую бабушку, с жестокой ребячьей прямоотой оборвала её увлекательный рассказ:

— Ну бабушка! Ну чего ты кости хватаешь, когда у тебя и зубов совсем нету! Смотри, у тебя жир по подбородку течёт!

— Людмила! — угрожающе пророкотал отец.

— Как можно, Люся?! — укоризненно простонала мать.

— Ну, а чего она как маленькая! Смотреть противно... — уже со злыми слезами в голосе закричала Люся.

— Выйди из-за стола! — рывкнул Сергей Николаевич. — Будешь есть в кухне, пока не научишься держать себя за столом!

---

Лариса Львовна медленно отодвинула стул.

— Извините меня, но я тоже, видимо, не умею держать себя за столом... — и, натянуто улыбаясь, пошла вслед за рыдающей Люсей в кухню.

Отшвырнув салфетку, выскочил из-за стола и Сергей Николаевич. Грохнул дверь, закрылся в спальне.

Лидия Павловна посидела ещё немного за опустевшим столом... Есть уже не хотелось, но всё же обидно было, что не успели голубцов покушать... Дура старая, сидела бы себе спокойно, а на неё, на старую бестолочь, разговоры напали... Ведь видела, что Серёжа сидит такой суровый, видно, на работе что-нибудь не поладилось, и Люсенька была расстроенная, иначе с чего бы она так на бабушку накричала. Она подождала ещё немного: может быть, обойдётся? Вот выйдет сейчас Серёжа — и все помирятся... а голубцы и разогреть недолго...

Поздним вечером лежала она в своей тёмной комнатке и всё казнила себя: вот ведь что, старая, натворила, девчонку из-за стола выгнали и спать уложили в столовой, одну, на диване.

Тревожно и напряжённо вслушивается она в ночную тишину. Серёжа такой нервный, вспыльчивый. Наговорит в горячке чего не надо, а Лара обиду прощать не умеет. Не раз уже бывало, что она после ссоры по неделе с Серёжей не разговаривала.

Серёжа виду не подаёт, а в душе, конечно, мучается. Оба, глупые, мучаются. Смотреть на них сердце разрывается, а помочь ничем не можешь... не нужна им теперь твоя помощь...

Но мать напрасно тревожилась. Никакой семейной ссоры не произошло.

— Ты сейчас раздражён, взвинчен, и я тебя понимаю... — говорит Лариса Львовна, сидя перед зеркалом и накладывая на лицо ночной крем. — Но ответь мне на один вопрос: многие ли старухи пользуются такими жизненными условиями, как Лидия Павловна? У неё отдельная комната, хорошее питание, абсолютный покой. Одета, обута. Разумеется, мы не имеем возможности покупать для неё новое, но я отдаю ей вещи, которые ещё вполне могла бы носить сама. Я не понимаю, что ещё нужно человеку её возраста? В чём мы можем себя упрекнуть? Люся, разумеется, заслужила наказание, но нужно быть справедливым, Серёжа... Ведь порой ты и сам с трудом сдерживаешься, а Люся — ребёнок, и многого ещё не в силах понять... Боже мой, что делает с человеком старость, — горестно вздыхает она. — Ведь ещё совсем недавно Лидия

---

Павловна была совершенно другим человеком. Как она была аккуратна, чистоплотна, сколько было в ней деликатности, такта... И самое ужасное, что она совершенно не понимает, как с ней трудно!

А бабушка всё не могла уснуть. Откуда она берётся, эта проклятая бессонница? Десятки лет она недосыпала, тысячи часов недосыпала, теперь только бы и наверстать! Никто тебе не мешает... никому ты не нужна... спи себе на здоровье, а сна нет, хоть глаза коли... И лезет на память такое, что уже давно пора забыть. О чём нельзя вспоминать, особенно в бессонную ночь.

Как это было, когда Серёжа в школе висел на волоске... Такой был всегда умный, спокойный мальчик, а потом словно подменили ребёнка... С хорошими детьми раздружились... учителей перестал уважать... Дерзкий стал, заносчивый, скрытный... Как она мучилась, пытаясь дознаться: что ему нужно, чего ему не хватает?

Её вызывали в школу. Сначала классный руководитель, потом завуч, потом сам директор. Ей разъясняли, внушали, требовали, чтобы она повлияла на сына. Вместе с Серёжей её «выводили на педсовет».

Это была Голгофа. От Серёжи требовали немногого: чтобы он попросил прощения и дал слово... А он стоял перед ними и молчал.

А было ещё и такое. Встретился ей человек... Очень хороший человек... умный и добрый... И красивый... И по годам ровня. Ей даже перед людьми было неловко — так она тогда расцвела вдруг и похорошела. Он мог заменить Серёже отца, но Серёжа с первой встречи люто его возненавидел.

Как-то она вернулась домой поздним вечером, помолодевшая, оживлённая, и Серёжа понял: сейчас всё решится, сейчас она ему скажет... Он забился в угол постели и, оцетинившийся, несчастный, стискивая зубы, чтобы не разреветься навзрыд, твердил хриплым от слёз голосом: «Мне теперь всё равно... делай, что хочешь... а я уйду!». Она прекрасно знала, что куда он не уйдёт и не сделает ничего страшного, но она знала и другое: никакого счастья у неё не получится. И как раз в это время у него начали налаживаться дела в школе... Какая уж там любовь, если ребёнок опять мог выйти из колеи...

Уже в смутной полудремоте припомнилось совсем недавнее. Ранняя весна... Серёжу вызвали в трест, он опять придумал что-то очень интересное и ценное для завода. Она сидит на кухне, чтобы не прокараулить его, ей не терпится узнать: как всё это там было, в этом самом тресте?

---

Как его принимали, хвалили, наверное, благодарность выносили...

Он приходит возбуждённый, сдержанно сияющий. В руке у него два букетика ранних подснежников. Маленький он так любил живые цветы, и она всегда приносила ему весной букетик самых первых, ранних подснежников. Лучась благодарной улыбкой, мать смотрит на букетик — сейчас она нальёт в голубую вазочку воды и поставит милый Серёжин подарок на тумбочку у самой постели.

— Лариса пришла? Людашка дома? Ну, а ты как? — спрашивает на ходу Сергей Николаевич и, не дожидаясь ответа, уходит в комнату.

Цветы он принёс жене и дочери.

Сергей Николаевич спит без сновидений. Спокойно и крепко, как положено спать здоровому усталому мужчине.

А что, если бы вдруг под утро ему приснился сон... путаный, зыбкий, нелепый...

Вот он в заводской кассе получает зарплату, шутит с миловидной кассиршей, не спеша пересчитывает солидную пачку денег, и вдруг... чепуха какая-то, совсем это не заводская касса, а бабушкина спальня... Но в руках та же пачка денег...

Он отделяет несколько бумажек и кладёт их перед матерью.

Оказывается, это её пенсия. Та самая пенсия, которой он её в своё время лишил. Небольшие деньги, но вполне достаточные, чтобы вернуть ей давно утраченное чувство независимости.

Тут опять всё смещается, куда-то уплывает... Он уже на улице, он ведёт под руку мать, бережно ведёт, принаравливая свой широкий шаг к её мелким, семенящим шажкам. Они не спешат, у них есть в запасе время, чтобы до начала сеанса ещё попить в буфете. Он приносит ей на картонной тарелочке пирожные...

Смешно, но это те самые «наполеончики», какие она приносила ему когда-то в дни полочки...

Снова путаница, какая бывает только во сне. Он приходит вечером домой. В коридор выскакивает Люся, виснет у него на шее.

«Как себя бабушка чувствует?» — спрашивает он тихонько.

«Она опять плакала...» — шепчет Люся, и Сергей Николаевич, крикнув, идёт в комнату матери.

«Что-то устал я сегодня зверски, ничего уже в голову не лезет... — говорит он, с хрустом потягиваясь. — Слушай, мам,

---

как ты смотришь насчёт в картишки перекинуться? За вами с Люськой должок, вы же меня в прошлый раз три раза подряд в дураках оставили. Реванша жажду!!!»

Он тасует карты и рассказывает ей, какие великолепные парни работают в его лаборатории, как он с их помощью придумал ещё одну занимательную штуку.

И — странное дело — оказывается, она всё понимает... всё прекрасно понимает.

Разные сны могут привидеться человеку, особенно под утро.

Но Сергей Николаевич спит без сновидений.

---

---

## Живи одна

Предстоял разбор персонального дела. Собственно, до разбора было ещё далеко. Пока что на столе Колмакова лежал единственный документ — жалоба пенсионерки Елизаветы Григорьевны Ветровой на недостойное поведение в семье её зятя, коммуниста Заплата Ивана Поликарповича.

По немалому жизненному опыту и по опыту партийной работы Колмаков знал, насколько сложны и запутанны бывают такие вот, мягко выражаясь, «семейные конфликты». Ещё года не минуло, как Заплатин пришёл в заводскую партийную организацию, и, если говорить по совести, Колмаков знал его мало. И знал только с хорошей стороны.

По партийной линии — ни одного взыскания. Токарь высшего разряда, золотые руки. От общественных поручений не уклоняется... Учится на третьем курсе вечернего техникума... Вроде бы непьющий. И вдруг пожалуйста — «семейный конфликт». С мордобоем, с битвём посуды. Ушёл из дому. А дома двое ребят, и жена не работает.

И всё-таки почему он уехал из Новосибирска? Что его заставило уволиться с завода, на котором работал десять с лишним лет?

И работал хорошо. В трудовой книжке уйма поощрений, премий, звание ударника коммунистического труда.

Колмаков ещё раз бегло пробежал заявление Ветровой.

«...Тут он бросился на мою дочь Тамару с кулаками, и, если бы я не кинулась между ними, не прикрыла бы дочь своей грудью, он бы мог её покалечить. Потом, чтобы сорвать зло, стал хватать со стола посуду и разбивать её об пол. Напугал детей и ушёл из дому, и уже неделю находится неизвестно где.

Меня он гонит из дому, оскорбляет разными грубыми словами, а я не могу оставить в таком тяжёлом состоянии дочь одну, с расстроенными нервами, потому что за десять лет замужней жизни он довёл её до нервного заболевания...»

Прежде, чем вызвать на беседу Заплатина, Колмаков решил побывать в его семье, познакомиться с жалобщицей, поговорить с женой, на ребятишек взглянуть.

---

Заплатины жили в заводском одноэтажном доме старой постройки. От небольшой калитки к дому вела аккуратно расчищенная среди сугробов тропинка.

Открыв калитку, Колмаков приостановился, чтобы пропустить идущую навстречу женщину.

Поравнявшись с Колмаковым, она на миг задержала шаг, из-под приспущенного пухового белого платка на Колмакова с любопытством глянули большущие, редкой синевы глаза; он уже приоткрыл рот, чтобы поздороваться и спросить, как пройти к Заплатиным, но она, склонив голову, быстро прошла мимо и шагнула за калитку.

Колмаков не удержался, обернулся ей вслед. Как ни быстра, ни мимолётна была встреча, мужской глаз успел приметить и оценить прелесть свежего, кукольно кругленького лица и тонкие, чудесного рисунка брови, и пушистые кольца тёмных волос, выбившихся из-под белого пухового платка.

Двухкомнатная заплатинская квартира была тесновата, но неплохо обставлена. И тепло, и чисто, и уютно. Высокий, под самый потолок, книжный шкаф, битком набитый книгами. Рядом — подсвеченный электролампочкой большой аквариум. В изумрудно-мерцающей воде среди каких-то кустиков и водорослей сновали разные занятные рыбёшки. Свежо и сочно зеленели на подоконниках комнатные цветы.

Не хотелось верить, что в этой чистой и тихой комнате ещё недавно бушевал озверевший хозяин, хрустели под ногами черепки битой посуды, кричали перепуганные дети.

Молодой хозяйки не было дома.

Колмакова встретила Елизавета Григорьевна. Держалась она со сдержанной приветливостью, с тем спокойным достоинством, которое даёт человеку сознание своей правоты.

Приоткрыв дверь в соседнюю комнату, она сказала негромко:

— Танюша, Ниночка, одевайтесь, идите гулять.

Из спальни вышли девочки. Старшая, худенькая, бледная, с рыжеватыми косичками, робко поздоровалась, присела на краешек дивана. Она неотрывно, хмуро, исподлобья смотрела в лицо Колмакова.

Младшая, синеглазая, румяная, в тёмных кудряшках, с застенчивым любопытством выглядывала из-за её плеча.

— Танюша, я что сказала? — строго, но без раздражения повторила бабушка. — Одевайтесь и идите гулять.

Девочки послушно, но с явной неохотой поднялись и ушли в коридор. Вскоре хлопнула входная дверь.

— Жаль, Томочку вы не застали...

---

Елизавета Григорьевна присела на диван, провела ладонью по густым, без единой сединочки, тёмным волосам, поправила на виске пушистый завиток. Подняла на Колмакова синие печальные глаза.

«Чёрт, неужели?!» — ахнул про себя Колмаков.

— Не её ли я сейчас повстречал у калитки? Такая из себя... в белой шали?

Губы Елизаветы Григорьевны дрогнули сдержанной горделивой улыбкой:

— Ну, коли заприметили, значит, она...

— Сколько же ей лет? — удивлённо спросил Колмаков.

— Десятый год замужем... — неопределённо ответила Елизавета Григорьевна и тяжело, горестно вздохнула. — При её жизни с Иваном Поликарповичем, от таких переживаний, ей бы уже старухой выглядеть можно. В меня, видно, зародилась: как ни тяжко, а виду всё же не теряет... Первые годы они хорошо жили. Я в ихнюю жизнь не вмешивалась. Матери много ли надо? Жили бы дети дружно, были бы счастливы. Я ведь, Пётр Захарович, троих вырастила. Вдовой осталась молодая. Всю жизнь в них вложила, ото всего отказалась, лишь бы их на ноги поставить. Всем образование дала, в люди вывела.

Поначалу и Иван Поликарпович ничем своего характера не оказывал, да и не на что ему было обижаться, какая уж там ревность? С первого года дети пошли, заработок у него небольшой был, что она видела? Нужда, заботы... Засела в четырёх стенах, горшки да пелёнки... Ни они в люди, ни люди к ним. Чтоб никто красоты её не видел, чтобы, спаси бог, не поглядела она на кого...

Томочка учиться мечтала, образования законченного она не получила, здоровьем была очень слабенькая. Девочки подросли, Томочка говорит: «Ваня, пойду я учиться, или хоть на работу пусти...».

Ну, тут и началось. Я приехала, посмотрела на её жизнь, сердце кровью обливалось, а чем можешь? Детьми связана по рукам по ногам, да и боялась она его... Он ведь до ужаса мстительный... Такие-то — они всегда мстительные.

Конечно, Томочка — женщина красивая, а он из себя невзрачный. Надо было по себе жену брать, если уже характер такой ревнивый. Я про него ничего плохого сказать не могу. На работе его ценят, с людьми он уважительный, спокойный. И вина в рот не берёт. Дочек любит. Одна беда — ревность. Люди-то не знают, а он ведь, как заревнует, делается вроде как не в себе. Такую, извините за выражение, чушь

---

начнёт собирать... то профессора какого-то придумает, то генерала.

Елизавета Григорьевна внимательно, испытующе посмотрела в лицо Колмакова.

— А подумал бы он своей сумасшедшей головой: кому она нужна с двумя детьми да с расстроенным здоровьем? Вы не смотрите, что она с виду такая полненькая да свеженькая. Он её до полного расстройства нервной системы довёл.

Она всхлипнула и торопливо поднесла к глазам платок.

— Сейчас я ему поперёк горла встала. Одно твердит. «Уезжайте, мамаша...». А как я могу её оставить?! Подумайте вы сами, Пётр Захарович, как же я могу уехать?!

Елизавета Григорьевна, рыдая, припала головой к валику дивана.

— Успокойтесь, Елизавета Григорьевна, ну, не надо... успокойтесь... — морщась от жалости, бормотал Колмаков.

Уж чего не переносил он, так это женских слёз. Особенно самых горьких — материнских слёз. Но Елизавета Григорьевна быстро справилась с собой.

— Вы только не подумайте, Пётр Захарович... — торопливо отирая платком слёзы, снова заговорила она, — не подумайте, что я в нём нуждаюсь. Я пенсию получаю, и кроме Томочки у меня ещё двое детей. Дочь старшая, Зинаида, научный работник, и сын Шурик, недавно на инженера закончил. У обоих у них дети маленькие, я им обоим до зарезу нужна. У Зинаиды для меня и комната отдельная. Я, конечно, понимаю: Иван Поликарпович партийный, ему вроде не положено с женой разводиться, но войдите в их положение, не удерживайте вы его, пусть он её отпустит подобру. Не будет у них жизни, Пётр Захарович, неровня они...

— А дети? — хмуро перебил Колмаков.

— Что же дети? Погибать, что ли, ей теперь из-за детей?! Танька большая, не захочет с нами — пусть с отцом остаётся, ну а Ниночку уж мы, конечно, ему оставить не можем. И ничего нам не нужно, уедем в чём есть, пусть всё им остаётся, пусть только развод даст... И ещё скажу: пусть в наши семейные дела никто не суётся. А то и здесь тоже находятся всякие... соседки добренькие, с советами лезут. «Они, — говорят, — без вас сами разберутся лучше. Уезжайте», — говорят. А я мать. И не позволю никому совать нос в мои материнские права!

Колмаков поёжился. Перед ним стояла совершенно другая женщина: взвинченная, старая, жалкая... И столько в её глазах, в побелевшем лице было беспощадной исступлённой ненависти...

---

— Успокойтесь, Елизавета Григорьевна, я сегодня же с ним поговорю, и с дочерью вашей повидаяюсь... — торопливо поднимаясь, сказал Колмаков.

— Нет, уж Томочку вы оставьте в покое! — решительно перебила Елизавета Григорьевна. — Она и так уже руки на себя наложить готова. А ему передайте: Томку я погубить не дам. Я от своих материнских прав не отступлюсь, так ему и скажите!

Заплата приглашать не понадобилось. Сам явился. Пришёл после смены, прямо от станка. Положил на стол заявление в две строчки, сел и, отвернувшись, к окну, стал ждать неизбежных вопросов.

В заявлении он просил предоставить ему временно место в заводском общежитии.

Колмаков разгладил ладонью смятое заявление, искоса поглядывая на Заплатина, положил заявление в папку.

Всё в этом человеке было ему неприятно. Рыжеватые волосы, уже редющие над высоким с залысинками лбом. Серое неподвижное лицо, щёки запали, словно после затяжной болезни... В глаза не смотрит, слова цедит сквозь зубы... И ещё: шея у него болит, что ли? Поворачивается всем корпусом... по-волчьи.

Вспомнилась встреча у заснеженной калитки. Миловидное личико, завитки тёмных волос в рамке белого пухового платка...

Да, пожалуй, не позавидуешь заплатинской жинке. При таком муженьке и красоте своей рада не будешь...

— У вас, товарищ Заплатин, есть дети?

Нужно было прежде всего выяснить, как этот ревнивец расценивает поступившую в партбюро жалобу тёщи.

— Две девчонки... девять и семь лет... — Заплатин повёл плечами, но головы не повернул, глаз от окна не отвёл.

— Ну, и как же вы думаете?..

— Вам, товарищ секретарь, конечно, по чину положено во всех этих делах копаться... — перебил Заплатин. Губы у него перекосило, видимо, он считал, что улыбнулся. — Вы меня извините, но все эти разговоры ни к чему. Конечно, мне, как коммунисту, семью разрушать не положено, кодекс моральный не разрешает... Но нам с женой не по двадцать лет. Позвольте уж нам самим разобраться. Домой мне хода нет...

Он круто, всем корпусом, повернулся от окна к Колмакову.

— Я в доме посуду побил!

Видимо, он считал, что это признание должно ошеломить секретаря. Похоже, эту самую посуду он колотит не часто, да, видимо, и о жалобе тёщи ещё ничего не знает...

---

— Скажите, товарищ Заплатин, а часто у вас в семействе случаются такие вот... потасовки?

— Ну а если я скажу, что в первый раз, вы же всё равно не поверите?

— Почему же я должен вам не верить? — стараясь не смотреть на искажённое кривой улыбкой лицо Заплатина, насколько мог мягко возразил Колмаков. — Мы же коммунисты... Иван Поликарпович...

— Я же посуду побил, вы понимаете? — Заплатин, скрипнув стулом, придвинулся к столу Колмакова. — Не кинулись бы девчонки... не повисли бы на мне... Ладно, что соседей дома не было, а то без милиции дело бы не обошлось. Я из дому побежал — девчонки за мной, ревут: «Папуленька... папуленька!» Сели мы с ними в скверике...

Заплатин с трудом проглотил перехвативший горло спазм.

Колмаков придвинул к нему стакан воды и, склонившись к нижнему ящику стола, начал рыться в старых папках.

Дав Заплатину время отдышаться, спросил негромко:

— Как же вы всё-таки с девочками-то думаете решать вопрос?

— А я теперь никаких вопросов решать не могу, поскольку я уже посуду бить начал... Теперь они всё решают...

— Кто они?

— А тёща и супруга моя с генералом...

«Мать честная, правильно тёща-то говорила, не в порядке у мужика с головой!»

— Какой... генерал? — растерянно спросил Колмаков.

— Супругу мою, Пётр Захарович, замуж просватали... за генерала. Вот в таком разрезе. Так что о её дальнейшей судьбе вы можете не беспокоиться. И девочками они распорядились просто. Поделим поровну, без обиды. Танюшку мне, Нинку им. У генерала детей нет, так он согласен довеском к супруге моей Тамаре Васильевне и Нинку взять.

— А девочки как? Согласны?

— Да кто же их согласия спрашивает? Их дело телячье. Тут уж не до их согласия, когда генерал в мужья наклюнулся.

Заплатин опять, скрипнув стулом, повернулся к окну.

— Девчонки между собой дружные, привязаны друг к другу. Так ведь у неё, у тёщи-то, ни совести, ни жалости ни на грамм нету. Нинке она что хочешь спустит, Нинка — любимица, на мать похожа, красивенькая... А Танюшка в меня уродилась. Бабка как разозлится, начинает поливать: «Пакля рыжая... чухна конопатая... Заплаткина порода». А Нинка плачет: «Разве Таня виновата, что на папу походит?».

---

Супруга моя — красавица, а я, сами видите, лицом не задался. Тёще брюнеты по вкусу, а я и мастью не вышел, фамилия моя — и та ей ненавистна. Она, как хочет Томку побольнее задеть, начинает её величать «мадам Заплаткина...».

— Из этих слов я могу понять, что вашей жизни с женой мешает её мамаша... — осторожно начал Колмаков. — Может быть, вам действительно лучше пожить одним, разобраться в отношениях?.. Ведь у неё, насколько мне известно, есть другие дети...

— Некуда ей ехать... Никому она не нужна... — угрюмо отозвался Заплатин. — Ни с кем она не уживается. У сына два раза жила, невестка-змея, видишь, с сыном её, с Шуриком, развела. К старшей, к Зинаиде, переехала — зять не по душе. У нас тоже третий раз живёт. Старшие дети ей не больно и нужны. Для неё один свет в окошке — Томка. И её поедом ест: зачем за неровню замуж шла... Мы же из-за неё и из Новосибирска уехали... Только начали здесь по-человечески жить, девчонки душой оттаяли, а она опять прикатила... Судьбу Томкину с генералом устраивать... Овдовел генерал-то на нашу беду...

Опять этот проклятый генерал... Всё вроде ничего, рассуждает нормально, здраво, а потом опять — генерал...

— А может, Иван Поликарпович, вам отдохнуть бы поехать? Я поговорю с завкомом, выбьем путёвочку в санаторий. Отдохнёте, тогда и будем решать, что делать...

— А может быть, вы мне и в психиатричку путёвочку схлопочете? — покривился Заплатин. — Ладно, Пётр Захарович, вы мне в общежитии место дайте и, попрошу вас, воздержитесь, не вмешивайтесь пока в мои дела. Я пошёл.

Он встал и, не прощаясь, сутуло сведя под спецовкой худые плечи, длинный, нескладный, молча пошёл из кабинета.

Дня не хватало.

Дела, одно другого важнее, спешные, неотложные, обступали со всех сторон.

Завод переходил на пятидневную неделю, предстояло общее партийное собрание, готовились к открытию нового заводского Дома культуры.

Из мыслей не идёт Заплатин с его «семейным конфликтом». Легко сказать: не вмешивайся пока, воздержись... Попробуй воздержись, если торчит оно, как заноза в пальце, тревожит, не даёт покоя.

Идёшь по цеху — вот он, Заплатин, склонился над станком, худой, сутулый, с серым окаменевшим лицом.

---

То вдруг в напряжённой суতোлке дня тревожно кольнёт мысль: как она там сейчас, эта... синеглазая? Молодая ещё, глупая, натворит беды, будет потом всю жизнь казнить себя...

То встанет перед глазами искажённое злобой и болью лицо матери...

И девчонки... большие ведь уже, всё понимают... «Папуленька... Папуленька...» По силам ли хрупкому ребячьему сердчишку такое испытание — разрываться между матерью и отцом?

Нельзя дальше тянуть. Не может он, не имеет права выдерживаться. И право его, и долг его — искать выход из людской беды.

На столе его ждала почта. Извещение горкома о семинаре... Бланки отчёта... Приглашение военкомата на встречу ветеранов войны с призывниками...

Колмаков вскрыл последний конверт. Три страницы убогистого машинописного текста... Бросилось в глаза первое слово обращения — «мама» и восклицательный знак.

Колмаков потянулся за брошенным в корзину конвертом. Нет, всё правильно: наименование завода, партбюро... секретарю. Ну что же, товарищ секретарь, выходит, кому-то нужно, чтобы ты прочитал это чужое письмо, адресованное чьей-то чужой маме...

«Мама! Я получила письмо депутата райсовета товарища Анисимовой, которая живёт рядом с вами. Итак, ты своего добилась: развела Ивана Поликарповича с Тamarой... — прочитал Колмаков и тихонько присвистнул. — ...Развела Ивана Поликарповича с Тamarой. Но тебе показалось этого мало. Чтобы свалить вину на Ивана, ты грозишь написать на него жалобу в партбюро.

Предупреждаю: копию этого письма я одновременно высылаю секретарю его парторганизации.

Я не могу позволить тебе клеветать на такого чистого и честного человека, как Иван Поликарпович. Через неделю начинаются каникулы, я за тобой приеду. Пишу тебе это письмо для того, чтобы раз и навсегда всё обговорить и не вступать с тобой в личные объяснения.

Говорить с тобой невозможно. Любой разговор ты превратишь в дикий скандал с истерикой и визгом.

Не обижайся, что я пишу о наших семейных делах всю правду, ничего не скрывая.

Пришло время поставить точки над і.

---

Секретарь парторганизации, к которому ты сама обратилась, для Ивана, да и для всех нас человек не чужой. Он должен во всём разобраться и понять, как могли в нашей семье сложиться такие тяжёлые отношения.

Я прекрасно знаю, на что ты делаешь упор в своей жалобе. Во-первых: оставшись молодой вдовой, ты самостоятельно воспитала троих сирот-детей. Жертвуя ради детей личной жизнью, всех поставила на ноги, дала им образование.

Второе: Тамара, истерзанная неудачным браком с Иваном Поликарповичем, доведена его ревностью до нервной болезни, и твой материнский долг и твоё материнское право не оставить дочь в беде, вмешаться в их жизнь, и т. д. и т. п. Другими словами, добиться от Ивана развода.

Никогда ни я, ни Шурик, даже во время твоих диких скандалов, ни в чём тебя не упрекали.

Мы тебя любили. Ты для нас была самой красивой, самой умной. Мы гордились тобой. Мы могли обвинять кого угодно и в чём угодно, но только не тебя. Ты всегда была права.

Ты была уверена в нашей любви. Ты внушила себе, что твой материнский авторитет в наших глазах ничто не может поколебать. Ничто не может лишить тебя нашей привязанности и уважения.

А ведь всё это осталось в прошлом. Не всё можно забыть и простить — даже матери.

Несколько слов о твоих „жертвах ради детей“. Когда мы были маленькими, ты много работала, чтобы прокормить и одеть нас. Но никогда в своей „личной жизни“ ты не считалась с нами.

После смерти папы ты трижды выходила замуж. Но ты ни с кем не могла ужиться. Второй из твоих мужей мог заменить нам отца. Мы уже начали к нему привязываться. Особенно Шурик — ему так нужен был отец. Тамары ещё тогда не было. Не знаю, что между вами произошло, я была девчонка, очень тебя любила и считала, что в разрыве был виноват он.

Он ушёл, ты привела третьего. Родилась Томка, но ты уже начала увядать, а он был моложе тебя. Начался в нашей несчастной семье ад кромешный. Ревность, скандалы, взаимные оскорбления. И всё это происходило на глазах Шурика и Томки.

И после разрыва с ним ты себе ни в чём не отказывала. Мы жили в деревне. Сколько грязных сплетен, обидных намёков, прямых оскорблений пришлось мне и Шурику проглотить, пока мы не уехали в город!

---

Напомню тебе одну сцену. Я, обливаясь слезами, умоляла тебя не ездить больше вдвоём с Матейкиным в лесхоз, потому что Матейчиха грозит „выхлестать“ в нашем доме окна.

Ты влепила мне две полновесные оплеухи, потом закатила истерику, а я целовала тебе руки, просила прощения. А на кровати в два голоса кричали Шурик и Томка.

Через несколько часов ты, весёлая и нарядная, уехала в лесхоз. И, конечно, не одна.

Теперь о нашем образовании. Я благодарна тебе, что ты дала мне возможность закончить десятилетку и поступить в институт.

Шурик и этого был лишён. Закончив семь классов, он бросил школу, потому что после моего отъезда в город некому было возиться с хозяйством. В те трудные годы жить в деревне без коровы, без свиньи, без огорода было невозможно.

Перейдя на четвёртый курс, я забрала Шурика к себе, и только тогда он смог закончить школу и начать готовиться для поступления в вечерний институт.

Я не выходила замуж, чтобы учить Шурика, а потом нужно было помогать и тебе. Хозяйство ты ликвидировала, начала прихварывать, а красавица Томочка требовала немалых расходов.

Ты же считала, что я не могу выйти замуж, потому что некрасива, — ты ведь в женщине ценишь только красоту.

Ты с сочувственной улыбочкой величала меня „вековушкой“ и „христовой невестой“.

Так вот: образования мне и Шурику никто не давал. Мы его получили сами. А Тамара не получила ни высшего, ни даже среднего. И в этом повинна только ты.

С пелёнок ты внушала ей, что она красавица и что её сила и счастье в красоте и женском обаянии.

Она ушла из восьмого класса, и ты с этим мирилась. Она металась от одного дела к другому. Курсы английского языка (станешь переводчицей, будешь вращаться среди иностранцев); курсы стенографии (устроишься секретарём к начальнику, будешь вращаться среди больших людей); какие-то курсы художников-гримёров (поступишь в театр, будешь вращаться среди артистов).

И ни одно дело не было доведено до конца, потому что ты не приучила её к труду, к усилию.

Тамара осталась недоучкой, не получила никакой определённой специальности.

Целью твоей жизни было одевать Томочку соответственно её красоте, чтобы она могла „вращаться“ и в конце концов найти себе „подходящего“ мужа.

---

Ради этой цели ты действительно шла на любые жертвы, отказывала себе во всём, требовала помощи от меня и Шурика.

Но надежды твои на Томкину красоту не оправдались. Не нашлось ни „большого начальника“, ни профессора, ни генерала. Была неплохая кандидатура, полковник Сотников, он в Тамару был не на шутку влюблён, но всё же не решился ради неё разойтись с женой. Ты тогда от греха отправила Тамару к тётке в Новосибирск, и там ей выпала настоящая удача. Она встретила Ивана Поликарповича.

Оказалось, что ты не до конца искалечила её духовно. Она смогла понять, какое это счастье для женщины — заслужить любовь такого человека, как Иван. И она тоже полюбила его. Я уверена, что она и сейчас его любит, и, если бы не твоё вмешательство, не твоя ненависть к Ивану, они счастливо прожили бы всю жизнь.

Ты делала всё, чтобы отравить им отношения. Ты в присутствии Ивана говорила Томе: „С тебя картину писать или статую лепить... Ты своей цены не сознаёшь... Тебе бог красоты полную меру отвалил, а умом да уменьем обделил...“. Это в том смысле, что Тамара себя „продешевила“, не сумела, на худой конец, „хоть инженеришку какого заарканить“.

Но тогда Томка не позволила тебе развести её с мужем, хотя с каждым твоим приездом отношения их всё ухудшались. После очередного скандала ты уезжала от них к Шурику или ко мне.

Было время, когда Наташа, бросив учёбу, чтобы дать возможность Шурику закончить институт, была тебе „милей родных детей“. А теперь, когда Шурик стал инженером, а Наташа, заматавшись с детьми, осталась „простой лаборанткой“, она стала нехороша. И хозяйка она плохая, и мать никудышная, и „здоровьем гнилая“.

Ты могла бы оказать им огромную помощь, занялась бы детьми, дала бы Наташе возможность учиться, ведь она ещё совсем молодая.

Но ты не можешь ни с кем жить мирно. Когда-то ты сама называла Шурика „телёнком“ за его спокойный и добрый характер. А за два последних года, пока ты жила с ними, он превратился, как он сам говорит, в „истеричную бабу“. Он стал бояться приходить после работы домой, потому что ты своими оскорбительными выпадами против Наташи и детей редкий день не вызывала его на скандал и ссору.

Ты дважды переезжала от них ко мне, заявляя, что „у тебя больше нет сына, что с Шуриком всё покончено“.

---

Ты могла у меня жить, пока я была „христовой невестой“, и никогда мы не жили с тобой душа в душу. Просто я старалась меньше бывать дома и не позволяла тебе заводить разговор о Томке и Шурике.

Но вот появился Борис — самый дорогой для меня человек. Ты его возненавидела. Напомню тебе один факт. Борис привёз меня с Алёнкой из родильного. Ты всё приготовила к встрече, украсила праздничный стол, хлопотала подле меня, но когда я развернула Алёнку, ты присмотрелась к ней и сказала с соболезнующей улыбкой: „Боже мой. Вся в отца!!!“

Если бы не доброта Бориса и не его чувство юмора, поверь, я ни одного дня не вынесла бы твоего присутствия в своей семье.

Ещё раз вернусь к Тамаре и Ивану Поликарповичу. Чем объяснить, что ты вдруг сорвалась и уехала к ним, хотя, уезжая от них два года тому назад, ты заявляла, что ноги твоей больше никогда не будет в их доме?

Ты узнала, что бывший Тамарин поклонник, теперь он уже не полковник, а генерал Сотников, овдовел. На днях я узнала, ты с ним виделась, не знаю — в качестве свахи или сводни.

Не знаю, о чём вы с ним договорились, но ты помчалась к Тамаре, ты сумела спровоцировать Ивана на скандал.

Через несколько дней я приеду. Я не верю, что Томка способна на подлость и предательство. И надеюсь, что ты не до конца убила в сердце Ивана его любовь к Тамаре.

Для тебя я сняла хорошую частную комнату. Ты будешь жить одна. Я и Шурик обязуемся выплачивать тебе по двадцать рублей в месяц. С твоей пенсией это составит приличную сумму. Ты будешь свободна, независима, может быть, наконец это принесёт тебе покой.

Ты сможешь в любое время приходиться к нам, ты будешь дорогой гостьей, но никогда больше мы не позволим тебе отвлекать жизнь нам и нашим близким. Зинаида».

Внизу, под подписью Зинаиды, Колмаков прочёл коротенькую приписку, сделанную от руки химическим карандашом:

«Мама, письмо это я прочитал и, как коммунист, подтверждаю, что в письме этом нет ни одного неправильного или несправедливого слова. Согласен с Зиной, что тебе нужно жить отдельно и самостоятельно. И тогда всё будет хорошо. Не обижайся. Александр».

---

---

# Внуки

Вечер выдался словно по заказу. Родители на субботу и воскресенье уехали погостить в деревню. И бабушку забрали с собой. А Павлушка из пионерского похода вернулся без задних ног. Заглотал всё, что нашёл в кухне съедобного, и ушёл спать в бабушкину комнату, уступив Жене свою раскладушку.

После знойного дня в опустевшей квартире было прохладно и тихо. Из дома никуда не манило. Тем более, что на предложение Алексея остаться ночевать Женя сразу же как-то очень охотно согласился.

Они никогда особенно не дружили. Слишком были разными для настоящей мужской дружбы. Но шесть лет они учились в одной школе, вместе держали труднейшие вступительные экзамены в институт, вместе ездили на практику и на уборку картошки в пригородный совхоз.

Помнить друг друга десятилетними пацанами, и расти, и взрослеть на глазах друг у друга — это тоже немало. И порой дороже случайной, скоропалительной дружбы.

После весенней сессии они не виделись, и сегодня Женькин визит был как нельзя кстати.

Гостя прежде всего положено кормить. Это было законом в хлебосольном Алексеевом семействе. Кроме того, Женя мельком проговорился, что уже два дня не заглядывал домой. Опять, видимо, поцапался с предками. Обследовав недра холодильника, Алексей обнаружил в морозилке изрядный кусок аппетитной баранины, вполне пригодной, чтобы соорудить из неё нечто вроде рагу или поджарки.

Начистить в четыре руки картошки, настрогать мяса, накрошить луку и помидоров, затем, свалив всё это крошево в кастрюлю, сунуть в духовку, — дело нехитрое.

Перед горячим принято закусывать. Алексей выгрузил из холодильника малосольные огурцы, банку варенья, копчёного язя, простоквашу...

Порывшись в буфете, поставил на середину стола початую бутылку портвейна. Окинул стол хозяйским критическим оком — ничего, вполне основательно всё получилось...

---

— Ну что ж, старик, приступим, благословясь... — он разлил вино в чайные стаканы. — Третий курс как-никак — веха. Обмоем хотя бы задним числом историческое событие.

После нескольких глотков портвейна копчёная рыбка с малосольным огурцом — закуска... лучше не придумаешь.

И «поджарка» из духовки уже начала источать запахи, ещё более возбуждающие аппетит.

— Слушай, Лёха... — со вкусом обсасывая рыбий хребет, спросил Женя, — чего это наши в лаборатории сидят все надутые, как индюки? Мальцев с преподобным Германом друг на друга косятся, чего это они не поделили?

— Квартиры не поделили... — неохотно откликнулся Алексей. — А остальные образовали две команды: одни за Мальцева болеют, другие за Германа Павловича.

— Ничего не понимаю! Оба уже в новых квартирах живут, и квартиры, я слышал, равноценные.

— Не совсем равноценные... Герману Павловичу на втором этаже дали, а Мальцеву — на четвёртом...

— Подожди... — перебил Женя, — у Мальцева жена беременная, скоро пацан будет, а Герман бездетный...

— Да, но у Германа Павловича мать-старуха...

— Ну и что?! Нет, ей-богу, бред какой-то... Значит, Мальцева с беременной женой загнали на верхотуру ради Германовой старухи?

— Жена Мальцева не на всю жизнь беременна...

— А когда пацан будет? Таскаться с коляской по лестницам?

— А старухе с больным сердцем по лестницам можно?

— А какой дьявол её по лестницам гоняет? Чего ей дома не сидится? Балконы у них на непроезжую улицу выходят: сиди, дыши, сколько влезет. Не пыльно и... мухи не кусают. Чего ей ещё нужно?

— Вот и Мальцеву так сказали: поставите коляску на балконе, будет ребёнок как на даче. А молодым по лестнице пробежаться не проблема.

— Бред собачий! — Женя раздражённо отпихнул тарелку с рыбьим скелетом. — Старухе жить осталось всего ничего, а Мальцевы из-за неё на четвёртом этаже куковать должны.

— А чего ты её раньше смерти хоронишь? Я её часто вижу — бодрая такая старушенция, живая... В магазин ещё ходит, в кино. Как-то я её в филармонии встречал... в библиотеке...

— Ну, тем более. Значит, не такая уж она древняя, дряхлая...

---

— Не дряхлая, а по лестнице ползёт — задыхается... сердце-то старое, изношенное...

— Да, действительно... — иронически поддакнул Женя, — в аспекте развития мировой истории — фактор чрезвычайно важный, сколько лет ещё будет здравствовать мамаша уважаемого Германа Павловича, пять лет или пятнадцать?

Вооружившись полотенцем, Алексей присел перед духовкой. Видимо, Женьку основательно допекли дома, и теперь он просто пытается сорвать накопившееся раздражение. Продолжать спор в таком тоне не хотелось.

В коридоре зазвонил телефон.

— Поди послушай, кому это там приспичило... — обрадованно попросил Алексей. — Я поджарку выволакивать буду...

Через минуту из коридора донёсся всё ещё раздражённый голос Жени:

— Да... да! Квартира... Что? — и сразу же другой, неузнаваемо-любезный Женин голос пропел: — Хэллоу! Простите, пожалуйста, нет, это не Николай Ильич... Алёшу? Одну минуточку. Алёша, вас просят подойти к телефону и взять трубочку... — И тут же заорал торжествующе: — Ага! Узнал всё же?! Узнал, очарованный странник? С благополучным прибытием вашу милость, когда приехал? Откуда трезвонишь? Из автомата?

Из кухни, вытирая жирные руки белоснежным посудным полотенцем, выглянул Алексей.

— Сашка... из совхоза с калыма вернулся... — весело пояснил Женя. — Они там с политехниками телятник воздвигали... Нет, это я Лёхе... Какова обстановка насчёт ночёвки?

Женя отпихнул Алексея, пытающегося отобрать у него трубку.

— Обстановка идеальная. Предки вкупе с бабушкой на два дня отбыли в деревню на отдых...

— Сань, где ты? — завладев наконец трубкой, закричал Алексей. — С нашего автомата? Давай двигай галопом, пять минут на переход, а то поджарка стынет...

Ждать Сашка себя не заставил. Ввалился — бронзовый от загара, обветренный, грязный, благодушный.

— Салют, православные! — пророкотал он вполне созревшим, прокуренным баском матёрого работяги-строителя.

— В общаге ремонт... душ не работает... полцарства за мочалку!!! — Он осторожно свалил с плеча тяжёлый рюкзак, прислонил его к стене. — Автобуса ждать терпелу не хватило... сорок километров на кулях с картошкой... пылица — не продохнёшь.

— Ну и каков калымчик? — поинтересовался Женя.

---

— Калымчик нормальный... с плюсом. Похарчились знатно, как в добром санатории... — сбрасывая в ванной пропылённые свои рабочие одёжки, похвалился Саша. — От совхоза благодарность по всей форме, с приложением печатей, ну и, соответственно, пиастров пачечка. Хватит на модные обутки, на порточки с пиджачишком, кое-какой гак ещё останется на разный мелкий расход.

Зашумела ринувшаяся из душа вода, слышались блаженные Сашкины стоны и уханье.

Через пятнадцать минут Саша возник на пороге кухни, словно вышедший из реки молодой бронзовый бог.. в малиновых плавках.

Алексей хлопотал у стола. Вывалил на тарелки дымящуюся «поджарку», неуверенно взял бутылку, где на донышке плескались остатки портвейна.

— Мы с Женьшенем уже приложились, ты извини, Сань, маловато, конечно, ну, как говорится, для аппетита...

Саша поднёс стакан к носу.

— С ума сойти! Под такой мировой харч и... портвейн?! Боже! Какая профанация! Какой позор! Великовозрастные олухи! Будущие инженеры!

Возмущённо причитая, он притянул за лямку свой раздутый рюкзак и осторожно извлёк из него бутылку водки. Умело свернул за ушко блестящую головку-колпачок и, сглотив на ходу портвейн, разлил водку в стаканы.

— Вот она — матушка, отечественная, российская, христова слеза... А ну — взяли!! — рывкнул командирским басом. — Подняли! Брякнули! Поехали!

Женя управился со своим стаканом молодецки: и крякнул, и корочку понюхал, как по обряду положено.

Алексей свою дозу осилил в два захода... Очень уж мерзопакостная штука — эта самая отечественная христова слеза.

— Ты вот говоришь — для аппетита... — наваливаясь на «поджарку», загудел Саша. — Это, старик, как для кого. Мне вот в пору от аппетита что-нибудь принимать — не аппетит, а стихийное бедствие. Опомнись не успеешь — глянь, всю стипешку без остатка скушал. Ни тебе выпить, ни культурно развлечься... Ну, а как твой «маг» поживает? Есть новые записи?

Алексей, уже начавший впасть в состояние медлительного раздумья, приоткрыл для ответа рот, но его стремительно перебил Женя.

— Во!! Ритмики — пальчики оближешь! Куба! Представляешь?! Тр-р-рум-бам-бам-ба! Вау-вау-эу-ай-бам!! Слушай, Сань,

---

ну, а в этом... в совхозе чего сейчас танцуют, что там местные деятели культуры допускают? Полечку, краковяк, два притопа, три прихлопа?

Саша сокрушённо покачал головой:

— Во темнота! До чего же вы, хлопцы, бездарно отстаёте от жизни. На данном этапе в области этого самого... ну... культурно-гармонического развития — стирание граней между городом и деревней идёт полным ходом... Ну, чего ржёшь, балда? У нас на центральной усадьбе, например, не клуб, а вполне современный Дворец культуры, оркестр свой, самодеятельность — любому нашему институту нос утрут... А девчата... — Он восхищённо покрутил головой. — Мини — во! И никак не ниже. Шиньоны — во! — Он показал, какой высоты шиньоны у сельских девчонок. — Наповал бьют, с первого взгляда... давайте, братцы, выпьем за стирание этих самых граней... я себе уже запланировал, институт окончу — жениться в деревню поеду... чего и вам желаю...

Саша поднял бутылку, но Алексей решительно прикрыл стакан ладонью:

— Я — пас!

Женя тоже неуверенно отодвинул стакан:

— Хватит, пожалуй... жарко что-то, ну её к дьяволу.

— Эх вы, суслики! — засмеялся Саша. — Ну да пёс с вами.

Ночь-то длинная, и вся наша...

После сытного ужина и образовавшегося в желудках портвейно-водочного коктейля настроение было самое благодушное. Так и подмывало затянуть в ритме буйно-лирического блюза:

Слава богу, все ушли! Хэй-о!!!

Черти ближних унесли! Ээй-о!!!

Можно было разгуливать по квартире в одних плавках, курить вволю, где захочется, дать магнитофону прочистить глотку, прокрутить на полном звучании великолепные новые джазы, которые не только бабушка, но и родители Алексея переносили с трудом.

А потом, потушив свет, лежать на прохладных, свежих простынях, слушать, как за открытыми окнами засыпает большой усталый город, как по-ночному дремотно шелестят под балконом тронутые ветром вершины молодых тополей.

Саша отдыхал. Экая благодать господня! Сладостно и блаженно отдыхала каждая клеточка его усталого, большого, здорового тела. А Алексею хотелось читать стихи. Любимые и разные. Смелякова и Цветаевой, Блока и Новеллы Матвеевой.

---

Наплывали околдовавшие с мальчишеских лет, певучие и тревожные строки: «Переправа, переправа... Берег левый, берег правый...». Но где-то, в чуть-чуть затуманенном подсознании, неотвязно зудели насмешливые Женькины слова из их случайного и незавершённого спора.

— Между прочим... — сказал он негромко, нарушив затянувшуюся паузу, — ты, Женьшень, совершенно случайно, конечно, давеча изрёк довольно полновесную истину... Именно в аспекте... и именно фактор... Конечно, если без трепотни, по-деловому говорить о долголетьи... о продлении жизни человека...

— Женья, сынок, пощупай ему лобик... — посоветовал Саша. — Чего-то ты, Лёшенька, спросонок, что ли, турусишь?

— Тут, видишь ли, как раз перед твоим звонком пытались мы с Женей решить одну, казалось бы, несложную задачку...

— Несложную, но с этакой философско-этической подкладкой... — ехидно вставил Женья.

— По условиям задачи мы имеем две равноценные квартиры, но — одна из них на четвёртом, а другая на втором этаже. Два претендента, в свою очередь, имеют: икс — беременную жену, игрек — престарелую мать. Вопрос: кто из двух имеет большее право на второй этаж? Мнения присутствующих сторон оказались диаметрально противоположны...

— Та-ак! — изумлённо протянул Саша. — Нет, хлопцы, не иначе это вам портвейн в мозгу ударил. Нечего сказать — нашли темочку для дискуссии! Если уж приспичило спорить, так я вам в один момент таких тем накидаю — свеженьких, актуальных. Ну, к примеру — воспроизводство населения, сиречь планирование рождаемости, — или: берегите мужчин! Звучит?!

— Да иди ты... знаешь куда! — раздражённо оборвал Женья. — Тебе хорошо зубы скалить: ни бабки, ни деда, родители за тридевять земель. Для Лёхи тоже всё это — философская, теоретическая трепотня, а у меня в этом разрезе сплошная практика. Институт бросать жалко, а то завербовался бы куда-нибудь, к чёртовой матери, на Камчатку, лишь бы подальше от этого самого... родного очага.

Я, если хотите знать, домой только пожрать прихожу... Четвёртую ночь, как блудный сын, дома не ночую. Две ночи у ребят в общежитии отирался, вчера у Юркиных предков. Юрка к брату уехал, а я, будто бы не знал, — припёрся... Старики у него картёжники лютые, им в девятку партнёра недоставало, обрадовались, набросились на меня, как львы... ужинать посадили, дед наливку какую-то потрясную выставил... До часу

---

ночи резались в карты, я говорю: «Мне пора...». А они всполошились, заахали: «Да что ты, Женечка?! Да куда же ты ночью? Да тебя хулиганы обидят!». А мне того и надо, чтобы только ночевать оставили... Сегодня вот здесь приткнулся!

Пустынна и длинна бескрайняя дорога... —

Моноotonно и меланхолично забубнил Алексей.

— Чужого очага... ночлега... та-та-та,  
Стучится блудный сын у отчего порога...

— Блеск! Вершина поэтического мастерства! — фыркнул Женя.

— Ну что ты хочешь? — сочувственно откликнулся Саша. — В чуткой душе поэта любая драматическая ситуация естественно вызывает соответствующий отклик... С бабкой, что ли, поругался?

— Естественно... соответственно... — Женя хмуро бросил в пепельницу недокуренную сигарету. — В других нормальных семьях обычно одна основная конфликт-проблемка — «отцы и дети». А в нашей милой семеечке вроде этакой трёхглавой гидры: проблема номер один — те же «отцы и дети»: это когда я и Зойка грызёмся с папой и мамочкой; номер два — «отцы и деды» — когда папа и мамочка грызутся с бабушкой. Это бы ещё ничего. Самая отравка — номер три, «деды и внуки», — это когда любящая бабушка начинает на ходу исправлять все огрехи, допущенные в воспитании внуков. Долбает нас с Зойкой по башке скрижальями своей допотопной морали. Лезет, понимаешь, в каждую щель. Всех ей надо поучать, назидать. Ну какое ей дело, на сколько сантиметров у Зойки «коленки ниже юбки»? Или в какую масть она завтра свою гриву покрасит? Нет, ей-богу, вот возьму и назло сошью себе штаны с раструбами и ещё цепочки подвешу... с бубенчиками... или отращу бороду и поповскую гриву до плеч... Тебе, Лёха, хорошо импровизировать, твоя бабка по сравнению с нашей — ангел. Я вот сколько лет у вас бываю, а до сих пор не разобрался: кому она матерью приходится — Николаю Ильичу или Елене Ивановне?

— Папина она мать...

— Ну вот видишь. Значит, она Елене Ивановне... как это называется? Свекровь. А она всегда: «Алёнушка... Леночка...». А мои теперь уже никак друг друга не называют... И отца втравили. Раньше он всегда спокойный был, уравновешенный, а теперь осатанеет от их грызни — орёт на всех, как псих. По моему, он тоже не прочь бы от этого семейного счастья рва-

---

нуть куда глаза глядят. Что ни день, то семейный сабантуй. Ведь вот твоя бабка не лезет к вам со своими поучениями, не грызёт всех, не ворчит с утра до ночи...

— Не обольщайся, сын мой, не грехи завистью. И ворчит, и поучает, порой даже весьма активно...

— Не знаю! — перебил Женя. — У вас в семье и воздух словно другой... Хотя я и не поклонник матриархата...

— А у нас не матриархат, у нас бабриархат. Как себя начинаю помнить — в центре семьи — бабушка. Она ещё не старая была, сама нас никогда не била, а попробуй кто из ребят ей нагрубить, сейчас от мамы или от отца по затылку схлопочешь или леща хорошего пониже спины. Отец женился молодой, им обоим ещё учиться надо было. Года не прожили — Вера родилась, потом я, потом Павка... Всё на бабуле держалось.

— Так раньше и у нас нормально было. Жили как люди...

— Нормально, пока бабка нужна была... — неожиданно подал голос Саша. — Пока она и за кухарку, и за прачку, а главное, за няньку отвечала...

— Не упрощай, старик. Всё значительно сложнее, чем ты думаешь. Всё дело в том, что характер у неё стал непереносимый. Вечно всем недовольна, не одно, так другое. И опустилась до безобразия, неряшливая стала, смотреть противно. Алёхина бабка, по-моему, старше, а всегда такая чистенькая, аккуратная, никакого сравнения...

— Чистенькая... аккуратная, да. А ведь сама-то она для себя уже ничего делать не может... — тихо проговорил Алексей. — Наши рубашки маме частенько некогда погладить, а бабушкины одёжки она всегда найдёт время и постирать, и отутюжить. И моет она бабушку сама... кацавейки ей какие-то тёпленькие шьёт... И готовит она ей отдельно... Раньше у бабушки самое любимое было — кусочек селёдки с уксусом... А теперь ей ничего нельзя, я как-то попробовал из её кастрюльки — безвкусно, пресно, несолёное — от одного такого супчика поневоле жизни не рад станешь.

— Да не о том разговор, как вы не понимаете?! — раздражённо перебил Женя. — Я вам говорю: характер у неё стал невозможный. Ни с кем не желает считаться. Этакий, понимаешь, пуп земли. Или грызёт всех, или стопами своими, хныканьем всех изводить начнёт. То у неё бессонница, то она кушать не желает, что все едят. Полная обойма всяческих недугов и болячек... У твоей бабки тоже наверняка что-нибудь болит, но не стонет же она походя...

— Представь себе — стонет... И, как ты образно выразился, хнычет. Только, видишь ли, у нас к её стонам несколько иное

---

отношение. Встанем мы с Павлушкой утром, а отец нам из ванной сигналит: «Полундра, ребята, бабушка с левой ноги встала». Мама тоже: «Потише, мальчики, бабуля задремала, у неё опять печень».

— А у моей бабуни ревматизм был... Померла она, я в седьмом классе учился, а до сих пор помню... — Саша грузно повернулся на живот, подбил подушку под грудь. — Руки её до сих пор помню. Пальцы сухонькие, скрюченные, а на суставах наросты какие-то, шишки узловатые... Как-то встал я ночью, пить захотел, под утро, светало уже... Она сидит на кухне, у плиты, руки шалью обернула, держит их перед грудью на весу и укачивает, как ребёнка. А сама дремлет... и тихонько так не то кряхтит, не то стонет... по-Жениному сказать, хнычет...

— А ну, давай, давай, давай — меня перевоспитывай! — на смешливо пропел Женя. — Бросьте вы мудрить, товарищи дорогие! Когда пацан болеет корью, ветрянкой, свинкой — никто же из этого трагедии не делает, так и говорят — детские болезни. Ну — печень, ну, ревматизм и ещё десяток разных стариковских болезней — это же естественное возрастное явление. И не в болезнях дело — все старики болеют, но не все отравляют жизнь ближним своим. Жалобы, упреки, стеснения, а лексикончик у нашей бабуся, когда она взбесится, надо сказать, богатейший: «Бессердечные хамы! Эгоисты! Тупицы! Неблагодарные свиньи!». А послушали бы вы её душераздирающие вариации на тему: «Я вам всю себя отдала! Я ради вас пожертвовала личной жизнью!». Представляете?! Жертва!!! А кто тебя просил рожать, если материнство для тебя жертва? Любое животное родит себе детёныша и трясётся над ним... Основной закон природы. Хотя бы та же кошка, только кошка благороднее, она потом не будет ходить и мяукать, и упрекать на все лады: «Вот, мол, я мышшь поймала — сама не съела, тебе отдала; собака за тобой погналась, я не побоялась, на собаку бросилась, а тебя в обиду не дала». Я как-то не вытерпел, говорю: «Надо было, бабуся, заблаговременно векселёк оформить, глядишь, и проценты приличные на твои материнские жертвы набежали бы».

— А она... что? — негромко спросил Саша.

— Не знаю. Я, конечно, благоразумно побыстрее смылся. Но думаю, что на полдня визгу хватило.

Саша никогда не страдал особой щепетильностью и даже искренне считал себя циником. В определённых условиях мог он виртуозно обложить собеседника трёхэтажным матом, мог при надобности пустить в ход свои тяжеловесные

---

кулаки, но сейчас он почувствовал какую-то тягостную неловкость.

— Да-а! — протянул он неопределённо и, вскинув длинные ноги, сел на постели. — Весёлый разговор. Давайте, братья-славяне, тяпнем по маленькой за счастливую старость.

Он, нагнувшись, вытащил из-под раскладушки бутылку и разлил водку в стаканы.

— Вот ты говоришь — естественно... — подумав, начал Саша, когда все трое молчком, но в полном единодушии опорожнили стаканы. — Пищу нормальную, человеческую, поесть ему нельзя — печень большая; спать не может — старческая бессонница; боль в три погибели согнула — ну что ж? Трудно, конечно, мы это понимаем, но ты всё же не стони, не хнычь, не капай нам на нервы. Это же всё естественно — ты старик. Вот случись такое с тобой или со мной, мы бы не стонали, не хныкали... Мы бы орали во всю глотку...

— Вы знаете, ребята... — перебил его Алексей. Он резко поднялся и сел на ковёр между тахтой и раскладушкой, охватив руками угловатые колени. — Женька прав, всё это не так просто... Живём мы рядом с ними... племя младое, незнакомое... Вы понимаете? Они — одно племя, мы — другое. Подожди, Жень, я вам расскажу, как со мной получилось...

Это не было состоянием, о котором говорят «язык развязался». Пришло счастливое ощущение раскованности. Сейчас он мог сказать вслух своё самое личное, сокровенное — говорить, не страшась, что тебя заподозрят в одном из самых позорных грехов — в сентиментальности и слюнтяйстве.

— Как-то, не очень давно, один из наших, учёный кретин, в парке разглагольствовал, не знаю уж, по какому поводу, я случайно, мельком несколько фраз услышал, таких, примерно: «В чём заключается омерзительность старческого маразма? Молодой полноценный человек смело рискует жизнью, смеётся смерти в глаза, а эта старая рухлядь цепляется за жизнь».

У меня эти слова здорово как-то в памяти застряли, а тут вскоре зашёл я к бабушке, у неё как раз ночью приступ был. Она мне бодренько так говорит: «Сердчишко-то у меня ничего, если бы не печень, вполне бы я ещё могла лет пять пожить». Понимаете, она знает, что в лучшем случае ей остаётся пять лет... Вроде приговорённого. Вынесен приговор, только точный срок казни не объявлен. Может быть, через год или через два, а возможно... сегодня ночью... Но неизбежно, и никаких апелляций, никакой надежды на смягчение приговора... Логически рассуждая — тоже естественно. Прожил чело-

---

век, сколько ему судьбой отпущено, ну и... пора честь знать. А меня словно обухом по затылку стукнуло. Ведь она же о смерти говорит, о своей смерти... Что же, значит, им умирать не страшно? И жить уже не хочется? И я её спросил... Ну, так вот, просто взял и спросил... Она говорит: «Всё живое смерти боится и хочет жить». Я вижу — неприятно ей со мной об этом говорить, а удержаться уже не могу: «Как же, — говорю, — ты можешь так спокойно об этом рассуждать?». А она: «Я же человек, хотя и старый, но человек... Все мы смертны, и конец близок, пока разум не отказал — всё это сознаёшь... но я так считаю: загодя умирать от страха перед смертью — это самого себя медленной казнью казнить. Хорошо тем, кто в бога верует, а нам, немоляхам, куда труднее. А пожить ещё ох как хочется! Зима нынче такая трудная была, вышла я весной на волю, села на скамейку и молюсь, сама не знаю кому: „Спасибо, что дал ты мне ещё разок увидеть, как на берёзе лист распускается, как роса перед ясным днём на траву падает“». А потом она ещё такое сказала: «Страшна не смерть, а страх человека перед смертью, перед страданиями. И ещё страх, что залежишься. И сам измучаешься, и вас всех истерзаешь, пока умрёшь... У нас ведь как? Заболел человек безнадежно... И врачи знают, и близкие, а главное — сам человек уже понял, что пришёл самый страшный срок. И все мучаются, и помочь нельзя. Я понимаю: против смерти человек бессилён, и всё же здесь у меня к науке свой серьёзный счёт. Как убивать человека, наука такого напридумывала, что теперь и сама же не рада, а вот как защитить безнадежно больного человека от страха смерти, от смертных мук — на это у науки ни ума, ни средств не хватает. Не уколы от боли, нет. А скажем, ну... таблетки такие. Дали человеку таблетку, и приходит к нему душевный покой. Ни страха, ни отчаяния, ни тоски смертной. Покой». Не знаю, возможно, я что-нибудь упустил, но вообще-то почти дословно, как она говорила...

Вы понимаете? Раньше меня все эти дела как-то не интересовали... Живут рядом старики, ну и живите себе на здоровье... А сейчас... Думается мне, что-то у нас здесь не всё ладно... Страх смерти — это само собой, это неизбежно, а вот чувство одиночества... видимо, под старость человек становится чудовищно одинок... И знаете почему? Потому что мы — это самое племя молодое — не хотим понять, что с ними происходит...

— Сражён!! — фыркнул Женя. — Что значит аналитическое мышление! Феноменальный дар — из любой чепуховины высосать мочалку для философской жвачки, да не простой жвачки, а с таким драматическим ароматом!

---

— Ша, Женя, хватит. Смешно, да не быстро... — резко оборвал Саша. — Что верно, то верно. Зайдёшь, бывает, к кому-нибудь из ребят, бродит там какой-то дед или бабуся. Ну, поздороваешься, конечно, пару слов мимоходом бросишь, ну, иногда какой-нибудь бабке в трамвай вскарабкаться можешь... если время есть. Место в автобусе уступишь, мы же юноши культурные, воспитанные... На днях один тоже старику место уступил... колоритная сценка, между прочим. Здоровенный подонок, морда кирпича просит, встал, старика посадил и говорит на весь трамвай: «И какого лиха, дедунчик, тебе дома не сидится? Люди с работы едут, а вы тут ползаете, транспорт забываете...». И никто ни одним словом этого подонка не одёрнул... Почему? Да потому, что, с точки зрения его логики, он прав. Деловые рабочие люди мёрзнут на остановках, а эта старая немочь лезет себе с передней площадки, да ещё и место ему уступай...

— При чём здесь логика?! Ну какая к чёрту логика? — взорвался Женя. — Типичное хамство. Он и женщине так же нахамит, и ребёнку...

— Нет, пардон! Женщина может и сдачи дать, а за ребёнка весь трамвай вступится. Нет, тут не просто хамство, Лёха правильно говорит... Только, пожалуй, мочалка-то эта нам с вами не по зубам...

— Вы поймите, ребята, что получается? — Алексей потянулся за сигаретой и жадно закурил.

Ни задиристый Женькин скепсис, ни Сашина с оглядочкой сдержанность сейчас не могли уже потушить откровенного и трудного разговора.

— Вот — я. Молодой, здоровый, сильный... Умный!! Вообще — полноценный. Этакий хозяин всего сущего на земле. А рядом они, эти — уже не полноценные, доживающие. Время от времени мы фонтанируем благородными и благозвучными речами о счастливой старости, песни поём: «...старикам везде у нас почёт!». А какой там почёт? Откуда он возьмётся, если у нас к своему родному деду и бабке не хватает ни терпения, ни жалости... а какие мы поговорки от старших слышим чуть не с пелёнок: «Бабка из ума выживает...», «Из деда песок сыплется, а туда же, рассуждать лезет...», «Жизнь молодым заедает», «В детство впадает...», «Старческий маразм». А скажите, хоть раз в жизни слышали вы где-нибудь: в школе, в клубе, по радио — умную, квалифицированную лекцию о том, что с человеком происходит, когда он начинает стареть? Вот говорят: «Бабка от старости из ума выживает...». Я к своей бабушке присматриваюсь, она ведь очень старая и больная,

---

может быть, и она из ума выживает? Да ничуть не бывало! Её интересует всё, что интересует и нас. Мы можем по-разному смотреть на вещи — это естественно, но в смысле восприятия окружающего, по ходу мышления, логики, по чувству юмора, наконец, всё в ней нормально.

И в то же время в чём-то она очень изменилась. Обидчивость? Нет, не то слово. Какая-то особенная ранимость. Раньше она, по-моему, не умела или воли себе не давала при нас плакать. Наоборот, чем бывало труднее, тем она крепче держится, да ещё нас всех подбадривает... А теперь... запоздает отец с работы или приболеет кто в семье, начинает метаться, места себе не находит... из-за каждой ерунды тревожится, переживает... Из-за какого-нибудь неловкого нашего слова или дурацкой шутки раньше сама бы посмеялась, а теперь уйдёт к себе и... плачет. Выходит, что-то она всё же уже утратила... И ещё такая черта, совершенно раньше не свойственная её характеру. Она всегда была добрая, а нежностей телячьих не любила. Это, между прочим, её выражение — «телячьи нежности». Вот вы замечали, как иногда с ребяташками бывает. Играет пацан, увлечённо так с игрушками возится и вдруг бросит всё, бежит к матери или бабушке, на колени лезет, обнимается... Ему, понимаете ли, необходимо, чтобы кто-то его приласкал... И вот, видимо, у человека под старость появляется такая же потребность в ласке. По-моему, их даже можно лаской... лечить.

Иногда зайдёшь к бабушке, лежит совсем больная. Глаза тусклые, движения вялые, посидишь с ней, без всяких там нежностей, ну просто посидишь, чайку горячего подашь, хохму какую-нибудь институтскую посмешнее расскажешь, и, понимаете, она прямо на глазах начинает оживать. Честное пионерское, вроде психотерапии... Получил я стипендию, и, просто случайно, подвернулась мне в магазине электрическая грелка... для стариков, надо сказать, прямо незаменимая штука. Четыре рубля... ерунда, конечно, а она словно драгоценность какую её в руки берет. И всем потихонечку докладывает: «Алёша подарил!». И сияет, как маленькая...

— Это точно... Я помню, батя с работы приходит, подсядет к бабушке, она совсем уже ветхая тогда была, вытащит из кармана пряник или конфетку, время тогда ещё трудное было: «Санька, — кричит, — тащи бабانه чаю...». Это чтобы заставить её при себе тот пряник съесть, а то она спрячет его под подушку, а потом незаметно сунет мне или Маньке, сестрёнке моей младшей... Да, братцы... совсем ведь и немного надо, чтобы старика обрадовать, а вот — не доходит как-то... не получается.

---

— У твоего бати доходило и получалось... а вот у меня брат есть, не родной, а так... троюродный, что ли, через улицу плетень. Замечательный человек. Нет, никакой иронии. Настоящий интеллигент, чуткий, отзывчивый, справедливый. В коллективе — авторитет. Уважение вполне заслуженное. Вовка, сын четырнадцати лет, математик, шахматист, спортсмен, эрудиция, апломб — ну в общем типичное исчадье атомного века. Таньке четыре года, тоже здоровая, как поросёнок, но как поедут на ней черти, закатит истерику часа на два, воеет, как сирена, и ничем унять невозможно. Бабушке, матери Игоря, лет шестьдесят семь или восемь.

У неё тоже «характер испортился». И ворчит, и стонет, и с ребятами ссорится.

Особенно с Вовкой их мир не берёт.

И вот странная получается картина. На работе с сотрудниками, с подчинёнными, в самой напряжённой ситуации, Игорю никогда не отказывает выдержка. Всегда тактичен, даже деликатен. Хватает у него терпения и для своих вундеркиндов, и для жены, а она у него, надо сказать, довольно вздорная баба.

А вот мать его почему-то раздражает. Единственный человек, с которым он может позволить себе сорваться, нагрубить, обидеть — это бабушка.

Я его как-то спросил: «Чего это вы так ребят распустили?». Так он мне целую лекцию прочитал о возрастных особенностях ребёнка. И всё так логично, научно обоснованно. Вова подросток — трудный переходный возраст; Танечке всего четыре годика, короче говоря, от них ещё нельзя требовать... Вот я и подумал, почему он никогда не скажет: а от бабушки уже нельзя требовать.

Это же образованный человек. Если подходить к людям с возрастными мерками, то уж он-то должен понимать, что самый трудный, самый мучительный период — старение и старость. И второе — что именно семья должна воспитывать в ребятах хотя бы самое элементарное уважение к старости.

— Ну, даёт наш философ! — захохотал Женя и звучно хлопнул Алексея между голых лопаток.

— Чего это тебя прорвало? — удивился Саша. — Я думал, ты давно дрыхнешь.

— Ну что ты! Как можно этакий патетический монолог проспять. Всё вроде ничего. Сидит себе юноша, обдумывающий жизнь, и рассуждает — здраво, как говорится, на уровне, и вдруг рванёт куда-то в сторону самых ветхозаветных догм: деток нужно любить, потому что они маленькие; старичков

---

нужно уважать, потому что они старенькие! Я человека уважаю независимо от его возраста. Я его персонально уважаю, если он уважения заслуживает.

Ты нам ещё о преемственности поколений лекцию прочитай. Об эстафете поколений, и те-де, и те-пе.... Уважение! Уважение заслужить нужно. У Федосеевых старухе семьдесят с гаком, с костыльком ходит. Пятьдесят лет учителем проработала, и сейчас то она в школе, то ребята к ней бегут. Молодые учителя всегда вокруг неё толкуются, попробуй такую не уважать, встретишь — и сам как-то невольно поклонись... А у Шестернина тёща бегаёт по всем этажам, совершенно чужим людям о родной дочери, о зяте всякие мерзости рассказывает. В завком бегала жаловаться, такую пакость им устроила — насилие расхлебали. Так что же, и эту прикажете уважать?

— Да не о том я! — уже устало отмахнулся Алексей. — Ну как ты не понимаешь? Я о нашем отношении к старости вообще...

— Какое может быть вообще?! Всё идёт именно от частности, от личности...

— Стоп! Стоп! Братцы-кролики. Давайте культурненько, без хая и лая. В чём я с Лёхой абсолютно согласен... — Саша помолчал, поскрёб пальцем подбородок. — Красивые слова и песнопенья наши о счастливой старости не вполне, деликатно выражаясь, соответствуют реальной действительности. И никто, по-моему, всерьёз над проблемой этой и не задумывается. А проблемка-то не шуточная... И каждый из нас без исключения в ней кровно заинтересован... Жизнь быстрая, оглянуться не успеешь, как какой-нибудь... полноценный: «А ну, — скажет, — дедунчик, подайся в сторонку, не путайся под ногами».

А вот насчёт преемственности поколений и всего такого прочего, здесь, Ефим Степанович, зубоскальство-то вроде бы и ни к чему. Это у нас как бы условный рефлекс — если не нами придумано, значит — брехня, стариковская демагогия... А если всерьёз? Давай возьмём для примера три последних поколения. Скажем так: дед мой, отец и я... или ты...

По самой примитивной схеме — картина-то получается впечатляющая. Дед отломал Первую мировую войну; утёр всему миру нос небывалой революцией; в гражданской войне отбил от всяческой «внешней и внутренней» сволочи; потом, подтянув пояс потуже, принялся разрушенное хозяйство в порядок приводить... Состарился, выбился из сил, но тут сыновья подросли... скажем, батя мой и твой. Приняли они от него всё хозяйство, строительство завернули такое, что

---

кости трещали; во Второй мировой фашизму хребет сломали и опять же, пояс на последнюю дырку, чуть не полстраны заново застраивать пришлось... Нас-то, сопляков, не только поить-кормить нужно было. Им такое хозяйство оборудовать требовалось, чтобы нас и в космос заглянуть поманило, и на грешной нашей планете добрую жизнь наладить... Ты зубы не скаль, меня этим не проймёшь.

Беда наша в том, что все эти понятия: преемственность, эстафета, ну и ещё многое другое, подаются у нас как-то отвлечённо, абстрактно, вот и не связывается оно в моём сознании живой связью с практическими нашими делами. Взять иного старика...

Опыт у него, знание жизни... как бы я ни был образован, талантлив, ультрасовременен — в определённом разрезе я перед ним щенок. И не вижу в этом ничего унижающего моего высокого достоинства...

— Хилый аргументик толкаешь, старик! — перебил Женя. — Таких престарелых гениев — раз, два и обчёлся...

— Да при чём здесь гений, балда?! Опять — двадцать пять, перстом в небо. Я тебе о стариках, которые рядом с нами. Я не говорю даже о профессорах, которые нас с тобой обучают, ты загляни в любую школу, в больницу, на любое предприятие, в колхоз, наконец, везде есть старики, которые и тебе, и мне ещё позарез нужны. А много ли они от нас доброго видят? Ещё пока работает, туда-сюда... а ушёл на пенсию — и стал дедунчик... бабка.

— Боже мой! — горестно вздохнул Женя. — Как это я не догадался магнитофон запустить? Чутьочку пожиже патетики да погуще логики, какая чудная плёнка могла бы остаться в назидание неблагодарным потомкам. Взволнованный голос юноши конца шестидесятых годов, взывающий: «Дети! Уважайте дедушку и бабушку! И не забывайте, что через энное количество лет вы тоже превратитесь в дедунчиков...».

— Во-во! — Саша сладостно, с подвыванием зевнул. — Ты гениально схватил Лёхину мысль. Глубоко философскую тезу облек в доходчивую, общедоступную форму. Именно, с самых младенческих лет долбить его в темечко: «Не будь свиньёй... умей быть благодарным тому, кто тебя любит, не стыдись бабушку добрым словом порадовать...». Вот тогда он и чужого старика обидеть не сможет... и идею преемственности поколений ему в голову проще запихать будет... И не придётся никому от бабушкиной тирании на Камчатку бегать...

— Ладно, дрыхни... — засмеялся Женя. — Пророк новоявленный...

---

Проснулся задремавший в тополевой листве ночной ветер, толкнул створку окна, надул парусом полотняную штору.

Алексей распахнул окно настежь, откинув штору, выпустил в комнату притаившуюся на балконе знобкую предутреннюю душистую свежесть.

Отдохнувшие за ночь цветы на балконе благодарным дыханием встречали раннюю зарю нового дня.

Грешно проспать такое благодатное утро, но Саша и Женька уже безмятежно посапывали. Алексей лёг рядом с Женькой, потянулся сладко, закинув руки за голову. Где-то, не то под отяжелевшими веками, не то в прохладной ямке подушки под затылком, возник тихий дремотный звон. Ну что ж, отоспаться в воскресное утро — вволю, до отвала отоспаться — тоже святое дело.

---

---

# «Восстание рабов»

*(две маленькие семейные истории)*

## История первая

Ты понимаешь, дело даже не в том, что она говорит, а как говорит. Именно тон, каким она с нами вдруг заговорила.

Жили вместе почти шесть лет, и всё было хорошо.

Случалось, конечно, ругались. Я, по правде сказать, в последнее время здорово психовать стал, грубил ей иногда. Ну, поплачет, подуется, и опять всё обойдётся. Первые годы, когда я её привёз, всем нам туго пришлось. Мы поженились — я на четвёртом курсе был, Натка на первом, — и вскоре Маришка наметилась. Пришлось за матерью ехать.

А она только-только на пенсию пошла. Собиралась как раз в Алма-Ату, к тётке Ане ехать на яблоки да виноград.

Плакала, конечно, но всё же согласилась помочь нам, пока я институт не закончу. Закончил институт, в аспирантуре оставили. Кандидатскую защитил. Раньше жили в общежитии, комнатуха — на четверых пятнадцать метров. Материально едва-едва концы с концами сводили. Маришка рёва была страшная, болела часто, и всё было ничего! Не жаловалась, не хныкала... ни разу, ни одним словом не упрекнула. Наоборот, нас ещё подбадривала: «Потерпите, вот получим квартиру, ты, Сашок, диссертацию закончишь, Наташа диплом получит...».

А теперь — квартира со всеми удобствами; у неё отдельная комната; денег втрое больше; Маришка подросла, в садик ходит... Казалось, чего бы ещё нужно? Натка диплом защитила, работу получила хорошую, а через неделю мамаша вдруг заявляет:

— Теперь, Саша, придётся тебе вставать пораньше. Будешь сам Маришку в садик провожать.

Я говорю:

— Почему это я обязан раньше вставать?

— Потому что Наташе далеко ездить, а тебе попутно. И ещё потому, что ты папа.

---

— Я папа, — говорю, — а ты кто? Тётка чужая?

— Нет, почему же? Тебе я мать, а Маринке бабушка.

— Я об этом помню...

Спокойно так, понимаешь, отвечает:

— А вот вы, видимо, забыли, что пять лет назад родили ребёнка. Я его вам пять лет растила, дала Наташке возможность спокойно учиться, а тебе диссертацию защитить. Я свой долг с лихвой выполнила и больше никому ничего не должна.

Говорит и улыбается:

— Вам теперь самим придётся о своём родительском долге вспомнить. Слава богу, обоим под тридцать лет...

Меня зло взяло:

— Ведь и ты тоже не так уж стара и больна...

— Совершенно, — говорит, — правильно, сынок. Не настолько я ещё стара и больна, чтобы отказаться от жизни. Я вам отдала шесть лет своего отдыха, а они ведь уже на исходе, годы-то мои. Поэтому давайте договариваться и распределять обязанности.

И пошла выкладывать пункты договора:

— Братъ из садика Марину буду я, чтобы вам не бегать с работы, высунув язык. Буду готовить обед. На рынок и в магазин будет ходить Саша. Стирка и уборка квартиры теперь Наташина забота. Три вечера в неделю — ваши, два мои. Суббота — ваш выходной, воскресенье — мой. Или наоборот, предоставляю вам право выбора. По утрам на меня не рассчитывайте. Пора и мне испытать, что это такое: полежать утром лишний часок в постели. Отпуск планируйте не позднее июля, потому что на август и сентябрь я уеду к Аннушке в Алма-Ату. И, пожалуйста, Саша, не злись и не груби. Больше я тебе хамить не позволю.

Представляешь? Предъявила ультиматум, вручила ноту и спокойно удалилась на собственную жилплощадь.

И дверь за собой закрыла.

## История вторая

Двадцать лет назад это была трёхкомнатная коммунальная квартира на три семьи. Анна Яковлевна с дочерью Верой занимала небольшую тихую комнатку в конце коридора.

На двадцатом году Вера вышла замуж, а когда подошло время родиться Витасику, молодые перебрались к Анне Яковлевне, обменявшись комнатами с её соседом, который очень

---

любил Верочку и охотно пошёл на обмен, чтобы дать возможность Анне Яковлевне объединиться с детьми и снять с Верочки заботу о ребёнке. Через несколько лет освободилась и третья, большая светлая комната. Зять Николай Сигизмундович к тому времени уже имел учёное звание, ему полагалась дополнительная площадь. Комната осталась за ними.

Квартира была заново отремонтирована, благоустроена, и наконец-то Вербицкие зажили «по-человечески». У молодых была хорошо обставленная спальня. Витасик жил с бабушкой в её комнатке, а столовая служила и гостиной, и приёмной Николая Сигизмундовича, когда к нему приходили его сотрудники по институту. Семь лет назад семья Вербицких неожиданно увеличилась. Приехал племянник Николая Сигизмундовича, единственный сын его любимого старшего брата, который в своё время заменил для Николая Сигизмундовича рано умершего отца.

Игорёк, очень симпатичный, воспитанный мальчик, приехал учиться в институт Николая Сигизмундовича. Конечно, невозможно было допустить, чтобы Игорёк скитался по общежитиям, он должен был жить в семье дяди, под его руководством и опекой.

Положение создалось критическое. Где-то нужно было поставить ещё одну кровать, и мальчику нужен отдельный рабочий стол. Приходилось жертвовать столовой.

Выход из положения нашла бабушка. Она переселилась в кухню, а её комнату стали называть комнатой мальчиков.

Несмотря на разницу в годах — Витасику было всего девять лет, — мальчики очень дружили и прекрасно уживались в небольшой бабушкиной комнатке.

А в кухне, перегороженной большим старым буфетом, за ситцевой портьерой, получился довольно уютный угол. В него свободно вместились раскладушка, небольшой столик и ножная швейная машина, с которой бабушка не расставалась.

Правда, кухня была проходная, в неё выходили двери туалета и ванной комнаты, но ведь семья-то своя, что тут особенного?

Тем более, что вставала бабушка раньше всех, чтобы успеть приготовить горячий завтрак и, проведив семью, сразу же приниматься за уборку квартиры.

Всё это было семь лет назад. Давно закончил институт и уехал к родителям Игорёк, «малыш» Витасик перешёл в девятый класс, начала стареть и прихварывать бабушка. Теперь на кухне хозяйничала приходящая домработница Поля.

---

А сегодня...

— Веруся, сходила бы ты в поликлинику... мой врач Сергей Геннадьевич просил, чтобы ты зашла...

— А что такое, мама? Что случилось? — встревожилась Вера Павловна.

— Да ничего не случилось, его беспокоит моя бессонница. Я ведь, детка, уже полгода спать не могу...

— В чём дело? О чём разговор, уважаемые дамы? — Николай Сигизмундович прекрасно настроен. Дела в институте идут великолепно. Предстоит интересная заграничная командировка. — Так что же стряслось? Чем мои дамы озабочены?

— Мама жалуется на бессонницу, её врач просил меня зайти к нему в поликлинику.

— Да, бессонница — пренеприятная штука! Сам не раз испытывал, знаю. Но вы, Анна Яковлевна, не должны расстраиваться... Возрастные явления, что поделаешь, дорогая, годы! Мне сорок четыре, а я уже начинаю ощущать груз лет. Нужно, Верусик, сходить к врачу, посоветоваться. Есть великолепные снотворные. Безвредны и действуют радикально. Они не всегда бывают в аптеках, но думаю, что я смогу достать...

— Снотворные может применять тот, кто имеет возможность выпасться, а я этой возможности лишена... — тихо сказала Анна Яковлевна.

— То есть?! — удивился Николай Сигизмундович. — Я вас не понял...

— Я не могу больше жить в кухне... Я устала... мне покой нужен, вы же сами говорите, годы... И на раскладушке я со своими больными суставами больше спать не могу...

Анна Яковлевна через силу улыбнулась:

— Я утром из неё никак не могу выбраться...

— Не понимаю, что же вы хотите?

— Я хочу занять свою комнату. Когда Игорёк уехал, я всё ждала, надеялась, что вы сами поймёте... два года прошло, как он уехал...

— Анна Яковлевна, Виталий уже юноша, и вы сами знаете, как много ему приходится работать...

— Мамуся, что с тобой?! — перебила Вера Павловна. — Просто тебе сегодня нездоровится, у тебя плохое настроение... Ты же так любишь Витасика... Боже мой! Я просто ушам не верю! Успокойся, мама, всё можно обсудить, обдумать... Ты знаешь, Коля, сделаем так: эту старую громадину — буфет — давно пора из кухни выбросить. Купим кухонный гарнитур, он так мало занимает места. Закажем хорошенькую лёгкую

---

ширму для мамы, Витасику купим диван-кровать, а маме поставим её тахту из Витасиной комнаты, холодильник можно поставить в коридор, конечно, он своим шумом беспокоит маму...

— Верочка... ты пойми! — взмолилась Анна Яковлевна. — Мне покой нужен! Вечером я так хочу спать, а у нас ведь редкий вечер нет гостей... или у Витасика мальчишки... в кухне всё время люди... до двенадцати, до часу ночи... Потом вы уснёте, а у меня сон переломился, я лежу, лежу... господи! Под утро задремлешь, а в семь уже Поля приходит... Витасик душ принимает... потом вы встаёте...

— Зато, Анна Яковлевна, с девяти и до пяти часов дня в вашем распоряжении вся квартира, неужели в течение дня вы не можете выспаться?

Анна Яковлевна пристально, с каким-то странным, жёстким любопытством смотрела в лицо зятя. Чужое, незнакомое лицо. Неужели это он, любимый зять, честный и справедливый, которого она знала больше двадцати лет?

А Вера? Неужели это она, её Верунька? Эта чужая толстая женщина — красные пятна на лице, злые глаза... Что же с ними случилось? Как это она не заметила, просмотрела, когда они стали такими...

— В конце концов у вас есть сын... — услышала она холодный и жёсткий голос зятя, словно сквозь сон услышала... — Не нравится вам у нас, поезжайте к Александру...

Анна Яковлевна тяжело поднялась и, преодолевая внезапно возникший в ушах острый и резкий шум, сказала, спокойно усмехнувшись:

— Спасибо за совет, Николай Сигизмундович. Александру я не помогала детей растить, потому что двадцать лет жизни отдала Верочке и вам. Я думала, что я для вас мать, а оказывается, была я вам нужна как кухарка, прачка... нянька...

— Мама, одумайся, что ты говоришь?! Зачем эти упрёки?! Ты делала то, что делают все матери...

— Правильно, дочь. Я выполняла материнский долг, выполнила его до конца, безотказно. Но люди говорят, что, кроме материнского, бывает ещё и сыновний долг, в данном случае дочерний. Вы о таком не слышали? Так вот. Ехать мне некуда и незачем. Здесь мой дом, моя комната, в ней я и буду жить.

Шум в ушах усилился, и в глазах начинало рябить. Она уже плохо слышала, что говорили дочь и зять.

Да и не следовало ей больше ничего слышать.

...Она лежала на своей раскладушке, закрывшись с головой одеялом. Ушли в театр Вера и Николай Сигизмундович. При-

---

шёл Виталий. Анна Яковлевна слышала, как Поля говорила с ним в коридоре сердитым полушёпотом. Потом, видимо, задремала, померещилось, что кто-то тянет осторожно одеяло.

Перед раскладушкой на корточках сидел Витасик.

— Вставай, бабуся, переселяться будем... Ну, чего ты расстроилась? Это же я, балда, осёл лопухий, виноват. Не мог сам додуматься. И ты тоже хороша, сказала бы мне сразу, как Игорь уехал... Ты думаешь, мне здесь хуже будет? Завтра я буфет — к чертям собачьим, в сарай... Во всю стену стеллаж под книги сгрохаю, стол вот сюда к окну, раскладушку днём за печку, представляешь, как здорово получится? Чего ты плачешь? Зачем ты с ними говорила?! Это же мещане, обыватели... Ты с ними не смей говорить, пока они перед тобой не извинятся...

Из-за портьерки выглянула Поля, сердито цыкнула на Виталия:

— Хватит болтать-то! Айда перевозиться, я там твои манатки уже склала. А вам, Яковлевна, нечего переживать... тоже мне... пришла охота... переживать. Правильно Витька-то говорит: пушай прощения попросят, а вы ещё подумайте, прощать или нет. Вы в своём праве, давно было пора... Айда, Витька, пошли стол перетаскивать!

---

---

# Тревога

— Простите, дорогая Марина Павловна, я забыл выразить вам своё соболезнование...

Разговоры в учительской притихли. Марина настороженно вскинула па Петра Иосифовича глаза.

— Ну как же? Пока вы болели, ваш 7 «А» обогатился ещё одной интересной личностью. Прелестное пятнадцатилетнее дитя... дважды второгодник. Прибыл из дальних далей на радость нашему дружному, спаянному педагогическому коллективу...

Марина знала склонность Петра Иосифовича не всегда уместно и тактично подшучивать над коллегами, особенно над молодыми учителями. Это был ехидный, но, по существу, совершенно безвредный старец, и Марина никогда не позволяла себе обижаться на его шутки.

— Я очень благодарна, уважаемый Пётр Иосифович, за вашу исчерпывающую информацию, но с Андреем Сотниковым я уже познакомилась и не вижу причины для вашего соболезнования.

Она сделала лёгкий реверанс, Пётр Иосифович галантно шаркнул ножкой, и они, забрав классные журналы, двинулись из учительской навстречу голосистому звонку.

Из документов новичка Марина Павловна почерпнула сведения весьма скудные. Характеристика учителей, как обычно, безлика. Поведение — примерное. А как иначе?.. По успеваемости — типичный середнячок... Настораживала только какая-то странная периодизация. Если вычертить кривую оценок, картина получалась впечатляющая. Первая четверть — сплошные тройки и двойка по литературе. Во второй преобладают четвёрки, затем опять резкий срыв. Но к концу учебного года двойки ликвидированы, Андрей Сотников переведён в седьмой класс.

В семье двое детей. Родители оба работают. Отец — высококвалифицированный сварщик. Казалось бы, бюджет семьи должен быть вполне приличным, а выглядит Андрей очень нехорошо. Тощий, бледный, глаза запавшие. Костюм заношенный, разномастный. Брючишки короткие, ботинки, видимо, не раз побывали в ремонте. И в школе держится

---

очень неровно. Сегодня на уроках сидит вялый, полусонный. А на завтра является взъерошенный, беспокойный, смотрит исподлобья, настороженно. Книги и тетради носит, засунув за брючный ремень.

Выяснила, что у него не по всем предметам есть учебники, подошла в перемену, сказала, что завтра в книготорге ожидается продажа географических атласов и кое-что из учебников, буркнул: «Ладно!». Прошло две недели, учебники не куплены, почему?

Ребята собирали деньги на коллективный поход в театр. Премьеру «Хижины дяди Тома» ждали давно, волновались, радовались... Андрей в театр не пришёл. Позднее от ребят узнала: денег на билет он не принёс. Почему?

И в школьную библиотеку до сих пор не записался, и ни одного кружка не посещает.

Нужно было любой ценой выкроить свободный вечер, сходить к нему домой, познакомиться с родителями. Да, необходимо выкроить время... Но где его взять, этот свободный вечер, если и часа-то нет свободного?

Вечерний университет... родительский лекторий... литературный кружок, стенгазета... И тетради, тетради, бесконечные груды тетрадей. И дома не ладится. Каждое воскресенье нужно ехать за город к маме. Какая-то она стала мнительная, обидчивая. Пропустишь одно воскресенье — волнуется, переживает.

На Серёжку в садике жалуются: отказывается днём спать, дерётся с ребятами, вчера нагрубил нянечке. И дома бабушка им недовольна.

«...Вчера вышла из школы, смотрю, Сотников свернул в переулок, идёт вдоль забора новостройки, как всегда, один. Ты представляешь, Нина, за всё время ни разу не видела его среди ребят.

Догнала его, идём вдоль глухого забора. Я спрашиваю: «А где работает твой папа?». Он помолчал, а потом хрипло так, словно у него в горле пересохло: «Зачем вам?». Я засмеялась: «Ты думаешь, что классный руководитель приходит к родителям только для того, чтобы жаловаться? Просто мне хочется познакомиться с твоими, пригласить их на лекцию в наш лекторий...».

А он говорит: «Отец уехал... в командировку, а мать болеет... её завтра в больницу положат...».

«С кем же вы останетесь, — спрашиваю, — ведь у вас маленький есть?» — «Она в яслях... в круглосуточных...»

«Ну, а ты?»

---

«А что я, маленький, что ли?»

И, не простившись, нырнул в какую-то дырку в заборе.

Как наша соседка тётя Нюша говорит: не контактит!

И не только со мной. Подключила комсорга и нашего преподавателя физкультуры, его все мальчишки обожают. Результат — нулевой.

Знаю, что ты скажешь: прежде всего связаться с родителями, и не в школу их вызвать, а самой побывать у них, выяснить, в какой обстановке он живёт.

Ох, Нинка! Ты вот пишешь, что новую оперу слушала, ни одной выставки не пропустила, даже на каток ухитряешься ходить, а у меня ничего не получается. Ни на что не хватает времени.

И всё же придётся послезавтра, в субботу, вместо кино пойти знакомиться с этими Сотниковыми.

*(Из письма Марины Слайковской)*

На звонок Марины Павловны дверь открыл пожилой хмурый мужчина. Окинув Марину Павловну неприветливым взглядом, молча кивнул на дверь комнаты Сотниковых и так же молча прошёл в кухню.

Марина Павловна нерешительно стояла перед закрытой дверью. Надо же, неудачно всё получается. Явиться с первым визитом в разгар семейной ссоры. За дверью что-то приглушённо бубнил знакомый хрипловатый мальчишеский басок, слов Марина Павловна не разобрала, его перебил высокий плачущий женский голос: «Сам же ты, сам нас сюда загнал! Зачем же теперь на меня всё валить?!».

Отступить было поздно. Марина Павловна решительно постучала и, толкнув дверь, шагнула через порог. Комната была настолько мала, что не верилось, как в ней могут размещаться четыре человека. Старый диван, видимо, заменял супружескую кровать. У противоположной стены деревянная детская качалка. Узкий проход между ними вёл к небольшому столу у окна. Где же и на чём спит Андрей? Где он учит уроки? За дверью, под старенькой ситцевой занавеской, вешалка для одежды. Два старых табурета... и всё. С дивана навстречу Марине Павловне приподнялась маленькая заплаканная женщина. И сразу же откуда-то из-за двери, от вешалки метнулся Андрей. Он встал между Мариной и матерью, словно хотел плечом своим заслонить мать от непрошеной гостьи.

— Здравствуй, Андрей! Что же ты стоишь? Познакомь меня со своей мамой — пересилив чувство неловкости, неожиданно зашебетала Марина Павловна. — Добрый вечер, Анна

---

Георгиевна, простите, что никак не могла раньше к вам обратиться, вы знаете, в начале учебного года у нашего брата — учителей особенно много работы... Она сбросила дошку, сунула её Андрею: «Повесь, пожалуйста!». Мать, не сводя с неё испуганных, заплаканных глаз, попятилась и опустилась на краешек дивана. Не ожидая приглашения садиться, Марина Павловна, присев рядом, протянула руку большеглазой, взъерошенной девчужке, выглядывавшей из-за плеча матери:

— Здравствуй, маленькая. Ну, дай же мне лапочку... Девчужка плаксиво сморщилась и, тоненько взвизгнув, уткнулась лицом в подушку за спиной матери.

— Ой, Леночка, ну что ты, что ты?! — сконфуженно забормотала мать. — Вы уж извините, пожалуйста, боится она чужих... — Марина Павловна не знала, почему плакала эта женщина, в чём с таким отчаянием упрекала она Андрея, почему не только двухлетняя Леночка, но и они оба смотрят на неё с тревогой и страхом.

Ясно было одно: в этом тесном закутке прочно обосновалось горе. Горе и нужда. Холодея от жалости и гнетущей тревоги, Марина Павловна торопливо рылась в портфеле. Ей хотелось показать матери последнюю классную работу Андрея... очень неплохую работу... если бы не две ошибки, вполне можно бы оценить пятёркой... — Вы не подумайте, что я пришла жаловаться... я Андрюшей довольна... конечно, он ещё не совсем освоился в новой школе, не вошёл в жизнь класса... — Она на мгновение замолчала, и именно в это мгновение, вцепившись в плечо матери, Леночка пронзительно закричала:

— Па-па!!

Андрей, швырнув дошку на табурет, крикнул матери: — Иди к Григорию Ивановичу... да скорее ты!.. Схватив Леночку, мать метнулась в коридор. Андрей, сдёрнув с вешалки ворох какой-то одежки, выскочил за ней.

Всё происходило словно в каком-то нелепом, дурном сне. Что такое услышала она, эта малышка? Что её так испугало? Куда они все убежали?

Марина Павловна, ошеломлённая внезапным бегством хозяев, напряжённо прислушалась. В квартире стояла нехорошая, насторожённая тишина.

Только на лестничной площадке слышна была какая-то глухая возня, кто-то, навалившись на входную дверь, пытался всунуть ключ в прорезь замка.

Торопливо вернулся Андрей, схватил брошенную на табурет дошку:

---

— Марина Павловна, пройдите на кухню, вас Григорий Иванович проводит... пожалуйста, вам нельзя здесь...

Он говорил умоляюще. И смотрел умоляюще: уходи же, уходи же скорее, пока не поздно!

Но она уже никуда не собиралась уходить.

Перед ней стоял мальчишка — до предела издёрганный, загнанный мальчишка.

Её ученик. Её мальчишка.

И сразу свалилась скованность.

— Повесь дошку, Андрей. И успокойся... — Она уже всё поняла. В дверь ломился папа.

— Поди открой ему... ты же слышишь, он не может открыть дверь.

И вот он стоит перед ней. Папа. Отец её ученика, Андрюши Сотникова. Пытаясь сохранить равновесие, стоит, тяжело привалившись к дверному косяку.

— Где мать? — опухшие, мокрые губы с трудом выдавливают слова...

— Зойка прибежала... — сглотнув слюну, тихо отвечает Андрей. — Тётя Лиза захворала... велела прийти.

— Та-а-а-к! Свистнула, значит, сестрица... и... собачка наша... помчалась... хвост крючком...

Он швырнул в угол шапку и, с трудом сдирая с плеч пальто, обернулся к Марине Павловне:

— Ну... а вам... прекрасное виденье... что здесь понадобилось? — Наглая, пьяная ухмылка, прядь грязных волос прилипла к потному лбу, мутный, тупой взгляд из-под отёчных век...

— Я учительница Андрея, классный руководитель, — спокойно ответила Марина Павловна и, поднявшись с дивана, встала рядом с Андреем.

— Так-с... Ну, и чем же порадуете? Лодырь? Двоечник? Хулиган?

— Нет, зачем же? Я на Андрея не могу обижаться. Я просто пришла познакомиться с вами и его мамой...

— О! Мы с супругой чувствительно тронуты... такое благородное мероприятие... конечно... семья и школа... необходимые контакты...

(Да нет, не настолько уж он пьян. Пусть кривляется, паясничает, но речь всё же вполне связна и осмысленна.)

— Приходится, значит, ходить по дворам?.. Хотя не хошь, а идёшь, вам за то зарплата начисляется...

Его вдруг качнуло, закатив глаза, он замычал и навзничь повалился поперёк дивана.

---

(Господи, да он мертвецки пьян! Возможно, если бы не успел добрести до дома, лежал бы теперь где-нибудь на уличном перекрёстке.)

Привалившись головой к спинке дивана, он медленно, боком сполз на пол. Андрей пытался взвалить отяжелевшее тело отца на диван. Зайдя с изгололья, Марина Павловна, стиснув зубы, подхватила бесчувственное тело под мышки и, поднатужившись, поволокла его на подушку. На миг приоткрылись мутные глаза, скрипнув зубами, отец вполне связно и осмысленно выпустил заряд трёхэтажной площадной брани.

Гадливо сморщившись, Марина Павловна, словно от плевка в лицо, резко откачнулась.

— Не бойтесь, Марина Павловна, — прошептал Андрей, через силу стягивая с отца мокрый сапог. — Теперь всё... промёрз он сильно, как в тепле разморит, так он и готов... теперь до утра спать будет...

Марина Павловна вышла в коридор. Её била противная мелкая дрожь. Хотелось не то в голос заплакать, не то просто выпить стакан холодной, из-под крана, воды. Она прошла в кухню. У окна стоял тот пожилой, неприветливый мужчина, что открыл ей дверь. Марина Павловна вспомнила: «Вас Григорий Иванович проводит...».

Она сказала жалобно:

— Григорий Иванович, мне бы водички, — и присела к столу на низенький кухонный табурет.

— Успокоился? — сердито усмехнулся Григорий Иванович, подавая ей стакан воды. Марина Павловна молча кивнула, с наслаждением глотая холодную воду.

— Они у вас прячутся? — спросила она, до дна опорожнив стакан.

— Куда же им больше деваться?.. Когда я дома, он очень-то бушевать не смеет, а без меня гоняет беспощадно...

— А где он работает, вы не знаете?

— Да как же мне не знать? — удивился Григорий Иванович. — У нас на заводе и работает. Он сначала-то один приехал. Жена с ребятишками ушла от него к матери, на развод собиралась подать, а Андрюшка сбежал от неё и прикатил сюда к отцу. Любит он его... Он ведь не всегда пил. Хорошо жили, обстановка была приличная, квартира, всё, как у людей... А потом зашибать начал, и пошёл с места на место кидаться. Три города сменил, а как по пословице говорится: два раза переехать — всё равно, что погореть... Вот и доездились... ни кола ни двора. У ребятишек и одежонки-то приличной нету.

---

А раньше-то, Анна говорит, в ударниках ходил, в газетах о нём писали, портреты на Доске почёта красовались. Андрюшка-то гордился им. Вырезки из газет хранил, грамоты его почётные в папочке. А он, подлец, пришёл пьяный, увидел у него ту папочку, в клочья порвал... На Андрюшку-то смотреть прямо страшно было, до чего горевал.

Когда Андрюшка приехал, он ему слово дал, что пить не будет, заявление на квартиру подал, его на очередь поставили. Андрюшка начал матери писать: «Не бойся, приезжай, папа теперь не пьёт, и работа у него хорошая...». Она, дура, опять поверила, да и куда же она без Андрюшки? Он ведь и к ней очень привязанный, а уж Алёнку любит... редкие мальчишки так-то с сестрёнками нянчатся.

У меня сын в армии, комнатка пустовала, позвали меня в завком, попросили... Я со старухой посоветовался, чего же, думаю, надо мужика выручать, пусть поживут, пока ему квартиру не вырешат...

А он, месяца не прошло, запил хуже прежнего. А как напьётся — зверь зверем. Не может ей простить, что разводиться с ним хотела... — Григорий Иванович отвернулся к окну, кашлянул глухо. — Алёнке-то третий годок, а она его по шагам узнаёт, он ещё по лестнице на площадку лезет, а она глазёнки выкатит, трясётся вся: «Папа, пьяный... пьяный!». Унесу её к себе, она в угол забьётся... игрушки ей сунь, конфетку... ничего она тогда соображать не способна, просто вроде дурочки делается... Изуродовали ребёнка, ладно, если с возрастом отойдёт, а если на всю жизнь припадочной останется? Марина Павловна спросила:

— Ну... хорошо, вот вы дома возмущаетесь, а что же ваш завод... ваш коллектив предпринял?

— Приглашали его и в партком, и в профком... — неохотно ответил Григорий Иванович. — И в цеху с ним толковали, а он говорит: «Что вы можете знать в чужой семейной жизни? Это, — говорит, — дело личное... интимное...». У него, у варняка, язык-то неплохо подвешен; где не надо, он развитой... «Я, — говорит, — может, через него и пить начал...» Ну, а мы, понимаешь, люди деликатные, чересчур совестливые... кому охота в чужих семейных делах копать... — Григорий Иванович невесело усмехнулся. — Возьмите, к примеру, милицию. Для неё хуже острого ножа с семейными скандалами связываться. Ведь у них как получается? В семье дело до поножовщины доходит. Милиция ввязалась, дело в суд оформляется, а они, глядишь, уже помирились, жена бегаёт, за него же, за своего уroda, хлопчет и от всех своих показаний напрочь отрекается...

---

А на производстве... тут ведь главное дело что? Возьмите этого же Сотникова, к примеру. Работник-то он — золотые руки. На работе пьяным его никто не видел, по производственной линии ни одного взыскания... А хотя и сорвётся, что ему? Местом он не дорожит. Это ж перекаати-поле. Цену он себе знает, как же, рабочий-специалист высокого разряда. Уволь его сегодня хоть по статье, а завтра его любой завод с руками оторвёт. Да ещё и рады будут...

А какой он рабочий? Ему же ничего не дорого. На коллектив, на товарищей ему наплевать, потому что гордость-то свою, совесть-то рабочую он давно в рюмке утопил. Вот и наглеют такие, как он, что ни дальше, то больше. И ещё есть одна причина для ихней наглости. На производстве стараемся мы, чтоб сор из избы не выносить, чтобы на коллектив лишнее пятно не легло при подведении итогов соревнования. Я вот вам вроде анекдота расскажу, не про наш завод, а... ну вообще, по соседству живём. По всем производственным показателям выходит коллектив на почётное место. Подводятся итоги, составляется сводка для вышестоящих инстанций. Ну, а в сводке должно, конечно, отражаться и моральное, так сказать, состояние коллектива. Получается, всё вроде в порядке. Есть, конечно, кое-какие ЧП: прогулы там, опоздания, но в целом, как говорится, всё хорошо... А там, наверху, взяли да и поинтересовались, запросили вытрезвители: сколько с этого завода мужиков за отчётный период у них побывало? Большой конфуз получился! И что ещё интересно: почти 100 % приводов в вытрезвитель приходится на субботу и воскресенье.

Только сейчас Марина Павловна заметила, что за её спиной в дверях стоит высокая, статная пожилая женщина.

— Сидите, сидите... — ласково тронула она за плечо привставшую было Марину Павловну.

— Это старуха моя, Наталья Марковна, будьте знакомы... — представил Григорий Иванович. — Уснула Алёнка-то? — Уснула.... Да какой это сон? — вздохнула Наталья Марковна. — Чуть что, вскидывается, вздрагивает. Спит, а сама ручонками цепляется и головкой нехорошо так дёргает...

— Ты бы, мать, сносила её сама к врачу...

— А чего врач поможет? — сердито перебила Наталья Марковна. — Ребёнку покой нужен, а его ведь по рецепту в аптеке не купишь...

— А у них... это часто случается? — нерешительно спросила Марина Павловна. — Часто он... выпивает?

— Как вам сказать? Он, конечно, не запойный. Не то чтобы загулял на неделю, на две... Ну, с аванса, с полочки — тут

---

уж обязательно... Суббота и воскресенье — это у него тоже вроде законные дни. Бывает, что и ночевать домой не придёт, а они... ждут. Ждут и трясутся... — Наталья Марковна резко толкнула ногой стул и присела у окна. — Разве это жизнь?! Ночь-полночь, а они не спят, ждут — какой явится. Дверь внизу стукнет — Андрей аж побелеет, замрёт весь, слушает: он или нет? Сильно ли пьян да в каком настроении? Он ведь если не скандалит, так куражиться начнёт: подавай ему среди ночи горячего, или ещё что придумает... а они угождают ему, лишь бы не шумел. И боятся его, и перед нами-то им совестно... Андрюшка-то больно гордый. Горше всего ему отцовский позор. Другой раз караулит его на улице. Измёрзнется весь, ждёт, чтоб домой его поскорее увести, чтобы люди-то его пьяного не видели.

— Как же Андрюша дальше-то будет учиться? — Марина Павловна на мгновение прикрыла глаза ладонью. Под пальцами, на виске пульсировала боль. И такая тягостная придавила усталость. Ей казалось, что она не спросила, а только подумала растерянно: «Как же дальше-то Андрею учиться?».

— Какое ему учение? — откликнулась от окна Наталья Марковна. — Он спит и видит: паспорт получить — да на работу. Эх, моя бы воля, во-первых, никогда бы я мужикам двух выходных не дала. Для женщины лишней выходной — счастье великое, а для мужиков не день отдыха, а лишней пропойный день получился. Я бы...

— Ну-ну, ладно тебе, мать! — сконфуженно усмехаясь, перебил Григорий Иванович. — Я бы! Я бы! Дай тебе волю, ты бы завтра же повсеместно сухой закон ввела. Больно ты, Марковна, запросто все вопросы решаешь...

— И правильно, и водку прикрыла бы, чтобы духом её не пахло. Вы только подумайте: у самой заводской проходной — ларёчек этакий, голубенький, «Бабы слёзы» называется, будь он проклят. Экая ведь забота о рабочем человеке: загорелось выпить — далеко бежать не надо. Опрокинул стакан, Фиске-кравле мигнул, она тебе из-под прилавка и беленькой стакашек нацедит, не откажет... Нельзя, видишь ли, эту отраву прикрыть, а если подсчитать, какие мы через неё убытки несём?!

— Да не в том же дело! — уже досадливо отмахнулся Григорий Иванович. — Доход-расход... сальдо-бульдо. Разве в таком деле стали бы мы с деньгами считаться? Прикрой водку — самогоном зальются. Сами же вы, бабы, такой техники в этом деле достигли — без аппарата её, родименькую, гнать научились. Самогонки не хватит — бражки наварят. И указом

---

запрещали, и штрафовали, и на помойку это зелье выливали, а что толку?

И с другой стороны вопрос этот взять. Выходит так: ради одного алкоголика тысячи нормальных, добрых людей должны лишаться себя жизненных благ? От выходного дня откажись; бутылку вина в праздник на стол не поставь; духи-одеколон с производства снять; чай и кофе из продажи долой, потому что, не дай ему водки, он чаю крепкого до одури нахлещется... Давай уж тогда заодно и аптеки прикроем, он ведь и лекарства вместо одной таблетки целый пакет сожрать может...

— На вот те! — возразила Наталья Марковна. — Такие-то лекарства по особому рецепту дают. С круглой печатью. Ладно, старые пьянчужки пушай пропадают, их уж только могила исправит, а с молодыми что делать? Он же, сопляк, пить-то не умеет, меры своей не знает. Скажешь ему: ты же спиваться начинаешь, алкоголиком становишься! А он, дурак, ржёт. «Все, — говорит, — пьют». А он раз выпил, другой выпил — ему уже и море по колено. Сначала кулакам волю дал, а там и ноги в ход пошли.

Ведь жизнь-то у нас какая наладилась: жить бы теперь да радоваться, колонии-то для молодых прикрывать бы пора за ненадобностью...

Это вот ты, отец, правильно сказал: из-за одного пьянчужки тысячи добрых страдают. Вот взять бы да с народом-то и посоветоваться, обсудить совместно да и на голосование поставить: как нам с этой бедой управиться? Как детей наших от этой отравы уберечь?

— А знаешь, мать, дело-то вроде к тому и идёт. Ты что думаешь? Одна ты сердцем болеешь? Декретами и запретами этой язвы не излечишь. И науке без нашей помощи такая задача тоже не по плечу. Пока весь народ не возьмётся, толку не будет. Ты вот присмотришься да прислушайся, как люди поговаривать начинают. Похоже, терпение-то у народа к концу подходит...

— Марина Павловна, миленькая! Заговорили мы вас... — встревоженно перебила его Наталья Марковна. — Лица на вас нет... Я сейчас чайку согрею.

— Что вы, Наталья Марковна! Мне домой надо... муж меня теперь потерял. Мы в кино собрались...

— Ну надо же! А мы-то, болтуны старые, обрадовались, накинулись на человека со своими разговорами...

— Вы, Наталья Марковна, даже не представляете, как я вам и Григорию Ивановичу благодарна за этот разговор... Вот только не знаю, как я завтра Андрею в глаза смотреть буду...

---

— Господи! Да вы-то при чём?! — изумлённо ахнула Наталья Марковна, помогая ей одеваться. — Вам-то себя за что виноватить?

— Ладно, мать, ты не утешай... — откликнулся из коридора Григорий Иванович. — Идёмте, Марина Павловна, я вас провожу...

Вадим топтался на углу нашего дома, возле троллейбусной остановки. И промёрз, и заждался, обещала же к восьми быть...

Марина собиралась объяснить ему причину опоздания, но он, шагнув ей навстречу, спросил испуганно: «Ты что, Марина? Где ты была?».

Григорий Иванович взял Вадима под руку.

— Задержали мы вашу супругу... Тут, понимаешь ли, такое дело...

Марина молча покивала им и побежала к своему подъезду. Обернувшись, постояла минутку в подъезде, посмотрела, как, поглощённые разговором, не спеша идут мужчины вдоль заснеженной улицы.

«...Как всегда, восхищена твоим остроумием. С луны я не свалилась, воспитывалась не в теплице, а вот в отношении стеклянного колпака ты угодила прямо в точку.

Многие из нас (и ты в том числе) действительно произрастали под этим незримым стеклянным колпаком.

А теперь жизнь берёт нас за шиворот и не только бесцеремонно тычет кое-куда носом, но и требует от нас определённых решений и действий.

Только теперь я обнаружила, например, что нашу семью можно назвать счастливой: в нашей семье нет пьяниц.

Возможно, этим объясняется, что я, проживши на белом свете двадцать восемь лет, ни разу серьёзно не задумывалась над вопросом: что же это такое — алкоголизм? Ты понимаешь, Нинка? Просто не доходило до меня, какое это чудовищное бедствие. Именно бедствие. И в общественном, и в личном плане.

Очень единодушно мы все возмущаемся, осуждаем, порицаем... Взываем к сознанию друг друга: «Граждане, не проходите мимо!!».

Но, столкнувшись лично с этим «омерзительным явлением», гадливо морщимся — очень уж противно — и норовим проскользнуть именно мимо или просто трусливо нырнуть в кусты. Он ведь, этот пьянчуга, и оскорбить может, и даже покалечить.

Закрываю глаза и вижу, как ты ехидно морщишь свой очаровательный римско-вологодский носик и заочно осыпаешь

---

меня всяческими поносными словами: трибун запечный, кустарный философ, резонёрствующая де-ма-го-гия и т. д.

Нинка моя, Нинка! Как мне тебя недостаёт! Всё думаю, думаю: откуда в нас эта подленькая терпимость? Один весьма образованный дядечка с учёным видом и противной ухмылкой подводит под современное пьянство научно-историческую базу.

Берёт за основу прославленный в веках тезис князя Святослава: «Веселие Руси есть пити...» — и, ловко оперируя вескими цитатами, ссылками на авторитеты, историческими анекдотами, от X века просто играючи добирается до наших дней. «Научно» анализируя современное пьянство как следствие, он обрушивает на потрясённых собеседников лавину ультрасовременных причин. Тут тебе и поток информации, и вторжение в сознание человека сверхсложной техники, и сверхзвуковые скорости, и подсознательный страх человека перед сюрпризами атома и космоса, и ещё всяческие страсти-мордасти. Ну, а вывод можешь сделать самостоятельно: наш слабый духом современник в водке ищет забвения, пытается хотя бы ненадолго уйти от действительности. Здорово звучит?!

Второй добродушно поучает, что пить надо уметь. Ведь недаром народная мудрость гласит: «Пьян да умён — два угодыя в нём», «Пей, да дело разумей», «Пить, да ума не пропивать» и т. д. А рядом сердобольная душа возмущается: «И чего к пьяному человеку привязались?! Какой с пьяного спрос?!». Или: «Подумаешь, выражается человек. Выпимши, вот и выражается. Тебя, что ли, он обругал? Он же тебя не трогает».

И самый веский, распространённый аргумент: «А тебе какое дело? Не на твои пью».

Мастер тащит ученика «обмывать» первую мальчишескую получку. Его, негодяя, нужно судить как уголовника за растление несовершеннолетнего, а мы отделяемся возмущённой болтовнёй да порицанием. Врач с горестью и болью толкует о рождении неполноценных детей, зачатых пьяными родителями, о маленьких невропатах и психически больных детях, искалеченных в семьях алкоголиков. Учителя сокрушённо констатируют: «Ребёнок растёт в нездоровой обстановке».

Маленькая иллюстрация: во время перемены учительница с негодованием рассказывает, что в соседнем доме «женщина очень нехорошего поведения» пьёт, приводит на ночь мужчин. И всё это происходит на глазах её девятилетней дочери.

В учительской возмущённый гул. Все наперебой начинают делиться «своими случаями». А рассказать каждому есть о чём. Во многих семьях дети активно участвуют в родитель-

---

ских пьянках. Подвыпивший папа в припадке слюнявой нежности к восьмилетнему сыну подносит ему «рюмашечку». Пьяненькая мама под восторженный гогот пьяных гостей сыплет непристойными частушками...

Девочке-девятикласснице любящая мамочка справляет день рождения с выпивкой. Причём по решительному требованию именинницы взрослые уходят из дома, чтобы «не мешать ребятам веселиться». Примеры один другого ужаснее сыплются, как из мешка. Но вот прозвенел звонок. Учителя (и я в том числе) расходятся по классам. И ни один не сказал, что же он предпринял, чтобы помочь ребёнку, живущему в этой, мягко выражаясь, нездоровой обстановке. Ты умница, Нина. Объясни мне, что это такое? Равнодушие? Или какой-то идиотский фатализм, признание своей беспомощности? Неужели действительно мы бессильны против этого «многовекового и неискоренимого зла»? Не могу и не хочу этому верить. Ложь. Постыдная ложь, выгодная для всех, кто привык безмятежно отсиживаться в своей уютной «хате с краю». И в то же время не могу понять, как я — учительница — могла спокойно жить, зная, что моих ребят кто-то систематически и безнаказанно калечит?

Англичане говорят: «Мой дом — моя крепость». И у нас кое-кто вопит «о недопустимости вторжения постороннего лица в интимный мир семьи». Они зловеще предостерегают, что неосторожным вмешательством можно нанести непоправимый вред и т. д. и т. п. Опять же ложь. Лицемерная уловка, прикрывающая нашу бездеятельность.

Я не посторонняя. Я обязана знать всю подноготную жизнь моих ребят. Вы привели его ко мне семилетним несмышлёнышем. Вы доверили мне его воспитание. Тем самым вы заключили со мной договор о сотрудничестве на долгие годы. Мы должны вырастить из нашего малявки полноценного человека.

Какая же я посторонняя? И вообще, Нинка, ты ощущаешь, как мерзко звучит это слово — посторонний? Я сейчас как-то по-новому стала вслушиваться — или вдумываться? — в смысл некоторых слов. К примеру, атмосфера нетерпимости. Воспринималось это выражение как благозвучный лозунг, и только. А знаешь, как теперь я представляю себе эту самую атмосферу нетерпимости?

Натолкнулся на гадость — переломи брезгливость и страх запачкаться. Не выжидай. Не молчи. Не хнычь. Делай, что сможешь и как сумеешь. Беги к людям, тащи их на помощь, втягивай в драку всех, кого сможешь и сумеешь втянуть.

---

Чтобы получилось что-то вроде цепной реакции. А главное, не бояться, что какой-то кретин над тобой посмеётся: «Подумаешь, боец! Воинствующий лилипут... с тросточкой на носорога... с рогаткой против тигра...» и т. д.

Ты спрашиваешь, каковы практические результаты нашего «внедрения в жизнь». Пока особенно хвалиться нечем. Беда в том, что я, например, сама не могу иной раз разобраться, что такое хорошо...

После того бурного педсовета, о котором я тебе писала два месяца назад, наш «дружный, спаянный» педколлектив раскололся на два лагеря. Драгоценному дяде Мише вкатили наконец «строгача» и предупредили об увольнении, если его ещё раз ребята увидят пьяным. Подумать только! Человек отдал школе больше десяти лет труда, незаменимый работник, правая рука директора! В конце концов, он же не педагог, а только завхоз и почти перед выходом на пенсию, ах, какая жестокость!

Мужа школьной технички Кати — нашими молитвами — в принудительном порядке направили на лечение. Раньше Катя рыдала и демонстрировала свои синяки и кровоподтёки всем желающим, теперь рыдает и всюду жалуется, что мы «загнали Костю в сумасшедшую больницу».

Некоторые сердобольные душеньки считают пьяниц чуть ли не мучениками и с пеной у рта талдычат о необходимости «воздействовать методами убеждения», хотя прекрасно знают, что многолетние «убеждения» на дядю Мишу, например, никакого «воздействия» не оказывали.

А сейчас ходит он туча тучей, мрачный, но пьяным его больше никто ни разу не видел. Несмотря на споры и принципиальные разногласия, мы теперь знаем всех «неблагополучных» родителей наших ребят, и не только классные руководители, но и весь коллектив обсуждает наиболее тяжёлые случаи, совместно решает, какие меры нужно принять.

Ну, кроме этого, некоторые из нас занимаются и посильной самодеятельностью. Выпадают радостные дни — летишь на крыльях. А иногда получишь такой щелчок, что крылышки опускаются. Но ненадолго. На прошлой неделе один папаша обложил меня такой «изыщной словесностью», что я чуть не оглохла. А вчера он подкараулил меня у нашего подъезда, и там мы с ним славно, по душам поговорили, и договорились кое о чём очень существенном. Смешнее всего получилось у нашей исторички Надежды Николаевны. Папаша двух её девчонок-учениц дома систематически буянит, пускает в ход кулаки, похабно ругается. Поначалу Наденька пыталась «воз-

---

действовать методами убеждения». Для него эти методы как мёртвому горчичник. Тогда пошла она по квартирам соседей. Сосед справа — шофёр, слева — доцент, кандидат наук. На втором этаже — шеф-повар из ресторана. Мужчины говорят: «Нам и самим надоело эти скандалы слушать, но что мы можем сделать?». А Надя плечиком пожалала: «Неужели женщина должна вам подсказывать...». Ну, в общем, организовали заговор. Разработали систему сигналов: по водопроводным трубам три раза — стук, стук, стук.

Вот в субботу поздним вечером начинается очередной погром. По трубам сигнал.

Мужики прибегают. Доцент тоже сначала пытается действовать «методом убеждения». В ответ поток оскорбительной ругани. Свалили мужчины папочку, ручки-ножки связали. Он рот разинул, орёт, хлещет похабщиной. Доцент из тёщиного фартука раз-раз — соорудил хорошенький кляп, и ловко так ему рот заткнул. Шеф-повар похлопал папочку по плечу, говорит ласково: «Ну вот, Семён Иванович, лежи, отдыхай, а завтра поговорим».

Утром пришли уже пятеро, ещё двух соседей прихватили. «В твои семейные дела, — говорят, — мы вмешиваться не собираемся. Зашли мы по-соседски, по-мужски тебя предупредить: больше мы сабантуев твоих терпеть не намерены. У нас у всех дети, старики больные, им покой и тишина нужны.

Ещё разок придём, успокоим по-вчерашнему, а на третий раз вызовем санитарную машину и отправим, куда положено, на длительное лечение... Есть договорённость, место тебе обеспечено». Он потом соседу-шофёру говорит: «Здорово вы, Паша, мне тогда бока намяли...» — а Паша: «Что ты, дядя Сёма?! Ни-ни! Мы культурненько: положили, связали, рот заткнули, чтобы ни себе, ни людям спать не мешал». Он головой покачал: «Кандидат-то этот, учёный, поглядеть — соплём перешибёшь, а кулаки — дай боже! Я хоть и шибко пьяный был, а что-то мне такое припоминается».

Надюша рассказывает, хохочет и чуть не плачет: может быть, нельзя так? А по-моему, главное — это цепная реакция. И взаимопомощь. Танюшка, помнишь, я писала, дочь той гулящей мамы оказалась очень слабенькой. Депутат Ольга Дмитриевна достала для неё путевку в санаторную лесную школу. Мать Танюшки окончательно опустила. Сейчас судьбой её занялись добрые люди, но, возможно, вопрос встанет о лишении её материнских прав. Всё это очень тяжело.

«Цепная реакция» свела меня с интереснейшим человеком — следователем по делам несовершеннолетних. А через

---

него я впервые вошла в непосредственный контакт... с милицией. И опять открытие: оказывается, в МИЛИЦИИ работают симпатичные, интеллигентные парни, отзывчивые и сердечные. С их помощью нам на днях удалось предотвратить большую беду в одной очень несчастной семье.

Ну, на сегодня достаточно. Вадим пригласил меня к себе в лабораторию на вечер. Ухмыляется интригуяюще, видимо, будет что-то интересное.

Салям, Нинка-ханум! Закрой глазки и спи, а мы пошли развлекаться...

...Нинка-засоня, проснись на минуточку. Вадим уже дрыхнет, а я должна рассказать тебе, не откладывая, всё, как было. Иначе что-нибудь забуду или упусти.

Когда Саша Гурьянов открыл вечер, я поняла, почему Вадим ухмылялся с таким значительным и таинственным ВИДОМ. Собственно, это был не вечер. И не собрание, и не диспут. Просто был большой деловой разговор... о пьянстве.

Народ собрался в основном молодой, примерно наших с тобой лет, но если бы ты слышала, с какой тревогой, с каким чувством ответственности говорили они о «младших»! В каждом выступлении повторялись слова: подросток, ребята, дети, ребёнок. Выступления были очень резкие, критические и по-хозяйски смелые. Конечно, я не в силах дословно пересказать тебе всего, что там говорилось. Попробую передать то, что наиболее врезалось в память. Основные мысли и положения:

«Каждый подросток мечтает стать спортсменом, учёным, артистом, космонавтом.

Он не знает, что для достижения этой цели человек должен обладать особым даром, талантом. И каждый втайне уверен, что именно он таким даром владеет. Суметь ему доказать, что самый беспощадный враг любого таланта — это алкоголь, — вот наша главная задача».

«Мы должны научиться убеждать неопровержимо. На достоверных примерах и фактах. Умно, документально, наглядно. Алкоголь разрушает здоровье человека.

Расскажите ему на уроке, на лекции, в личной душевной беседе; дайте прочитать специально для него написанные статьи, книги, брошюры; покажите наглядно на экранах кино и телевизоров, как неизбежно и необратимо алкоголь разрушает живые ткани, кровь, нервную клетку. Раскройте перед ним жестокую картину гибели человеческого интеллекта. Пусть от начала до конца он проследит трагедию перерождения человека в жалкое, омерзительное животное».

---

«Каждый мальчишка, каждая девчонка втайне мечтает о любви. Докажите им неопровержимо, что самый коварный враг, нет, не враг, а убийца любви — это алкоголь. Основа любви — это взаимное уважение, доверие, уверенность друг в друге. Увидеть любимого в унижительном, жалком состоянии опьянения — это конец любви. Её подменит чувство жалости. Рухнут уважение, уверенность в завтрашнем дне. Что можно доверить человеку, если он сам не может за себя поручиться?»

«К сожалению, мы настолько целомудренны и добродетельны, что даже с десятиклассниками не решаемся говорить на темы любви, секса, брачных отношений.

Сегодняшний подросток всего через несколько лет станет возлюбленным, мужем, отцом. Мы обязаны своевременно воспитывать в нём чувство ответственности перед его будущей семьёй. Он должен знать, что такое наследственность, как алкоголь влияет на потомство. Он должен осмыслить, что нет ничего ужаснее, чем родить ребёнка-урода и знать, что это ты виновник его неполноценности, его страданий». В заключение Саша Гурьянов сказал:

«В борьбе с алкоголизмом наша пропаганда бездарна и беспомощна. Беспомощна потому, что безоружна. Какой вклад в эту борьбу внесли такие всемогущие источники пропаганды, как литература и искусство?»

Вот если бы можно было поклониться нашим учёным, писателям, драматургам, режиссёрам, артистам: товарищи, вооружите нас талантливыми фильмами и спектаклями, книгами и лекциями, используйте всю волшебную силу ваших талантов во всенародном походе против общего нашего врага».

Знаешь, Нинка, может быть, я просто сентиментальная дура, мне сейчас ужасно хочется поплакать, но в одиночку реветь скучно. Между прочим, какая я была идиотка: мне всегда казалось, что Вадим недооценивает нашу профессию и мало интересуется моими школьными делами. Это он вместе с Григорием Ивановичем убедил меня выступить на заводском собрании. Подробно об этом в следующем письме.

Я страшно трусила, даже икать начала с перепугу, но потом как-то сами собой нашлись все нужные слова. Вадим, Григорий Иванович и Сотников с Андреем третье воскресенье пропадают на речке. Вся четвёрка помешана на подлёдном лове.

После собрания Сотников со мной не здоровается, а с Вадимом сражается в шахматы. Играют они у Григория Ивановича. Знаю, что «ура» кричать рано, что Сотников может ещё

---

не один сюрприз нам преподнести, но вчера не утерпела, говорю Вадиму: «Почему ты не пригласишь Сотникова к нам в шахматы играть?».

Вадим покосился на меня, покачал головой, усмехнулся, и голосом Григория Ивановича говорит: «Экая ты, мать, торопыга...». Ну, всё. Можешь засыпать окончательно. И не злись, что пишу редко. Редко, зато не письмом, а увесистой бандеролью. Спи!

Марина.

А у Андрея появился портфель. Жёлтенький, настоящий»!

---

---

# Борзуновы

Крановщик СМУ-13 Борзунов Аркадий Григорьевич работал красиво. Огромный кран, словно укрощённый человеком могучий зверь, был послушен ему. Подцепив крючьями гранитно-серую бетонную плиту, он легко возносил её по восходящей дуге на нужную высоту и, на едва уловимое мгновение притормозив в зените, почти не снижая скорости, плавно опускал с предельной точностью в заданное место.

Часто прохожие останавливались и, запрокинув головы, замирали, заворожённые картиной воздушного полёта бетонных плит и конструкций. Начальство Борзунова ценило. Портрет его не сходил с Доски почёта. Правда, время от времени откуда-то просачивались слухи, что Борзунов пьёт. Но на работе нетрезвым его никто не видел. Он не допускал ни прогулов, ни опозданий. Не бывал в вытрезвителе. Не скидывался на троих после работы. Не отирался подле пивного ларька...

Поговаривали, что Борзунов пьёт дома и будто бы пьяный «гоняет» семью. Но семья — организм деликатный. Вмешательство в семейные дела требует особого такта и самого осторожного подхода, а никакого интереса к его домашним делам ни у кого не возникало.

Друзей среди работающих с ним мужиков у него не было, но не было и явных врагов. Его не любили и побаивались. Видимо, всё же не забывался слушок, что ещё пацаном-ремесленником он отбывал срок в колонии строгого режима за избиение мальчишки-семиклассника. Жил Борзунов с семьёй в отдалённом от центра микрорайоне, в кирпичном шестидесятиквартирном доме. О его производственных успехах в доме знали понаслышке и не очень в них верили, потому что, по мнению жильцов, Борзунов был «алкаш», правда, не совсем обычный. Пил он дома и в одиночку. Начинал в пятницу, возвращаясь с работы, и пил два выходных дня и две ночи. Но в понедельник отбывал на работу без каких-либо внешних признаков двухдневного запоя.

В доме знали, что пьяный он «гоняет» семью, но делал это без большого шума, и ничего конкретного соседи показать не могли. Пьяный он был агрессивен, но не скандалил, не бушевал, не бросался с кулаками на близких своих.

---

Просто, выпив, он не мог спать, и ему был необходим собеседник, на которого можно излить свою всё нарастающую, тупую, тяжёлую злобу.

Чаще всего этим собеседником была мать, потому что жена Зинаида, забрав дочь Алёнку, отсиживалась в выходные дни у родных.

Нередко она сама в пятницу, часа в три, уводила Алёнку к снохе на работу: «Отпросись немножко пораньше и поезжай к своим... Леночка утром опять плакала. «Бабушка, говорит, сегодня папа опять пьяный придёт?..» Увези её, Зиночка»...

— Господи, мама, а ты-то как же? Он же опять будет тебя терзать...

— Ничего... мне не привыкать... Пойду я. А то приедет... подумает, что и я прячусь — хуже будет...

А хуже быть уже не могло. Борзунов понимал — семья рухнет. И хотя любить он никого не умел, сама мысль, что его — Аркадия Борзунова — может бросить жена, доводила его до тихого бешенства.

Эта сухопарая дура, которая всего несколько лет назад начинала краснеть и заикаться, когда он подходил к ней... Эта тварь забирает дочь и уходит из дома... не ложится с ним в постель, потому что он выпил...

Соседями Борзуновых справа были Колесниковы — фельдшерица Анна Игнатьевна и её пятнадцатилетний сын Митя, Митина кровать стояла у стены, отделяющей его комнату от борзуновской столовой, в которой спала бабушка. И хотя в соседней квартире по ночам никто не кричал, не призывал на помощь, Митя часто не мог уснуть, лежал, напряжённо вслушиваясь в приглушённые ночные звуки за стеной. Иногда звуки становились более чёткими — глухо бубнил низкий мужской голос, время от времени прорываемый тихими вскриками не то ребёнка, не то плачущей женщины.

Неужели он и Ленке не даёт спать? Она же у них такая дохленькая, ноги — как палочки, горло и летом забинтовано, наверное, хроническая ангина... и из носа вечно течёт.

Мучила и не давала уснуть мысль: что он там делает? О чём часами бубнит? Чего требует от них? И почему, почему они терпят?!

Митя ненавидел Борзунова: два года назад тот одним ударом сапога убил свою собачонку. Собачонка была никудышная. Грязная и тощая. Жила она не в квартире, а где придётся, но площадка её стояла на лестничной площадке, в уголке у двери в квартиру Борзуновых.

---

Часто в её грязную обсохшую плошку днями не перепало ни еды, ни питья. Но иногда выпадали сказочные праздники: пьяный хозяин мог швырнуть ей большую, сочную котлету или вывалить в её плошку сковороду свежего жареного мяса. Такими действиями Борзунов утверждал свои права главы семьи, хозяина в своём доме.

Собачонка смертельно боялась хозяина, вернее, его больших, тяжёлых сапог. Не раз пинком хозяин отшвыривал её из-под ног. И всё-таки именно его любила она какой-то судорожно-преданной любовью. Встречая его во дворе, забыв обо всём, бросалась ему под ноги, тут же в ужасе отскакивала и ползла к нему на брюхе, извиваясь и взвизгивая от собачьей преданности.

Он убил её одним ударом сапога и, не оглянувшись, вошёл в подъезд. Кричать собака не могла. Несколько минут она билась о сухой пыльный асфальт, потом начала затихать, медленно поводя окровавленной мордой по песку.

Замерли отдыхавшие на скамьях у подъезда бабушки, пробежали с мячом ребяташки, сбились испуганной стайкой в стороне, не решаясь подойти ближе... Мите показалось, что на миг прекратились удары доминошников по столу в углу двора под старыми тополями.

Но никто, никто не бросился вслед за Борзуновым, не схватил его за шиворот...

Летом, в свои пьяные пятницы, он шёл домой не по асфальтированной дорожке, аллеюкой, проложенной между деревьями молодого сквера, а напролом, через газоны, по разноцветью ярких маков, васильков и карликовых георгинов.

Зимой шагал через детскую площадку, пинками расшвыривал сооружённые ребяташками снежные городки.

Почему? Почему все молчат? Почему Борзунову — всё можно? Эти вопросы Митя задал своей маме, Анне Игнатьевне.

— Видишь ли... — замялась она. — Это же садист...

— Садист?! — изумился Митя.

— Садист — это человек, который любит кому-нибудь причинять боль, он испытывает наслаждение, заставляя других страдать, — пояснила мать, думая, что Мите это слово ещё не знакомо.

— Это болезнь? — спросил Митя, подумав.

— Это... патология... — не очень уверенно начала мама, но Митя резко её перебил:

— Если это болезнь, человека нужно лечить и, конечно, изолировать, чтобы он не мог кого-то мучить...

---

— Он уже был изолирован... не из-за болезни, а за преступление... Ещё мальчишкой. А теперь он осторожен. Все его гадости не являются уголовными преступлениями, это теперь называется мелким хулиганством... Не беспокойся, он своей шкурой дорожит. И учти, что он к тому же ударник коммунистического труда...

Митя опешил:

— Как... коммунистического?! А что он творит дома, с семьёй?

— А что он творит? Ты знаешь об этом что-нибудь? Ну ладно, я тебе расскажу. Я говорила с Зинаидой, с его женой... спросила, не нужна ли ей помощь, а она... Ну, в общем, она посоветовала мне не совать нос в чужую семейную жизнь. Понятно? Вот так... И со старухой говорила, спросила, не болеет ли она, на неё же смотреть тяжело, а потом спросила прямо — не бьёт ли её сын? Так она вот так руками всплеснула: да что вы, говорит, Аркаша никого пальчиком никогда... просто, говорит, он, когда выпивши, разговаривать любит... Потом стала выпытывать, что у нас через стену слышно...

— Значит, он их так запугал, что они боятся сказать правду. Значит, нужно...

— Нужно одно... — оборвала его мама, — не навредить им ещё больше. Жена от него, похоже, уйдёт, а он считает виновницей мать. По его мнению, мать всегда должна быть на стороне сына...

— Не понимаю, зачем жене уходить от мужа, если он хороший...

— Ты вообще много ещё не понимаешь, и давай прекратим...

Жилец из тридцать шестой квартиры, единственный в доме счастливый обладатель «Москвича», гараж соорудил с тыльной стороны дома. Плоская крыша гаража, наполовину скрытая ветвями старого, могучего тополя, была на уровне окон первого этажа и в трёх метрах от окна борзуновской квартиры. Наблюдательный пункт — лучше не придумать.

Несмотря на последние дни августа, ночи ещё были жаркими и душными. На субботу и воскресенье Митя собирался поехать на рыбалку к деду Скворцову.

В пятницу он лёг пораньше, поставив будильник на побудку в пять тридцать. За стеной была тишина. Может быть, Борзунов пришёл сегодня трезвым, или ушли они куда-то, а бабушка рада соснуть пока.

Уснул Митя быстро — впереди два дня на любимой реке, рядом с интересным человеком. Всё-таки чудесное дело, когда старый человек — добрый и умный. Спать бы до побудки,

---

но словно кто-то тревожно окликнул его. Митя включил свет и взглянул на часы. Час сорок ночи... Щурясь от света, он потёр виски, пытаясь вспомнить, что его разбудило... и тут же услышал — знакомый глухой голос бубнил за стеной, вот тоненько вскрикнул кто-то... нет, это не Ленка. И не Зинаида... Значит, — старуха...

Митя неслышно вышел в коридор, дверь в комнату матери была закрыта... Он осторожно снял цепочку, повернул головку замка и, как был, босой, в одних плавках, выскользнул за дверь.

Видимость с крыши гаража была вполне приличная. Митя подтянулся ближе к краю... Борзунов, наваясь грудью на стол, хлебал из глубокой тарелки щи. Окно было распахнуто настежь, против Борзунова за столом стояла мать. Стояла спокойно, скрестив руки над грудью... Кормит мать ужином сына, слушает рассказ его о том, как прошёл день, с кем за день повидался...

А сын приподнял лицо над тарелкой и, глядя исподлобья в лицо матери, говорил:

— Что ты морду старую кривишь? Не нравится, да? Ну, конечно, я в ножки тебе должен кланяться, благодарить по гроб жизни, да? Передачи мне столько лет в колонию возила... сама не жила, не ела, не пила... Я же варнак — кровь твою... красоту твою молодую из тебя повысосал, да? Ты же из-за меня с двадцати восьми лет овдовела... замуж больше не пошла... боялась, да? Это точно! Уж я бы тебе устроил семейное счастье!

— Тише, Аркаша, тише, ради бога... — умоляюще перебила мать.

— Ты только не кричи, у соседей-то всё слышно...

— Да иди ты со своими соседями... — Борзунов омерзительно выругался, но голос заметно снизил:

— Ты почему от меня скрыла, когда она побежала аборт делать? Я бы её за рыжие патлы оттуда выволок. Нету такого закона — без мужниного согласия... Эта паскуда поговорочки мне говорить вздумала; от худого семени не жди доброго племени... Борзуновское племя ей, значит, разонравилось... да? Врёшь, сука, родила бы второго, хвост-то прижала бы, а я бы ей через год третьего...

— Тише, Аркашенька, тише...

Митю неудержимо трясло, он стискивал зубы, стараясь вникнуть в смысл пересыпаемых похабщиной слов:

— Так вот, старая падаль, знай: уйдёт Зинка — я тебя заставлю, ты у меня на карачках за ней поползёшь, ты мне её сама за ручку приведёшь...

---

— Тише, Аркаша, ну что ты шумишь, люди услышат...

— Замолчи, падаль!

Тут произошло невыносимое. Борзунов приподнялся и, взяв тарелку за края обеими руками, выплеснул жирные объедки в лицо матери. Это было страшно. Она не закричала, не ударила его. Какой-то тряпкой вытерла лицо... Молча, без слёз...

Как та собачонка на асфальте.

Митя сидел под старым тополем, туго, до боли стиснув в ладонях лицо.

Так, значит, это и есть — материнская любовь? О которой слагаются поэмы и поются прекрасные песни... Значит, родив ребёнка, женщина перестаёт быть человеком... Она только — мать, способная снести любое надругательство над собой, над своим человеческим достоинством...

А мама... моя мама?! Митя заплакал, и это были уже не мальчишеские, а «тяжёлые, дорогие, мужские слёзы».

---

---

## Дела семейные

Решение нужно было принимать немедленно. Ожидать вестей от Раисы, старшей дочери Анастасии Яковлевны, больше не было смысла. Раиса не приехала на похороны отца Игоря Сергеевича, не ответила не только на письмо, но и на две срочные телеграммы.

В письме Валентина подробно и убедительно объясняла тётке Рае, в каком сложном, а точнее сказать — безвыходном положении все они оказались. Дедушка Игорь Сергеевич, на котором держались и благополучие, и относительный мир в семье Воронцовых, умер скоропостижно. Почти одновременно с этим несчастьем Костя, муж Валентины, получил назначение на север, на большую нефть. Назначение было почётным. Костя давно ожидал его, как счастливую перемену в жизни, переезжать нужно было не задерживаясь, но всё осложнялось вопросом: «Что делать с бабушкой, Анастасией Яковлевной?».

Квартира была Костина, служебная. Увольняясь, он был обязан её освободить. На севере, в молодом городке нефтяников, ему с Валентиной и двумя ребятами какое-то время предстояло жить в общежитии. Тащить бабушку с собой на север было просто невыносимо, но и оставить одну тоже нельзя. Даже если бы удалось где-нибудь на окраине снять частную комнату — всё равно, жить одна она не умела и не могла.

Младшая дочь бабушки, Александра Игоревна, приехавшая на похороны отца из Прокопьевска, тихонько плакала, не подавая голоса. Она сама жила с дочерью, зятем и двумя внуками в однокомнатной квартире. На ночь для неё в кухне ставили раскладушку.

Теперь, когда Костя увозил семью за тридевять земель, взять к себе овдовевшую мать, конечно, должна была бы старшая дочь Раиса, но уже много лет она со стариками не общалась. Все знали, что виновницей разрыва была мать; отчиму Раиса иногда писала, но проводить его в последний путь всё же не приехала и не откликнулась на умоляющее письмо и телеграммы Валентины.

Кроме Раисы и Александры была ещё одна дочь — Виктория, но она с самых молодых лет считалась в семье «отре-

---

занным ломтем». Закончив семилетку, пошла в ФЗО, только чтобы получить место в общежитии и уйти навсегда из дома. На похороны Виктория приехала одна, без мужа, остановилась в гостинице и прямо с кладбища уехала в аэропорт, не посидевши за поминальным столом.

Слова «дом престарелых» первой решила произнести вторая внучка Анастасии Яковлевны — студентка Маргарита. Она с мужем Славой жила в Новосибирске, в аспирантском общежитии, и взять бабушку к себе тоже, конечно, не могла.

Валентина хмуро отмалчивалась, на Маргариту с гневной отповедью обрушился Костя. По его словам получалось, что семья, отдавшая своего старика в дом престарелых, покрывает себя несмываемым позором. Как это так? У трёх дочерей не нашлось угла для старухи матери?! Тут сразу все заговорили, перебивая друг друга. Вспомнились давние обиды, посыпались взаимные упреки, назывались обидчики и пострадавшие в том или ином семейном конфликте.

Дальняя родственница и близкий друг покойного Юлия Павловна Соловьёва, приехавшая на похороны из-под Читы, слушала молча. Когда Костя и Слава начали настаивать на том, что бабушку должна всё же взять к себе одна из старших дочерей — Раиса или Виктория, поскольку и у той, и у другой прекрасные жилищно-бытовые условия, — Юлия Павловна тихо, но так, что все сразу замолчали, сказала:

— Бог с вами, мальчики, что вы говорите?! Заставить взять бабушку, насильно? Да как же они жить-то будут?! Они давно стали совершенно чужими, вы же всё прекрасно знаете...

Эту невесёлую семейную историю Юлия Павловна рассказала старому другу юности Ирине Андреевне Смирновой. Встретились они под вечер того печального дня случайно, у трамвайной остановки. Много лет назад молодыми девочками начинали они трудовой путь в одной поселковой школе. Юлия — учительницей начальных классов, Ирина — старшей пионервожатой. Жили в одной частной комнатухе, хорошо, по-девчоночьи дружили, но потом разлучила их война и, казалось бы, навсегда разлучила. И вот теперь, с трудом узнавая друг друга, обрадовались они встрече чуть не до слёз.

Юлия Павловна уезжала в свою далёкую Читу на следующий день, и охотно приняла предложение Ирины Андреевны пойти к ней ночевать. Обычно при таких встречах разговор вначале раскручивается по обычной схеме бесконечных «а помнишь?». На этот раз Юлия Павловна никак не могла переключиться с рассказа о смерти и похоронах Игоря Сергееви-

---

ча, о том, каким ударом была для семьи его скоропостижная смерть.

— В этой семье с самого начала всё непросто складывалось... — рассказывала она, устраиваясь поуютнее в постели, раскинутой для неё Ириной Андреевной. — Игорь-то моложе Насти был на шесть лет. Представляешь? Он — молодой человек, только институт закончил, а она вдова с двумя девочками. Очень уж хороша была собой, а Игорь — однолюб. Увидел и присох на всю жизнь. Девочки — Раиска и Виктория — до Игоря жили в деревне, у Настиных стариков. Матери почти не знали. Ухитрилась Настя родить их обеих в ненавистную свекровку. Игорь, как поженились, сразу забрал девочек из деревни, усыновил по всем правилам. Девочки к нему привязались, а с матерью так и не сблизились. Наоборот, с годами отношения между ними всё обострялись. От Игоря она двух девчонок родила — Александру и Люсеньку. Люсенька — «красавица, свет в окне». Вообще-то действительно хорошая девочка была. Красивая — в мать, а умом и характером — в отца. Умница, а вот мужа доброго себе выбрать не сумела. Не получилась у неё личная жизнь. Вернулась к родителям беременная. Родила двойню — Валю и Маргариту, и вскорости умерла — нелепо, от простуды. Зять через полгода женился, Игорь с Настей девочек ему не отдали... Вот так-то вот. Представляешь себе? Родить четырёх дочерей, двух внуков вырастить, а голову под старость приклонить некуда... Верила бы я в бога, сказала бы, что бог Настью за старших девочек карает... При живой матери сиротами росли...

Рассказывая о семье Воронцовых, Юлия Павловна как-то очень взволнованно и тревожно всё возвращалась к мысли о доме престарелых. О своей семье, о том, как сложилась её личная судьба, она ничего толком не успела рассказать, и Ирине Андреевне невольно подумалось: да не о себе ли она печалится?

— Нет, нет, Ируся, что ты? — откликнулась Юлия Павловна на её осторожный вопрос. Лицо её оживилось, голос потеплел:

— У меня ребята хорошие. Лёня с семьёй на севере живёт. Видимся, правда, нечасто. Но пишут они аккуратно, не забывают, посылки шлют, подарки. А живу я с дочерью, с Наташей. Зять, Володя, очень порядочный добрый человек. И на внуков мне грех жаловаться. Хорошо живём, дружно... Только... Ты не удивляйся, Ирина... Об этом я ещё никогда, никому... ни одного словечка. Думаю, думаю в одиночку, до такого иной

---

раз додумаешься... Вот, понимаешь, читаем мы в газетах, в журналах — умные, грамотные люди спорят о том, может ли мать стать для своих детей обузой? Нет, ты подожди, не перебивай меня. Я ведь не о ком-то, я о себе расскажу. Ты мою маму знала. Помнишь, какая она была замечательная? Её положительно все уважали и любили. И скажи бы мне тогда кто-нибудь, что придёт такое время, когда я буду маме своей смерти молить... Господи, да никогда бы я такому не поверила! А оно пришло — время-то это страшное. Больше двух лет лежала моя мама без движения, в параличе.

И пришёл такой день, когда я, как избавления, стала её смерти ждать. Ты думаешь, только потому, что мучительно было на её страдания смотреть? Нет, Ириша, сама я измучилась и устала. А была-то я молодая тогда, здоровая...

Так вот — нашей семье люди завидуют. А особенно завидуют мне, что я в детях такая счастливая, что внуки меня любят... не обижают. Семья наша — пять человек. Квартира — три комнаты. В спальне Наташа с мужем, в маленькой комнате я и Оленька, внучка моя любимая, в восьмой класс перешла. А Вадим, студент, в столовой на диване обитает. Оленька моя здоровьем не очень крепкая, учится хорошо, устаёт она. Для неё самое дорогое — сон. Хороший, спокойный сон, а я, Ирина, храпеть стала во сне. Второй год уже. Такая гадость, такое мучение... По себе знаю: сама не могу спать, если в комнате рядом кто-то храпит. Оленька иногда засидится за книгами, и я уже не ложусь, терплю, жду, когда она ляжет и уснёт: может быть, думаю, заспится и не услышит, когда я захраплю. А у неё с детства сон лёгкий, чуткий. И хоть бы один раз она, ласточка моя, рассердилась... встанет на цыпочках и — тихонечко, осторожненько: «Бабуленька, ляг на бочок!».

Юлия Павловна сухо всхлипнула:

— Вот и приспособилась я ночи-то в ванной комнате коротать...

— Кто же это, интересно, тебя надоумил? Или сама открытие совершила?

— Старушка одна знакомая. Бронхит у неё хронический, кашель по ночам душит, а с ней в комнате двое внучат.

И это бы ещё полбеды, хуже всего то — раз уж разговор на откровенность пошёл, — что характер у меня испортился... Сама себя не узнаю... иной раз прекрасно понимаю, что не права, а остановиться уже не могу. Никогда я раньше не позволяла себе на детей орать, а теперь... И, конечно, больше всего Оле достаётся. — Как-то накричала на неё, теперь даже

---

и не вспомнить, из-за чего. Так потом самой стыдно было!.. И смешно... Оленька же с первых дней на моих руках росла, так что за её воспитание я полностью в ответе. Ну пока что так вот и шло у нас помаленьку. Поссоримся, иногда и поплачем немножко, потом заберётся она ко мне под одеяло, прижмётся, как котёнок, — тёпленькая, худенькая.

А недавно случилось такое. Не повесила она сразу форму на плечики в шкаф, я и принялась ворчать. Повесила она форму, села уроки делать, а я ворчу. Она говорит: «Баба, ну хватит!». А я ворчу. «Неужели, — говорит, — тебе самой не надоело?» А я не могу остановиться, ворчу и ворчу. Оперлась она подбородком на руку, смотрит на меня задумчиво, как-то по-взрослому, печально... «Значит, — говорит, — это правда, что человек под старость из ума выживает?».

Юлия Павловна, отбросив одеяло, села в постели, опустив босые ноги на коврик. В несоразмерно широкой ночной сорочке Ирины Андреевны она выглядела особенно маленькой и хрупкой.

— Ты подумай сама, Иринушка, выходит, устала от меня моя девочка... от воркотни моей, от храпа ночного, от стонов моих... Суставы мои ревматизм грызёт, печень мучить начала... ну, не вытерпишь иной раз и захнычешь. А я ведь ещё пока на ногах, помогаю, сколько сил хватает, по дому. Наташато видит, что трудно мне, сердится — лежи, говорит. А как улежишь? Приходят они с работы, ребята из школы домой, усталые, голодные, а тут не прибрано, и горяченького поесть не приготовлено. Как-то Володя, зять, даже прикрикнул на меня: «Лежи, пожалуйста, говорит, — лежи, отдыхай!». А я в слёзы, мне другое за его словами послышалось: «Не можешь — не делай, а если делаешь, так не стони и не жалуйся!».

Обидчивая стала, слезливая — самой противно... И это в нашей семье, которой люди завидуют, а ты послушай-ка, присмотришься, что в иных семьях творится, где ни любви настоящей, ни жалости друг к другу нет. И обычно в этих семейных неурядицах чаще всего обвиняют молодых. И бездушные они, и эгоисты, а ведь не всегда это справедливо. Трудный мы народ — старики. Молодым-то очень крепкие нервы с нами нужны. И чаще всего они рады бы создать для старика все условия, но не от них это зависит. Первое условие — жильё. Комнатка отдельная необходима, уход.... А чтобы уход обеспечить, нужно кому-то, дочери или невестке, оставить работу, а всегда ли это возможно — прожить семье на одну зарплату? Так где же выход? Тот же дом престарелых? Ты, Ириша, всю жизнь с обще-

---

ственной работой связана, скажи правду — как в этих домах старикам живётся?

— Спросила бы что-нибудь полегче!.. — неохотно откликнулась Ирина Андреевна.

Не дождавшись ответа, Юлия Павловна тихонько засмеялась:

— Ты знаешь, я к чему разговор-то веду? Встретила я недавно знакомую. Она в моих годах, так же замоталась с внучатами, с домашними делами. Я её не узнала — так она посвежела, можно сказать — помолодела. Я её спрашиваю: «Ты что, на курорте, что ли, побывала?». А она смеётся: «Лучше, говорит, чем на курорте!». Есть у нас под городом Дом отдыха. Молодые туда едут только летом — очень уж природа хороша. А зимой иногда наполовину пустовал. А теперь старики-пенсионеры его заповили. Ей сын сначала на один сезон путёвку взял, а потом ещё на месяц продлил, потом ещё на два сезона. И ты знаешь, что ей больше всего пришлось по душе? Люди. Все пожилые... учителя, два старых врача, библиотекари, воспитатели. Для старого человека самое дорогое — это общение... главное, чтобы тебя понимали. Они там и читали вместе, фильмы обсуждали, музыку любимую вместе слушали, по вечерам пели под две гитары, день рождения одной старушки гуртом праздновали. И ещё дел разных полезных кучу переделали: библиотеку в порядок привели, бельё всё перештопали, накидушек нарядных на тумбочки нашили... Мастерицы готовить в кухне поварихам помогали, из тех же продуктов такую вкуснятину готовили, все нахвалиться не могли; кто приболеет, домой не отпускали, ухаживали друг за другом сами.

Вот я и думаю: почему бы не открывать такие небольшие... ну, как их назвать?

— Пансионаты — подсказала Ирина Андреевна.

— Правильно! — обрадовалась Юлия Павловна. Пусть бы платные, и обстановку пусть бы из дома свою привозили, и одежду, чтобы государству поменьше расходов было. Только одно условие обязательное: пусть очень маленькая, но каждому отдельная комнатка. А сколько конфликтов семейных разрешилось бы. Наладились бы отношения добрые в семьях. Нужно молодым поехать куда-то или кто-то в семье приболел — приехали бы, попросили: «Выручай, мама!». Или, скажем, соскучилась я о внуках, села в автобус, приехала — погостила.

— Голубая мечта стариковского племени... — усмехнулась Ирина Андреевна, но тут же перебила сама себя:

---

— Собственно, сегодня это уже не только мечта. За последнее время на нашем стариковском фронте намечаются кое-какие перемены. Ты спрашиваешь меня — как живётся старикам в доме престарелых? Ответить в одном слове: хорошо или наоборот — плохо, невозможно. Ты никогда не задумывалась — почему наши старики панически боятся попасть в дом престарелых? И второе: почему близкие считают для себя позором, если их старик находится в таком доме? За последние годы эти два «почему» я задавала сотням самых различных людей. Ответ на девяносто процентов стереотипен — «Понятия не имею!». А некоторые искренне удивляются, узнав, что у нас есть такие дома... Ты только что сказала, что в жизни старого человека главное — это общение, и чтобы люди, среди которых он живёт, его понимали. Вот этот принцип, один из главных, у нас и нарушен. Государственная сеть в основном состоит из домов, которые называются домами-интернатами общего типа... Понимаешь? Общего типа... Получается такой винегрет, что ни о каком заслуженном отдыхе не приходится и мечтать.

Представь себе такую картину: старенькая учительница с сорокалетним стажем работы в школе, а её соседка по комнате — скандалистка... И алкоголики... Одних они лишают покоя, других, бесхарактерных, спаивают, вымогают у них деньги на водку...

Но сейчас наступает такое время, когда стала очевидной основная истина: в создании сети домов престарелых необходим дифференцированный подход. Уже есть решение об открытии пансионатов для ветеранов труда производственных объединений, предприятий, создание пансионатов гостиничного типа в городах.

— Ты знаешь, самое тягостное впечатление производят живущие в этих больших, на 500—600 человек, интернатах общего типа старушки-колхозницы.

Стояло у дороги дерево — старое, неухоженное. Пожалели люди, выдрали его с корнями, пересадили в свежую, плодородную почву, поливают обильно, удобрениями подкармливают, и удивляются — не приживается дерево, сохнет на глазах. Доярки, телятницы, полеводы, что в самые тяжкие дни и фронт кормили, и нас с тобой, и детей наших... Почти у каждой в личном деле похоронная, а у иной и две. И вот — состарились, перехоронили всех кровных, близких, и везут их от старого гнезда, от родных могилки порой за сотни километров, в чужой дом... общего типа,

---

— Вот ты говоришь, что уже есть решение, чтобы открывали разные дома, ну и что же делается?

— Делается... но... Я же тебе говорила о двух «почему». Старики боятся дома престарелых, а родственники считают позором, если мать или бабушка будут жить в нём.

Почему? Вот и добрались мы с тобой до самого доньшка. Не в домах для старых людей, в конце концов, дело. Нужно менять вообще наше отношение к проблеме старости. Слова звучные о счастливой старости мы произносим, не задумываясь, песни поём — «... старикам везде у нас почёт!», или этак бодро, с присвистом: «...старость меня дома не застанет!». Молодым десятки лет внушаем, что старость положено уважать, толкуем без конца о преемственности поколений, о эстафете поколений... Превратились эти правильные, умные слова в трафарет, не воспринимаются они молодыми.

Пропаганда наша в этой области слабая. Сегодня все мы боимся рака, но где-то, подсознательно, каждый себя успокаивает — но ведь не обязательно же я... А старость никого не милует. Она неотвратима для каждого. И вот я считаю, что взрослые люди обязаны рассказать ребёнку, как быстротечна жизнь человека, как мимолётна молодость; научить беречь её, дорожить каждым днём.

Да, старость неизбежна, но когда она к тебе придёт и какой она будет — зависит только от тебя. Одних она настигает в пятьдесят лет — отвратительная и для самого, и для окружающих, а может и в восемьдесят лет старость быть красивой, доброй, деятельной до конца...

— Нет, Ирина, как хочешь, а мне ребятишек жалко — доказывать, что и он будет старым...

— А не жалко, когда он с двенадцати лет курит? В пятнадцать и водки полстакана вытянет, не поморщившись. Всё это, Юленька, не так просто. Необходима координация всех средств воспитания и пропаганды. Нужны не только проповеди, как бы ни были они убедительны и доказательны, нужно каждого мальчишку, каждого подростка заставить понять наглядно через экраны кино и телевидения, через книгу и квалифицированную беседу — заставить убедиться, какую страшную, разрушительную работу производит в организме человека эта невинная сигарета или пустяковая рюмка водки.

— А нам сейчас что делать? — невесело перебила Юлия Павловна.

— Что делать? А не сидеть сложа руки, не ждать, когда кто-то преподнесёт на тарелочке с голубой каёмочкой, ска-

---

жем, пансионат гостиничного типа или организует помощь на дому одиноко живущим старикам. Везде есть советы ветеранов, везде есть Советская власть и партийные организации. Воюйте, не хнычьте, не стоните по углам. Идите за помощью к молодёжи в райком, в горком, в обком комсомола. Поверь, эти «бездушные эгоисты» славный народ. С ними можно большие дела делать. Ну, а теперь — спать! Смотри, скоро светать начнёт.

---

---

## ЗЯТЬ

Ещё месяц назад по утрам, когда поднимались Лидия и Иван Савельевич, а немного позднее внуки — Юрий и Ирочка, всех ждал горячий завтрак...

Потом начались эти нелепые головокружения. И ощущение постоянной непроходящей усталости. Всё время хотелось прилечь. Без книги. Просто прикрыться чем-нибудь и затихнуть, медленно погружаясь в какую-то мутную обессиливающую дремоту.

Всю жизнь прилечь в свободную минуту с книжкой или свежим журналом в руках — было радостью, чудесным отдыхом. Теперь ни лежание, ни сон отдыха не приносили.

К врачам Анна Афанасьевна не обращалась. Не потому, что не верила медицине — сама же почти сорок лет работала медсестрой. Конечно, полежать бы в больнице месяц-полтора... но как-то не получалось.

В поликлинику её потащила Лидия. Обследовали тщательно. И ничего особенного не нашли. Профессор, сама женщина уже не молодых лет, говорила, поглаживая сухонькую руку Анны Афанасьевны, словно капризного ребёнка, уговаривала:

— Устали вы, голубушка моя, всё у вас для ваших лет хорошо, но жизнь-то вам досталась не лёгкая... отдохнуть нужно, капитально отдохнуть... Дочь вас любит, заботится о вас...

Что она говорила Лидии — неизвестно, но Лидия категорически запретила матери вставать раньше всех, стала подниматься на час раньше и успевала всё сделать несколько не хуже Анны Афанасьевны. Делала всё быстро и аккуратно. Выучка у неё была материна.

Если мать не выходила к общему завтраку, Лидия заглядывала к ней, и Анна Афанасьевна немного виновато, но довольно бодро говорила:

— Идите, Лидуся, идите к себе... я немножко ещё поваляюсь и встану. Обед приготовлю... Скажи Ивану Савельевичу, чтобы не вздумал опять в буфете желудок портить...

В этот несчастный понедельник Анна Афанасьевна проснулась рано. Чтобы заставить себя встать, нужно было проделать «самодельную реанимацию» — небольшой массаж,

---

растирание полотенцем, дыхательную гимнастику... но она поняла, что больше не может и не хочет вставать...

У противоположной стены сладко посапывала на своей раскладушке Иринка.

Плотно сомкнув веки, осторожно, чтобы не вызвать головокружения, Анна Афанасьевна повернулась лицом к стене. Сквозь дремоту слышала, как одевалась, не зажигая огня, внучка. Захватив приготовленную с вечера школьную сумку, она ушла, тихонько прикрыв за собой дверь. И, видимо, шепнула матери, что баба Аня спит. На этот раз Лидия к ней не заглянула.

Анна Афанасьевна дремала, негромко постанывая. Что-то мешало, тревожило, но не было сил стряхнуть эту мутную дремоту. Нужно было заставить себя вспомнить что-то очень важное, что так тревожит и не даёт по-настоящему крепко уснуть, или хотя бы просто лежать себе без движения и отдышать... отдышать... И всё же в полудремоте она вспомнила... Вспомнила, что несколько дней ей не хочется читать. Принесённый Юрием последний номер «Юности», любимого журнала, нераскрытый лежит на столике у постели, и долгожданный том Астафьева тоже лежит — даже в оглавление не заглянула.

Она окончательно очнулась и, забыв о головокружении, села, опустив ноги с постели. Сильно зазнобило, затрясло мелкой неудержимой дрожью. Это был страх. Что пропал нормальный сон и отбило от еды — всё это было понятно и естественно, что поделаешь? Старость... Но не хотелось читать?!. Это же конец. Чтение всегда было радостью жизни, а удавалось читать только урывками, в основном во время ночных дежурств, если не было тяжелобольных.

Работать всегда приходилось на полторы ставки и ещё прихватывать дежурства у других сестричек, не очень заинтересованных в заработке. Ведь кроме Лидии был ещё Игорь. Первенец. Надежда... Когда пришла похоронная на Виктора, Игорю было пять лет, Лидочке шёл второй годик. Сначала, после похоронной, казалось — жить невозможно; но были дети, и умирать тоже было нельзя. Жилось трудно, но ребята росли, и появилась мечта, да нет, какая мечта? Цель жизни — ради которой ничего не страшно и всё по силам: работа без конца и края, вечные недосыпания, изнуряющая усталость — дать обоим высшее образование.

Какой ценой досталось воплощение этой мечты и ей, и самим ребятам — в двух словах не скажешь. Игорь заканчивал строительный институт, Лидия перешла на третий курс пе-

---

динститута. Она была уже замужем за Иваном Савельевичем, и Юрка у них как раз народился, когда пришла беда — нелепая, невыносимая беда.

Соседка, Яхонтова Мария Павловна, сказала тогда: «Словно чёрная молния ударила». Игоря на практике убило током.

Наверное, из всего живого самое живучее, самое выносливое существо — это человек. Как материнское сердце может вынести такое? Как может не помутиться, не померкнуть разум?

Может, потому, что умереть нельзя. Нужно было выживать сражённую бедой, неокрепшую после родов Лидию, нужно было спасти трёхнедельного Юрку.

Лидия школу окончила с медалью. В институте получала повышенную стипендию. Красивая была девчонка, весёлая, голосистая. Когда она привела Ивана Савельевича к матери знакомиться, привела уже как жениха, — Анна Афанасьевна чуть не заболела от расстройства. Во-первых, какое вообще может быть замужество на первом курсе? И второе — Иван Савельевич был не ровня её Лидии. Ей девятнадцать лет, ему двадцать семь. Она девчонка, а у него за плечами неудачный брак, хорошо ещё, что ребёнка не было. У Лидии будущее, с её способностью она и в аспирантуру может попасть, в большую науку пойти, а он механик-наладчик по каким-то там новым станкам. Правда, Игорь говорил, что учиться ему не пришлось потому, что после смерти отца в семье он был за старшего, дал образование младшему брату, два с лишним года, как за ребёнком, ходил за тяжело больной матерью. Теперь учится на вечернем, два курса института уже окончил. Всё это было прекрасно, но ничто не могло сломать уверенности Анны Афанасьевны, что раннее это и ненужное замужество погубит будущее Лидии. Если бы не Игорь, неизвестно, как бы всё это сватовство закончилось.

Покойный Игорь был моложе Ивана Савельевича всего на несколько лет, но относился к нему с какой-то мальчишеской привязанностью. Как-то он сказал матери: «Ты говоришь — не ровня? Правильно; только не Иван, а Лида ему не ровня, она ногтя его не стоит. Это же — человек, понимаешь? С самой большой буквы Че-ло-век! Иван в Лидиной жизни, может быть, самый дорогой выигрыш. Вот так-то...».

С мнением Игоря Анна Афанасьевна всегда считалась, но всё же, прежде чем сдать позиции, решила с немилым женихом «объясниться по душам»:

— Лидия — девчонка, и не понимает, что её ждёт, у вас же, Иван Савельевич, жизненный опыт более чем достаточ-

---

ный... — В эти слова, намекающие па его первый брак, Анна Афанасьевна вложила весь яд, на какой только была способна.

— Я хочу, Иван Савельевич, предупредить вас, что на пенсию уходить не собираюсь и рассчитывать на меня как на домработницу и няню не следует...

Иван Савельевич выслушал её очень внимательно. Ответил он немного подумавши, спокойно ответил, без обиды:

— Мы, Анна Афанасьевна, рассчитываем только на себя. Теперь ваша забота — Игорь, помочь ему институт закончить. А моя забота — Лида, чтобы могла она спокойно учиться, сколько потребуется...

Вот какой деловой и разумный договор предложил Иван Савельевич, но оказалось, что жизненный опыт его был не слишком богат... Через полгода Лидия носила уже Юрку. Беременность была тяжёлая. Гибель Игоря надолго уложила её в больницу. Она заявила, что бросает институт:

— Учиться должен Ваня. Он третий курс кончает с отличием, перейдёт на дневное, а я буду работать. Он закончит, тогда и я смогу доучиться...

Но тут решающее слово сказал Иван Савельевич. Ни возражать ему, ни спорить с ним было нельзя. Это был — глава семьи.

Лидия продолжала учиться. Иван Савельевич перешёл с вечернего на заочный. Анна Афанасьевна вышла на пенсию — о яслях для Юрика не могло быть и речи. Две квартиры были обменены на одну общую, трёхкомнатную.

Иван Савельевич был молчуном. Казался замкнутым, порой даже суровым, но Анна Афанасьевна давно поняла, насколько прав был покойный Игорь, когда сказал ей, что в Лидиной жизни Иван Савельевич был «самым дорогим выгрышем».

И зятем он был неплохим. Внимательный, заботливый, в нужный день никогда подарком не обойдёт, но и ласкового слова от него никогда не слышала. После двадцати лет совместной жизни оставался он для неё Иваном Савельевичем, а она для него — «Вы... Анна Афанасьевна».

Когда-то, в дальнем далеке, Игорь называл мать — мама Аня. Говорил он врасстяжечку, получалось у него — мама-а Аня. Позднее и Лидия, ласковая, как котёнок, стала называть её не мамочкой, не мамуленькой, а маманей, маманюшкой.

Родился Юрий, вскоре за ним — Иришка, и Анна Афанасьевна стала бабанюшкой. И только для зятя она по-прежнему оставалась — «Вы... Анна Афанасьевна».

---

Добрый он и справедливый человек, но, видимо, никогда не сможет забыть, как боролась она против его брака с Лидией. Не сможет простить ей слова — неровня. И откуда оно взялось тогда у неё, это постыдное слово? Прав был Игорь... Иван Савельевич давно инженер, начальник цеха на заводе, и авторитет у него — дай бог любому. Разница в годах? А никто и не поверит, что он почти па девять лет старше жены.

Лидонька с тридцати лет расплываться начала, от её тоненькой талии и следа не осталось, а он всё такой же... поджарый, ладный, на ногу лёгкий.

Анна Афанасьевна сидела, спустив босые ноги на коврик. Всё ещё познабливало, но звон в ушах притих, и мысли стали ясными и точными. Обдумать всё, решить и действовать... действовать без промедления. Чтобы не опоздать... Как Яхонтова Мария Павловна — соседка милая, почти подруга. Не успела тогда, так же вот говорила: «Ничего, просто устала я, отдохну и встану». И не встала. Лежала без движения больше полугода... А квартира-то двухкомнатная, малогабаритная... В спальне — сын со снохой и Маринка, озорница, непоседа трёхлетняя... А в проходной, кроме бабушки, на раскладушке Виктор — десятиклассник... Такие больные особого ухода требуют, один из семьи должен оставить работу, а семья — пять человек, на одну зарплату прожить нелегко. Сын с женой урывками, среди дня с работы забежали домой, и Виктор из школы тоже — покормить бабушку, водички дать попить... И всё же часами, длинными, бесконечными часами лежала она одна в пустой квартире...

Горько вспомнить, как дети и все близкие втайне молили судьбу о наступлении конца, и, когда пришла избавительница-смерть, со всех словно тяжкий камень свалился.

На похоронах родные плакали горько и искренне, но то и дело слышались тихие, такие точные и жестокие слова: «Слава богу, отмучилась...».

А сколько протянет она — Анна Афанасьевна? Сколько убавит сил и здоровья у Лидии? Иван Савельевич два года за больной матерью ухаживал, теперь за тещей ходить? А Иринка?! Как она-то, девочка молоденькая, в одной комнате... Нет, боже мой! Нельзя такое допустить, нужно самой всё успеть устроить, всё быстренько организовать, чтобы дети и опомниться не успели. Большакова Софья, старая сослуживица, работает в облсобесе, как раз заведует сектором по этим самым домам престарелых. Она умница, всё правильно поймёт и Лидочку уговорить сумеет, чтобы не протестовала... А они будут ездить... навещать будут часто и письма писать каждую

---

неделю. Всё устроится, всё будет хорошо, и ничего в этом нет особенного.

Анна Афанасьевна сунула ноги в тапочки и, придерживая сердце рукой, пошла в прихожую. К телефону.

В школе-интернате, где уже двенадцатый год благополучно директорствовала Лидия, Иван Савельевич бывал нечасто, поэтому, когда он неожиданно возник на пороге кабинета, у неё от испуга округлились глаза:

—Что случилось? Мама?!

—Тихо, тихо... пока ничего не случилось... — Иван Савельевич, присевши на диван, похлопал ладонью по сиденью рядом с собой:

—Сядь, я тебе кое-что расскажу занятное...

Опасливо косясь на мужа, Лидия присела рядом:

—Только не тяни за душу, говори сразу...

—Звонила мне на работу Софья Андреевна... Мать просит путёвку в интернат..

—Какой интернат? — шёпотом ужаснулась Лидия.

—Ну конечно, не в твой. Интернат для стариков и инвалидов. Его ещё довольно звучно именуют — дом ветеранов труда и Великой Отечественной войны.

—Какие ветераны войны? Господи, ничего не понимаю... При чём здесь мама?

— Мама звонила в собес, Софье Андреевне, просит оформить для неё путёвку в этот интернат, причём как можно быстрее...

—Да она что?! С ума сошла? Ты представляешь, что эти... из собеса, о нас подумают?

—Да какое нам дело, что о нас кто-то подумает! — досадливо сморщился Иван Савельевич. — Разве нам сейчас об этом думать нужно? Ты лучше подумай, что её от нас, от ребят, из дома гонит?

—А может быть, она на ребят рассердилась? Может, это они её чем-то обидели?

—Не могут ребята обидеть, они любят её... А она тебя и детей любит больше жизни...

—А тебя?

—Ну... меня... Мне она, видимо, за двадцать лет так и не простила...

—Что?! В чём ты перед ней виноват? — запальчиво перебила Лидия. — Что она не может тебе простить?

—Ну... то, что я против её воли на тебе женился...

—Неправда! Тебя она... — Лидия на мгновение запнулась. — Она тебя очень уважает, ты даже не представляешь,

---

как она тебя уважает! Она тобой гордится, я сама слышала... — Не уважать ей меня не за что... — усмехнулся Иван Савельевич. — Но мы-то с тобой сейчас о другом чувстве говорили...

— Хорошо, пусть не любит... Не очень ты в её любви нуждаешься, но это же не значит, что ей нельзя больше с нами жить...

— Подожди. Не горячись. Сядь. Ты сейчас сгоряча можешь ещё больше беды натворить. Ты понимаешь, Лида, похоже, мы с тобой что-то не то или не так делаем...

— А вот я её и спрошу! Спрошу, чтобы она прямо мне ответила...

— Опомнись, Лида! Что ты кричишь? Она тебе ответит... Я даже знаю, что она тебе ответит...

— Откуда ты можешь знать? Ты с ней уже разговаривал?

— Нет. А ответит она тебе примерно вот что: «Не могу я быть для вас обузой... Ты, Лидусенька, сама больная, работа у тебя с этими архаровцами такая нервная, трудная...». Ну и так далее... и ещё она тебе обязательно о Яхонтовых напомним, как их всех «мать истерзала», как все смерти её ждали...

— Ваня... ну что ты говоришь? Да неужели наша мама...

— Нашей маме сейчас очень плохо, Лида... И виноват в этом больше всего — я. Мне давно нужно было вмешаться. Ты понимаешь, она думает, что все её немочи — слабость, потеря сил — от старости, что — всему своё время, что это — старческая дряхлость, необратимая, неотвратимая... А это неправда! Мама больна, и её нужно лечить, а мы сидим сложа руки и смотрим, как она угасает...

— Я же её водила... — потерянно всхлипнула Лидия.

— А что это дало? Таблетки «от головы», капельки «от сердца»?

— Клиника нужна, понимаешь? Полноценное восстанавливающее лечение...

— Не надо, Ваня, не терзай себя... Это всё я — дура слепая... Ничего, Ваня, и клинику для мамы добьёмся, и в санаторий наша маманюшка поедет...

— Мы-то добьёмся... — хмуро перебил Иван Савельевич. — Ну, ладно. Похныкали, попричитали, и то хорошо. Вот что я хочу тебе предложить: давай сначала я первый с матерью поговорю, а потом уж ты. И ещё договоримся: никаких упреков, никаких слёз: деловой семейный форум — в какую больницу и когда, в какой санаторий хлопотать путёвку, ну и всё такое прочее...

Проснувшись в сумерках, Анна Афанасьевна услышала где-то совсем рядом чужое негромкое дыхание. Рядом с по-

---

стелью сидел Иван Савельевич. Опершись в колени локтями, сгорбившись, он не мигая смотрел в пол.

— Случилось что-то? Не заболела ли Лидочка... или с ребятишками что? — Анна Афанасьевна легонько тронула его рукой.

— Проснулась? — Иван Савельевич перехватил её руку и осторожно сжал её в своих большущих тёплых ладонях. — А что это лапки-то такие холодные? Давай я грелку налью...

От его сухих жёстких ладоней шло такое непривычно родное тепло... и — она же не ослышалась, — он сказал: давай...

Анна Афанасьевна хотела что-то сказать, но только пошевелила губами и сморгнула залившие вдруг глазницы слёзы.

— Что же это ты, мама Анюшка? Как ты такое придумать могла?

— Ваня, залежаться боюсь... замучаю вас... Ваня... Господи, имя-то какое милое: Ваня... Ваня...

— Ребятишек жалко... Ваня... Лидочка сама больная... а тебе-то, Ваня...

— Тихо, маманюшка, тихо... Хватят об этом, почудили — и довольно... Сейчас в больнице полечишься, потом в санаторий съездишь. Может, удастся путёвки добыть — вместе с Лидой и поедете...

— Ваня, а где она, Лида-то?

— В магазин побежала. Изревелась вся, ругается...

— А ребятишки? Ваня, знаешь... — сына, давай не будем ребятишкам-то про это говорить...

Из цикла  
«Живёт рядом  
семья»

---

---

## Мои соседи

«Покупай не дом — покупай соседа», — говорит старая мудрость. Дома я не покупала, новых соседей судьба преподнесла мне неожиданно-негаданно.

Двенадцать лет жили мы в двухкомнатном особняке: я и старики Вахрушевы. Особнячок стоит на отшибе, за заводским стадионом. На крохотном клочке земли мы с милым моим соседом, Василием Ефимовичем Вахрушевым, за двенадцать лет вырастили чудесный садик.

Летом наш «теремок» почти не виден из-за кустов сирени и черёмухи. С весны до поздней осени цветёт под нашими окнами уйма всяческой душистой прелести.

В этом отношении мы с Василием Ефимовичем, как говорится, два сапога пара. Наталья Савельевна под свою возлюбленную редиску и прочую летнюю зелень сумела отвоевать у нас всего две небольшие грядки.

И мне, и Василию Ефимовичу — старейшему рабочему нашего завода — не раз предлагали благоустроенные комнаты в центре заводского посёлка, но мы так и не смогли расстаться со своим «теремком».

Отсюда проводили мы в жизнь своих птенцов. Вахрушевы — сына Юрку, уехавшего по комсомольской путёвке на целину, я — дочь Светлану.

«Теремок» наш строился в расчёте на одну семью. Строителей, воздвигавших внутренние перегородки, ни в малейшей мере не волновали проблемы звукоизоляции. Поэтому, когда мы переговаривались из комнаты в комнату, нам почти не требовалось повышать голос.

— Анна Ванна! — Василий Ефимович легонько стучит в стену, чтобы привлечь моё внимание. — Пошевеливайся, пирог на столе...

— Иду! — откликаюсь я.

Но пришёл конец нашему мирному житью. Василий Ефимович вышел на пенсию, примчался со своей целины Юрка и увёз к себе дорогих моих стариков.

А через день в их опустевшую комнату вселились новые жильцы.

Это была ещё совсем молодая пара и — увы! — двухлетний ребёнок. Признаюсь положила руку на сердце — не люблю

---

умилению детьми. Как это ни странно, имея троих детей и четверых внуков, по натуре я «холостяк». Меня несколько не угнетает одиночество. Мне достаточно знать, что потомство моё живо-здорово, что всё у них благополучно.

Ещё в давние времена, когда сыновья приобрели первые галстуки, а Светка начала по часу вертеться перед зеркалом, я совершенно серьёзно предупредила ребят, чтобы они не рассчитывали на меня как на бабушку-няньку.

И ребята не обижаются. Время от времени они подбрасывают мне на месяц одного-другого из старших внуков. Но это уже большие и довольно симпатичные парни. За зиму я успеваю прикопить деньжонок и во время летнего отпуска, купив подарков, объезжаю всё своё «святое семейство».

Судьба подобрала для меня добрых невесток и ласкового зятя, и из меня, при раздельном житье, тёща и свекруха получилась тоже, видимо, неплохая.

А на роль бабушки я всё-таки не гожусь.

Я очень люблю свою работу. Умную и беспокойную работу библиотекаря. Люблю читателей своего юношеского абонемента. Деликатных и грубоватых рабочих парней, нередко под внешней развязностью скрывающих мальчишескую застенчивость; люблю ершистых десятиклассников с их порой вызывающим упрямым стремлением всё понять, осмыслить, всё до конца, до самой сути.

Хорошо после напряжённого дня возвратиться в свою тихую комнату, включить настольную лампу и прилечь на старенькой уютной тахте с новой книгой или свежим журналом. Или просто полежать в сумерках, вспоминая лица прошедших перед тобой за день ребят, их не всегда умные, но обычно искренние и горячие рассуждения о книгах, о жизни, о людях.

И вот теперь мир и добрый покой покинули наш милый «теремок». Но не потому, что в нём поселился двухлетний неугомонный житель.

Сашке два года и четыре месяца. Внешне он весь какой-то круглый. Абсолютно круглая, арбузиком, голова, оттопыренные, круглые, как пельмени, уши. На круглой физиономии маленькие круглые глаза, чёрные и блестящие, словно промытые дождём смородинки. Между круглых тугих щёк для носа и рта места почти не остаётся. Крохотный круглый нос сплюснут щеками, и рот, с высоко вздёрнутой верхней губой, имеет тоже форму буквы О.

Как колобок, катается он день-деньской на коротких, чуть кривоватых ногах и лопочет, лопочет, лопочет не умолкая.

---

Вначале, беседуя с ним, мне приходилось обращаться за помощью к переводчику, но затем, довольно быстро, между нами было достигнуто полное взаимопонимание.

По натуре Сашка — человек очень деятельный, неистощимо предприимчивый. Капризничать он не умеет. За первые две недели нашего совместного житья я ни разу не слышала, чтобы он орал, как положено орать здоровому двухлетнему парню. Возможно, я просто забыла, какими были мои ребята в возрасте Сашки, но что-то в нём меня с первых же дней стало тревожить, было в нём что-то для меня просто неясное. Слишком уж он как-то безобиден и покладист, слишком легко воспринимает окрики и щелчки, обильно сыплющиеся на его круглую голову. Иногда он хнычет, «вяньгает», по выражению Клавы, его молоденькой мамы, но достаточно Клаве или Геннадию, главе семейства, прикрикнуть, он мгновенно замолкает, а через несколько минут уже опять слышится его весёлый, неунывающий щебет.

Поначалу жизнь моя с новыми соседями складывалась плохо. Намотившись по частным квартирам, Геннадий и Клава были на седьмом небе, получив ордер в наш «теремок». Из кухонной и прочей хозяйственной утвари у них многого не доставало, и они были очень обрадованы, когда я предложила им без стеснения пользоваться всем моим домашним добром.

Первые дни они неумоимо, вдохновенно вили своё новое гнездо. Геннадий, человек хозяйственный и мастеровой, часами возился во дворе, сбрасывал с крыши снег, укладывал дрова в аккуратную ажурную поленицу, заново протянул в доме всю электропроводку. Тихонько насвистывая, он всё что-то налаживал, приколачивал, приделывал.

Клава хлопотала в комнате. Клава — хозяйка на редкость чистоплотная, а главное, она «во всём любит красоту и порядок». Пол в своей комнате и в нашей общей кухне она моет ежедневно. Когда я сказала, что мыть мы должны по очереди, Клава искренне изумилась:

— Да что вы это, Анна Ивановна! Я ведь помоложе вас, что мне стоит крашеный пол сполоснуть. Вы одна, а нас трое. Сашка один за троих грязи натопчет.

Вечером я услышала, как Клава увещевает Сашку:

— Не шуми, сынок. У бабы Ани головка болит. Она старенькая, ей покой нужен. — А через минуту — резкий, раздражённый окрик: «Кому сказано, не ори!».

Мне ничего не оставалось, как выйти в кухню и попросить Клаву не кричать на ребёнка. Тем более, что он не делал ничего плохого. Ему требовалось срочно перевезти куда-то не-

---

сколько щепок и два пустых спичечных коробка. Покорёженный жестяной грузовичок на трёх колесах мчался от порога к печке и упоённо кричал Сашкиным голосом: «Би-би-и!».

— Да ну его! — раздражённо отмахнулась Клава, отпихнув из-под ног грузовичок. Грузовичок опрокинулся. Сашка захныкал.

— Ну-ка повяньгай ещё у меня! Кто тебе разрешил щепки брать?! — закричала Клава, и Сашка, втянув голову в плечи, ухватил щепку и покатился с ней за печку, где лежали дрова.

В комнате соседей царил идеальный порядок. У противоположных стен одна против другой под нарядными светлыми покрывалами стояли две кровати. На подушках каменными складками топорщились туго накрахмаленные кружевные накидушки. В одном углу сверкал полированными боками глубокоуважаемый зеркальный шифоньер. О чём бы Клава ни говорила, когда взгляд её падал на шифоньер, голос у неё сразу смягчался, а глаза молитвенно теплели.

У стены, разделявшей наши комнаты, расположился вместительный плюшевый диван. Белоснежный, без единой складочки, чехол на сиденье, вышитые накрахмаленные дорожки на спинке и подлокотниках совершенно ясно давали понять, что садиться на диван не положено.

Между столом и кроватью, пока ещё на простом кухонном табурете, стояла осуществлённая мечта и гордость Геннадия — новенький дорогой приёмник. Окаанный приёмник! Моё и Сашкино несчастье. Мне он до поздней ночи не даёт покоя, а для Сашки — это источник бесконечных щелчков и затрецин.

Сашка — очень толковый парень, но, видимо, так уж устроена у двухлетних память, что они не умеют долго помнить плохое. Не реже двух-трёх раз за день из-за стены доносится:

— Опять ты, падла, к приёмнику лазил? Ну что ты с ним будешь делать? Хоть ты его убей, ничего, чёртов полудурок, не понимает!

— Гена, послушайте меня, — говорю я, подкараулив Геннадия в кухне. Это была моя первая попытка вмешаться во внутренние дела семейства Шпаренко. — Поставьте вы приёмник на стол или сделайте полку специальную повыше, чтобы Саша не мог до него добраться.

— Совершенно ни к чему. Ему, дураку, уже третий год идёт. Должен понимать слово «нельзя». Ничего, не беспокойтесь, поймёт, — обнадёжил меня Геннадий.

— Колоти тебя по голове каждый день, много ли ты понимать будешь? — подала из комнаты голос Клава.

---

— Заткнись... Ты ещё... — Геннадий явно проглотил какой-то не совсем удобный эпитет.

Так начала передо мной приоткрываться эта чужая, трудная, во многом непонятная для меня жизнь.

Если бы меня спросили: «Отчего вам так плохо? Может быть, они хулиганят, оскорбляют вас? Может быть, систематически пьянствуют?»...

Нет, они почти не пьют. Изредка к ним приходят гости. Фёдор Андреевич — огромный мужчина с тяжёлым каменным подбородком. У него тяжёлые квадратные скулы, тяжёлые бугристые брови. И посреди всех этих тяжестей и твёрдостей — крохотный мягонький нос и маленькие весёлые глаза.

С ним приходит сухонькая, юркая тётя Сима, не то его жена, не то чья-то тётка. Геннадий, празднично приодетый, откупоривает бутылку, разжигает мой самовар. Клава, румяная, оживлённая, порхает из комнаты в кухню. Она счастлива. Она принимает гостей. Геннадия она называет Генуськой, Сашку — Сашурочкой.

Они долго пьют и едят, потом часами играют в подкидного дурака. Под конец Геннадий несколько раз выходит в кухню; мне кажется, что ему очень хочется прогнать гостей.

Изредка, уложив Сашку спать, они уходят в кино на последний сеанс. Заочно я записала их обоих в свою библиотеку и приношу самые лучшие и, с моей точки зрения, очень полезные для них книги. Читают они довольно охотно, но заставить их разговориться о прочитанном почти невозможно.

— Ой, до чего хорошая, до чего жизненная книга, — умилённо говорит Клава. — Я так переживала, так переживала...

— Ничего, стоящая книжонка, — снисходительно басит Геннадий.

Увы! Никакого непосредственного воздействия даже самые «жизненные» книги на них не оказывают.

Иногда в добрый, тихий час они негромко поют в два голоса. Поют они под гитару. У Геннадия редкий музыкальный слух. Не владея нотами, он по слуху подбирает технически очень сложные мелодии. В исполнении его есть что-то своё, удивительно мягкое и душевное. Чаще всего они поют современные лирические песни. У Геннадия небольшой, довольно приятный тенор. Клава вторит низким, сильным контральто.

Слушаю, и мне не верится, что эти молодые, чистые голоса, выпевающие сейчас прекрасные и нежные слова любви, вчера обливали друг друга потоками грязной, оскорбительной брани.

— Почему вы так скучно живёте, ребята? — спрашиваю я, выбрав момент, когда оба они миролюбиво настроены.

---

— Заглянули бы вы в новый Дом культуры, сколько там интересного! Вам бы обоим в хоре петь. А тебе, Гена, в оркестре цены бы не было.

— Я до неё всегда в самодеятельности участвовал. Меня один раз даже на областной фестиваль возили, — самодовольно говорит Геннадий. Усмехаясь, он косится на Клаву. — А теперь вот попробуй пойдёшь в клуб...

— Почему? — удивляюсь я.

— А потому, что нечего ему там делать, — за него холодно отвечает Клава. — Хватит, набегался. Не мальчик. У него теперь семья.

— Она меня к телеграфному столбу и то ревнует, — насмешливо говорит Геннадий, одеваясь: ему сегодня в ночную смену. — Мы и на танцы не ходим, а оба заядлые танцоры. Нельзя. Я хоть самую старую уродину приглашу, всё равно она как змея шипеть будет. А мне от людей стыдно. Здесь этого не принято, чтобы с женой весь вечер топтаться. Девчата со мной боятся на круг пойти, потому что она и осрамить кого хочешь может.

— Ври, ври! Свиныя ты бессовестная! А ты зачем одну на три танца подряд приглашаешь? Я что, слепая? Или дура я какая, не понимаю? Мне те же девчонки и говорят: «Ты чего, Клавка, глядишь?..».

— Дура! — презрительно обрывает Геннадий. — Правильно Анна Ивановна говорит. Мы скоро от скуки не то что друг на друга, и на людей кидаться начнём. Ни мы в люди, ни люди к нам. Нам только с Фёдором да с тётёй Симой и можно компанию водить. В хорошей компании нам нельзя. Или меня к кому приревнуешь, или сама лишнюю рюмку выпьешь да начнёшь вертеться...

— Врёшь ты, врёшь, паразит! — истерично кричит Клава. — Про меня никто слова плохого не скажет. Это ты нарочно при людях на меня грязь лепишь, чтобы самому очиститься. Не очистишься, гад! Люди-то знают, какую ты меня брал; ты меня девчонкой брал, а вот ты какой мне достался?

— Ну, залаяла, — бросает на прощание Геннадий и уходит, стукнув дверью.

Впервые Клавдия плачет при мне, плачет тяжёлыми надрывными слезами, не приносящими облегчения:

— Не уговаривайте вы меня, Анна Ивановна, не утешайте. Вы же ничего не знаете. Он ведь со мной расписался, когда Сашке уже год доходил. Вы знаете, какого я через него сраму натерпелась? Мать-одиночка... А он, гад, полтора года ни туда ни сюда. И бросать не бросает, и брать не берёт. Помирать бу-

---

ду — не прошу. Я раньше разве такая была? Я грубого слова сказать не умела. Он сам меня ласточкой звал за то, что я такая смиренная была и всё сама в себе сносила. Не прошу, не забуду...

Мне до отчаяния, до физической боли в сердце жаль их обоих.

— Нельзя, Клавдюша, так жизнь свою уродовать. Если думаешь жить с ним, значит, нужно простить. Забыть, может быть, такое нельзя, память не принудишь, а простить нужно. Простить раз и навсегда. И не вспоминать никогда, и не корить на каждом шагу.

Клавдия рыдает, припав опухшим лицом к рукам.

— И потом, зачем ты себя ревностью унижаешь? Ты посмотри на себя повнимательнее в зеркало. Когда ты не злишься, не кричишь, ты же как цветок полевой. Ты гордись своей молодостью и красотой, и его гордиться заставь.

Клавдия затихает, даже всхлипывать старается тише.

— Почему ты не следишь за собой? — продолжаю я. — Ходишь перед ним до обеда неприбранная, нечёсаная, ругаешься, как старая баба. Тебе перед мужем нужно ещё долгие годы новобрачной ходить, чтобы он любовался тобой. Ты ведь только сейчас расцветать начинаешь, у вас настоящая-то любовь ещё вся впереди. Послушай меня: не ради Сашки, ради своего собственного счастья попытайся стать для Геннадия прежней ласточкой. Я знаю, он грубый, озлобленный. А ты терпеливо, спокойно помоги ему смягчиться. Придёт он усталый, злой, а ты отойди, дай ему передурить. Потом добрым словом, лаской ты от него чего угодно добьёшься.

— Прямо-то, буду я перед ним выслуживаться... — бурчит Клавдия, сморкаясь и всхлипывая, но мне кажется, что слова мои не пропали даром.

Назавтра Клавдия появляется на кухне неузнаваемая. Густые тёмные волосы красиво уложены над высоким открытым лбом, на ногах не разношенные шлёпанцы, а старенькие, но до блеска начищенные лодочки. Пёстренький летний сарафанчик не совсем по сезону, но как чудесно оттеняет он смуглую прелесть обнажённых рук, какой гибкой и ласковой девчонкой выглядит в нём Клавдия.

Геннадий после ночной смены поднимается поздно, вялый и угрюмый.

— Чего ты выщелкнулась, ровно на пляж собралась? — хмуро говорит он, косясь на Клавдию.

— А что? Я дома должна обязательно замарашкой ходить? — обиженно отвечает Клавдия.

— У тебя всё не как у людей. Ты бы ещё купальник напялила.

---

— Дубина ты дубовая, ничего ты не понимаешь, — сквозь злые слёзы кричит Клавдия. Она рывком набрасывает на плечи пальтишко и в летних туфлях, с непокрытой головой выскакивает за дверь. Геннадий ошеломлённо смотрит ей вслед, а я иду пить валерьянку.

Дня через три, после очередной вспышки, выждав момент, когда Клавдия уходит с Сашкой в магазин, я завожу разговор с Геннадием.

— Ты старше, и жизнь знаешь лучше. И за Сашку, и за неё в ответе ты, — уже безо всякой дипломатии говорю я. — По твоей вине она озлобилась и огрубела. Открой глаза, присмотришься, неужели ты не понимаешь, что с ней происходит? Она не рада жизни, в ней всё, как струна, напряжено. Поверь мне, у неё очень неладно с нервами.

— Дрын бы хороший на эти нервы... — бормочет Геннадий.

— Попытайся хоть раз спокойно, по-мужски отнестись к её истеричным выходкам. Сдержись, отойди, дай ей успокоиться, — убеждаю я. — Вы же сами не верите всей той пакости, какую в запальчивости валите друг на друга. Вы же любите друг друга...

Мне вспоминается недавний случай. В цехе, где работает Геннадий, произошла незначительная авария. Пока слух о ней докатился до нашего «теремка», он оброс страшными подробностями и превратился в большую беду.

В тот день стоял трескучий мороз. Полураздетая, обезумевшая бежала Клавдия по улице, и как же она рыдала, как цеплялась за Геннадия, когда он, живой и невредимый, вывернувшись из-за угла, подхватил её на бегу. Как растроганно, любовно отпаивал он её потом горячим чаем, согревал её сизые от мороза руки в своих больших, добрых лапах.

— Какая уж там любовь, — угрюмо говорит Геннадий. — Вы думаете, я не пытался? Это со стороны легко кажется...

А вечером происходит следующее:

— Клань! Бросай свою музыку, идём в кино, картина мировая, про шпионов.

— Прямо-то. Иди, Клавка, в кино, а стирку за тебя дядя стирает. Ишь, добрый какой выискался! Вчера всяко облаял, в лицо наплевал...

— Да ну, хватит, Клавка, ну...

— Иди к чёрту! Что ты со своими погаными лапами лезешь? Вот как шваркну по морде мокрой тряпкой...

Если бы не Сашка, я, возможно, давно отказалась бы от своих не очень плодотворных попыток помочь этим двум дуракам.

---

Если бы не Сашка... Этот неутомимый колобок, словно заноза острая, воткнулся в моё сердце. Что бы я ни делала, подсознательно я всё время прислушиваюсь: что он сейчас творит? Какое новое увлекательное, но совершенно недозволенное предприятие вызревает в его круглой голове? И какое последует возмездие со стороны родителей?

Иногда на Клавдию накатывает вдруг приступ иступлённой нежности. Она хватается Сашку на руки, тискает, осыпает его поцелуями, и страстно, сквозь стиснутые зубы сюсюкает:

— Масенькая ты моя! Сладенькая ты моя. — А через полчаса раздаётся не менее иступлённый, истерический крик: — Идиотина ты проклятая! Тебе сколько раз говорить, чтобы ты за чехол грязными лапами не хватался! Посмотри, паразит, что ты наделал. Я тебе повяньгаю, гад, марш в угол сейчас же!

Редко бывает, чтобы отец и мать одинаково реагировали на Сашкины прегрешения.

— Не тронь его! — орёт Геннадий. — Из-за своих тряпок убить готова ребёнка. Иди ко мне, сынок. Пусть она только попробует сунется к нам, мы ей покажем...

— Что ты ребёнка дёргаешь? Что он, съест твои стамески несчастные? Не плачь, Сашурочка, ну его к чёрту, такого папу. Ишь, выбурился на ребёнка, как зверюга.

Лексикон Геннадия значительно богаче Клавиного.

Я уже настолько ко всему притерпелась, что способна простить, когда он сквернословит в минуты запальчивости. Но он сквернословит походя, в самом благодушном настроении. Сквернословит, разговаривая с женой, сквернословит, когда Сашка сидит у него на коленях и, приоткрыв круглый рот, впитывает, как губка, поганые, грязные слова.

— Слушай, Геннадий, — спрашиваю я, — почему ты никогда не ругаешься при мне?

— Вот тебе здравствуйте! — сконфуженно смеётся Геннадий. — С чего же это я стал бы при вас выражаться?

— Значит, ты можешь сдержаться, когда захочешь? Так. Тогда ответь мне на один вопрос: пройдёт очень немного времени, Сашка обложит тебя первым матом. Что ты тогда станешь делать?

— Сдеру ремнём шкуру разок-другой, — спокойно отвечает Геннадий.

— За что? Ты же сам очень старательно обучаешь его этой пакости...

— Ну, это уж вы бросьте! — Геннадий враждебно хмурится. — Как это я его обучаю? Мало ли что взрослые промежду

---

собой говорят, что детям и знать не положено? Ничего, не беспокойтесь. Всё поймёт.

— Почему же ты считаешь справедливым требовать от маленького, чтобы он понимал то, что ты, взрослый, не можешь понять?

— А чего я не могу понять? Что выразаться неприлично? Чудачка вы, ей-богу. Вы бы нашего мастера послушали. Вот этот даёт так даёт! — Геннадий восхищённо крутит головой. Он явно сожалеет, что я лишена возможности слышать «выражения» мастера в подлиннике.

Несколько раз даю себе слово отстраниться, не вмешиваться в жизнь этих по существу совершенно чужих для меня людей. Ну вас к лешему, живите как хотите, как умеете. Если бы не Сашка...

Я откладываю книгу и прислушиваюсь. Вот стукнула входная дверь, Клава пошла за водой. Она уже до краёв наполнила шестиведёрный бак, видимо, готовится к стирке. Сейчас Сашка один, интересно, чем он занят? Я вслушиваюсь. Кажется, добрался до золы в подтопке? Нет, это летит крышка с бака.

За одно краткое мгновение перед моим мысленным взором встаёт страшная картина: на полу лужа воды, а из бака торчат косолапые Сашкины валенки. Забыв про больное сердце, я вихрем вылетаю в кухню. Но, слава богу, всё в порядке. Взобравшись на табуретку, Сашка с деловитым сопением моет в чистом бачке кошкино блюдце.

Ох, Сашка, Сашка! Уноси, брат, ноги от греха, мать идёт. Пока Клава, проклиная весь белый свет, сливает испорченную воду и моет «опоганенный» бачок, пока наполняет его вновь чистой водой, Сашка, затаившись как мышонок, отсиживает в моей комнате.

Когда семейный небосвод ясен, Сашка подобен скворцу, упоённо голосящему в горячих потоках весеннего солнца. Он неумоимо катается по дому, лопочет, воркует, визжит, бесстрашно путается у всех под ногами. Это воплощённая радость жизни. Но достаточно появиться на горизонте первой грозовой тучке, и он сразу угасает.

Затаившись в углу, приоткрыв круглый рот, он быстро вертит головой, переводя поочерёдно взгляд от отца к матери. В круглых чёрных глазах тревога, страх, недоумение.

А бывает и так: этот глупый колобок пытается предотвратить назревающую грозу. Он лезет к отцу с игрушкой, он что-то отчаянно лопочет, стараясь привлечь к себе его внимание, но распалённый отец, ничего не замечая, грубо отстраняет его. Тогда он бежит к матери. Иногда ему удаётся

---

вскарabкаться к ней на колени. Он берёт в ладошки её разгорячённое, злое лицо, старается повернуть его к себе, тянется к нему вытянутыми трубочкой губами... Она машинально отмахивается от него, отдирает цепкие лапки от своего лица, сталкивает его с колен на пол и шипит испуганно:

— Ну бей, бей! Бей, гадина, раз замахнулся...

И тут в напряжённую тишину врывается отчаянный пронзительный вопль.

— Не надо! — визжит Сашка. — Не надо! Не надо! Не надо!

Я врываюсь в эту чужую, ненавистную комнату, молчком хватаю Сашку и уношу его к себе. Он весь трепещет. Не дрожит, не трясётся, а именно трепещет, как крохотная рыбёшка на сухом песке. Он то цепляется за меня, то отталкивает, пытается вырваться у меня из рук, и всё оборачивается на дверь и кричит своё единственное:

— Не надо!

У меня подкашиваются ноги, я ношу его по комнате, что-то бормочу, что-то наговариваю, что-то пою, пока он не затихнет. Сонного я уношу его домой, кладу молча на уже разобранную постель и ухожу молча, стараясь не видеть мрачные, подавленные лица Геннадия и Клавы. Сейчас мне их несколько не жаль. Сейчас я их просто ненавижу.

А ночью я слышу нежный, воркующий голос Клавы. Возможно, они уже спали и не слышали, как я, пробродив два часа вокруг дома, тихонько прошла в свою комнату, а может быть, этот ночной разговор для того и затеян, чтобы я его слышала:

— Всё-таки какая эта Анна Ивановна бессовестная, правда, Гена? Чего она лезет в чужую жизнь, кто её просит? Мы поругались, мы сами и помирились, кому какое дело, правда, Гена? Она меня знаешь как против тебя настраивает? Расходись, говорит, что ты, говорит, от такого паразита терпишь? Ты, говорит, вон какая красивенькая, он, говорит, даже и подмётки твоей не стоит. И Сашеньку к себе привадила. Нас вроде и за родителей не считает. А ребёнка без строгости не вырастишь; как мы понимаем, так и воспитываем, а ей какое дело до чужого ребёнка, правда, Гена?

Вчера, уже под вечер, я возвращалась с работы домой. У крыльца возле осевшего сугроба в грязной снеговой луже возится Сашка. Намокшие до колен тёплые штаны сползают на мокрые ботинки. Он уже весь иссиня-сизый от холода. Я пытаюсь подтянуть тяжёлые, сползающие штанишки и убеждаюсь, что он не только бродил в луже, но, видимо, и сидел в ней. Я решительно беру его за руку:

---

— Сейчас же домой, Саша!

И тогда, вырывая у меня ручонку, он чётко и совершенно членораздельно произносит:

— Иди ты...

Оглушённая, вхожу я в кухню. Клавдия, распаренная, растрёпанная, злая, остервенело тискает в корыте бельё. Геннадия нет.

Судя по всему, совсем недавно здесь разыгралось очередное мамаево побоище.

— Возьми Сашу, он совершенно мокрый и уже обмерзать начинает, — говорю я, проходя мимо неё в свою комнату.

— Никакая холера его не возьмёт, — бурчит Клавдия, швыряя кусок мыла в таз с бельём.

— Вот я сейчас покажу ему, паразиту, как в воде бродиться...

Я хватаю ножницы и лист бумаги, выхожу на крыльцо, выбираю на ступеньках место посуше.

— Зайка побежал на базар за морковкой, — сообщаю я в пространство. — А киска за ним: «Мяу-мяу, ты куда, зайка, бежишь?».

— А это туюво? — Сашка прислоняется мокрыми штанами к моим коленям.

— Это будет зайкин дом. Большой дом, с окнами, с трубой.

— Это мене? — Сашка умильно заглядывает мне в лицо. — Это мене, бабааня?

— У меня руки замёрзли, — говорю я, опуская ножницы в карман. — Давай-ка пойдём домой, вырежем машину...

— Ма-а-аненькую, — радостно тянет Сашка, карабкаясь за мной на крыльцо.

Мы вырезаем сначала похожую на трактор «Победу», потом самосвал, потом полный гарнитур мебели для куклы Катьки.

Сашка, румяный, с красными, как у гусёнка, лапами, сидит на моей кровати, до пояса укутанный в одеяло, раскладывает своё бумажное хозяйство и лопочет, лопочет, не умолкая ни на минуту.

А я с тоской поглядываю на стопку два дня ожидающих просмотра свежих журналов и тревожно прислушиваюсь — в каком настроении явится Геннадий? Как его встретит Клавдия?

Я думаю, думаю и не могу решить: что же мне делать? Как помочь этим нелепым и очень несчастным людям? Где найти слова, которые заставили бы их понять, как преступно уродуют они свою жизнь и жизнь ребёнка?

---

---

# Зойка

Девчонкой Зойка родилась, видимо, по ошибке. Бабушка Таисья Андреевна, наезжая к Сусловым из города погостить, косясь на Зойку, сокрушённо вздыхает:

— И в кого могло уродиться этакое, прости ты меня господи, полумужичьё?

Действительно, такой нескладной, толстогубой и белобрысой Зойке уродиться словно бы не в кого.

Молодые Сусловы — пара завидная. Гоша — широкоплечий, статный, над тёмной бровью жёсткий кудрявый чуб.

У Тоси на длинной стройной шейке маленькая в белокуром перманенте головка. На скуластеньком бледном лице до странности светлые, с острым прищуром глаза.

Рядом с солидным медлительным Гошей она словно быстрая гибкая змейка.

Десятимесячный Лёничка весь в суловскую породу: смугленький, кудрявый, темнобровый.

С Зойкой у него схожего только разрез глаз. У обоих уголки глаз приподняты к вискам, как у зайчат.

— У других девочки до страсти любят с маленькими возиться, а у нас Зойка к Лёничке прямо совершенно бездушная... — жалуется соседкам Тося, поджимая тонкие недобрые губы.

— Скоро дуре шестой год пойдёт, а ума ни на грамм не прибывает. Оставишь её с ребёнком на какие-то два-три часа, и, поверите, прямо сердце не на месте...

Сусловым часто приходится оставлять ребят в квартире одних. Гоша «ходит» на паровозе. Тося торгует в вокзальном буфете. Нередко, отстоявши смену, она бежит с лотком к пассажирским поездам. Лишняя копейка Сусловым положительно необходима. Они только что расплатились за мотоцикл, и сейчас усиленно копят деньги на телевизор. По мнению Тоси, не иметь в наши дни телевизора любому самостоятельному семейству просто неприлично.

Замужество своё Тося считает очень удачным. Гоша хорошо зарабатывает и уж нигде на стороне копеечки не оставит, всё несёт в дом. Выпивает в меру, характером хотя и горячий, но отходчивый. А что касается частых семейных скандалов, всё это житейское, и никому до чужой семьи никакого дела нет.

---

Досадное, но, к сожалению, неизбежное зло семейной жизни — это дети.

— Не привяжись бы к нам с первых лет ребятишки, разве бы мы с Гошей теперь так жили? У нас бы теперь уже всё было, — вздыхает Тося. — Села бы я утром пораньше с лоточком на пассажирский — час до Глебовой, да на встречном час обратно... Утром пассажиры, как с голодного мыса, пирожки или там бутерброды прямо с руками рвут. Если детей нет, была бы только охота, а лишнюю копейку всегда приработать можно. А с детьми — как собака на цепи. Ни заработать, ни развлечься культурно. Поверите, приличный маникюр сделать — и то времени не выберешь. А расход на детей какой! Конечно, мы с мужем своих детей строго воспитываем, не балуем, как некоторые другие. Потому что дети же совершенно глупые и ценить ещё ничего не умеют. Но всё же средства на них очень даже большие требуются.

Двухкомнатную секцию в доме № 16 Сусловы получили не очень давно. Поначалу, уходя из дома, Тося забегала к соседкам, просила «послушать ребятишек». Но довольно быстро она переругалась со всеми жильцами, и теперь при встречах проходит мимо, не здороваясь, надменно щуря светлые колючие глаза.

Но ключ, уходя, всё же оставляет в двери. Соседок своих она уже хорошо изучила. Хоть и злятся, всё равно та или другая не выдержит и придёт к ребятам, если рёв их станет непереносимым. Первое время соседи пытались убедить Тосю отдать ребят в ясли. Даже похлопотать предлагали, чтобы устроить их вне очереди. Но Тося решительно отмахивалась.

— Нет уж, спасибо! Я Зойку целых два месяца в ясли носила, видела, какие у них там порядки. Только и знают, что уколы ставят, а уходу никакого. Я как-то прихожу, а у неё на височке синяк... Принесёшь ребёнка домой, она схватится за кусок хлеба, грызёт, как собачонка голодная. Мало, что ли, их там, дармоедов, около детей обжирается...

Все эти несусветные нелепости Тося изрекает убеждённо, с неопровержимым апломбом.

— Ничего с ними не стрясётся, — вторит ей Гоша, лениво усмехаясь. — От рёва ещё ни один не помер. Им это на пользу — лёгкие развиваются... Вон они у нас какие зателёпыши, ни жары, ни холода не боятся. Не такие задохлики, как у некоторых.

Ничего не скажешь, ребята у Сусловых крепкой закалки. Капризничать не приучены, едят — что дадут. Как-то Тося забыла посолить кашу. Первую ложку Лёнька, не разобравшись,

---

проглотил, а вторую выплюнул себе на живот; Тося хлопнула его по лбу и стала насильно пихать ему в рот ложку.

— Она же несолёная...— насупившись, буркнула Зойка, с трудом глотая противную пресную кашу.

— Гляди-ка, дрянь какая! — искренне изумилась Тося. — Что бы ещё понимали. Туда же, несолёная!

Когда Гоша в поездке, Тося предпочитает топить печь только вечером, после работы, чтобы ужин сготовить, и картошки ведро для поросёнка отварить, и пелёнки Лёнькины простирнуть.

Утром уходит она на работу, когда ребяташки ещё спят. За ночь квартира основательно выстывает. Можно было бы затопить, будь Зойка постарше, сумела бы вовремя трубу закрыть. А так чего же дрова зря жечь.

Днём прибежит на минутку «ребят посмотреть». Поросёнка покормит, Лёньку приберёт, если он «обвалиется», прикрикнет на Зойку, чтоб не очень безобразничала. Когда же тут топить?

Первым обычно просыпается Лёнька. Ухватившись за верхнюю планку качалки, поднимается на ноги и начинает энергично раскачиваться. Деревянная качалка привязана к спинке кровати на недлинную верёвку, чтобы можно было вволю качаться.

Он топчется в мокрых пахучих пелёнках. Ноги у него толстые и сизые от холода. Качается и орёт, чтобы разбудить засоню Зойку и получить наконец свою утреннюю «четушку» молока.

Зойка очень не любит одеваться. Зевая и поёживаясь от холода, она натягивает на рубашонку старую курточку, суёт ноги в валенки и в таком виде, неумытая, голозадая, начинает свой новый день.

Лёнька вообще-то парень неплохой. Высосет бутылочку молока, накачается до одури и спит, пока снова не захочет есть. А Зойке в одиночку приходится бороться со скукой и тишиной. Она очень любит музыку и песни. Но к приёмнику ей категорически запрещено подходить.

Приёмник стоит в «зале», куда Зойке без родителей вообще входить не положено. Как-то, окончательно истомившись тишиной, она решила нарушить запрет. Подволокла табурет, легла животом на стол и, дотянувшись до приёмника, начала осторожно крутить ребристые колёсики. Приёмник молчал. Зойка огорчённо вздохнула и, уже сползая со стола, крутнула ещё какую-то штучку. Приёмник вдруг закричал таким страшным, таким чужим нечеловеческим голосом, что у

---

Зойки что-то оборвалось в животе, и она вместе с табуретом покати́лась на пол.

Пронзительно завопил спросонок Лёнька. Приёмник продолжал оглушительно рычать. Немножко придя в себя, взвыла и Зойка, не замечая, как горячей стружкой стекает на грудь кровь из рассечённой губы.

Так и орали они в три голоса, пока не прибежала перепуганная соседка. Почему-то Зойкины попытки как-то хоть немножко развлечься чаще всего кончаются для неё крупными неприятностями.

Нашла за комодом старый конверт, решила порисовать. Только примостилась на табурете, как единственный огрызок карандаша, которым Зойка очень дорожила, выскользнул из рук и закатился в щель, где в полу была прорезана западня в подполье. Западня была без шарниров, просто по надобности вынималась и закладывалась обратно. Зойка долго выковыривала карандаш ножом, но он плотно застрял в щели. Тогда она взялась за кольцо и потянула западню на себя. Западня не поддавалась, Зойка надулась покрепче, дёрнула за кольцо, и западня вдруг, словно живая, выскочила из гнезда, рванулась из рук углом вниз и поволокла Зойку за собой в сырую холодную темноту подполья.

Или такой случай. Нужно было срочно постирать куклины тряпочки. Чтобы дотянуться и зачерпнуть из бачка воды, Зойка встала босыми ногами на край ведра со свежеразведённой известью. Мать вечером собиралась белить кухню. Ведро опрокинулось, и босые Зойкины ноги сразу обулись в нарядные белые туфельки. Известь была тёпленькая, мягкая, приятная на ощупь. Зойка присела на корточки и стала ладошками собирать её в ведро.

Возможно, она успела бы до прихода матери всё привести в порядок, но почему-то вдруг непереносимо начало жечь и руки, и ноги. Долго потом с пальцев ног кожа слезала лоскуточками, а руки стали красные и сырые, словно варёные.

Основная обязанность Зойки в отсутствие родителей — это «водиться с Лёнечкой». Вовремя давать бутылку с соской, вытаскивать из качалки мокрые пелёнки, а главное — не давать плакать. Развлекать его не трудно, человек он весёлый и очень смешливый. Но иногда на него накатывает настоящий большой рёв. Зойка добросовестно старается его успокоить. Суёт в рот соску, игрушки, хлеб, поёт песни, пляшет.

В конце концов всякому человеческому терпению приходит конец, и Зойка начинает ругать Лёньку так, как ругается отец, когда они скандалят с матерью. Некоторые нехорошие

---

слова отец часто употребляет и в обычном разговоре, при самом отличном настроении. Эти слова не в счёт. Зойка старается вспомнить самые-самые скверные и толстым отцовым голосом выкрикивает их Лёнке в лицо. Но он ещё совсем маленький, и, если уж захотел орать, никакими словами его не успокоишь.

Тогда Зойка от злости и бессилия начинает визжать, кривляться и строить такие страшные рожи, что ей в конце концов самой становится не по себе.

Следовало бы Лёнку припугнуть хорошенько, как это обычно делает мать: «Вон он, Бабай-то, под окошком стоит! Ага! Вон он идёт!».

Но сейчас, пожалуй, лучше Бабая не вспоминать: за окном густеет темнота, серый сумрак выползает из всех углов, а мама всё не идёт, и огонь зажечь нельзя, потому что до выключателя и со стула не дотянуться. Вот и попробуй тут не заорать благим матом, так, что даже Лёнка на минуту замолкает и удивлённо таращится с открытым ртом.

Зойка очень любит работать, но не понарошку, а сделать что-нибудь настоящее, дельное: постирать, например, что-нибудь, ножик песком почистить, цветы полить... И чтобы потом похвалили за хорошую работу. Но мать не выносит, когда дети «путаются под ногами».

— Не лезь ты, куда тебя не просят! Не суйся под ноги! Положи сейчас же ножик на место. Иди вон с Лёней играйся!

Очень любит Зойка поговорить. Она так наскучается за день, так намолчится, сидя одна под замком. Лёнку потешать — какой же это разговор? Особенно хочется поговорить с матерью. Но она всегда куда-нибудь спешит, крутится по дому, как волчок, и всегда сердится неизвестно за что.

— Помолчи ты, ради бога, хоть минуту, ботало несчастное! Ну просто голова раскалывается от этого ребёнка! Иди на улицу, гуляй!

На улицу Зойка убегает с радостью. Частенько гуляет до позднего вечера, пока дома не хватятся, что она не только ужинать, но и обедать не приходила. Тогда Тося выходит на крыльцо и кричит пронзительно, чтобы и в соседних переулках было слышно:

— Зо-о-ой-ка-а-а! Иди сейчас же домой, шлёнда несчастная!

Когда родители настроены мирно, и дома бывает неплохо. Отец на кухонном столе мастерит какие-то занятные железные штучки. Трогать их нельзя, но посмотреть можно сколько хочешь. Мать, тихонько напевая, хлопочет у плиты. Она ни на кого не сердится. Можно к ней подойти, спросить что-нибудь

---

интересное. Можно приласкаться к отцу и даже немножко посидеть у него на коленях.

Иногда мать мимоходом толкнёт отца в спину и смешно взъерошит ему волосы, а отец схватит её за руки, и они, как маленькие, начнут хохотать и возиться.

Зойке в такие минуты даже плакать хочется от радости. Она визжит, суетится, тычется между ними, и никто на неё за это не сердится.

Хорошо жить на свете, когда родители не ссорятся! А ссорятся они часто и очень громко. Соседи говорят:

— Опять Сусловы скандалят, хоть бы детей пожалели.

Лёнька ещё маленький, он всегда пугается и плачет, а Зойка уже ко всему привыкла. При первых признаках ссоры она заблаговременно ретируется за печку. Там, в узеньком закутке, на скамье стоит бак с водой. В углу свалена сухая щепка на растопку, старое тряпье, ссохшиеся папкины сапоги. Тесновато, но довольно уютно, а главное — безопасно. В крайнем случае, при нужде, можно и под скамью втиснуться.

В спокойный и добрый мир жильцов дома № 16 Сусловы вошли словно неудобный занозистый клин. Трудно было соседям привыкать к их скандалам, к беззастенчивому сквернословию Гоши, к истерическому Тосиному визгу.

Раньше между соседями никогда не возникало споров из-за уборки лестницы или крыльца. По вечерам мужчины выходили с лопатами, убирали снег, расчищали дорожки к сараям, к общей аккуратной помойке в глубине двора. Впоследствии трудно было вспомнить, кем из жильцов какое дерево или кустик высажен в палисаднике перед домом, кто принёс с берега первое ведро золотистого песка для ребят, кому пришлось в голову поставить во дворе под молодыми тополями стол и соорудить вокруг него удобные скамейки.

И ребятишки во дворе подобрались дружные и уживчивые. Поссорятся иной раз и передерутся — «я с тобой не играю!» — а сами через плечо косятся: не услышал бы кто из взрослых, а через час уже опять вместе.

Теперь же на Зойкин рёв выскакивает на крыльцо Гоша, кричит угрожающе:

— Кто тебя?

И ребятишки, словно воробьи, врассыпную. Знают, что задир и ругательница Зойка всё равно окажется правой.

— А ты чего губы-то распустила? — зло кричит Гоша. — Дай ему по сопатке как следует, другой раз не полезет.

У Тоси на домашние дела времени всегда в обрез. Некогда ей с каждым ведром на помойку таскаться. Часто за ночь на

---

чистом голубом снегу у палисадника возникают противные серые плешины помоев.

— А ты видела?! — кричит воинственно Тося, надвигаясь выпяченной грудью на ошеломлённую соседку. — Нет, я тебя спрашиваю: видела ты, как я эти самые помои лила? Да вот хоть Зойку спроси, ребёнок не даст соврать...

— И ничего мама не лила... — не моргнув глазом, азартно кричит Зойка. — Сами же льёте, а сами на маму говорите...

А через какой-нибудь час из сусловской квартиры доносится:

— Опять ты, дрянь такая, в буфет лазила!

— Не смей врать, свинья! Терпеть не могу, если кто врёт. Ну что за проклятый ребёнок, не может без вранья слова сказать!

Совершенно искренне Тося убеждена, что соседки «не взлюбили» её из-за зависти. Не у каждой такой красивый и добычливый муж и такой достаток в семье...

— А если когда и поскандалим — так никому до нас дела нет. У меня работа такая, что кругом меня мужчины, а Гоша ревнивый до ужаса. А я так считаю, который муж жену не ревнует, значит, и не любит, не дорожит ей. Вот все от зависти и лопаются, что меня муж любит. У меня одних комбинаций шёлковых пять штук, и все он подарил...

Больше всего супруги Сусловы не переносят, когда «люди суют нос в чужую семейную жизнь».

— Подумаешь, судьи какие выискались! Зойка ей, видишь ли, нагрубила! А ты не цепляйся к чужому ребёнку. Тебя никто не просит ей замечания делать. Да у меня Зойка никогда из-за стола не вылезет, пока три раза «спасибо» не скажет; она у меня за каждым словом «пожалуйста» приучена говорить, и в дверь всегда постучится, спросится — можно или нет войти. Не то что как у некоторых дети, даже понятия о хорошем воспитании не имеют. И никому до моих детей дела нет...

— Подумаешь: какие все культурные стали! Никого не слышат, а если Гоша иногда и выразится, все сразу морду воротят. Выговаривать суются, всё каким-то дурацким женсоветом грозятся. Он мужчина, и вы ему рот не заткнёте, если у него привычка такая с детства...

Меня Зойка навещает аккуратно, не реже двух-трёх раз в неделю. Часто я нахожу её на своём крыльчке, где она терпеливо ожидает моего возвращения с работы. Вот она стоит на верхней ступеньке и, размахивая палкой, ругается на чём свет стоит совершенно немыслимыми словами. Увидев меня,

---

она на мгновение столбенеет, потом, тревожно заглядывая мне в глаза, торопливо объясняет:

— Я не на тебя, я на собаков! Ты не бойся, иди, они не укусят. Я ка-а-ак дам палкой, они и убежали.

Стоя на пороге, она чинно здоровается и, прислонившись к косяку двери, ждёт моего приглашения раздеваться. Чувствует она себя не совсем уверенно, потому что только за один сегодняшний день она два раза побила хроменького Серрёжку из седьмой квартиры, ругалась на ребят нехорошими словами, верхнюю бабушку обозвала старой жабой.

— Слушай, Зоя, это правда, что ты обижаешь Лёню? — спрашиваю я насколько могу строго. — Ругаешь его всяко и даже бьёшь?

Лицо у Зойки сразу становится злым и очень несчастным. И без того толстые губы от обиды вздуваются пузырям.

— А зачем они его покупали?! Сами закроют на замок, сами уйдут, а он орёт... Я же играю с ним, а он орёт и из качалки выглядывает... А она потом дерётся... Не буду я с ним водиться, пусть другой раз не покупают...

— Ну что же поделаешь! — говорю я, печально вздыхая. — Придётся, значит, Лёню продать. Тебе он не нужен, маме водиться некогда... Унесёт его папа обратно в больницу, раз ты его не любишь...

Зойка смотрит на меня исподлобья, встревоженно и недоверчиво.

— Хорошо, если попадёт Лене добрая сестричка, полюбит его и обижать не будет, — продолжаю я грустно. — А если ещё хуже тебя? Будет его бить и молоко из бутылочек сама выпьет, и игрушки у него все отберёт...

— Да-а-а! — сопит Зойка, уже с трудом сдерживая слёзы. — Я ей как дам палкой по башке...

В конце концов мы приходим к выводу, что продать Лёньку никак невозможно.

Придётся уж потерпеть, пока он не подрастёт.

Если я занята уборкой, Зойка, конечно, обязана мне помогать. Я наливаю в чашку воды, отрываю чистую тряпочку и прошу её протереть стул.

Сопя от усердия и сознания ответственности за порученное дело, Зойка вдохновенно трёт ножки стула. Хорошо потрудившись, мы садимся обедать. Потом я убираю со стола, а Зойка, усевшись на диван, кладёт на колени растрёпанную книжку пушкинских сказок и, послунив палец, находит по картинкам нужную страницу. Многие отрывки она знает наизусть и «читает» мне их, водя пальцем по строчкам.

---

«Читает» громко, нараспев, как читает второклассник Шурка из соседней квартиры:

У лукоморья дуб зелёный,  
Златая цепь на дубе том!  
И днём, и ночью кот учёный  
Всё ходит по цепи кругом;  
Идёт направо — песнь заводит,  
Налево — сказку говорит..

Дальше Зойка забыла. Перебросив несколько страниц и вода по строчкам «Царя Салтана», она продолжает «читать»:

Наша Таня громко плачет,  
Уронила мячик в речку..

Что-то не то... Зойка искоса взглядывает на меня и хмурится, напряжённо шевеля толстыми губами, потом, просветлев, облегчённо кричит:

Уронила в речку мячик!

Я лежу на диване с книгой. На столе приглушённо поёт приёмник. Зойка копошится в углу, вырезает вкривь и вкось из старого «Крокодила» смешные картинки.

— Чего поёт? — спрашивает она, вдруг радостно насторожившись. У неё какое-то редкое, не ребячье чутьё на истинно хорошие песни.

Упёршись мне локтями в живот, она слушает заворожённо, подперев ладошками скуластые щёки:

— Бригантина! — шепчет она блаженно. Иногда она бежит из комнаты в кухню, тащит меня за руку к приёмнику и, сияя, кричит:

— Моя Волга! Текёт дол-га-а-а! Издалека-а!

В некоторые песни она вносит серьёзные поправки и дополнения. Вот она сидит на моём крыльце и упоённо голосит на трёх нотах:

— Пусть всегда будет небо,  
Пусть всегда будет солнце,  
Пусть всегда будет мама..

Тут она мгновенно, словно споткнувшись, замолкает, потом решительно выкрикивает:

— Пусть всегда будет папа!

И ещё раз пауза.

---

— Пусть всегда будет Лёнька!

Теперь всё в порядке. Песня дополнена по справедливости, и...

— Пусть всегда буду — я!

Хотя отец частенько дерётся, а Лёнька до смерти надоел, но раз есть небо, и солнце, и мама, как же могут не быть папа и Лёнька?

Игрушками дома Зойку не балуют. Ей самой приходится промышлять, чтобы как-то пополнить своё хозяйство. Большая удача получить в подарок флакон из-под духов или рядную баночку из-под крема. Сидя на полу, Зойка пытается отвинтить крышку с полученной от меня в подарок пластмассовой коробочки, которую она давно уже облюбовала на моём туалетном столе.

— Вот, сука, никак! — бормочет она и, вскинув на меня милые, как у зайчонка, глаза, озабоченно просит:

— Будь добренькая, открой, пожалуйста!

Очень интересуют Зойку новые, впервые услышанные слова.

— А женсовет — это кто? Он какой? Мама говорит: «Пусть он только сунется к нам, она его так шуганёт, что он всю свою дорогу потеряет...». А как он её потеряет? А к нам он зачем сунется?

— Какой ма-а-аленький! — умилённо воркует Зойка, обнаружив на моём письменном столе новый перочинный ножичек.

— А я когда вырасту, мне папа во-о-от такой большой ножик купит... — широко разводит она руки, показывая величину обещанного ножа.

— Зачем же тебе такой большой нож? — удивляюсь я. — Что ты станешь им делать?

— Милиционера зарежу... — спокойно сообщает Зойка, но, взглянув на моё потрясённое лицо, торопливо поясняет:

— Пусть он другой раз дядю Мишу не трогает... Дядю Мишу из-за него теперь в тюрьму посадят... Папка говорит, все они... эти... как их?... мильтоны такие...

Ох, и нелёгкое же это дело — вести с Зойкой серьёзный разговор о жизни, когда она, привалившись к твоим коленям, слушает, приоткрыв рот, и смотрит не мигая — жадно, доверчиво, пытливо, — смотрит в самую твою душу.

---

---

## Собрание считать продолженным

Вовка сидит за старой баней в густых зарослях конопли и крапивы. Он только что до хрипоты наорался. И никому нет дела, что вот сидит человек в бурьяне один-одинёшенек и ничего ему на свете не мило. Злющая крапива искусала Вовке ноги, в волосы на самой макушке вцепился большущий репей, и даже добрая пахучая конопля больно царапнула его между голых лопаток шершавым стеблем. Почёсываясь и тихонько подвывая от горькой жалости к самому себе, Вовка напряжённо вглядывается сквозь стебли конопли в синеющий на краю заречной луговины перелесок.

Единственный человек, который ему сейчас совершенно необходим, — это отец. Сегодня суббота, и, по Вовкиным расчётам, папка уже катит с поля домой на своём новеньком велосипеде. Вот сейчас вывернется он из-за перелеска на луговину и удивится, что не встречает его Вовка на обычном месте, у поворота под старой берёзой. Пусть, пусть узнает отец, до чего довели бабы его несчастного сына!

День сегодня не задался с самого утра. Сонного Вовку кусали мухи. В качалке рядом орала семимесячная Нюська. Вовка проснулся в отвратительном настроении и ещё в постели начал выламываться над бабкой. Сперва заявил, что в детсад не пойдёт, хоть убей, потом задрал ноги выше головы, напялил на ступни трусишки и стал тянуть их в разные стороны. Трусишки были старые и довольно быстро лопнули. Бабка стукнула его по затылку, но новые коричневые трусы, купленные вчера матерью, не дала. Бросила на кровать старые штаны с ляжкой, которые Вовка носил ещё зимой, когда был маленький.

Потом бабка понесла Нюську в ясли, а Вовка, вооружившись тупым кухонным ножом, стал отпиливать от штанов ляжку. Без ляжки штаны, словно живые, поминутно сползали с голого живота, и их всё время приходилось подтягивать.

По столу среди невытой посуды суетливо ползали мухи. Придерживая правой рукой штаны, Вовка взял в левую сырое полотенце и стал хлестать ненавистных мух. Сначала со стола грохнулись два блюдечка, потом кринка с молоком.

---

Удрать Вовка не успел: вернулась бабка и отрезанной лямкой отхлестала его по голым местам. Было почти не больно, но очень обидно. Вывернувшись из бабкиных рук, Вовка с порога обругал её самыми нехорошими словами, какие только успели прийти на память, и шмыгнул за дверь. Но тут, в сенях, его перехватила мать. Она только что вернулась с утренней дойки и, разуваясь на крыльце, услышала всё, что ей-то как раз и не следовало слышать. К любому Вовкиному озорству мать относилась довольно миролюбиво, но почему-то всегда страшно выходила из себя, если Вовка говорил нехорошие слова.

Бабы — бабы и есть. Вот отец небось не начнёт туркать Вовку, когда он при нём скажет какое-то там слово. Понарошку сердито выкатит глаза и, с трудом сдерживая смех, сконфуженно зашипит:

— Ш-ш-ш! Тихо, сынок, ты что это? Нельзя так!

На этот раз мать не плакала и не ругалась. Сидела, устало сгорбившись, поникшая и молчаливая. Прошмыгнув за её спиной, Вовка торопливо залез в угол кровати, загородился на всякий случай подушками.

— Принесла сейчас Нюську в ясли, — всхлипывая и сморкаясь в подол, рассказывала бабка, — Нина Васильевна и говорит: «Конечно, Илья Андреевич — знатный комбайнёр, его фото в газетах печатают, и очень даже стыдно, что у него сын таким фулиганом растёт. И я, говорит, в контору заявлю, что ваш Вова нам всех детей портит. Приходит в садик, когда захочет, уходит, не спросясь, старшим грубит и по-всякому выражается...».

Бабка, кряхтя, опустила на колени и стала собирать в подол посудные черепки. — Иду назад, от стыдобушки меня прямо всюё качает, а тут Варвара навстречу. «Что, — говорит, — это, сватья, до чего вы Вовку распустили? Уж на что наш Яков его любит, и то вчера не стерпел, прогнал из кузни. Привёз с поля какую-то часть заваривать, Вовка пристал к нему: возьми да возьми меня, деда Яша, в поле, к папке. Яков на него построжился: опять, говорит, ты, варнак, из детсада убёг? — а он отбежал к пряслу да на Якова-то Иваныча пре-большим матом...»

— Что ж, убить мне его теперь, что ли? — тихо спросила мать. У Вовки даже холодком по спине подрало. Подумать только: сидят, сговариваются, убивать им Вовку или не убивать!

— А что с ребёнка спрашивать, если он во всём отцу подражает? — Бабка с грохотом высыпала черепки в лохань. — Ты с

---

Илюхой поговори. Он научал, пущай он и отучает. Чего же ты молчишь? Ты мать, ты за ребёнка не меньше его в ответе.

— Ты тоже мать. Не я Илью воспитывала, а ты...

Бабку словно кулаком в спину толкнуло. Она сгорбилась и прижала к губам маленькую сухую ладошку. И тут они обе враз закричали, заплакали в голос, смотреть на них стало совсем невозможно.

Вовка тихонько сполз с кровати, прихватил с пола штаны и, толкнувшись задом в дверь, вывалился в сени. Правильно папка говорит: ну их, этих баб, подальше. С ними только свяжись!

Идти за речку встречать отца было рано, купаться одному неинтересно. Вовка побродил по огороду, съел пару огурцов, пощипал перезрелого, пресного гороха. Есть захотелось ещё сильнее, и он решил сходить в детский сад пообедать. На его счастье, Нины Васильевны на месте не оказалось. Тётя Сима, поворчав сколько положено, пустила Вовку к ребятам за стол. Вовка чинно помыл руки. Съев тарелку щей, вежливо попросил добавки. После киселя он окончательно подобрел и даже намеревался, как здесь заведено, поспать после обеда. Но тут к нему прицепилась счетоводова Нюшка. Нюшка-вяньгушка, зелёная лягушка. Ни за что ни про что обозвала его фулюганом и варначонком. Стукнул её Вовка всего один раз, а визг поднялся такой, словно с Нюшки кожу снимали. Пришлось быстренько уносить от греха ноги.

За ворота выскочила тётя Сима, начала вдогонку грозиться и срамить Вовку на всю деревню. На бегу Вовка успел ответить ей всего двумя подходящими словами, по тут из-за угла вывернулась мать. Ухватив за руку, волокла она Вовку, как маленького, подгоняя шлепками до самого двора. От такого позора каждый бы до полусмерти мог обречься. Ладно ещё, что, открывая калитку во двор, мать на какой-то миг выпустила его из рук. Не переставая орать и поминутно оглядываясь, Вовка промчался через огород к речке и на четвереньках нырнул в спасительные заросли конопли и крапивы.

Опустив на землю вёдра с водой, Мария присела на порожек бани, устало прислонившись виском к тёплому косяку. Из предбанника в полуоткрытую дверь обдавало добрым жаром хорошо протопленной каменки, милым, с детства знакомым запахом дыма и берёзового веника.

Как любила Мария раньше субботние летние вечера! В доме свежо и прохладно от только что вымытых полов. В горнице приглушённо воркует приёмник, первая Илюшина премия, уютно суетится маманя, собирая к ужину. На столе в миске

---

любимые Илюшины малосольные огурцы — хрустящая острая свежесть, источающая запахи укропа и смородинового листа.

На крыльце томится Вовка: сейчас вернётся с поля отец, и они — два мужика, два хозяина — пойдут париться в баню.

Почему раньше у них с Илюшей всё было иначе? Бывало, приходишь вечером с фермы, чего только за день-то не насмотришься, не наслушаешься, и обо всём хочется скорее рассказать Илюше. А у него своё, и тоже всё интересное. И почему тогда кругом так много было смешного? Бывало, один уже начинает засыпать, а другой вспомнит что-то ещё, и вот они опять фыркают, давятся от смеха.

А теперь... Вот недавно получила она группу первотёлок. Сколько с ними намаешься, пока раздоишь да к порядку приучишь. Вывела их в летние лагеря, заботы вдвое прибавилось. Пастухи молодые, неопытные. Просто не терпелось рассказать обо всём этом Илюше, посоветоваться. Но Илья и половины не дослушал. Словно шестом отпихнул:

— Надоела ты мне со своими коровьими хвостами...

Вчера после вечерней дойки Клавдия Павловна говорит:

— Чего это ты, Мария, прямо сама на себя непохожа стала? Ровно иголку проглотила.

Тут Томка Игнатова ввязалась:

— Заелась наша Манечка, вот я чего скажу! — У Томки, известно, что на уме, то и на языке. — Мужик у неё в почёте, сама начинает в славу входить. Заработки у обоих — дай бог всякому, как же тут не зазнаться! Илья Андреевич идёт по деревне, как индюк, зоб надувает. Выходит, и супруге не положено теперь с нами зубы скалить.

Раньше бы Мария от баб легко отшутилась. Свалила бы занозу-Томку в траву, затискала бы, защекотала: проси, ехидна, прощения! Проголосила бы, подбоченясь:

Ой, не ходите, девки замуж,

Замужем не весело.

Я кака была весёла —

Голову повесила!

А теперь только бы не разреветься, разве баб обманешь? Ну, а что касается гордости, как же могла она не гордиться Илюшей? Сколько у них с маманей было радости, когда увидели они его портрет в областной газете! Как было не любоваться им, когда он, рослый, красивый, поднимался не спеша на сцену, чтобы занять почётное место в президиуме собрания передовиков района! И разве могла она подумать, что на-

---

ступит такой чёрный день, когда они с Илюшей перестанут понимать друг друга.

И чем дальше, тем хуже. Как началась уборка, Илья бывает дома один-два раза в неделю. Приедет чёрный, неласковый. Помоемся наспех, поужинает и молчком припадёт к подушке. Только для Вовки и находится у него шутка, ласковое слово.

Вчера приехал домой поздним вечером, а тут, как на грех, нужно было хоть пару чурок отпилить на дрова. Мамаля уже несколько дней собирала на топливо во дворе всякий хлам. Тошно было видеть, как нехотя шёл он с пилой к сараю, а Вовка как ни в чём не бывало виснул у отца на локте, заглядывал ему влюблённо в глаза.

«Ладно. Я так сделаю... — соображала Мария, торопливо помогая Илье взвалить сутунок на козлы. — Устанет Илюша, сядет закуривать, я и начну. Только Вовку куда-то отослать надо. Илюша, — скажу, — ты только не сердись, люди тебя уважают, ты, Илюша, у всех на виду, а Вовку в деревне хулиганом кличут, и в садике его больше держать не хотят... Он, Илюша, никого, кроме тебя, не признаёт. А теперь ещё тобой на людей грозиться начинает. «Погоди, — говорит, — скажу папке, он тебе даст за меня». И на любого по-всякому выражается. И ещё про маманю скажу... почему, — скажу, — ты, Илюша, её матерью перестал называть? Всё бабка да бабка. А какая же она тебе бабка? Она мать. Ты обрати внимание, какая она стала... тихая».

Мария так задумалась, что чуть не упала на козлы, когда Илья с силой рванул пилу на себя:

— Очнись, тетеря сонная! Пилить так пили, а не то брошу всё к чёртовой матери!

Словно обожжённая окриком, Мария резко распрямилась. Глядя в отчуждённое лицо мужа, она сказала, переведя дыхание:

— Нина Васильевна сказала, что Вовку в садике держать больше не будут.

— Да пошли вы все... — Илья выругался. — Подумаешь, Нина Васильевна! Нашла, дура, кому грозить. Вовка у меня — мужик настоящий. Верно, сынок?

Он ухватил Вовку за кудрявый смолистый чуб и притянул к себе. Запрокинув голову, сияя блаженной улыбкой, тот преданно смотрел в папкино лицо.

Чувствуя, как медленно отливает от лица кровь и холодеют щёки, Мария швырнула на брёвна певуче охнувшую пилу и молча, не оглядываясь, пошла огородной тропой к речке. Там, на берегу, когда на истомлённую зноем землю опускает-

---

ся роса, остро и горько пахнет степная полынь. Там и одиноко, и тихо. И никто не спросит: что же сидишь ты здесь одна?

До чего же длинна короткая летняя ночь, когда сердце ноет и нужно решать в одиночку, как дальше жить.

А может быть, он тоже не спал этой ночью? Может, не раз выходил на крыльцо, курил, вслушивался тревожно в предутреннюю тишину... Нет. Чего уже саму-то себя обманывать. Спал Илья как убитый. На рассвете, плотно позавтракав, уехал, не простившись. Словно бы и не произошло вчера ничего...

И выдастся же такой трудный, такой немилостивый день. Без видимой причины любимица Зорька сегодня утром наполовину сбавила удой, стояла понурая, сонная, и жвачку потеряла, а это значит — жди большой беды. Пока дозвонились на центральную, пока приехал главный ветврач, ведь это какие же нервы надо иметь? А тут ещё Вовка с утра до обеда натворил такого, что у Марии и сейчас от стыда подкатывает под сердце.

И всю обиду, что накопилась за последние дни, и стыд, и горе Мария, вернувшись домой, сорвала на свекрови. Впервые за восемь лет плакала маманя по её, Марииной, вине...

Сморщившись, Мария стиснула зубами уголок косынки. Илюша, что же такое с нами творится?

А Илья Казанцев сидел в это время в тени полевого вагончика и от скуки ковырял щепкой сухую утрамбованную землю.

Предстояло собрание, поэтому после пересмены, несмотря на субботу, никто из механизаторов Дубровинской фермы не спешил с поля домой. Больше года дубровинцы прочно удерживали первенство и переходящее знамя совхоза, но к концу посевной произошёл конфуз: знамя ушло к механизаторам Беловской фермы. Сегодня отвоёванное обратно знамя возвращалось в отряд. Перед собранием корреспондент районной газеты снимал отряд у развёрнутого знамени. Потом снимали отдельно Илью Казанцева и самого молодого тракториста — Сашу Юрченко. Саша сконфуженно топтался около своего трактора, пришлось его переснимать три раза. Илья Андреевич привычно стал перед аппаратом, непринуждённо прислонившись плечом к стенке комбайна.

Собрание шло споро. И пока парторг вручал знамя вспотившему от удовольствия и волнения начальнику отряда Василию Степановичу, пока шёл разговор о центнерах, нормах и сроках, Илья слушал с интересом, высказал и сам пару толковых замечаний. Потом слово взял председатель рабочкома

---

и, наверное, в десятый раз начал нудно разъяснять механизаторам, что совхоз борется за звание коллектива коммунистического труда, и насколько звание это почётно, и как за него нужно бороться...

Во время его речи Илья успел передумать множество разных дум.

Обязательно нужно вечером заглянуть в сельпо, узнать, не привезли ли наконец обещанные телевизоры... И хорошо бы ещё к зиме стиральной машиной раздобыться, хватит уж Марии над корытом спину гнуть... Неприятно кольнуло, когда вспомнилось, что сегодня Мария так и не пришла ночевать в избу. Подумаешь, нервная какая стала, принцесса. А всё Вовка-чертёнок; надо будет приструнить его малость, чтоб не озоровал слишком-то, батин сын. Опять, наверное, удрал из детсада, сидит сейчас на развилке под берёзой, томится, ждёт папку, бесёнок лохматый.

Илья растроганно усмехнулся, но тут до его слуха дошли слова совершенно невероятные:

— Подписали вы, товарищи, обязательства учиться жить по-новому, а сквернословите, кажется, ещё хуже прежнего.

Говорила эти слова заведующая клубом Надежда Михайловна. Говорила, как всегда, не спеша, вроде бы спокойно, только всё её полное немолодое лицо горело пятнистым румянцем да потемнели выпуклые, обычно ласковые глаза.

— Вот, например, вы, Илья Андреевич, не только дома, но и в обществе позволяете себе грубить жене, а Марию вашу люди уважают не меньше, чем вас...

Илья слушал, ошеломлённо приоткрыв рот. Надо же такое! И никто не встал, не разъяснил этой лупоглазой выскочке, насколько это нетактично — наводить на передовика критику, да ещё в такой день, когда его портрет только что снимали для газеты.

А Надежда Михайловна, словно и не замечая, что с ним происходит, спокойно продолжала:

— Выражаетесь вы, Илья Андреевич, нецензурно при женщинах, при детях. Володя ваш становится настоящим хулиганом. Неужели это вас не тревожит? Он же с вас пример берёт...

Прищурившись, Илья начал медленно приподниматься с земли, но, натолкнувшись на холодный, предостерегающий взгляд парторга, спросил вызывающе, откинувшись затылком к стене вагончика:

— А какое, между прочим, ваше... — С языка просилось слово «собачье», но он сдержался. — Какое ваше дело лезть в чужую семейную жизнь?

---

— Чужую?! — изумлённо пропела Надежда Михайловна. — Это Мария-то нам чужая? Это Вовка нам чужой?!

Парторг кашлянул и, поднявшись с бревна, заслонил Надежду Михайловну широким плечом. Сказать он ничего не успел, потому что в этот момент нежданно-негаданно заговорил обычно бессловесный, молчаливо-улыбчивый дядя Яша, старейший комбайнёр, Казанцев Яков Иванович.

— Ты, Михайловна, всё нам про книжки толкуешь, но только Илюху книжкой не прошибёшь. Тут предмет требуется поувесистее, потяжелее.

Илья поперхнулся и обалдело уставился на Якова Ивановича. Вот тебе и дядя Яша! Вот тебе и родная кровь!

Парторг скользнул быстрым взглядом по хмурым лицам механизаторов и сказал бодрым голосом:

— Давайте, друзья, сегодня на этом закончим. Но у меня есть предложение: собрание не закрывать и обсуждение данного вопроса продолжить в ближайшее время. А над словами Надежды Михайловны советую всем основательно подумать, а тебе, Илья Андреевич, особо...

Простившись с отрядом, он пошёл к машине, подхватив под руку смущённую Надежду Михайловну.

Они уехали, но никто из механизаторов с земли не поднялся.

— Так ты, дядь Яш, про какой же это тяжёлый предмет намекал? — первым нарушив неловкое молчание, вкрадчиво спросил Валерка Глухов, перевалившись с боку на живот.

— А ты зубы-то не оскалай! — сердито оборвал его Яков Иванович.

— Смешного тут мало. Хватит в молчанку-то играть. Домолчались, дале уж некуда...

— Ну, язви те в душу! — восхищённо заржал Валерка, опрокидываясь на спину. — Крой, дядя Яша!

— Ты, Илья Андреевич, напрасно обиделся, — покосившись на Валерку, перебил Василий Степанович. — Ошибки свои надо признавать. Ты вот обрати внимание, уж на что наш возраст туговатый, а от старинки и мы отбиваться кое в чём начинаем.

— Ну, давай-давай! Проявляй свою сознательность! Твоё дело такое, в начальниках ходишь. — Илья с трудом вытянул из помятой пачки кривую папироску. — Только ты сначала свои ошибки признай, а я послушаю, поучусь...

— А чего ж? Дойдёт до меня черёд — и не посчитаю за обиду, умалчивать свои ошибки не стану. А сейчас не обо мне, а о тебе разговор зашёл. Вовка у тебя парень башковитый, из

---

него большой человек может получиться... А сейчас от него ни конному, ни пешему проходу нет. Помяни моё слово, Илья Андреевич. Подрастёт Вовка, он тебе спасибо не скажет...

— И не ершись ты, Илюха, не ершись! — Дядя Яша привстал на колени и сердито, словно на маленького, погрозился на Илью узловатым пальцем. — Что ты перед людьми выкобениваешься? Чего нос дерёшь? Видно, дураку и слава-то не на пользу идёт. Ведь до чего дело дошло: на мать на старуху не хуже Афониного Полкана гавкать начал, а не она ли тебя, варнака, без отца на ноги поднимала, жилы на тебя вытягивала. Баба у тебя — цены нет, а ты её ни в грош не ценишь. Смотри, паря, не прогадай. Такая баба, как Марeya, долго-то изгальства над собой терпеть не станет.

А Вовка, точно, во всём с тебя копию сымает. Ты жене при нём сгрубил — он ей в глаза плюёт, ты на мать зарывал — он на неё кулаком намахивается. Ой, Илька, лет через пяток будешь ты волосья на себе драть и парнишку будешь смертным боем бить, да поздно спохватишься...

— Ты, Яков Иванович, расскажи бате, как его сынок тебя вчера в кузне при всём народе матом благословил, — негромко вставил Матвей Сахаров, не глядя на Илью. И смотреть на него, и говорить такое Матвею было нелегко. Со школьной скамьи связывала их многолетняя хорошая дружба.

— Яков Иванович правильную тебе оценку даёт, Илья, — продолжал Матвей. — Зазнался ты не в меру, и поведенье твоё в корне неправильное, как вообще в народе, так же и в семье.

— Ну, Илюха, держись! — захохотал Валерка, весь сияя от удовольствия. — Сейчас они тебе моральным кодексом шишек насадят!

Очень уж интересно было слушать, как свои разделявают знатного передовика. Задаваку Илюху Казанцева.

Илья до хруста сжал зубы, а тут ещё поднёс нечистый повариху Варвару Тимофеевну. Поджав губы, тихо сидела она на телеге, привалившись тучным плечом к фляге с водой. Молчала, выжидая своего времени.

— Чего далеко-то ходить! — закричала вдруг сердито, словно это её только что лично обидели. — Вовку и сегодня из садика прогнали. Я своими глазами видела. Выскочил из калитки словно бешеный. Глазищи выкатил — батя родимый! Штаны верёвкой подвязаны, брюхо голое. Серафима Ивановна за ним, а он облаял её по-всякому и бежать.

Рывком поднявшись с земли, руки в карманы — хватит, поговорили, — Илья молча пошёл к кустам, где стояли в тени, ожидая хозяев, мотоциклы и велосипеды механизаторов.

---

И никто не окликнул Илью, не удержал. Дёрнулся было вслед дядя Яков Иванович, но на плечо его легла твёрдая рука Матвея Сахарова, попридержала.

— Ничего, Яков Иванович, потерпи. Пущай перегорит. Пущай пока в одиночку, своим умом обдумается.

— Здорово! — присвистнул злорадно неугомонный Валерка. — Ты гляди, до чего некультурно с маяками обращаются!

— А тебе, Глухов, помолчать бы следовало. О тебе разговор особый будет, — посоветовал молчавший до сих пор тракторист Найдёнов. — Я к тебе давно приглядываюсь, и всё никак в толк не возьму: то ли тебя от рождения умишком обидели, то ли ты нарочно дурачком прикидываешься? О чём бы люди ни заговорили, ты всё зубы скалишь. Ни к чему у тебя уважения нет, всё ты охаиваешь, осмеиваешь.

Валерка откинулся на спину и забросил ногу через колено:

— Скажи на милость! Ещё один прокурор вылупился. Давай, Гриня, давай!

— Вот что, товарищ Глухов, — негромко прервал его Василий Степанович. — С тобой сейчас не Гриня и не дядя Яша разговаривают. С тобой отряд говорит. Так что, будь добрый, сядь прежде всего как полагается.

И Валерка сел, растерянно оглядываясь.

— Тебя люди вроде клоуна признают, а ты гордишься, что над тобой смеются...

— Подумаешь, — неуверенно ухмыльнулся Валерка. — Очень мне надо. Плевал я на ваших людей!

— Ка-а-ак ты сказал?! — С земли приподнялся Михаил Решетников. На фронте он был контужен и до сих пор тяжело заикался.

— Тихо, тихо, Миша, не расстраивайся, сядь, — всполошился Яков Иванович.

— Нет, дядя Яша, ты погоди, — неожиданно звонко и сердито крикнул из-под кустов Саша Юрченко.

— Он ведь как понимает? Люди смеются потому, что тёмные они, вроде как дикари, а он один культурный. Мать купила штапелю цветастого на дверную портьерку, а он себе из него кофту-распашонку сшил. Это он так культуру понимает...

— Сказал бы мне, я бы тебе из дому готовую принёс, — серьёзно предложил Найдёнов. — У меня Нинка в положении была, такую же себе пошила, точно по твоей моде...

— А беретку-то ты, Валера, у сеструхи у своей, у Зинки, отобрал; она ведь бабья, беретка-то...

---

— Может, тебе, паря, косыночка дамская требуется, не стесняйся, скажи. Мы всем отрядом скинемся, купим в складчину. Носи на здоровье, раз мода того требует..

Пока просмеялись, Василий Степанович докурил самокрутку, притоптал окурок.

— Ладно, хватит. Смешно, да не шибко. Не в одежде дело. Тут вот в чём вопрос: сидим мы намеренно в клубе, лектор из города по международному положению докладывал. Только лекция началась, гляжу, наш Глухов ходу из зала. После лекции кино бесплатное. Он ломится обратно, ребяташек со скамейки спихивает, люди ругаются, срамят его, а ему хоть бы что. Отбрёхивается, скалит зубы. Ребятишки-школьники, женщины пожилые сидят, вопросы лектору задают, а ему, молодому, никакого интереса...

— Это ты, Василий Степанович, верно подметил, — подхватил Сахаров. — Вот теперь стали в клубе после сеанса картину обсуждать. Очень поучительно получается. В прошлую субботу было. Только начали люди высказывать свои мнения, слышу, кто-то позади нашего ряда к выходу лезет. Люди заругались, а Николай Иванович на весь клуб говорит: да ну его к чёрту, это же Глухов из второго отряда...

— Тебя уже два раза на танцах с круга удаляли, — хмуро сказал Паша Сергеев, и пояснил неохотно: — Настолько «культурно» танцует, что девчата обижаются. А удалять стали, он на скандал лезет, матерится при всех.

— Чего же вы молчали до сих пор? — сердито перебил Василий Степанович.

— Так все же молчали, — повёл плечами Павел.

— Вот и плохо, что в молчанку играем. Записали мы в договоре: «Один за всех, все за одного». Правильный закон, справедливый. А как он у нас оборачивается? — Василий Степанович обвёл взглядом лица товарищей. — Оборачивается он у нас самой поганой круговой порукой. Ты, к примеру, неладное сотворил, а я отвернусь да ещё и глаза прижмурю: не моё дело товарища судить. А назавтра ты мои грехи покроешь. Надо нам, ребята, такую практику кончать, иначе никакого дела у нас не получится. А сейчас давайте, сменщики, по машинам, два часа простояли, норму-то сегодня не просто натянуть будет. Собрание же, я так считаю, закрывать не будем. Разговор завязался большой, придётся к нему где-то на днях вернуться.

— У меня ещё в «разном» вопрос, — неуверенно вставил Саша Юрченко. — Михеева Сергея в город увезли, на операцию, а у него сено до сих пор не смётано. Пока покос ему отвели, то да сё, а он и заболел. Жена у него последние дни хо-

---

дит, а бабка совсем никудышная. Мы с Пашей вчера ходили, в копны стаскали...

— Где у него покос-то? — почесав в затылке, спросил Василий Степанович.

— Да близенько, дядя Вася, за первым логом, у мостика, — обрадовался Саша.

— Ну, как? — Василий Степанович повернулся к механизаторам, уезжавшим домой. — Баня, думаю, не убежит, и поспать до пересмены часок останется.

— Ещё чего?! — сердито закричал тракторист Сурков. — Смену отломали, потом на собрании прели. Да у меня своих делов — глаза не глядят. Что он, Михеев-то, нанять неспособный, что ли?

— А тебя, товарищ Сурков, никто силком не тащит, — холодно перебил Сахаров.

— Товарища выручить — дело солдатское, если тебе это не по разуму, мотай домой с богом, никто не держит. Михеев у нас человек новый, родни у него, кроме нас, нету. Кого же он в такую пору нанять может?

— Да я ведь к тому только... — замылся Сурков.

— Ладно, не будем рядиться. Поехали, братцы-тимуровцы! — скомандовал Сахаров и, оседлав велосипед, пропел зычно: — По коням!

Яростно нажимая на педали, Илья гнал по просёлку к деревне. Смуглое лицо его жарко горело.

Его, Илью Казанцева, отчитывали на собрании, как мальчишку! Принародно копались в его семейных делах. Ну хорошо, пусть бы совхозное или даже районное начальство, а то ведь свои... И слова-то какие подобрали: «Зазнался!..» «Дураку, видно, и слава не на пользу...» «Марии твоей цены нет, а ты её в грош не ставишь...» «Вовка во всём с тебя копию снимает». Илья даже зубами скрипнул. Велосипед резко мотнуло в сторону.

На обычном месте, под старой берёзой, Вовки не оказалось. Илья на предельной скорости промчался луговиной, с ходу проскочил через дырявый мостик за огородами. Вовка, скорчившись, недвижимо сидел на бережку почти у самой воды. Даже от комаров не отмахивался. Пусть едят, чего уж теперь!

Спрыгнув на землю, отец рывком швырнул велосипед через прясло в огород.

— А ну, марш домой! — бросил он через плечо, не взглянув на Вовку. И зашагал, не оглядываясь, по тропинке к дому. Поддерживая штаны, Вовка послушно затрусил вслед за ним.

---

Мать кормила Нюську. Они только что пришли из бани. Нюська, толстая, румяная, гулила, отвалившись от груди. Бабка возилась у печи. Оглянувшись на вошедших сына и внука, она насторожённо замерла с ухватом в руках.

Илья сел у стола, молча подтянул к себе Вовку за голое плечо.

— Ну, рассказывай, что ты сегодня в садике вытворял? — спросил негромко и вроде бы совсем не сердито.

Вовка засопел, надув и без того толстые губы.

— Подбери губы и не сопи. Отвечай, когда тебя спрашивают. Тебе кто право давал матери и бабке грубить? Как ты осмелился на деда Якова выражаться? Молчишь?!

Тяжела мужская рука, когда она уже не повинуется рассудку. Вовку швырнуло к печке и ткнуло носом в приступок. На какое-то мгновение он ослеп и оглох, не столько от боли, сколько от обиды. Его оглушила немыслимость того, что произошло. Ещё минуту назад он не знал, что отец способен его ударить. Он не слышал, как закатилась плачем брошенная на кровать Нюська, как страшно закричала мать. Заслонив его собой, она встала перед отцом. Маленькая, бледная, разъярённая. Не слышал, как, бросившись за ним, сказала с порога тихо и ненавистно:

— Эх... ты. Он же на тебя, как на икону, молился!

Илья сидел у стола, тупо уставившись в пол. В ушах у него шумело, и к горлу что-то подкатывало, словно с тяжёлого похмелья. Медленно, тяжело наваливалось на него сознание большой беды. И не сразу до его слуха дошёл голос матери. Не бабки, тихо снующей по хозяйству, на которую можно и прикрикнуть в злую минуту, а именно матери голос, строгий и требовательный, какого он не слышал уже много лет и от которого давно отвык:

— Так вот, милый сынок, слушай, что я тебе скажу. Уйдёт Манька — и я с тобой ни одного дня не останусь. Куда она с ребятёшками — туда и я. Ты вот с ребёнка права справляешь, а тебе кто право давал над семьёй измываться? Ты меня знаешь, я тебя и маленького не пугала. Надо будет — я в райкоме до самого секретаря дойду. Он тебе разъяснит, ты красную-то книжечку сам ему от стыда на стол выложишь...

Укачивая всхлипывающую Нюську, мать смотрела на поникшие плечи, на тяжёлые, стиснутые в кулаки руки.

Что Вовка? С Вовкой ещё полбеды. Прижать покрепче к груди, дать прореветься, заласкать, укачать, пока не занемют руки, — вот оно и забылось, ребячье горе. А как отвести беду от этого большого дитятки?

---

— Обумись, сынок, — тихонько говорит мать, и Илья снова поднимает голову и, словно спросонок, смотрит в её такое старое-старое, родное, скорбное лицо. — Себя пожалей... Манюшку пожалей. Извелась бабёнка, сил моих нет на неё смотреть. Ни ласки она от тебя не видит, ни слова доброго не слышит. Что это с тобой подеялось-то? Может, с глазу, может, испортил тебя кто? Так ведь не верите вы, теперешние, в порчу-то.

Живёшь в родном доме как квартирант. Вовку в деревне варначонком зовут, а кто в том виноват, как не ты? Нам с Мареей от стыда хоть скрозь землю провалиться, а тебе и горя мало.

Нюска ровно и не дочь тебе. Мимо идёшь и зыбку не качнёшь.

А ты погляди, Илюша, вся-то она до последней кровиночки в тебя уродилась. И лобастенькая, и губастенькая, и бровочки чёрненькие вразлёт. А может, ты... на стороне кого завёл? Смотри, сынок, этого Мареея тебе вовек не простит, а другой такой, как она, тебе нигде не найти. И детей лишишься, и дома отцовского, потому что, если опаскудишься ты перед женой и детьми, и от меня тогда пощады не жди.

Я тебя заранее упреждаю: если что, то вот тебе бог, а вот порог. Иди и забудь, что у тебя когда-то мать была.

А если чистый ты перед женой, просто дурь такая накатила — с вами, с мужиками, бывает такое, — так переломи себя, не гордись, не жди, чтобы она, невиноватая, перед тобой, перед виноватым, покорилась.

Иди, Илюша, иди к ним. Вовка не иначе в конопляник забился, и Марейка за ним убежала. Возьми Нюску и иди к ним. Поди, дитёнок мой, к папке на ручки. Пойдёт Нюточка с папкой братку искать, скажет: «Иди, братка, домой. В баню пора».

— Не надо, маманя... Подожди... — Илья сморщился и мотнул головой, словно пытаясь стряхнуть тяжёлую, мутную одурь: — Подожди... не в том сейчас дело..

Он медленно поднялся, сутулый, постаревший, и прошёл в тёмную спаленку, плотно прикрыв за собой дверь.

---

---

## Враг умный и беспощадный

— Как мы разошлись? А мы не расходились. Виктор был на практике, я сложила в чемодан свои тряпочки, забрала в техникуме документы и уехала. Вот и всё. Дальше вы сами знаете. Полгода поработала — и в декретный. Родила себе Илюшечку-душечку и живу-поживаю, добра наживаю.

Ладно. Вы Илюхе моему вроде бабушки, я расскажу, чтобы вам разные трагедии не мерещились. Не было никаких трагедий. Всё очень просто получилось. Я в деревне была, практику проходила в сельской библиотеке. Схватила воспаление лёгких. Девчонки Виктору написали, он примчался... Выписалась я из больницы, и мы там же, в деревне, поженились. Мы с ним два года дружили, а жениться порешили, когда он институт окончит. Я должна была за это время закончить техникум, начать работать и заочно учиться в Московском библиотечном.

А тут взяли и поженились. Я очень тяжело переболела. Виктор со страху чуть с ума не сошёл.

Он и говорит: «Ксанка, убедилась? Нельзя нам больше друг без друга...».

Ну, и поженились. Он написал матери письмо. Хорошее, большое письмо. И я сдуру подписалась — «ваша Ксана». Она не ответила.

Виктор меня успокаивал: «Не думай ни о чём. Мама у меня умница. Она тебя полюбит, когда поближе узнает».

Он её очень уважал. И верил ей во всё. Отец его, Илья Дмитриевич, в Берлине погиб, перед самой победой. А Виктор у неё один-единственный. Он мне несколько раз говорил: «Мама мне всю жизнь отдала...».

Свекровь моя — хирург. Очень хороший хирург. И вообще она на все руки мастерица. Хозяйка прекрасная, и пианистка, и рукодельница. Её художественные вышивки даже в Москве на выставке прикладного искусства экспонировались.

Ну вот, приехали мы. Вышла она в прихожую. А я после болезни — пугало огородное. Длинная, худющая... глаза по ложке, нос торчит. Виктор держит меня за руку и говорит: «Мама, знакомься. Это моя Ксюша».

Обычно он меня Ксанкой звал, а Ксюшкой... ну, это только для нас двоих.

---

Смотрит она на меня и молчит. Потом перевела взгляд на Виктора. Лицо спокойное, каменное, а в глазах... отчаяние и жалость. Понимаете? «Несчастный мой Виктор...»

Вот что у неё было в глазах. Потом она всё же подала мне руку. И сказала тихо так... с расстановкой. «Здравствуйте... Ксюша».

Вот так и началась наша семейная жизнь. Мой медовый месяц. Обращалась она ко мне не часто. Вообще я для неё вроде как не существовала. Живу рядом, дышу, и в то же время будто меня не было и нет. А обращалась всегда очень вежливо и только на вы: «Пожалуйста, Ксюша», «Будьте добры...».

Мне хотелось разгрузить её от домашней работы, чтобы не быть обузой, но в первые же дни выяснилось, что я ничего не умею делать... Даже посуду мыть она мне не доверяла... Возьмёт тарелку или стакан и так брезгливо ошпарит кипятком. Возьмусь за какое-нибудь дело, она подойдёт и вежливо, без раздражения: «Не нужно, Ксюша. Прошу вас, не нужно. Идите к себе».

Только пол мыть мне разрешалось, позднее до стирки допустила. Я и тому рада была... В общем, чувствовала я себя, как привезённая из деревни неумеха-горничная... Ксюша.

Только та и разница, что неумелых горничных барыни обучают, а меня она обучала на особый лад.

Как-то я взяла щётку, надо было Виктору костюм почистить, и забыла сразу на место положить. Она положила щётку на полочку и говорит: «Я попрошу вас, Ксюша, без разрешения мои вещи не брать и в моё отсутствие в комнату мою не входить».

Вот так вот вежливо и культурно учила она меня уму-разуму.

Несмотря на пятьдесят с лишним лет, она ещё очень красивая была. Одевалась элегантно, следила за собой. Изящная... Умная... Умелая.

А я, честное слово, даже понять не могу, что тогда со мной происходило.

Я тупела в её присутствии, становилась неуклюжей, косноязычной, была совершенно бессильна против её тактики.

К ней часто приходили в гости её давние приятельницы.

Такие же интеллигентные, воспитанные, остроумные. Беседуют в столовой, негромко, вспоминают какую-то медсестру Валу, уволенную из их клиники.

Моя свекровушка, Калерия Анатольевна, говорит грустно, сожалеюще:

---

— Просто она была до ужаса бездарна... Между прочим, в народе этих несчастных людей называют никчemuшными. За что ни берётся, всё получается тускло, неловко, некрасиво...

Потом они начинают спорить о женской обаятельности.

— Юлечка, дорогая, дело не в красоте. Возьмите Нину Аркадьевну: и носишко вздёрнут, и рот великоват, а в целом прелесть.

Это опять же она говорит, Калерия Анатольевна.

— Женская обаятельность... трудно определить, из каких элементов она складывается. Сочетание изящества, врождённой женственности с острым, живым умом, чувством юмора... Нет, нет, дорогая моя! Разумеется, воспитание играет огромную роль, но никакая внешняя культура, никакой диплом и даже учёная степень не могут компенсировать этой... я бы сказала, женской неполноценности.

Они рассуждают о своих делах, о незнакомых мне женщинах, но я-то понимаю, что все эти откровения адресованы мне.

Что это я никчemuшная, от рождения лишённая женского обаяния.

Я тогда ещё не понимала, что это враг. Умный и беспощадный. Она боролась за Виктора. Осторожно и последовательно ставила меня перед ним в глупое, нелепое положение. Она сажала меня в калошу, чтобы «раскрыть ему глаза», показать, насколько я неполноценна и как человек, и как женщина.

А я была совершенно безоружна... Но я не хотела сдаваться. Решила научиться всему, что умеет она. Стала посещать музыкальный кружок, украдкой изучала «Книгу молодой хозяйки», начала втихомолку рукодельничать.

Как-то я забыла в столовой свою начатую вышивку. Калерия Анатольевна пришла вечером с приятельницей. Развернула моё рукоделие и прижала ладонь к губам... Понимаете? Чтобы не обидеть меня своим смехом! Хотя она прекрасно видела, что я стою в дверях, за её спиной: «Боже! Дорогая, взгляните на этот шедевр!».

Я спряталась за дверь. Как они хихикали, как потешались надо мной!

Вечером я выбросила несчастную вышивку в печь.

Приехала к ней из Новосибирска погостить двоюродная сестра. Привезла показать своих молодожёнов — сына и невестку Оленьку. Ничего в этой Оленьке не было особенного. Пухленькая, беленькая... Просто она была очень счастливая. Свекровь она называла мамой... Калерия Анатольевна любовалась каждым её движением, смеялась каждой шутке.

---

Вечером Виктор и Оля сели за пианино, стали играть в четыре руки. Калерия Анатольевна вдруг поднялась и торопливо пошла к двери. На пороге остановилась и через плечо посмотрела на Виктора... Если бы вы видели, какое у неё было лицо, какие глаза! Словно он на кресте был распят. К столу вернулась с красными, опухшими глазами. Оказалось, что она тоже умеет плакать...

Виктор? Не знаю. Или он не замечал, или не хотел замечать.

Слишком уж он был уверен в её порядочности, в её благородстве.

За всё время она не обидела меня ни одним резким словом, ни разу голоса не повысила. На что я могла ему жаловаться? Что она барыня, а я... Ксюша? Что я тупею и цепенею от одного её взгляда... становлюсь идиоткой. Что я боюсь и ненавижу её...

Я знала, что он меня любит, но он и её любил... он был убеждён, что она не способна на подлость. Он говорил: «Мама по своему характеру человек очень сдержанный. Она не переносит сантиментов и всяких там эмоций, но она очень добрая... Она должна к тебе присмотреться...».

Весной, перед самыми экзаменами, я узнала, что беременна. Виктору я не сказала. Обдумала всё в одиночку. Решила: когда он уедет на практику, лягу в больницу. И всё. Думала, никто ничего не узнает. А она, оказывается, сразу догадалась. И тоже ждала, когда Виктор уедет.

Когда он уехал, она написала мне письмо. Храню как память о «счастливых» днях своего коротенького замужества.

И как... оправдательный документ...

Заучила от слова до слова, на всю жизнь, как молитву. Закрою глаза — каждую букровку вижу... Прислушайте и оцените... Какой слог! Лаконичность... сдержанность.

И никаких сантиментов.

«Я не могу говорить с вами лично, это было бы слишком тяжело и для вас, и для меня. Вы видите в ребёнке средство навсегда приковать к себе несчастного Виктора. Вы знаете, что, как порядочный человек, он ради ребёнка принесёт себя в жертву. Подумайте и взвесьте всё. Неужели за юношескую ошибку он должен рассчитываться такой дорогой ценой? С его одарённостью, с его интеллектом семья означает его духовную гибель. Я не хочу вас оскорбить. Но я слишком хорошо знаю Виктора. Настоящее чувство придёт к нему значительно позднее. Он не созрел, чтобы быть не только отцом, но и мужем. И вы, по-моему, в этом уже достаточно убедились...»

---

Прочитала я это лишённое сантиментов письмо, быстро собралась и, не прощаясь, отбыла в неизвестном направлении... на край света, за тридевять земель.

Виктору в надёжном месте оставила записку: «Калерия Анатольевна считает, что ты не созрел для роли мужа. Созревай, я подожду. Сейчас искать меня не пытайся. Я не вернусь. Убедишься, что я тебе нужна, найдёшь. Но не спеши. Созревай, я буду ждать. Ксения...».

А в больницу я не пошла. От Виктора я временно отреклась в пользу свекрови. И хватит с неё. А Илюшка мне самой нужен... Мне без него нельзя...

---

---

## «Безжалостное сердце»

— Перестань хныкать! — резко оборвала мать. Не дослушала... Оборвала на полуслове. Взяла со стола чайник и ушла не спеша в кухню.

Павел с детства привык к сдержанности в отношениях с матерью, но сейчас, когда он вернулся домой, сломив гордость, пришёл повиниться, признать, что мать, как всегда, оказалась правой...

Она вошла в комнату и молча, невозмутимо начала накрывать стол к ужину.

— Я ушёл от неё, ты понимаешь? И не намерен возвращаться... — Сдерживая обиду и закипающее раздражение, Павел пристально вглядывался в спокойное лицо матери. — Причины, я думаю, тебе объяснять не нужно. Ты была права... ты мне говорила...

— Я говорила, когда ты ещё только собирался жениться, когда...

— Я виноват перед тобой, — торопливо перебил Павел, — знаю, как тебе было тяжело, я не посчитался с твоим мнением... Я всем обязан только тебе и променял тебя...

— Павлушенька, а я ведь не лошадь, чтобы меня можно было менять.

Мать улыбнулась, но от улыбки её лицо не потеплело. Холодное, чужое лицо...

— Не понимаю, почему ты смотришь на меня такими глазами? Ты даже не пожелала меня выслушать... Ну хорошо, я виноват перед тобой... но, в конце концов, не я первый, не я последний. Ошибку нужно исправлять, пока не поздно...

— Поздно. Кроме тебя и Валентины существует Олежка. Это первое. Второе — о какой ошибке ты толкуешь? О чьей ошибке? Если разобраться — это она в тебе ошиблась. Ты на шесть лет старше её. Ты не мальчиком невинным женился, а она девчонка была, дурочка со школьной скамьи. Вспомни, как вы первый год жили. Ты все её причуды, все прихоти исполнял. Тебе все её глупости милы были. И умна она была, и красива, и характер её тебе был по душе. Конечно, на танцплощадке да на пляже её характер тебя вполне устраивал. И всё же эта девчонка свой первый жизненный экзамен вы-

---

держала. Она сына тебе родила. Ради тебя перешла на заочный, над переводами спину гнула, чтобы лишнюю копейку заработать, ночами в кухне с Олежкой отсиживалась, чтобы ты мог спокойно заниматься... Она свой экзамен выдержала, а вот ты оказался... банкрот.

Павел изумлённо смотрел на мать. Да не она ли три года назад, вот здесь же, за этим столом, сказала ему и Валентине: «Нужно нам, ребята, жить отдельно. Юрка у дяди Василия уехал, комната свободна, благоустроенная, ход отдельный. Я с Василием договорилась, переезжайте...».

— Ты сказал, что всем обязан мне. Нет, Павел, это Валентине ты обязан, что институт смог закончить.

Мать говорила, не повышая голоса, спокойно и негромко. Протянула руку к розетке с вареньем, но чайная ложка выскользнула из пальцев и, звякнув, упала в розетку. Поднявшись из-за стола, мать прислонилась к стене, заложив руки за спину.

— Я вам тогда ничем помочь не могла. Сам знаешь, как всё сложилось. Беда за бедой. Сама полгода болела, не успела из клиники выписаться, у Люды после родов осложнение, пришлось к ним ехать. Там ведь трое. И Люду, и маленького выхаживать я была должна. Вам обоим нелегко было... Но ты одно дело знал — учился, а она тройное ярмо несла, чтобы тебе помочь. Ты институт закончил, а она на третьем... на заочном застряла. Характер, говоришь, у неё, оказывается, тяжёлый? Ты теперь дипломированный инженер, а что изменилось? Что ты сделал, чтобы дать ей отдохнуть, чтобы теперь она смогла нормально учиться? Что ты сделал, чтобы хоть чуточку разгрузить её от домашней кабалы? Сыном, наконец, заняться, как доброму отцу положено? У неё характер тяжёлый, а у тебя характер ангельский... Ты забываешь, что Олегу уже второй год — ты при нём орёшь на мать, грубишь ей...

— Это что же, — прищурился Павел, — она тебя информирует?

— Плохо же ты, сын, свою жену знаешь... — усмехнулась мать. — Это при её-то гордости немилой свекрови на мужа жаловаться? Нет, сынок, у меня источник информации особый: проверенный, достоверный...

— Неужели дядя Вася?!

— А ты что же думаешь? Ты у дяди любимый племянничек, а к Валентине он никогда особых симпатий не питал — значит, он ради тебя душой кривить должен? Выгораживать тебя, Валентину в вашем разладе винить?

---

— Вот, значит, как оно получается... за моей спиной... все заодно? Ну, этим вы меня не запугаете!

— Кому нужно тебя пугать? Конечно, дело твоё молодое... сам говоришь: не ты первый, не ты последний. На твой век дур хватит. Не пожилось с Валею — найдётся Галя или Томочка... А Валентина... горько, конечно, ты у неё первый, она тебя любила, да и теперь любит, хотя ты такой любви и не стоишь. Ну, ничего. Помучается, перестрадает и тоже свою судьбу найдёт... Не забудь только, что у неё от тебя сын растёт... Ты думаешь — это просто, когда Олежка не тебя, а чужого дядю папой называть станет...

— Ну, это ещё, положим, вопрос...

— Какой же тут может быть вопрос? Ты же сам от жены, а значит, и от сына отрекаешься. Не будет же она с двадцати двух лет всю жизнь тебя оплакивать. Молодая, красивая, умница...

— Ты же её никогда не любила, и сейчас не любишь... — зло перебил Павел.

— А тебя это теперь не касается. Она мне внука родила, а я её сыну бабкой довожусь. Подумай-ка ты сам, кому, кроме матери да бабуки, твой Олежка нужен? Ну, ладно. Что-то я очень устала. Допивай чай и иди...

— Так. Значит, ты меня из дома гонишь...

— Видишь ли, я считаю, что твой дом там, где у тебя жена и ребёнок. А здесь тебе делать нечего. Я тебе не помощник и не союзник... Валентина должна университет закончить... хотя бы ради Олежки, а одной ей это не по силам... Оставайся у дяди Василия, а она ко мне переедет. Если уж суждено внуку моему стать безотцовщиной, пусть он живёт с матерью и бабушкой. Всё же какая-никакая, а семья... Но не вздумай, когда брошенная твоя семья будет здесь находиться, таскаться сюда, каяться да прощенья просить. Валентина не из той породы женщин, которых можно безнаказанно бросать. Такие обиду прощать не умеют... да оно и правильно. Рваную верёвку как ни вяжи — всё узлы будут... Если веришь самому себе, что разлюбил... если решение твоё окончательно... рви! Не тяни. Не терзай её, и Олежкину душонку пощади... она ещё маленькая, глупая... потом ему труднее будет... А теперь... иди. Иди, Павел, я устала.

Он безмолвно, оцепенело всматривался в бледное, но такое спокойное, такое чёрствое и чужое лицо матери.

— Я не понимаю... мама, ничего не понимаю... — Павел поднялся и потерянно окинул взглядом эту, с детства родную, до самой крохотной мелочи знакомую, милую комна-

---

ту. — Не понимаю... не узнаю тебя... Какая ты жестокая... безжалостная...

Он ушёл. И только тогда, через силу откачнувшись от стены, она разомкнула сцепленные за спиной затёкшие от напряжения пальцы.

И сразу её забила тяжёлая, неудержимая дрожь. Сделав несколько неверных шагов, она тяжело опустилась на стул. Она не плакала, не рыдала. Припав лицом к холодной клеёнке стола, она просто по-бабьи голосила, тихонько, сквозь стиснутые зубы, чтобы не услышали за стеной сердобольные соседи... Голосила от боли, от страха, от непереносимой жалости, разрывающей её «жестокое, безжалостное» сердце.

---

---

# Игорь

Игорь рос в здоровой интеллигентной семье. Между старшим братом и Игорем возрастная разница в четырнадцать лет. Игорь, как он выражается, «продукт послевоенного производства». Отец умер, когда старший уже окончил институт и уехал по распределению на восток. Там он обзавелся семьёй, пустил прочные корни — стал для матери в полном смысле слова «отрезанным ломтем».

Овдовев, мать не помышляла о замужестве, о создании новой семьи. У неё был Игорь. Последышек. Умный, весёлый лентяй. Она его не баловала. Помаленьку приучила к труду, заставила неплохо учиться. Ему трудно давался иностранный язык. Она стала изучать английский, чтобы помочь ему одолеть наиболее трудный предмет. В детстве он не любил читать, она привила ему любовь к книге, научила понимать и любить музыку, видеть красоту осеннего леса, лёжа на берегу, часами слушать журчание воды в каменистой речушке.

В общем, она передала ему всё, что знала и умела сама. И долгие годы мать была уверена, что рядом с ней растёт и взрослеет друг.

А потом началось непонятное. Сначала она убедилась, что сыну с ней становится скучно. Её мнения, оценки, суждения перестали его интересовать. Это ещё было полбеды. Вскоре он стал воспринимать их со снисходительно-иронической усмешкой. Двадцатилетний, он уже мог пренебрежительно оборвать её на полуслове: «Ну что ты в этом понимаешь?».

С тревогой и недоумением она присматривалась к сыну.

Что случилось? Что с ним происходит? Почему с каждым днём он всё дальше уходит от неё?

Во всём остальном он был тем же, прежним Игорем. Славный, общительный парень, весёлый, отзывчивый друг своих друзей-приятелей, готовый в любую минуту откликнуться на чужую беду, выручить, помочь, поделиться последним рублём...

Правда, за последние годы у него образовался новый круг друзей, таких же, как он, философствующих «интеллектуалов». Многие в их спорах и рассуждениях было для неё новым

---

и непонятным. И в этом она усмотрела причину охлаждения и отчуждённости сына.

Она стала рыться в библиотечных каталогах и на полках букинистов в поисках произведений Кафки и Камю; ей было необходимо понять, в чём заключается подлинная сущность экзистенциализма и философии Хайдеггера; напряжённо всматривалась она в репродукции художников-абстракционистов, пользуясь отсутствием Игоря, включала магнитофон с «новыми» записями, от которых ребята приходили в восторг, вслушивалась, пытаясь уловить в непонятном хаосе звуков то, что она привыкла называть музыкой.

Она должна была знать всё, о чём с таким апломбом и увлечением толкует Игорь со своими сверстниками.

Это не было приспособленчеством. Она хотела понять всё, чем живёт её Игорь, понять его новые вкусы и интересы.

Не для того, чтобы при случае козырнуть перед сыном и его сверстниками своей эрудицией: блестящей строкой Пастернака или толкованием образа Понтия Пилата из «Мастера и Маргариты».

Её мучила тревожная мысль: где во всей этой мальчишеской сумятице идей, понятий, решений кончается временное, наносное, юношеская дань моде, и начинается подлинная зрелая убеждённость.

Она приветливо встречала товарищей сына, поила их чаем, старалась приготовить к ужину что-нибудь вкусенькое, но однажды Игорь сказал ей раздражённо: «Слушай, мама, ну чего ты всё время здесь снуёшь, когда у меня ребята сидят? Неужели нельзя пойти в кино или к тётке Наде?». И она стала уходить, потому что у них была одна комната в коммунальной квартире, а отсиживаться в общей кухне она не могла. Стыдно было перед соседями.

Однажды, когда они получили уже двухкомнатную квартиру, ранним утром она услышала из комнаты Игоря приглушённый женский смех.

Она никогда не была ханжой. Её удивило и обидело, что сын не познакомил её со своей избранницей. Как можно скрыть от матери, что ты полюбил и стал близким с женщиной?

Вечером произошло объяснение. Мать спросила: кто она, эта девушка, его невеста? Игорь расхохотался. Оказывается, его временная возлюбленная уже не одну ночь провела в комнате сына. И не одна она. Игорь был немного сконфужен. Он был уверен, что мать давно знает о этих ночных визитах его подруг.

---

Ему было стыдно за мать, за этот нелепый и бестактный разговор.

Он никому и никогда не позволит вмешиваться в свою интимную жизнь.

Мать потрясла не грубость сына. Её поразили откровенный, ничем не прикрытый цинизм. Она искренне считала себя вполне современным человеком, понимающим взгляды и интересы молодёжи. Но в данном случае... в вопросах любви и отношения к женщине...

Впервые она закричала на сына. Закричала истерично, визгливо, что это мерзость... что она не потерпит... не позволит...

И тогда Игорь спокойно и миролюбиво посоветовал ей принять валерьянки и успокоиться. А затем предложил разойтись — разменять квартиру на две отдельные комнаты.

Правда, — сказал он, — теперь она стала менее навязчивой со своими проповедями ветхозаветной морали, от которой разит плесенью, перестала ввязываться в его разговоры с друзьями. И всё же он устал от этой нудной опеки, ему надоело вечное соглядатайство, молчаливые тревожные взгляды, кислые мины, когда он приходит домой выпивши...

Он хочет быть свободным и независимым. Он не выносит, когда кто бы то ни было пытается влезать в его внутренний мир.

Они не разошлись. Потому что она не представляет себе жизни без Игоря. Так и живут они под одной крышей: он — свободный и независимый, со своим неприкосновенным «внутренним миром», и она — притихшая, опустошённая, очень постаревшая, тоже со своим внутренним миром, до которого её сыну нет никакого дела.

---

---

# Татуня

Как всё-таки легко могут человеку испортить настроение.

Целый день Юлька вела себя исключительно благонравно. Не лезла, куда не положено, ничего не опрокинула, не разбила, не разлила. Утром сама попросила бабушку расчесать волосы и без единого словечка съела полную тарелку ненавистой овсяной каши, которую бабушка варила всегда, когда была не в духе. После обеда Юлька сама взобралась на мамину кровать и сама уснула, не дожидаясь, когда бабушка приляжет рядом и начнёт похлопывать её по спине ладошкой.

Утром бабушка и мама Зоя совсем друг с другом не разговаривали, а когда мама пришла с работы на обед, они громко поссорились, и, уходя, мама даже забыла, как обычно, поцеловать Юльку на прощание.

Под вечер Юлька примостилась в комнате к окну. За окном вставали ранние зимние сумерки, потом совсем стало темно, а мама всё не шла и не шла. Игрушки опротивели, поговорить было не с кем, очень хотелось поорать, но связываться сегодня с бабушкой было опасно. Она угрожающе шаркала по кухне валенками, швыряла посуду и время от времени что-то бормотала, словно Юльки совсем не было на белом свете.

Поздним вечером, когда Юльке давно уже полагалось спать, бабушка притащила из кладовки ванну и крикнула Юльке, чтобы она шла раздеваться.

Купание Юлька очень любила, но сегодня валенки почему-то не хотели сниматься с ног, пуговицы не расстёгивались. Сдирая через голову Юльки платьишко, бабка чуть не оборвала ей оба уха... И вода оказалась слишком горячей. Юлька не выдержала и разревелась. Место, по которому положено шлёпать, находилось под водой, поэтому бабушка сначала звонко шлёпнула Юльку по голой спине, а потом ещё разок дала по затылку.

Вволю наоравшись и ещё продолжая негромко подвывать, Юлька сидела в ванне, сердито окуная резиновую утку в мыльную воду.

— Подожди, подожди, голубушка! — грозилась бабка, намыливая губку. — Придёт мать, я ей всё расскажу. Она с тобой для праздничка поговорит по-хорошему!

---

Юлька ещё немножко повыла, но уже с перерывами и без всякого удовольствия, исключительно из принципа, только бы бабушка не воображала, что Юлька испугалась её угроз.

Матери Юлька ничуть не боится. Самое большое, рассердившись, мать может поставить в угол, и то ненадолго.

Юлька и её мать совсем разные, Юлька — толстая, смуглая, щекастая. Когда смеётся, глаза у неё сплющиваются в косые, узкие щелочки. Мама Зоя — худенькая и большеглазая. У неё тяжёлые жёлтые косы, а на носу и под глазами хорошенькие золотистые веснушки. Юлька очень любит поговорить, молчать она может только когда спит, а мама Зоя, наоборот, больше любит слушать, и рассмешить её не так-то просто.

Говорят, что раньше, когда Юльки ещё не было на свете, Зоя Таранюк была самой весёлой из всех девчонок совхоза. Соседки, сидя с Юлькиной бабушкой на крылечке, рассказывали:

— Ваша Зойка попервости-то, бывало, всех девчонок перепоёт, перепляшет. А теперь не узнаешь девку, куда что девалось? На работу такая же жадная, а веселье как рукой сняло.

Плясать мама Зоя разучилась, и поёт, только укладывая Юльку спать. И всё-таки никогда им вдвоём не бывает скучно. Они часами могут рассуждать о маминых телятах, какие они у неё здоровенькие и послушные, как хорошо они кушают и ложатся спать когда положено. Каждый раз, когда на ферме появляется новый телёнок, Юлька помогает матери придумывать для него подходящее имя.

А бабушка только умеет сидеть с соседками на крылечке и рассказывать всё про одно: как хорошо жилось ей «дома» и как не хотела она ехать к Зойке в Сибирь.

— Мне когда Сашуня написал, что с Зойкой такое стряслось, я как её домой звала! Так разве они, теперешние, матерей-то слушают? — скучно жалуется бабушка, покачивая на коленях дремлющую Юльку. — Сыну Николаю двоих вынянчила, думала — отдохну теперь от ребят, а пришлось вот на старости с родных мест сниматься, ехать на край света внучку богоданную выхаживать. Куда же от них денешься? Что бы она, полудурье, одна с ребёнком-то делать стала?

Бабушка называет Юльку по-разному: «Богов подарочек», «Богоданка», «Безотцовщина», и непонятно, почему матери не нравятся эти смешные слова. Иногда она даже плачет и потом часами не разговаривает с бабушкой.

Юлька всегда очень скучает о матери и ждёт не дожждётся вечера, потому что по вечерам она обычно никуда не уходит и Юлька может с ней наговориться досыта. За день у Юльки

---

скапливается масса новостей, которые необходимо вечером выложить матери.

— Тёти Датина котка мытку тьева, — докладывает она за ужином.

В переводе это означает, что соседская кошка съела мышь. Так уж устроен Юлькин язык, что без переводчика её понимают только бабушка, мама да ещё Татуня.

Татуня — это дядя Саша, Сашуня, как его называет бабушка. Ещё она называет его земляком, потому что Сашуня учился в школе с бабушкиным сыном Николаем и на целину приехал в одно время с Зоей. Мать называет его Сашей, а иногда Сан Палычем.

Когда Юлька впервые произнесла «Татуня», бабушка охнула и засмеялась, покосившись на мать, а мать приоткрыла рот и начала медленно краснеть. Краснела, пока у неё на глазах не выступили слёзы. А Сашуня схватил Юльку под мышки, поставил к себе на колени и, близко заглядывая ей в лицо, быстро спросил:

— Как ты сказала? Кто я? Как ты меня назвала? Юльку очень удивило, что простое слово произвело на взрослых такое неожиданное впечатление.

— Та-ту-ня! — вразумительно повторила она по слогам, кивая в такт каждому слогу головой, чтобы помочь своему толстому, неповоротливому языку.

Сашуня стиснул Юльку большими, удивительно удобными ладонями и очень серьёзно сказал:

— Правильно! Умница ты у нас растёшь. Совершенно точно определила! — и ткнулся носом Юльке в живот.

Юлька охотно завизжала. Это была увлекательная игра. Татуня грозно рычал, щёлкал зубами и норовил куснуть Юльку за живот, но сделать это не так просто, потому что Юлька вся как налитая и живот у неё хоть и небольшой, но тугой, как барабанчик.

Ещё недавно Татуня приходил к Юльке почти каждый вечер. В карманах у него всегда находилось что-нибудь приятное. Часто он приходил прямо с работы, из гаража, и, пока умывался, Юлька стояла рядом с мыльницей в руках или держалась за край полотенца. Она очень любит оказывать людям помощь.

Вдыхая исходящий от Татуни приятный запах бензина, Юлька спешила сообщить ему созревшие за день новости. Татуня переспрашивал, удивлялся, требовал подробностей. Юльку очень воодушевлял его горячий интерес к разговору.

Выждав удобный момент, она деликатно, между делом, спрашивала:

---

— А ты мне тевомунить купив?

— А это целиком зависит от поведения, — отвечал Татуня сдержанно. — Послушаем сначала, что нам бабушка скажет.

Юлька, посапывая, косилась на бабушку. Если бабушка не утерпит и насплетничает о Юлькиных грехах, Татуня нахмурится, начнёт въедливо докапываться до самых неприятных подробностей, да ещё потребует, чтобы Юлька сама рассказала, как было дело.

В последнее время Юлька и Татуня чаще всего беседовали о новогодней ёлке. Вообще о ёлках у Юльки было самое туманное представление. Она знала, что ёлки в совхозе не растут и за ними нужно ехать очень далеко, в какой-то Плотниковский бор. Знала, что ёлку нужно украшать, а потом звать в гости ребятишек. А вообще ёлка — это значит праздник.

Для Юльки ёлка — праздник особенный, потому что с утра начнётся Новый год, а после обеда — Юлькино рождение. Юльке есть чем гордиться. Не у каждой девчонки так получается, чтобы родиться в один день с Новым годом.

И вот необычный, долгожданный праздник испорчен. Завтра Новый год, а ёлки нет. Ещё вчера за ёлками отправили машину, но как назло поднялся буран, и о машине ни слуху ни духу.

Бабушка с утра до ночи сердится, шипит на маму, а когда мама уйдёт, сама же начинает потихоньку плакать.

А вчера вечером, когда Юлька хотела на сон грядущий немножко покапризничать, бабушка вдруг закричала не своим голосом:

— Замолчи сейчас же! У-у-у, порода постылая. Могла же так в проклятого уродиться!

Слова были непонятные, но какие-то очень нехорошие. Юлька испугалась и уже по-настоящему тихонько заплакала. Подскочила мать, унесла её в комнату и там в потёмках, притиснув Юльку к груди, шептала, уткнувшись губами ей в макушку: — Ты моя... ты моя... и не надо никого, и пусть уезжают, и пожалуйста.

Потом пришла бабушка, и они стали плакать все вместе. Юлька хотя и не поняла, в чём дело, но с удовольствием заплакала за компанию.

Но самое главное заключалось в том, что исчез Татуня,

Когда Юлька, прождав его напрасно два вечера, пристала с расспросами к бабушке, та вдруг ни с того ни с сего рассердилась;

— Иди к мамаше своей, у неё спрашивай! Умные все уж очень стали. Подумаешь, королевы какие гордые! Счастье са-

---

мо в руки лезет, так нате — не надо нам! Который стоящий, самостоятельный человек, так они его от себя гонят.

Накануне, перед тем как исчезнуть, Татуня засиделся у них допоздна. Бабушка, укладывая в горнице Юльку, тихонько прикрыла дверь на кухню. Татуня с матерью говорили полущёпотом, видимо, чтобы не мешать Юльке и бабушке спать. Бабушка лежала рядом с Юлькой, дремотно постукивала её ладонью по спине. Уже засыпая, Юлька смутно услышала сорвавшийся с полущёпота сердитый Татунин голос:

— Да пойми ты, дурёха, ну как мне её не любить, если она твоя?!

Бабушка перестала посапывать, и Юлька почувствовала, как она притаила дыхание. Юлька хотела удивиться, хотела о чём-то спросить бабушку, но не успела, уснула уже окончательно. Спала и не видела, как, тихонько поднявшись, стояла бабушка у двери, вслушивалась, ловила обрывки приглушённых фраз.

— Не можешь ты её любить, это тебе, пока она маленькая, кажется, что ты её любишь, — горестно и упрямо, почти на полный голос, говорила мать. — И характер у неё противный, и вообще я зарок дала: пока не вырастет, буду жить не для себя, а только для неё, раз я перед ней виновата...

— Глупая ты, ни перед кем ты не виновата, — сердито рокотал Татуня. — Это мы все виноваты, что с тобой такое получилось. Не смей себя унижать и всяческие пакости на себя наговаривать! Сама извелась и меня измучила. Дурак ты мой рыжий, всё равно же я от тебя не отступлюсь!

После того вечера Татуня больше не показывался.

И вот теперь ни Татуни, ни ёлки. На улице метель, носа не высунешь. Бабушка злая, и мама домой не идёт. Орать больше не хочется, всё равно, кроме шлепков, ничего доброго не дождёшься. Бабушка рывком окатила Юльку чистой водой и вдруг замерла с распяленной на руках простынёй.

В сенцах загрохотало, по полу проволоклось что-то громоздкое, шумное, и вот он — здравствуйте! — Татуня, весь в снегу, сизый от мороза, а из-за плеча выглядывает мама Зоя, румяная-румяная, а глаза... ну сразу видно, что у человека всё зажило и больше нигде не болит.

— Закройте ребёнка! — испуганно кричит Татуня. — Я же целый вагон мороза притащил!

Бабушка набросила Юльке на голову простыню, выхватила её из ванны. Ноги и всё прочее у Юльки голое, а голова и руки окутаны простынёй. Бабушка топчется с ней около ванны и радостно кудахчет:

---

— Господи! Да откуда же ты свалился-то? А бабы говорят: «Уволился Сан Палыч, его уже давно в город сманивают, вот в город, наверное, и подался».

— Здравствуйте вам! — удивился Татуня. — Дурак, что ли, Сан Палыч от Юлькиных именин куда-то подаваться? В город я за запчастями ездил, а там не скоро вырвешься. Ёлку хотел на базаре купить, да не успел. Пришлось в Плотниковский бор завернуть, я там ещё с лета ёлочку облюбовал — закачаешься! А тут — буран, едва выбрался. Хотел уже было с зайчишками да с волчатами в лесу ёлку справлять, но никак нельзя: Юлька же дома ждёт. А на обратном пути ещё в сельсовет заскочил, заявление в загс забросил.

— Бессовестная ты, Зойка! Что же ты надо мной-то мудруешь?! — говорит обиженно бабушка, бросив Юльку поперёк кровати.

— Она, мамаша, ей-богу, сама не знала, что замуж выходит! — кричит из кухни Татуня, гремя умывальником. — Это я сам инициативу проявил, чтобы уж всё к одному было: и Новый год, и дочкино рождение, и наше обручение.

Бабушка ворчит что-то сквозь слёзы, а мама Зоя, как маленькая, хлещет Татуню по спине полотенцем.

— Это здесь какой голыш-загарыш лапами дрыгает? — говорит Татуня, помогая Юльке выпутаться из простыни. От него по-прежнему пахнет бензином и ещё чем-то незнакомым, но удивительно приятным. Юлька ещё не знает, что это запах морозной хвои, что так пахнет её новогодняя ёлка.

— Ты насовсем приехал? Ты больше никуда не уедешь? — спрашивает она тревожно, отирая ладошками прилипшие ко лбу густые мокрые волосы.

— Никуда я больше от тебя не уеду, — говорит Татуня, немело натягивая на Юльку рубашонку. — Сейчас мы с тобой с морозцу чайшко похлебаем и начнём ёлку украшать. Праздник отгуляем, а как дорогу расчистят — поедем на «Победу» в сельсовет в гости. Мамку тоже, пожалуй, с собой прихватим, ладно? И вот какой у нас там чудесный фокус-покус получится: войдёт в сельсовет один Колмаков, Сан Палыч, а выйдут трое — и все Колмаковы. Здорово!

Очень хорошо получается, когда говорят и смеются все враз. Юлька топает ногами и визжит упоённо, насколько хватает голоса.

— Юлька! Замолчи, сумасшедшая, оглушила! — кричит бабушка, зажимая уши. — Ну вылитая мать, прямо капелька в капельку! Зойка маленькая-то точно такая же визгуша была!

---

---

# Мария Халфина

---

Она была известна и за пределами нашего досточтимого города. Её печатал «Огонёк», хорошими тиражами выходили книги. В юности, в 1973 году, я, конечно, увидел и фильм «Мачеха». Убедительна и правдива была эта история. Я знал, что сценарий по своей повести написала наша томская писательница Мария Халфина. Потом был и не столь знаменитый, но тоже собиравший зрителя фильм «Безотцовщина».

Я был знаком с её сыном Алексеем. Пришёл час, и в начале 70-х мы познакомились с мамой. Мария Леонтиевна была не похожа на тех, кого называли в нашем городе писателями. Суждения её были свободны, взгляды широки. Всё это решительно отличало Халфину от тех, кого я успел увидеть и услышать на семинарах и творческих встречах — зажатых, «взвешенных» в суждениях.

В ту пору осторожности на грани страха она свободно говорила о Солженицыне, не именуя великим, но называя большим писателем. Кроме прочитанного мною «Одного дня Ивана Денисовича», дала прочесть «Захара-Калиту», очень высоко ею ценимого. В том же ряду любимых ею авторов были Можаев, Белов, Распутин.

Я прочёл ей несколько своих стихов, она отнеслась к ним сдержанно, объяснила, что не берётся судить о рифмованных делах (и слава богу, потому что это было беспомощно и подражательно). Но когда я принёс ей рассказ о бабушке, она разобрала его подробно и довольно безжалостно, делая точные замечания. Мария Леонтиевна сумела так сказать о всех провалах моего рассказчика, что это меня не размазало, но заставило понять, как много я не знаю и не умею. Она спросила, кого из современных рассказчиков я люблю. Я назвал Казакова и Нагибина. Она кивнула, никак не оценивая мои вкусы, и добавила, что сама высоко ценит Сергея Антонова. Может, был назван кто-то ещё. Да, конечно. У неё услышал я имя Виктора Лихоносова и полюбил, присоединив к самостоятельно открытому Юрию Казакову.

Алексей, устраивая встречи с матушкой, как он её называл, в дни, когда приходил тираж книги, сослужил мне, полагаю, добрую службу. Тогда в моём окружении принято было уде-

---

лять внимание другой литературе, современные советские «романы воспитания» в наш круг чтения, понятно, не входили. И вполне заслуженно. Но проза Халфиной была иной. Получив книгу с тёплой авторской надписью, я как бы по необходимости должен был заглянуть в неё. Но прочтя несколько страниц, дальше читал уже без всякого принуждения. Люди — её герои — были живые, не одномерные, ситуации не разрешались авторской волей и не завершались моралью. Замечательно, что истории Марии Леонтиевны прошли испытание временем. Там не было никакой конъюнктуры. Ничего в них и сегодня не коробит, нет чувства неловкости за создателя этих повестей и рассказов.

Интересно: она ведь не собиралась становиться писателем, как это у многих происходит. Она была хорошим библиотекарем. Были какие-то наброски, намётки, у кого их нет? А потом сочинилась драматическая жизненная история, и самая читаемая газета страны «Комсомольская правда» её напечатала. Мария Леонтиевна нашла болевую точку. Об этом сказали тысячи писем. И отступать теперь было некуда. По привычным меркам, писательский путь начала она довольно поздно — ей уже было за 50. Но в её активе была хорошо прочитанная и усвоенная русская и мировая классика. А сколько историй поведали ей простые сельские жители, сколько семейных драм пересказали! Тогда ведь очень много читали, а хороший библиотекарь был и собеседником, и советчиком. И не случайно так сразу, со своим голосом, с вечными темами шагнула она на страницы изданий в те 60-е годы, когда ещё не нужно было подстраиваться, «делать, как надо».

Мария Леонтиевна называла себя писателем для семейного чтения. Потому, прежде чем надписать мне новую книгу, спросила имя жены. К следующей книге она уже не переспрашивала. (а я и тогда, по молодости, запоминал имена-фамилии с третьего раза).

Ирония жизни и творчества заключалась в том, что автор семейных повестей и рассказов, к сожалению, не могла убедительно опираться на свой жизненный опыт. Непросто складывались её отношения с Алексеем. И она, и он это переживали. Она даже предала огласке рассказ «Игорь», который едва ли может кому-то что-то подсказать или чему-то научить. Но в нём есть и материнская любовь, и попытки обрести утраченное взаимопонимание. Понять, почему сын, когда-то близкий и родной человек, с какой-то непоправимостью, неизбежностью становится чужим. История эта рассказана с полной откровенностью, читать её больно.

---

Мария Леонтиевна ценила ум, память и эрудицию Алексея. Знакомилась с современной западной философией, читала то, что любил сын — Сартра и Камю, статьи о Хайдеггере и Ясперсе (и это аукнулось в повести «Одиночество»). Она вполне понимала, что наше высшее образование ему противопоказано и представляла, как выворачивало бы его на лекциях обществоведов. Сделать его «нормальным» членом общества было ей не под силу. Да, наверное, она этого и не хотела. Ей нужны были его любовь и поддержка.

Рассказ «Игорь» заканчивается безысходным замечанием, что сыну нет никакого дела до внутреннего мира матери.

Но, как мне казалось, в жизни понимание между матерью и сыном существовало. Алексей говорил о её прозе с неизменным подлинным уважением: «Матушка пишет хорошо, потому что не врёт. И жизнь знает». Я вполне соглашался. Он мне как-то подсказал: «Так скажи ей об этом». Я сделал это искренне, волнуясь, косноязычно. Но, может быть, это было лучше выверенных похвальных слов.

Последний раз вместе я видел их на юбилейном вечере Марии Леонтиевны в марте 1988-го. Проходил он в Доме творческих организаций. У меня серьёзно болел отец, идти мне не хотелось, но надо было как руководителю областного литературного объединения. Там рядом с ней были моряковские подруги. Когда-то она окончила Томский библиотечный техникум. А в 1949 году по направлению областного отдела культуры приехала в речной посёлок Моряковка (по-другому Моряковский Затон), где стала заведующей поселковой библиотекой. Эта руководимая ею библиотека на одном республиканском конкурсе получила звание «Лучшая библиотека РСФСР». Я видел, как весело вспоминали они былые годы, да это и сохранилось на хороших фотографиях того вечера. Рядом был благостный и благообразный Алексей. Чистенький и свежий. Приятно было их вместе видеть.

Мой отец умер в конце марта. Мария Леонтиевна ушла в ноябре. Алексей передал её архив и часть вещей в школу Моряковского Затона, заложив там основание музея Халфиной.

Мемориальная доска писательнице недавно открыта и на стене дома престарелых на берегу Оби, в так называемой «Лесной даче». Когда-то здесь предоставили Марии Леонтиевне комнату, чтобы она смогла на месте собирать материал для будущей книги о людях, которых привела сюда судьба. Как они тут оказались, что не сложилось в жизни, чего недостаёт сейчас. «Что старикам надо?» — это ведь тоже из тех вопросов, который её волновал.

---

Завершая открытым финалом один из ранних своих рассказов «Мои соседи», Мария Леонтиевна оставляет нам одни вопросы, не облегчая поиск ответа.

«Я думаю, думаю, и не могу решить, что же мне делать? Как помочь этим нелепым и очень несчастным людям? Где найти слова, которые заставили бы их понять, как преступно уродуют они свою жизнь и жизнь ребёнка?».

Нет, никто не устроит нашу жизнь лучше, правильнее, если мы сами не приложим к этому усилий. Автор не всемогущ, он только лучше видит эту ненормальность и при поддержке своего таланта делает её наглядней для нас. Только так он может нам помочь. И это вызывает доверие, заставляет сопереживать героям, примеривать сложные жизненные ситуации на себя и самим искать выход, решение.

И её по-женски слабый голос, вопрошающий «Что же такое с нами творится?» будет услышан и подхвачен тревожно, по-мужски сурово Шукшиным: «Что с нами происходит?».

Мне кажется, мы всегда больше доверяем тем писателям, что задают себе и нам непростые вопросы, чем тем уверенным писакам, у которых всегда на всё есть ответ.

***Владимир Крюков***

---

---

# Содержание

## Повести

Мачеха . . . . .	6
Простая история . . . . .	51
Одиночество . . . . .	125
Виктория . . . . .	159

## Рассказы

Безотцовщина . . . . .	180
Милочка . . . . .	193
Ульяна Михайловна . . . . .	212
Расплата . . . . .	234
Сон без сновидений . . . . .	247
Живи одна. . . . .	263
Внуки . . . . .	275
«Восстание рабов» . . . . .	292
Тревога. . . . .	298
Борзуновы . . . . .	316
Дела семейные. . . . .	322
Зять . . . . .	331

## Из цикла «Живёт рядом семья»

Мои соседи . . . . .	340
Зойка . . . . .	352
Собрание считать продолженным . . . . .	362
Враг умный и беспощадный . . . . .	376
«Безжалостное сердце». . . . .	381
Игорь . . . . .	385
Татуня . . . . .	388

<i>Владимир Крюков.</i> Мария Халфина . . . . .	394
---	-----

---

---

## «Томская классика»

Произведения, включённые в серию, соответствуют трём критериям: содержат местный материал; имеют художественную и общественную ценность; известны за пределами области.

1. И. А. Куцевский. «Николай Негорев, или Благополучный россиянин». (Куцевский Иван Афанасьевич (1847—1876) — автор первого «томского» романа «Николай Негорев...», объективно описавший идейный разброд молодёжи 1860-х годов).

2. Н. И. Наумов. Рассказы. (Наумов Николай Иванович (1838—1901) — крупнейший сибирский писатель-народник).

3. Г. Д. Гребенщиков. Рассказы. (Гребенщиков Георгий Дмитриевич (1883—1964) — крупнейший сибирский прозаик первой половины XX века; с 1920 г. эмигрант. Автор «крестьянской эпопеи» «Чураевы»).

4. В. Я. Шишков. Рассказы. «Тайга». «Ватага». (Шишков Вячеслав Яковлевич (1873—1945) — классик сибирской литературы. Автор романа «Угрюм-река», экранизированного в 1969 г.).

5. Г. М. Марков. «Строговы». (Марков Георгий Мокеевич (1911—1991) — автор романов, положивших начало традиции «романа поколений». Романы «Строговы» и «Сибирь» экранизированы в 1976 г., «Соль земли» — в 1978 г., повесть «Тростинка на ветру» — в 1980 г., роман «Грядущему веку» — в 1985 г.).

6. М. Л. Халфина. Рассказы. «Мачеха». (Халфина Мария Леонтьевна (1908—1988) — автор произведений о проблемах семьи (повесть «Мачеха» экранизирована в 1973 г., рассказ «Безотцовщина» — в 1976 г.).

7. В. В. Липатов. Рассказы и повести. (Липатов Виль Владимирович (1927—1979) — писатель социальной проблематики (экранизированы повести «Деревенский детектив» — в 1969 г., «Инженер Прончатов» — в 1972 г., «Анискин и Фантомас» — в 1974 г., роман «И это всё о нём» и повесть «И снова Анискин» — в 1978 г., повесть «Ещё до войны» — в 1984 г., роман «Игорь Саввович» — в 1987 г., повесть «Серая мышь» — в 1988 г.).

8. Вл. А. Колыхалов. «Дикие побеги». (Колыхалов Владимир Анисимович (1933—2009) — автор романа «Дикие побеги», показавший объективную картину жизни в послевоенной Сибири.

9. В. Д. Колупаев. Рассказы и повести. (Колупаев Виктор Дмитриевич (1936—2001) — выдающийся писатель-фантаст, «русский Брэдли»).

Литературно-художественное издание  
Мария Леонтиевна Халфина

## Избранное

Редактор книжной серии *Г. К. Скарлыгин*  
Редактор-составитель тома *В. М. Крюков*  
Технический редактор *А. Р. Рубан*  
Корректор *И. А. Сердюк*

Издание Томской писательской организации.  
Отпечатано в ООО «Томская полиграфическая компания».  
Подписано в печать 19.06.2014 г. Печать офсетная.  
Формат 140×240 мм. Шрифт Cambria.  
Усл. печ. л 24,89. Уч.-изд. л. 20,64. Тираж 1 000 экз.

